



ВСЕВОЛОД
И
ИВАНОВ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ИЗБРАННОЕ





ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ



ТОМ ПЕРВЫЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

P2
И20

Вступительная статья и подготовка текста
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Комментарии
М. МИНОКИНА

Художник
С. БОЧАРОВ

$\frac{7-3-2}{44-67}$

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



Книги, как и люди, имеют свою судьбу. У разных книг Всеволода Иванова судьба сложилась на редкость различно. Автор многих, таких непохожих одно на другое произведений, он до последних лет оставался в представлениях читателя лишь создателем одного-двух из них.

В 1921 году Вс. Иванов, никому не известный автор маленькой книжки «Рогульки», набранной им самим, приехал в Петроград. «Командируется в распоряжение М. Горького»,— стояло на удостоверении, с которым он пробирался из далекой Сибири в центр. Юноша, явившийся к Горькому, уже успел многое пережить и узнать. Его рассказы о гражданской войне в Сибири потрясли молодых петроградских литераторов, с которыми Иванов быстро сошелся в кружке «Серапионовы братья» (в них начинающий писатель обрел товарищей по искусству, взыскательных судей).

Сын учителя церковноприходской школы, Иванов рано ушел из дома. Работал наборщиком в типографиях Павлодара и Кургана, выступал в роли факира-фокусника на подмостках цирка. Участвовал в партизанском движении против Колчака.

В «большой литературе» Иванов дебютировал блестяще. «Я так не начинал»,— говорил Горький. Рассказом «Партизаны», опубликованным в первом номере «Красной нови» (1921), первого советского «толстого» журнала, началась молодая советская проза. Повесть «Бронепоезд 14-69» (1922) сразу была воспринята как ее замечательная победа. А. К. Воронский, редактор «Красной нови», писал В. И. Ленину 21 апреля 1922 года: «Дал Всеволода Ивано-

ва — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш... Имейте в виду, что Всев. Иванов — это первая бомба, разорвавшаяся уже среди Зайцевых и Замятиных. Уверен, что будут и другие»¹.

Первооткрыватель, один из основоположников советской литературы, — признание этой роли Вс. Иванова, сопровождающееся постоянным переизданием «Партизанских повестей», сосуществовало многие годы с недооценкой его интересных книг второй половины 20-х — начала 30-х годов. Они не переиздавались, несправедливо противопоставлялись первым книгам. Отдельные произведения писателя 30—40-х годов вообще оставались ненапечатанными. Некоторые из них: романы «Эдесская святыня», «Вулкан» и часть рассказов — опубликованы уже после смерти писателя.

Читатель 60-х годов, открывший для себя забытые, не публиковавшиеся ранее произведения М. Булгакова, А. Платонова, И. Бабеля, в какой-то степени открывает и Вс. Иванова, пятидесятилетний труд которого отличает редкостное многообразие итогов.

«Партизанские повести» — под этим названием Вс. Иванов объединил «Партизан», «Бронепоезд 14-69», повесть «Цветные ветра». В книге Иванова, как и в написанных тоже в начале 20-х годов «Падении Дaira» А. Малышкина, фрагментах эпопеи А. Веселого «Россия, кровью умытая», повестях Л. Сейфуллиной, рассказах И. Бабеля, остро ощущается непосредственность авторских впечатлений. Атмосфера тех незабываемых лет, ритм бурного времени насытили и «организовали» эти произведения.

Сам «образ революции», ее стихию уловил и ярко передал Иванов — таково его «художественное открытие». На этом сходились почти все критики 20-х годов, остро полемизировавшие между собой, когда речь шла о частных вопросах творчества писателя.

Обаяние партизанской трилогии Иванова непреходяще, но в наши дни она приобретает особый интерес, как документ эпохи, раскрывающий социальную психологию, мир чувств народной массы, победившей в гражданской войне. «Образ революции» и тонкое проникновение во внутренние мотивы поступков героев, глубинные причины событий. За призванным романтиком, лириком угадывается наблюдательный, размышляющий психолог.

Какой же «срез» эпохи посоздан в «Партизанских повестях» Иванова? Революция в его книге — это глубоко органичное, ухо-

¹ «Новый мир», 1964, № 12, стр. 216.

дящее в толщу народной жизни явление, а не временная болезнь, микробы которой насильственно привиты мужикам. В ряды «восстанщиков» героев Иванова толкает необычайно сильный эмоциональный порыв, но для многих партизан в революции уже тогда раскрылась десятилетиями искомая «правда жизни».

Герои «Партизанских повестей» — сибирские мужики-хлеборобы. Цельные, могучие, они едины с миром природы, сильны своей полной слиянностью с ним. Власть земли, деревенского «мира» тяготеет над партизанами, формирует их «линию жизни». Большевики отдавали землю труженикам, Колчак — японцам и другим чужакам. «Не давай землю японсу-у! Все отымем! Не давай!» — кричали на сходках мужики, и шли Селезневые, Вершинины... в партизанские отряды бить колчаковцев и интервентов. Пришедшая в движение миллионная крестьянская («первобытность» стала лейтмотивом всего партизанского цикла (в него, кроме «Партизанских повестей», обычно включаются и тематически близкие им рассказы начала 20-х годов, вошедшие в сборник «Седьмой берег», 1922).

Образная система цикла строится прежде всего на природных, «земляных» сопоставлениях. Так центральные эпизоды повести «Бронепоезд 14-69» — смертельная схватка вооруженных берданками мужиков и стального чудовища бронепоезда — пересмыслены как борьба родной сибирской природы со всем чужим, жестоким, несущим смерть. Люди, лес, земля — все слилось в кровавой страде: мужики, подтаскивая бревна на насыпь и медленно подталкивая их впереди себя, ползли навстречу поезду. Он подходил и бил в упор, «как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю». Трогательной и горькой поэзией последнего поцелуя, отданного родной земле, овеяны все эпизоды драматического сражения на насыпи. «Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей».

Та же природоподобность, «земляная сила» подчеркивается и в портретах героев. У Никиты Вершинина «широкие — с мучной куль — синие плисовые шаровары, плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его в пятнах морского обветрия».

Иванов-художник воспринимает мир в безраздельном единстве человеческого, животного, растительного: «...спины мужиков, похожие на куски коры»; «партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара... в смятении и злобе рвались в горы»; «выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев», и т. д. И оттого так естественно врываются в эпическое повествование «Бронепоезда 14-69»

лирические авторские восклицания: «Я говорю, я! зверем мы рождаемся ночью, зверем!! Знаю — и радуюсь... Верю...

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, он — небо и земля...» Эти «возгласы» в своем существе не противостоят, как обычно, драматическим эпизодам, хотя и следуют непосредственно за ними. У Иванова жизнь и смерть человека включены в непрерывный природный круговорот. И поэтому смерть человека каждый раз напоминает о бессмертии непрекращающейся, вечнородящей жизни. Человек умер, но дышит земля, — будет жить и человек. «И тому, что жив, радуюсь!» — этими словами закончил Иванов одну из первых своих биографий. Ощущение радости от самого чувства жизни пронес художник-гуманист через все творчество, не раз поражавшее современников беспощадностью «жестокой правды» жизни. Познакомившись с рассказами и повестями Иванова о гражданской войне, Ю. Фучик писал: «Иванов уважает смерть и не стремится использовать ее в целях сенсации... Он не отрицает ее, зная, что отрицать ее нельзя... Однако он хвалит жизнь, видит, сколько живого приносит революция, — она приносит день, солнечное небо и голубые пески»¹.

Предвзято трактуя «земляные» мотивы, природные образы Иванова, критика 30—50-х годов упрекала художника в поэтизации стихийности, нарочитой биологизации мужиков, доходила до обвинения его в намеренном искажении правды истории. Ныне отмечены эти обвинения, упреки.

Рассказывая о партизанах, устилающих своими телами путь, по которому мечется белый бронепоезд, Иванов верен правде жизни, — он дает понять читателю: исключительная сила порыва мужиков обусловлена тем, что всей своей натурой они отделились восстанию. Сама природа трудового человека, по Иванову, не враждебна революции, наоборот, именно в ней он ищет и находит удовлетворение своих исконных желаний. Когда мужики всем миром поднялись против Колчака за «христианскую власть» — они могучая сила. В такой момент их стихийность, «стихийность демократического митингования», о которой не раз говорил В. И. Ленин, становится залогом несокрушимости восстания. Партизан

¹ «Русская литература», 1963, № 4, стр. 224.

уже ничто не может остановить: ни могучий противник, ни страшные жертвы.

Но в годы социальных разломов духовный мир человека изменяется необычайно быстро и подчас неожиданно. В мир ивановских мужиков, для которых, как и для крестьян Сейфуллиной, долгое время лозунги революции звучали «только звоном своего села. Чтобы была своя пашня, чтобы проткнуть пузо своему кулаку Миколай Степановичу...»¹, входят небывалые чувства, понятия... Разве не такова солидарность с «человеком чужих земель», бурно увлекшая партизан в знаменитой сцене «упропагандирования» американца. От порыва — «За землю! Против Колчака!» — к осознанию смысла своей борьбы. От горизонта «своего села» — к горизонту «всех земель», человечества...

Естественность «вживания» мужиков в атмосферу революции подготовлена и духовными поисками многих из них, мечтами поколений найти правду, добиться справедливости. «Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное, русское историческое правдоискательство *соединилось* в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле»², — писал А. Платонов. Этот процесс «соединения» тонко, не упрощая его форм, и раскрывает Иванов. Мироощущение Селезнева, Кубди, Вершинина, Аксиньи из рассказа «Лога» — двойственно. Они наиболее полное выражение крестьянской массы, ее «нутра» — влечений, традиций, предрасудков. С другой стороны, в них живет нетипичная для мужицкой массы духовная неудовлетворенность, острое желание понять жизнь, разобраться в самих себе. Конфликт этих двух начал — источник особой динамичности, внутренней «перспективности» ведущих характеров Иванова.

В образе Никиты Вершинина — председателя партизанского штаба, «рыбака больших поколений», с наибольшей полнотой воплотилась мысль Иванова о том, что мужикам, признавшим революционную правду как давно искомую, единственную, предстоит еще нелегкое внутреннее освоение новой действительности, сложной, текучей... Решительные, смелые действия героя, не нарушая цельности его характера, сосуществуют с мучительными поисками объяснения происходящего. Вот Вершинин выступает на митинге, учит парней военному делу, объезжает свои «полки», залегшие в кустах у насыпи, — он «камень, скаля», Еруслан... Но когда герой

¹ Л. Сейфуллина, «Перегной» (повести), «Круг», М.—Пг. 1923, стр. 117—118.

² А. Платонов. Одухотворенные люди, Воениздат. М. 1963, стр. 234.

в одиночестве, его осаждают беспокойные мысли: «Никто не знает, не понимает. Разбудили, побежали, а дале что?..» Мучат жертвы, разрушения: «Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман...», «Мост вот взорвем — строить придется».

Диалог в ранних произведениях Иванова — единственное средство выявления «внутреннего человека». Но он выдерживает подобную нагрузку, потому что сама форма ивановского диалога глубоко содержательна. Процесс отвлеченного мышления для его мужиков необычайно труден. «Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы». Диалоги и передают такой характер мышления — они ничем не напоминают аргументированные споры. Диалоги не случайно часто прерываются, — говорящие отступают на полпути: что пытаться, все равно не скажешь того, что хотелось бы: мысль плавает, ее трудно поймать, да и пойманная, она высоколзнет, как рыба из рук.

Значение «Партизанских повестей» в истории советской литературы предопределено правдивостью «картины жизни», взятой в небывалом, противоречивом развороте.

Город и деревня, стихийное крестьянское движение и сознательная воля большевиков. Сложность этих проблем явственно обнажила революция. Вскрывая самостоятельность народного восстания, Иванов поведал и о стремительной большевизации крестьян в период колчаковщины. В те дни мужики «увидели не из книжек, из которых никогда не получают твердых убеждений трудовые массы, а из собственного опыта, что Советская власть есть власть эксплуатируемых трудящихся...»¹. Вс. Иванов, подобно А. С. Серафимовичу («Железный поток»), запечатлел именно этот бурный процесс. Оба писателя исходили из иных жизненных впечатлений, чем Д. Фурманов и А. Фадеев: в центре «Чапаева», «Разгрома» большевик — организатор, пропагандист революционной теории.

Работая над образом председателя городского ревкома Пеклеванова, автор «Бронепоезда 14-69» не стремился к полноте характеристики большевика, сосредоточив внимание лишь на тех качествах героя, которые раскрылись в его отношениях с партизанской массой. Но Иванов сумел уловить в председателе ревкома высокую духовность, живой интерес к людям, скромное мужество — качества, которые, наряду с намеренно будничной внешней характеристикой, позволяют видеть в Пеклеванове непосредственного предшественника Левинсона из «Разгрома».

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 115—116.

Повесть «Хабу» (1925) завершает творчество Иванова первой половины 20-х годов, период четко обозначенный и очень цельный. «Густая» образность, лиризм, романтическая приподнятость свойственны только ему. «Хабу» — на редкость «ивановское» произведение. В центре — излюбленная художником коллизия: человек — природа, человек — революция. Экзотический орнамент, на этот раз северный, тоже свойствен индивидуальности Иванова. Но «Хабу» — этапная книга — запечатлела в себе и те изменения, которые произошли в художественном мышлении писателя за пять лет плодотворной работы. От поэтизации гармонии человека и природы он приходит к утверждению: человек прекрасен в своем стремлении покорить природу, обуздать ее стихию. Лейзеров из «Хабу» — волевой, чуть рационалистичный, так непохож на персонажей «Партизанских повестей», он непосредственно связан с героями позднейших книг Иванова: «Гибель Железной», «Путешествие в страну, которой еще нет», «Повести бригадира М. М. Силицына» и других.

В 1923 году А. М. Горький писал Вс. Иванову: «Позвольте дать Вам хороший практический совет: не пишите года два-три больших вещей, вышкольте себя на маленьких рассказах, влагая в них сложные и крупные темы»¹.

На рубеже второй половины 20-х годов Иванов работает над романами «Казак», «Северосталь», но они его не удовлетворяют — первый уничтожен автором, второй известен лишь в отрывках. Обращение же в этот период к маленьким рассказам на «сложные и крупные темы» действительно стало серьезной и плодотворной школой для писателя. Рассказы Иванова 1925—1927 годов многочисленны и разнообразны. Но большинство из них тяготеет к циклу, составившему остов книги «Тайное тайных» (1927).

«Тайное тайных» — центральное произведение Вс. Иванова второй половины 20-х годов. Писатель искал новые художественные пути постижения жизни. «Путь к человеку» — назвал А. Лажнев свою статью о новых рассказах Вс. Иванова, этим точно определив главное направление поисков писателя. Углубленный психологизм пришел на смену «событийности» первых ивановских книг, предельно сдержанная, бунинская, по словам Горького, объективность — лирической безудержности. Но в своем содержании новые рассказы обнаружили прямую преемственность с ранним творче-

¹ А. М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, Гослитиздат, М., стр. 406.

ством писателя. Тот же пристальный интерес к социальной психологии крестьянина, тот же необычный и в то же время характерный для деревни крепко задумавшийся мужик-правдолюбец в качестве центрального персонажа...

«Деревней дышит сейчас наша литература не меньше, пожалуй, чем во времена Некрасовых, Успенских, Златовратских»¹, — отмечала критика в 1926 году. Действительно, на рубеже второй половины 20-х годов появляется деревенский цикл К. Федина («Мужики», «Утро в Вяжном», «Трансвааль»), «Необыкновенные рассказы о мужиках» Л. Леонова и «Тайное тайных» Вс. Иванова. До последнего времени обращалось внимание на одновременность появления этих книг, очень близких друг другу, только для того, чтобы подчеркнуть не единичность заблуждений каждого из художников. В их рассказах находили искажение «перспектив развития деревни», неоправданный уклон в «биологизм», увлечение анекдотическими ситуациями и т. д. Но если «заблуждаются» одновременно и в одном плане три больших художника — это ли не прецедент для углубленного исследования их книг, для осмысления той правды жизни, которая в них отразилась?!

Обратившись к деревне середины 20-х годов, Иванов, Федин, Леонов не только не ушли от современной тематики, в чем их упрекали, а по-своему уловили «злобу дня». К моменту окончания восстановительного периода (середина 20-х годов) интенсивный процесс революционного обновления в городе с особой отчетливостью оттенил замедленность, затрудненность этого же процесса в деревне. На его пути, помимо политических сложностей, встало и другое препятствие — специфическая вековая психология мужика, «окаменелость» его традиционного строя жизни. Именно эта сторона крестьянского быта стала предметом пристального внимания писателей.

Особый подход к деревенской теме, из которого исходили Федин, Леонов, Иванов, с редкой четкостью сформулирован в письмах Федина А. М. Горькому 1925—1926 годов и в позднейших воспоминаниях писателя: «Меня интересовала не социальная сторона явления, а биологическая, скрытая, интимная, — сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки...»²

Своеобычность крестьянского мира, «сокровенность чувств хуторянина» с особой полнотой раскрыты Ивановым в центральном рассказе «Тайного тайных» — «Плодородие». «Там все мои последние думы»³, — рекомендовал его Иванов А. М. Горькому.

¹ «Новый мир», 1926, № 9, стр. 210.

² К. Федин, Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, Гослитиздат, М., стр. 293.

³ «Новый мир», 1965, № 11, стр. 242.

Сытое алтайское село, окруженное плодороднейшими землями, где «колос тяжестью в человечесю руку, а сено на вилах словно бобровая шапка». «Сельчане были старoverы — кержаки по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтобы упоминали часто о такой помощи». Деревня — замкнутый мир, недоверчиво взирающий на все, что находится вне сферы его традиционных хозяйственных забот. Возмущенный упрямой подозрительностью стариков, доверенных «мира», беспокойный Мартын кричит им: «Да што ж эта вы никому не верите!..» — «Мы стогам верим, да скирдам, да богу», — отвечают старики.

Революция не внесла больших изменений в жизнь сельчан: не только не сломала их традиционного уклада — но, как это ни парадоксально, стимулировала еще большую преданность ему. Чувствуя наступление нового, мужики с особым упрямством держатся за «мир», за землю, за старые обычаи. Автор «Партизанских повестей» отдаст себе трезвый отчет в том, что те самые силы, которые в годы гражданской войны толкали мужиков в революцию — «власть земли», «мира», — теперь обернулись другой своей стороной, взяты на вооружение защитниками традиционной, недвижимой жизни.

В рассказе развиваются два конфликта: деревня и город, деревенский «мир» и Мартын.

Город для мужиков — воплощение «непорядка», безнравственности (там от водки горят). Писатель, комментируя эти их представления, показывает, что в отношении мужиков к городу сказывается эгоизм сытого, презирающего голодного и сознающего свое право на это презрение. В решении сельчан «обмануть город», чтобы спасти село от вод горного потока, дает о себе знать и оборотистость «хозяйственного мужичка», хитрого, скуповатого, всегда готового обвести вокруг пальца «глупый городской люд». Скрываемый страх перед городом, символом неминуемых перемен, тоже в природе крестьянина-собственника.

Но этим не исчерпывается сумма авторских выводов. Недоверие мужиков к городу не только следствие традиционного предубеждения. Сам город подчас способствует живучести этого недоверия. В мужиках укрепилось сознание, что городу нет до них дела — он далеко. Попав в беду, крестьяне размышляют: «Телеграмму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тонем...» — но приходят к решению: «Покедова проверят, все лёдово стает», — и сами едут в город. Там с трудом находят «необходимого человека». Он сказал: «Обсудим... и велел прийти через неделю... Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней — через пять дней обязательно». Ничего не добившись, «диллигация» мужи-

ков томилась в городе. В это время старики удачно разыграли комедию с обнаружением золота вблизи от села,— туда хлынули инженеры и рабочие... Так история с неожиданно родившимся озером и его ликвидацией только укрепила убеждение мужиков в том, что от города бесполезно ждать помощи, только деньги да собственная хитрость — их помощники.

Среди самодовольных, сытых, уверенных в себе сельчан Мартын не случайно чувствует себя чужим: «Кому тут говорить о мутном своем сердце?» Тоска, недовольство всем мучают героя — он равнодушен к хозяйству, к привычным крестьянским заботам.

В чем источник тоски Мартына, чем предопределен его конфликт с «миром»? Любовь к Елене кажется самой главной, но не единственной причиной. Ему открылись сокровища, стоящие вне скудного его хозяйственного обихода, высокие желания и заботы посетили мужика. Его душа болит за других людей, далеких, «чужих», вдруг ставших близкими... Он с раздражением смотрит на «своих» — сельчан... «В шелковых рубашках скоро ходить будут, а там страдают. Да-а...» Мартына мучает свое неумение повлиять на бездумную жизнь села: «Кабы да мне грамоту да обучение, а я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел». Так его «немужицкие» желания и действия обретают явную социальную окраску. В стремлении Мартына «доспеть до общества» сказывается не только его самолюбие, а искреннее беспокойство за судьбу людей. Все это недоступно сельчанам, растет злоба, грядет трагическая развязка — жестокий самосуд творят мужики над Мартыном...

Своеобразие психологических ситуаций в рассказах «Тайные гайных» мотивировано «человеческой спецификой» их героев. Поэтому так важна для понимания всего цикла коллизия рассказа «Счастье епископа Валентина». Епископ Валентин — горожанин, человек тонкой душевной организации, очутившись в деревне, «вдруг поверил, что счастье, которое его ждало,— здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаниям жизни». Но он скоро отказывается от надежд, поняв их утопичность. Ощущение своей несоединимости с крестьянским миром охватывает героя: «Какая пустыня, какое одиночество. И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться *гайному гайных* земли, малую каплю которого азнают мужики». Счастье же, как его видит епископ, в том, чтобы судить мир, «тайному тайных» земли противопоставить свою волю и разум. Но он не в состоянии этого сделать — поэтому отказывается от борьбы за свою судьбу. Активен, полон надежд в подобной же ситуации мужик Сумишев Митрий Максимович, от-

крыто противостоящий в рассказе епископу. Ведь то, что делает епископа несчастным, воспринимается мужиком как норма жизни. В гармонии с миром, следовании природе, внутреннем покое, бездумности — его счастье.

Нарушение же гармонии, крушение бездумности для таких людей — конец счастья: кризис — болезнь — преступление — гибель. Об этом повествуют рассказы Иванова — «Ночь», «Полынья», «Жизнь Смокотинина».

Преодоленный кризис, каковой воссоздан в «Полынье», — счастливое исключение. Но сами ночные плутания героя этого рассказа — как бы слепок с психологической конструкции многих новелл цикла. Диковатый, «потерявший себя» Богдан въюжной ночью пытается и не может уйти от таинственной полыньи и одинокого «заколдованного» селезня, плавающего по ней. Ужас смерти гонит Богдана прочь, но другая, непонятная сила заставляет его преследовать селезня, чтобы уничтожить его, словно эта смерть избавит Богдана от бремени тоски и злости... Жизнь и смерть предельно сближены, жестокость сопровождается безотчетными, но решительными попытками «обрести себя».

«Жизнь, как слово, — слаще и горче всего» — таков эпитафия к «Полынье». Сладость и горечь в равной мере присущи жизни; в разные периоды ощущается сильнее тот или иной вкус ее. Герои «Ночи» и «Жизни Смокотинина» взяты в такой момент, когда привычное душевное равновесие вдруг оказалось утерянным — обнажилась тревожащая горечь жизни.

Сам характер, направленность авторского повествования в этих новеллах проясняют сцены суда, происходящего в них. Судит Афоньку из «Ночи» «бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница». Он полагал, «что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать». Афонька же «растерялся, и многие слова перепутались у него в голове» — он «врал неумело и зря». Только перед вынесением приговора Афонька вдруг понял, что «он людям повятно сказать ничего не может», — «и он визгливо и по-ребячески заплакал». Смокотинин на суде тоже «бессловесен».

Автор рассказывает судьбы героев «Ночи», «Жизни Смокотинина» в той их последовательности, в какой рассказали бы они сами, если бы сумели на суде найти слова. В результате все истории воспринимаются как полемический ответ тем самым судьям, которые увидели в этих людях лишь привычных безликих преступников, их же толкают на убийство не социальные, а прежде всего психологические мотивы.

Иванов ведет повествование, учитывая особое мироощущение героев: непонятное им не объясняется, а только фиксируется — автор как бы боится нарушить правду этих сильных, но смутных чувств чрезмерной расшифрованностью. Так, не способные расчленивать тревожащие их переживания, герои объединяют эти переживания одним словом — «тоска»: именно это слово чаще всего использует Иванов, характеризуя состояние своих персонажей. Не привычные к самоанализу, мужики «Тайного тайных» ощущают вторжение непонятого чувства как неожиданный толчок, — отсюда постоянное «вдруг» у Иванова: «Вдруг защемило сердце». «сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился!» Душевное смятение осознается Смокотиничным как «порча», физическая болезнь, и писатель часто обליжает в своих характеристиках эти два состояния...

Афонька не конокрад, не картежник, ничто не связывает его со старухой, которую он убил. Но его преступление мотивировано... Афонька потрясен ужасной смертью старшего брата Филиппа — тот умер в свадебную ночь, — несчастьем его невесты, красавицы Глафиры. Он увидел, как Глафира «остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью: «Лучше бы мне подохнуть!» Тоска преследует Афоньку, растет раздражение — оно всеобщее, беспредметно. Но излить его можно лишь на «предмет». Старуха нищенка в восприятии Афоньки оказывается связанной со всеми несчастьями, тяжкими воспоминаниями: смертью брата («Словно бы — на поминках брата он видел эту старуху»), страшной ночью на крыше вагона... «Неожиданно для себя» ударив старуху, Афонька стремится разорвать круг несчастий, паутину тоски, надеется обрести потерянную ясность.

Мотив безуспешных попыток обрести «ясность», гармонию с миром и внутренний покой, потерянные раз и навсегда, еще отчетливее звучит в прекрасной новелле «Жизнь Смокотинина». «Румяный, ясный и звонкоголосый» Тимофей Смокотинин здоров, удачлив, весел. Но встреча со вдовой Катериной, вспыхнувшее сильное чувство к ней перевернули его жизнь. Ушло из нее веселье, здоровье, ясность... Тимофей бежит от себя, от любви — в город. Кажется, к нему вернулось спокойствие и здоровье. Но вот ему почудилась в толпе единственная тоскливая походка. «Сразу ж та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет, оборванный ветром с шиповника; защипало в глазах...» Он стреляет в Катерину тоже, казалось бы, неожиданно, но за этим поступком — стихия

чувств. Когда он подошел к окну Катерины — «стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка, под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом». Им внезапно осознается источник мучений — она, Катерина; рождается решение — убить, и тогда его снова посетила на этот раз уже «необычайная ясность».

«Читаю Ваши рассказы в «Крас[ной] н[ови]», — писал Горький Вс. Иванову в сентябре 1926 года, — и нахожу, что [...] Вы стали писать лучше. Крепче, экономнее в словах, пластичнее. Местами — бунинское мастерство, но без его сухости и кокетства отточенности фразы, часто — обездушенной ради красоты»¹.

Сдержанность, предельный лаконизм формы при насыщенности содержания отличает рассказы цикла «Тайное тайных». Действительно, целая жизнь во всей ее многосложности и драматичности уместилась в маленькой новелле «Жизнь Смокотинина». Подобная «насыщенность» объясняется присутствием в рассказе под видимой жизнью сюжета иной, подземной и неслышной. «Подводное течение» создается непрерывностью лейтмотивных образов. Уже на первой странице рассказа рождается его ведущий «образ». Тимофеев захотел вырвать щепу, подобранную вдовой на стройке. Катерина сказала: «Полно», — и выпустила щепу. «Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая, и вдруг Тимофееву показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...» Провидением собственной горькой участи звучит выдуманный рассказ Смокотинина о своем прошлом, с каким-то внутренним злорадством кричит он в трактире: «А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: *на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох*». И, объясняя на суде свой выстрел в Катерину, Тимофеев не находит иных слов, кроме «как щепа за сердцем». Образ «сердца, скользнувшего за щепой...» впитал в себя мотив любви-смерти, безысходный, трагический. Вот эпизод гибели Смокотинина: он ударил мужика, «однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофеева. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук». Последняя сцена рассказа в общем рисунке повторяет первую, но в несопадающих частностях глубокий смысл. У гроба Смокотинина склонилась Катерина, пришедшая набрать

¹ А. М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, стр. 473—474.

щены от досок, пошедших на гроб. «Полно»,— сказала она, глядя на его мертвое, «испуганное и робкое» лицо. «И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп». Круг замкнулся: *тогда и теперь* — одна смерть разрубла трагический узел жизни.

В конце 20-х годов внимание Иванова-художника властно притягивает мир провинциальных городков (многочисленные рассказы, роман «Кремль»¹). В одном из писем Горькому Иванов, рассуждая о том, что жизнь усложнилась, обнаружив на удивление уродливые стороны, замечал: «В уезде это видеть куда как чудесно»².

Художников, обратившихся во второй половине 20-х годов к жизни провинции, увлекала сама возможность раскрыть причудливость, гротескность, которыми был окрашен провинциальный быт тех лет, успенно «переваривающий» новое (Л. Леонов, «Провинциальная история»; К. Федин, «Наровчатская хроника»; А. Платонов, «Город Градов»). Не менее благодатной почвой оказалась провинция и для писателей, избравших своим главным героем «маленького человека», душа которого по-своему фиксирует большие социальные сдвиги. Здесь к уже названным художникам присоединяется и Вс. Иванов.

Рассказы «Сервиз», «Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов», «Б. М. Маников и его работник Гриша» — своего рода «трилогии» о «маленьких людях», особым, нелегким путем пришедших к разрыву с прошлым. Первый из них наиболее «камерный», но одновременно он в самом общем виде запечатлел коллизию, характерную для всех трех новелл. Старуха Катерина Алексеевна перед смертью с «какой-то удалой злобой» на лице бьет тарелки из дорогого хозяйского сервиза, которому «служила полсотни лет, больше, чем полсотни, семьдесят пять лет!.. Много войн, банковских крахов, даже революций... многое прошло мимо этого сервиза, и бледные его цветы напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны!». В этом запоздалом, первом и последнем бунте против хозяина — сервиза — старуха обретает ту внутреннюю свободу, которая была недоступна ей всю жизнь: «Она ясно поняла, что бояться ей нечего», и «веселая, легкая бодрость овладела ею». «Самое главное, человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал», — в этих словах из рассказа «Б. М. Маников и его работник Гриша» заключена ведущая мысль и «Сервиза», и двух

¹ Роман находится в архиве писателя.

² «Новый мир», 1965, № 11, стр. 240.

других новелл. Когда неожиданно перед бывшим заводчиком Лобановым («Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов») открылась возможность вновь стать богатым, он осознал всю глубину своего разрыва с прошлым. Уважение к себе он обрел только в новой жизни, хотя в старой были и деньги, и видимость власти. От наблюдений Лобанова: «Люди постепенно начинают овладевать искусством собственного достоинства...» — перекидывается естественный «мост» к замечательной новелле «Б. М. Маников и его работник Гриша». «...мы живем как-то неточно», «купленная у меня жизнь» — начинает понимать Гриша Гущин, переживший гибель сына — матроса красной эскадры: «Сын-то наш шел правильно». Рождается решение — отдать деньги Маникову, который много лет тому назад заплатил Грише за то, что тот женился на «обесчещенной» его племяннице Вере.

Осознанная свобода приходит к героям всех трех новелл, когда у них уже нет сил воспользоваться ее плодами. Прозрение завершает их путь и часто стоит им жизни.

Задача автора — запечатлеть выбор, передать радость, которую принесит сам миг победы. Умерла жена Гриши, он надорвался, обречен, но насколько он счастливее Маникова... Эта радость в глазах Гриши потрясает Маникова. Он уходит из дома, спасаясь от неожиданно свалившихся на него денег, жадного взгляда сестры... Вновь звучит в конце этого рассказа главный мотив «трилогии»: «И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он уже никогда не возвратится домой. Страшно,— ведь ему за пятьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти. Легко, так как в той, иной жизни он даже и подумать не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!»

«Маленький человек» в новеллах Иванова этой поры дан не только в его «открытости» новому, но и в цепкой привязанности к старому. «Маленький человек» — что же дальше? На этот вопрос Иванов не дает однозначного категорического ответа. Мещанство, собственничество преодолевается одними, но оно опасно приспосабливаемостью, цепкостью других. Есть Гущины, но есть и Чижовы (повесть «Особняк»).

Ефим Сидорыч Чижов — фигура замечательно пластически выписанная. В этом «стройном, с бородкой клинышком, с пустыми п в то же время настойчивыми глазами» «мелком человеке» много упрямой энергии, он умеет терпеливо ждать. Его «серость», неиндивидуальность дезориентируют тех, кого он считает врагами. Агрессивность его мелочна, но неизменна и целенаправленна. Все это позволило герою «Особняка» «сжить» людей куда более ярых.

В истории покупки Ефимом Сидорычем каменного особняка с деревянными пристройками в виде голубя и наполеоновской мебели, утраты этого богатства и частичного обретения его вновь — запечатлена эволюция мещанства в период первых революционных лет. Навсегда подкошенный, казалось бы, безоговорочной экспроприацией особняка, Ефим Сидорыч постепенно акклиматизируется в изменившейся обстановке, умело используя промахи новой власти.

Заканчивается повесть отъездом Ефима Сидорыча и его верной невесты Манюшки Епич в волость; за ними следуют телеги, нагруженные мебелью. Последняя сцена — торжество Чижова: «Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты... Ефим Сидорыч пил чай, — стакан за стаканом, — и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости».

Вокруг «Обособника» и в особенности его финала в печати развернулась большая полемика. Некоторые критики увидели в повести «сигнализацию классовому врагу» и конец ее прочитали так: «Пожалуйста, господа хозяйчики! Все готово-с к вашему приходу по великолепной-с дороге-с»¹.

Годом раньше таким же образом был интерпретирован финал фединского «Трансваала», где герой-кулак торжествует победу над слабыми попытками мужиков противостоять ему.

Оба эти произведения несут на себе печать настойчивого нежелания авторов навязать мысль извне: повествование в них предельно объективировано. Вульгарно-социологическая критика пошла по излюбленному пути: приписала идеалы героев — Чижова и Сваакера — их создателям. Идеальный же потенциал этих книг в действительности иной, несравненно более глубокий и серьезный. Они предупреждали о реальной опасности кулацкого паразитирования на патриархальной беспомощности крестьян, мещанского — на бюрократизме, бесхозяйственности. Серьезность этой опасности и вызвала настораживающие финалы повестей. Уже в том же 1928 году многие читатели уловили эту подлинную направленность «Обособника». «Из-за нашего «авось да небось», из-за бюрократизма и волокиты в аппаратах, из-за стремления одних к покою, других к панике — Ефимы Сидорычи научаются «обманывать власть!»²

¹ «Комсомольская правда», 22 января 1928 г.

² «Журнал для всех», 1928, № 4, стр. 114.

Над романом «Похождения факира» Вс. Иванов работал с 1930 по 1935 год. Первая часть романа — «Факир подходит к цирку» сразу была оценена и критикой и читателями как замечательное произведение, серьезное достижение советской литературы. Особенно радовался успеху своего «литературного крестника» А. М. Горький. «Дорогой и замечательный «Сиволод», — писал он Иванову в июне 1934 года, — «Похождения факира» прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот — не превеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем, и вот именно такие беседы о воспитательном значении «трудной жизни», такое умение рассказать о ней, усмехаясь победительно, — нужно и высоко ценно для людей нашей страны»¹.

Роман Иванова был воспринят современниками прежде всего как «волнующая книга о России, о ее предреволюционном быте»². Но нынешнего читателя, способного оценить сочность бытовых картин дореволюционной жизни, больше привлекает в романе все же другое. В «Похождениях факира», — писал Иванов, — «хотелось изобразить жизнь юноши начала XX века, с его страданиями, радостями и надеждами...»³. Вот этот молодой человек XX века, его «жизнь духа» оказывается сегодня в центре внимания читателя. К тому же перед нами не рядовой юноша — молодой человек, одаренный редким воображением, будущий художник. А так как роман, «наиболее автобиографичен... в первой своей части»⁴, — то «Факир подходит к цирку» прочитывается как книга, которая отразила становление художественной индивидуальности самого Иванова, автора фантастических рассказов и повестей.

В «Факире...» принципиальное значение приобретает обрамляющий все повествование спор отца с сыном насчет «тщеславия». Эта тема заявлена как ведущая с первой строки книги: «Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью». То содержание, которое вкладывает автор в понятие «тщеславие», не совпадает с его традиционной трактовкой. Оно приобретает в книге несравненно более широкий смысл, становится знаком определенного социального состояния. В романе, где все герои довольно четко разделены на два лагеря: мещане и мечтатели, — «тщеславие» и оказывается

¹ А. М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, стр. 352.

² «Литературная газета», 20 апреля 1934 г.

³ Вс. Иванов, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, Гослитиздат, М., стр. 115.

⁴ Там же.

той формой духовной жизни, которая доступна мечтателям; предавая тщеславию, они и утверждают в этом особом качестве.

Действительность, окружающая «мечтателей», недвижна, сытна, лишена поэзии. «За крошечными окнами блистала широкая степная типина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие, усатые почталыоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами — лога; а дальше на десятки и сотни верст — заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы, а за дрофами — сосновые леса, «боры». В комнате с крошечными окнами сидят «тщеславные люди»: дед героя, его родня, знакомые. И разукрашивают скучный мир выдумкой. Выясняется, что один из них — ближайший родственник Ермаку и графу Демидову Сан-Донато, другой участвовал в штурме Варшавы; оказывается, и сам поселок Лебяжий был столичным городом; а на Иртыше, на отмелях, можно найти сокровища турецких богдыханов.

Тщеславие такого рода абсолютно бескорыстно: оно не профессия, а игра. Не случайно в семье героя так много наивно-детского, обескураживающего их соседей — хозяйственных казаков и вселяющего в них невольное уважение к «чужакам». Способность к подобной «игре» — знак одаренности, артистичности натуры.

Мотив «тщеславия» как своеобразной формы «сопротивления окружающей среде» с особой полнотой раскрыт в судьбе главного героя. В его же истории получил наиболее законченное выражение и другой аспект этой темы — «тщеславие» как признак артистичности: выдумщик обещает стать художником.

Юный герой только вступает в мир — его духовная жизнь концентрируется вокруг первых попыток понять себя, найти свое место в мире. Эти серьезные процессы иронически представлены в «масках», которые «выбирает» герой. Первая из них — маска индийского принца. Мечта об Индии четко оформляется у юноши сразу после того, как он стал свидетелем страшной картины самосуда над пойманным конокрадом. Неприятие «дома», где подобная жестокость никого не удивляет, порождает мечту — «корабль». Вымышленный корабль плывет по морю. «Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. *Конокрадов нет*», — записывает юноша в дневнике.

Жизнь героя проходит как бы в двух измерениях: действительном и мечтаемом. Павлодарское сельскохозяйственное училище: ученики из крестьян — «боятся всего нового, неиспытанного...» и рядом обиталище мечты — холодная застекленная терраса, похожая на пароход. «Выдуманная жизнь» обретает все большую

«реальность», и вот уже сложилась целая судьба «индийского принца, брошенного к берегам Иртыша коварными претендентами на престол моего отца», как она рассказана в письме к Ирме Шмидт («Это редкое, далекое имя воодушевило меня»). «По моему письму ходили слоны, мяукали тигры, гиппопотамы хрюкали на каждой странице. *Ничего малюсенького!*»

Но «индийский принц» долго не признается себе в том, что, отрицая мещанский мир, он тайно надеется вырвать у его хозяев «свое место под солнцем». Героя терзают честолюбивые надежды. Появляется черный плащ, трость с никелированной «рукояткой». Но в самый момент приобщения «вырядившегося» героя к гуляющей публике стыд бросает его с набережной на иртышский песок. Не радость сознания своей силы, а только стыд и горечь приносит и другие попытки самоутвердиться: обличение тетки Фioзы, «ограбление» купца. Венец всего — борьба на арене цирка. Над жалким «индийским принцем» смеются те, кого он хотел поразить волей и силой. Спадает завеса с глаз героя, свет истины лишает любимую «маску» всего ее обаяния. «Ну зачем нужен мне был этот детский лепет об индийском принце, об Индийском океане, о далеких островах? Вымалывать у мещан веру в дикую и нелепую выдумку: разве в этом заключается твоя воля, Всеволод Вячеславович?.. Какой там, к черту, индийский принц! Вытравить из себя, отменить!..»

Наступает окончательный разрыв с мещанским окружением, и... рождается новая «маска» «тщеславного героя». Это факир, дервиш. На его знамени — полная независимость от мнения толпы, он отказался во имя сохранения своего подлинного «я» от удовлетворения мелких честолюбивых желаний... «Мощный, великовольный, презирающий все блага мира», «он прежде всего господин над самим собой». Для факира исключены компромиссы с «инакомыслящими» — он знает цену их внимания. «Нет, не сойдет Бен-Али-Бей на павлодарский берег. Не смеяться вам над ним больше, господа».

Приход факира в цирк естествен и неотвратим. Если принц еще надеялся на победу в чуждом мире, то факиру один путь — в цирк. Путь... Странствия, похождения — норма жизни для такого героя. «Путешествия не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А откуда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое!» — скажет Вс. Иванов в одном из поздних своих рассказов. Но уже в романе отчетливо звучит эта мысль.

Путешествие обещает быть трудным — об этом предупреждают самые последние страницы «Факира...», где герой обретает

новую «маску» — «бедный Гордон Пим». Смысл ее проясняется двумя эпиграфами к роману: ужас при взгляде *на себя* в зеркало и исторгнутая из глубины сердца мольба: «Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!» Оставшись наедине с собой, «великовольный факир» ощутил себя «бедным Пимом» — одиноким, бездомным юнцом, еще не готовым к противостоянию жестокому миру. Хотя по природе своей эта «маска» тоже книжная, но она наиболее близка к подлинному лицу героя. Отсюда те лирические, грустно-иронические интонации, которые окрашивают конец первой части романа.

Система образов «Факира...» построена по известному принципу зеркал: герой окружен «двойниками», оттеняющими те или иные стороны личности «тщеславного человека». Таковы: маляр Глеб Журавко — пародия на мечтателя, хан Рахман-Аяз, жизненная «поправка» к надеждам «индийского принца» излечиться от бремени мечты, получив богатство. Наконец, отец героя.

Отец — интереснейший образ романа. Редкая жизнеспособность, неистощимая фантазия, сила и ловкость его поразительны, увлеченность «игрой» неизменна. Маска «индийского принца», этапная для сына, оказалась вечной для отца, стала его «лицом». В этом ключ к его характеру. Неиссякаемая увлеченность игрой питает жизнелюбие отца, вселяет в него душевное беспокойство, заставляющее учителя странствовать, тянуться ко всему новому. Но от этой же безоглядной увлеченности проистекает его легкомыслие, нежелание трезво и смело взглянуть на себя, других, равнодушие к близким, граничащее с эгоизмом... А главное — отец навсегда повенчан с окружающей его средой, разделяет ее предрассудки. В этом корень тех его расхождений с сыном, которые позднее привели их в разные политические лагеря, о чем поведал Вс. Иванов в рассказах «Отец и мать», «Камыши», романе «Мы идем в Индию».

Хотя Вс. Иванов во второй половине 30-х годов работает с наименьшим напряжением, чем в первой, — итоги их неравноценны. Теперь художнику не всегда удастся сохранить в себе способность противостоять рецептам неквалифицированной критики, не идти на какие бы то ни было творческие компромиссы. Смерть Горького, трагические события конца 30-х годов наложили свою печать на творчество Иванова. Нивелировка яркой индивидуальности ощущается и в некоторых его книгах последующих лет.

Лучшие, наиболее органичные создания Иванова 40-х годов — цикл повестей и рассказов, названных им фантастическими или «тайнственными». Появление такого цикла не кажется неожидан-

ным для этого писателя, всегда увлеченного художественным экспериментом, неизменно тяготеющего к выдумке, призванной украсить, по-новому осветить действительность. Еще в начале 20-х годов Ивановым была написана увлекательнейшая повесть «Возвращение Будды», где в суровый быт гражданской войны врывается тысячелетняя восточная легенда и герой повести, профессор Сафонов, неожиданно для себя обретал в ней духовную опору. Легенда воспринималась им как единственная реальность в сместившемся, потрясенном мире. «Благоухающий спокойствием» Будда — символ таинственной и притягательной Азии — один из любимых образов Иванова, а тема Востока, заявленная в этой ранней повести, прозвучит затем в «Эдесской святыне» — романе из фантастического цикла.

Очевидна непосредственная связь «таинственных» рассказов и с «Похождениями факира», которому свойственна взаимопроникаемость реальной жизни и мечты, сказки и суровой правды. Из романа пришел в фантастический цикл и его главный герой — «тщеславный человек», мечтатель и путешественник. Не случайно ключевая новелла цикла — «Медная лампа» тематически связана с романом, напоминает обособившуюся, ставшую самостоятельной одну из его глав.

«Медная лампа» — занимательная «сюжетная» новелла, и в то же время в ней четко выявлен особый строй авторского мышления, характерный для всего цикла. В рассказе с самого начала противопоставлены друг другу реальнейшее из реальнейшего — городской базар: он раскрыл перед юношей свои богатства — «Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправы для браслета, наждак, шелковые ленты...» — и ...«медная лампа». Она фактически бесполезна, но, по словам владельца, обещает «чудо». Столкнулись «материальное» и «духовное». Обаяние мечты, надежды действует на героя сильнее обаяния всех других радостей мира. Ведь перед нами тот же ивановский «тщеславный человек», который с радостью идет навстречу любой яркой легенде. «...как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной», — замечает он после ухода босняка, только что, в сущности, обворовавшего его. Такой герой всегда готов «обмануться», а в случае с лампой есть все возможности для этого: налицо контакт двух талантов — рассказчика и слушателя. И тайна — «чудо» — своим крылом коснулась героя.

Вторая половина рассказа воссоздает сам процесс «мечтания», когда юноша как бы примеривает на себя «одежды» императоров, героев, ученых и... отвергает их. Этот процесс — столь серьезное духовное испытание, что он оказывается более значимым, чем

даже само осуществление желаний. Поэтому-то в тот момент, когда это желание наконец избрано, пьяный босяк и отбирает лампу у растерянного юноши.

Парадоксальность авторской логики в «Медной лампе» проявляется еще не раз. К примеру, обманутый герой в итоге «обогатился». Вера в силу таланта, светлого начала в мире пришла к нему вместе с сознанием: радость и творчество так первородны, что «не погибают даже в руках пьяниц». Неожидан и в то же время закономерен эпилог рассказа. Прошли годы, история с «медной лампой» стала восприниматься как «не очень-то умно рассказанная аллегория». Но вдруг приоткрылась жизнь за сказкой. Выяснилось, что Вася Михнов, владелец лампы, не только забрал в те далекие годы деньги героя и приобрел на них часы, которые тот хотел подарить любимой,— он увел и самое любимую... «Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда»,— увещевал Михнов покупателя. В этом автор «Медной лампы» полностью согласен со своим непутевым героем.

Суть эстетической концепции цикла помогает понять спор, который ведут в новелле «Сокол» два итальянца: романтик, поклонник красоты Мальпроста и Андзолетто, носитель «здорового смысла». Мальпроста с восторгом рассказывает собеседнику легенду о русском князе, который пожертвовал подарком царя Алексея Михайловича — соколом — ради завоевания сердца любимой женщины. «Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе!» — восклицает Мальпроста. Но вот перед итальянцами сам князь. Жизнь оказывается куда драматичнее легенды. Царь не простил князя, лишил его своей милости — князь проклинает любовь и свою глупость. Что же, значит, прав Андзолетто и проникательный астраханский воевода, согласившиеся на том, что любовь князя — «придурь»? Нет, считает Мальпроста. Он, вопреки здравому смыслу, не отказывается от «правды легенды»: потрясенный драмой князя, его болью, молодой итальянец, отвечая на вопрос Андзолетто, «раскаялся ли он [князь] в своем глупом поступке или и впредь думает поступать так же?» — уверенно бросает: «Нет, не раскаялся князь». В легенде рассказан возможный, высший вариант судьбы князя, и юноша остался верен ему, как остался верен искусству, красоте, любви. Но автор опытнее и мудрее своего героя: для него одна правда не исключает другую — трезвая «правда жизни» и мудро-наивная легенды, пересекаясь, накладываются одна на другую. Так рождается сама Правда, которую исповедует художник.

Иванов в фантастическом цикле нередко использует традиционные, мифические сюжеты, но интерпретирует их по-новому, в

соответствии с Правдой, открывшейся художнику сегодня, в момент творчества...

Рассказ «Агасфер» написан в 1944 году. В нем запечатлелось время суровых испытаний. И не только в приметах быта; сама дилемма: жалость к человеку — ненависть к врагу, мотив: жизнь — смерть — бессмертие — подсказаны войной. Но все же главная проблема «Агасфера», как и других фантастических рассказов, вне-временного, философского характера. Художник уходит в прошлое, в легенду не ради политических и иных аллюзий, но сама значительность поставленных вопросов делает его рассказы подчеркнуто современными...

«Миф есть выполнение невыполнимого дотоле, невероятно трудного. Агасфер — миф о бесконечном продолжении жизни»¹, — записывал Вс. Иванов в дневнике. Писатель, опираясь на горьковскую интерпретацию мифа: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни...» — глубоко драматизирует его, создает новый, «ивановский» вариант древней легенды. В истории легендарного Агасфера Иванов увидел судьбу обычного человека. Отдавшись «неудержимому стремлению к славе и деньгам», которые, он надеялся, принесут счастье, голландец Пауль фон Эйтцен решился на великую ложь. «Разрешите мне выдумать Агасфера, — мысленно обратился он к богу. — Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну, что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» И выдуманная легенда приносит желаемые деньги, славу... Зато навсегда уходят из жизни Эйтцена любовь, душевный покой — их сменяет «страх, тоска скитаний», «боль и скорбь проклятой любви». Но главное наказание впереди — Эйтцен стал жертвой собственной «безумной мистификации». Превратившись в Агасфера, он не только не потерял способность чувствовать, судить себя и других, а по-настоящему впервые ее познал. В этом таится источник его мучений. Он не в силах сбросить с себя «одежды» Агасфера, который, где бы он ни появился, несет смерть, но казнится сознанием своей страшной миссии.

С высоты многосотлетнего опыта, пройдя через пучину страданий, фон Эйтцен — Агасфер находит самую мысль о возможности использовать человеческую доверчивость, людскую веру в «чудо» для того, чтобы обрести деньги и славу, «ужасной и безнравственной». Это и авторская ее оценка. Аморально паразитирование на

¹ Вс. Иванов, О времени, о жизни, о себе. — «Дружба народов», 1966, № 10, стр. 249.

человеческой мечте, надеждах — доказывает он судьбой своего героя.

Фон Эйтцен нарушил главное правило ивановских «тицеславных людей» — бескорыстность выдумки. Он игру превратил в профессию, свой талант выдумщика поставил на службу аморальной цели. Поэтому странствия, явившиеся для других мечтателей Иванова средством преодолеть разрыв с миром, прийти к людям, для Эйтцена — вечное странствие, только усугубляющее этот разрыв...

«Агасфер» не «чистая легенда», как «Сизиф, сын Эола». В этом рассказе легенда «вплетена» в причудливое повествование о реальной жизни, которое к тому же протекает в нескольких временных и пространственных проекциях. Сама форма новеллы «Агасфер» имитирует галлюцинации героя — рассказчика, только что вернувшегося с фронта после сильной контузии. К тому же ему изменила любимая. Из этих двух источников: тяжелый недуг — предвестие смерти и ревность — возникает болезненные фантазии героя об Агасфере, черпающем свое бессмертие в гибели очередной жертвы (на этот раз им выбран сам герой!), бредовые видения, где любовь то оказывается проклятием, то единственным спасением. Но в сюжете рассказа выявились и другие его мотивы. В «Агасфере» дают о себе знать экспериментаторские, правда, не во всем удавшиеся, поиски Иванова в области создания многозначного сюжета. Так мотив разгадки «тайны», характерный для всего фантастического цикла, вносит в конструкцию новеллы сугубо логический элемент — исследования, анализа. В движении сюжета отразились и стадии болезни героя: в момент обнаружения «тайны» наступает кризис — за ним грядет «новое рождение». Наконец, как нам кажется, «Агасфер» в своем сюжетном движении воспроизводит сам творческий процесс на его первом этапе — кристаллизацию художественного замысла, когда масса сырого материала еще только начинает организовываться в создание искусства.

Современная интерпретация древнего мифа положена и в основу блестящей новеллы «Сизиф, сын Эола». Рассказ, как и все произведения фантастического цикла, открыто диалогичен. И хотя солдат Полеандр и сын бога Сизиф не ведут развернутых споров, подобно героям «Агасфера», авторская мысль утверждается в противопоставлении их жизненных позиций. Грубоватый, смелый и доверчивый Полеандр впитал в себя многие качества ивановского мечтателя и путешественника. Но он уже не юноша, только пустившийся в странствие, — он в конце пути. Солдат перед выбором, какой обрести «дом», чему посвятить остаток дней. В конце жизненного пути и Сизиф, только что прощенный Зевсом и теперь

свободный от тяжелой и бессмысленной работы. Он тоже перед выбором «дома» и дела. В этот «момент решения» встретились солдат и сын бога.

Если в античной мифе человек лишь игрушка в руках богов и их волей ограничивается мотивировка действий мифических героев, то в рассказе Иванова люди — хозяева своей судьбы, и за их поступками скрыта целая «философия жизни». Полеандр думал возвратиться в родной Коринф и стать окрашивателем тканей. Но, встретив Сизифа, он стал надеяться на лучший жребий. «...ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полеандр, военачальник, стоящий рядом с Сизифом». «Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..» — уговаривает солдат Сизифа, соблазняя его рассказами о подвигах Александра Македонского, превратившего в пустыню не один цветущий город. Но Сизиф, согласившийся было идти в Коринф, остается в своей хижине: лучше «ворочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...».

«Сизифов труд» — в новелле Иванова не наказание, а добровольно избранная работа. Много лет Сизиф был оторван от жизни людей — «камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться», и теперь из уст Полеандра он узнал о событиях в мире. Сизиф не нашел в них высокого смысла. Чем отличается от таких «бессмысленных» действий, как войны, грабежи, борьба за власть, его труд? Но его работа хотя бы не приносит вреда — она самая безобидная из тех, которые ему предлагает Полеандр. И вот хижина под горой, ранее казавшаяся временным пристанищем, вдруг видится Сизифу единственным возможным домом, а «сизифов труд» — наиболее приемлемым трудом.

Полеандр потрясен спокойным решением Сизифа. «Ну, а где же тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону». У солдата нет трезвой мудрости Сизифа. Полеандр предчувствует, что Коринф встретит его не по-родственному, но идет туда. «И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..» — думает он, глядя на взбирающегося в гору Сизифа...

«Основная тема наших романов — человек *деятельный и не-деятельный*»¹, — записывал Иванов в дневнике. Размышляя на эту же тему в «Сизифе», Иванов принимает «бездеятельность» Сизифа как отрицание действий Полеандров — военачальников, императо-

¹ В с. И в а н о в, О времени, о жизни, о себе. — «Дружба народов», 1966, № 10, стр. 232.

ров, стоящих за ними. И только так. С несравненно большей обстоятельностью коллизия: деятельность — бездеятельность смогла раскрыться в «Эдесской святыне».

Роман «Эдесская святыня» стилизован под развернутую легенду. Художник не только блестяще орнаментировал роман в духе восточных сказаний, но сумел уловить сам характер мироощущений людей столь далекой и экзотической эпохи (Багдад X века).

«Эдесская святыня» — вершинное создание ивановского фантастического цикла. В ней сведены вместе и завершены почти все мотивы ранее написанных рассказов. Артистическая натура фантазера и мечтателя предстала в романе в ее самом законченном варианте: герой романа — поэт. «Похождения» — путешествие в Константинополь с «эдесской святыней» — становятся для него подлинным открытием мира. Наконец, вечный жребий мечтателей — быть обманутыми — здесь оборачивается трагическим исходом. «Обман» стоил герою жизни. Такая законченность и обнаженность решений, безусловно, связана и с особой формой этого романа, где легенда подчас смыкается с притчей, для которой характерна философическая обобщенность, намеренная поучительность развязки...

Поэт Махмуд — личность цельная, сильная. Двойственность его природы еще не осознана самим героем: Махмуду чужды сомнения, недовольство собой... Но сложность судьбы поэта как раз и предопределена этой двойственностью. Две стороны его личности как бы персонифицированы в его учителях-спутниках: законник Джелладине и кади (судье) Ахмете. Первый — «ходячий сборник форм и образцов». Второй — «ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов». Кади — «багровый, полнокровный, рыжебородый», широкомыслящий и терпимый. Законник — «согнутый, изможденный и порядком озлобленный», — тще славен, мстителен. Хотя по мере развития сюжета растет антагонизм Махмуда и законника, умный кади по-прежнему видит сходство между поэтом и «нерастворимым Джелладином», жестоким человеком и верным рабом халифа...

«И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?.. Разве она [поэзия] не меч или огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!..» — восклицает Махмуд. Его поэзия воинственна — Махмуд полон ненависти к Византии, погубившей его отца. Искренний порыв поэта совпал с желаниями халифа: его в это время утомили поэты, пишущие о любви к женщине, воспевающие ее рот и ноги. «Как будто у нас нет коней и оружия!»

Известная коллизия — поэт и царь — в романе Иванова осложнена тем, что заключенный в самой ее основе конфликт не принимается героем, более того, Махмуд искренне предан халифу, готов «перевести» на язык поэзии его призывы, указания.

Однако даже обласканный халифом поэт не может рассчитывать на свободу своих мыслей и желаний. «Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственными соображениями... Пегас древних уже не обгоняет коня халифа», — предупреждает визирь поэта. Поставив свой талант на службу деспоту, Махмуд оказался в полной зависимости от его настроений, смены политических ориентаций... Но мудрый кади, в уста которого Иванов вложил многие выстраданные им самим мысли, видит и другую опасность, подстерегающую поэта. Махмуд, избрав миссию посредника между халифом и Багдадом (народом), сознательно обеднил свое искусство. Ведь поэзия не может питаться лишь мстью; быть только зовом войны. Неестественно само противопоставление, к которому прибегает Махмуд: он не певец любви, а поэт-воин. Напрасно пытается кади доказать ему «преимущество любовной песни над воинственной», — поэт подавляет в себе желание воспеть свою любовь к светловолосой Дажде.

Вся логика романа сведена в одно доказательство: сама природа художественного дарования такова, что, вопреки субъективным намерениям творца его, искусство приобретает подлинно человеческое содержание, становится голосом сердца простых людей. Махмуд хотел сделать свою поэзию «мечом халифа» и ислама, но она осталась просто настоящей поэзией. Созданная им в честь возлюбленной песня «Я приду к Тебе...» стала песней народа и... вызвала гнев халифа. Когда тот в первый раз услышал песню, он снисходительно усмехнулся: «Дети. Ну что ж, пусть поют». В минуты раздражения, вызванного унижительными для него переговорами с византийцами, халиф, опять уловив знакомую мелодию, бросил: «Мне нужны другие песни», — и приказал наказать автора. Судьба поэта была решена. Но трагедия Махмуда грядет не только извне — она созревает изнутри. Поэт, став придворным, «потерял себя»: ему изменила смелость и удача, «он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала». Махмуд поверил лживым глазам халифа, а не сердцу. Потеряв себя, он не завоевал и милости тирана — тот «забыл о поэте».

Поэт жил в блистательном Багдаде — он ковал ножи для халифа, стал придворным, мечтал быть воином, но умер как поэт... Он был зарезан тем самым ножом, который с любовью выковал для халифа. В этой детали заключен большой смысл.

Эпилог — последний аккорд романа, где его «основная мелодия» улавливается на редкость отчетливо. Прошли годы. Воинственные песни погибшего поэта воскресли в дни войны с византийцами. Но окончилась война, и эти песни были забыты — вместе с их автором. Жива песня любви — «Я приду к Тебе...».

«Весна 1940. Лето 1962» — обозначил Вс. Иванов время работы над романом «Вулкан». Датировка многое проясняет в его структуре: здесь явно ощущаются два пласта — один, крепко сбитый, цельный, другой, смело заявленный, но художественно в полной мере не реализованный... Первый связан с центральной коллизией романа, судьбой таланта в искусстве, второй сфокусировал в себе размышления писателя о трудном для художников и архитекторов времени конца 30-х годов. Оба пласта, оплодотворяя друг друга, сохраняют тем не менее некую суверенность, не всегда художественно оправданную. Порой ощущается несовпадение между частным, бытовым сюжетом и той идейной (философской, этической) надстройкой, которая на него опирается.

Пафос «Вулкана» «декларирован» уже на самых первых его страницах. Евдоша, выслушав Гармаша, оправдывающего свой отказ от смелых поисков в живописи, горячо возражает ему: «Неправда! Надо держаться... Не только пальмовыми ветвями будут тебя опаживать и кричать: «Осанна!» Раз ты художник, и муку прими. И не беги ее. И не трусь! И не вали на обстоятельства!» Противостояние обстоятельствам, верность своему дарованию есть непременное условие верности искусству, нравственным ценностям. Эта истина во всей ее драматической простоте раскрылась перед героями романа в те месяцы московской предвоенной жизни, которые предшествовали их приезду в солнечный Коктебель.

«Обстоятельства», тяготеющие над героями романа, запечатлены Ивановым в двух лейтмотивных словесных образах — «безумное молчание» и «Рим». Тяжеловесный, ложноклассический «римский стиль» в архитектуре насаждался в обстановке бездумного подчинения авторитетам. Опаснее всего было внутреннее смирение недавних смелых новаторов. «Кто знает, быть может, стремление к пышности, мрамору, золоту и есть эманация величия нашей эпохи, которой мы не ощущаем, как не видим в воздухе паров испаряющейся воды», — успокаивали они себя.

Но, доказывает Иванов, проклятие отступничества в любых условиях остается таковым. Суд совести всегда одинаково страшен.

Он настаивает и предавшего *свое* искусство Захария Гармаша, и Павла Ферязева, предавшего искусство *как таковое*, идею, друзей. Гармаш — талантливый самородок, сын рыбака, придя пешком со сказочного Белого моря в Москву, быстро стал премьером современного искусства. Создал в предреволюционные годы лучшую свою картину — «Город в проскомидию»: «нечто из кубов, плоскостей, алое, резкое и по-своему красноречивое». Гармаш писал ее в Коктебеле. «Он искал, а не подражал ни своим современникам, ни классикам». Прошло много лет — новый приезд в Коктебель — и постоянное возвращение к прошлому, сосредоточенность на одном: почему «он отступил, отступил постыдно, холодно»... «Теперь на алтаре своем он возжигал дикий — двухсвечник, символ двойного единства служения мамоне и пафосу». Презирая трусливых Павла Ферязева и Фому Затонского, Гармаш чувствует свое сродство с ними: мучается, ревнует, язвит, даже интригует. Большой и... жалкий человек.

Молодой архитектор Ферязев, ставший снабженцем, подло обринулся на своего друга Орехова, когда тот защищал искусство от посягательств «Рима». Струсив однажды, Павел вступил на гибельный путь. «Почему, подло солгав один раз, непременно и торопливо нужно лгать второй, третий, и так — без конца и без края?» — мучительно размышляет герой. Оставшаяся необъясненной смерть Павла (то ли несчастный случай, то ли самоубийство) — это и возмездие, и суд героя над собой: «Отвращение к самому себе охватило его цепко».

Попрадание собственного дарования, измена искусству, отказ от подлинно нравственных норм поведения... Разные по масштабу «проступки» персонажей расцениваются Ивановым как звенья одной цепи. Художник предельно требователен к своим героям, не прощает им любого отступничества.

Авторской позицией продиктован во многом и особый характер психологического анализа в «Вулкане», в одном из отступлений Иванов так формулирует суть своего метода: «...я опишу не только то, что говорила Евдоша, но и то, что она при этом только думала. И даже то, что она и не говорила и не думала, вернее сказать, думала, но так скрытно, так затаенно — видя это как бы издалека, краешком глаза, — что, пожалуй, и сама не в состоянии была осознать...» Углубляясь в «тайное тайных» персонажей, освещая самые затаенные, темные уголки их души, писатель не ограничивается, как в 20-е годы, фиксацией чувств в их самом общем виде — они дробятся, препарируются, обсуждаются... Иванов заставляет своих героев быть предельно откровенными в мучитель-

ных самобичеваниях, с мнительной дотошностью ловить себя на мелких мыслях, путаных чувствах... О Достоевском напоминают их настойчивые саморазоблачения и то состояние нервной напряженности, взвинченности, предчувствия несчастья, в котором пребывают они.

Иванов, выходя на новые «психологические рубежи», не перестает быть и тем художником, который создавал фантастические рассказы. Воображение Гармаша населяет мир коктебельских скал античными богами. Легенды преломляются в снах Евдоши. Яркие, блестяще поданные мифы не чисто художественный орнамент романа, не «вставные новеллы». На них лежит большая смысловая и сюжетная нагрузка. Сны и легенды сопровождают размышления героев, «договаривают» то, в чем они боятся признаться себе. Более того, мифы направляют их действия. «Не он ли [Гармаш] своими легендами подстроил эту мою «борьбу», чтоб еще сильнее возненавидеть Павла», — догадывается Евдоша. Взаимопроникновение легенды и жизни, характерное для романа, ярко выявилось в пейзажных картинах. Коктебельское море, скалы — это место реальнейшего действия и «тут всюду, куда ни глянешь, притворы легенд». Ивановский Коктебель напоминает полотно Рериха, с их резкой контрастностью красок, таинственной, влекущей глубиной...

Жанровая многоплановость романа включает в себя и редкий у Иванова открытый авторский комментарий. Иногда он оформлен как самостоятельные отступления от сюжета, иногда как «философия героини». Евдоша, архитектор Орехова, — личность светлая, прямая, ее образ несет в себе так дорогой художнику в этом романе мотив — «отрицать, сопротивляться...». Но даже в ее устах авторские обобщения не кажутся органичными, к тому же часто они не «совпадают» с конкретной сюжетной ситуацией. Иванов — живописец, психолог — одержал в «Вулкане» более убедительную победу, чем Иванов — философ, непосредственно обращающийся к читателю.

Большую и сложную жизнь в искусстве прожил Вс. Иванов, до последних своих дней не устававший искать, экспериментировать... «Новый Всеволод Иванов?!» — не один раз восклицали критики, пораженные неожиданностью его работ, отмечающих их прогнозы. Художник умел «превосходно ссориться с самим собой» (М. Горький), отказываясь от эксплуатации освоенных тем, а вместе с ними от привычной художественной манеры.

В двухтомнике «Избранных произведений» Иванова читатель найдет рядом с популярными его рассказами и повестями давно, с 20-х годов, не перепечатывавшиеся, а также романы и рассказы, изданные посмертно.

Жизнь приписывает новые страницы к ивановской «Истории моих книг». Заканчивал ее писатель воспоминаниями о своих учителях — Горьком, Блоке: «Эти учителя гибкого и грозного мужества, которое так необходимо художнику, научили и учат меня главному — умению видеть жизнь в ее наиболее героических, стойких и гуманистических проявлениях...»¹

Иванов тоже владел этим мужеством: его искусство глубоко жизненно и человечно.

Е. Краснощекова

¹ Вс. Иванов, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, стр. 118.

**РОМАНЫ
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ**



ФАКИР ПОДХОДИТ К ЦИРКУ



ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ

замечательных походов, ошибок, столкновений, дум, изобретений знаменитого факира и дервиша

БЕН-АЛИ-ВЕЯ,

правдиво описанных им самим в пяти частях со включением очерков:

о его «Соломенной собаке»; о поисках Волшебной библиотеки и восхитительной Индии; о его странствиях по Сибири и Уралу; о фауне и флоре виденных им местностей; о встречах и беседах с офицерами и солдатами времен империалистической войны; о Красной гвардии; об изучении им ремесел; о сочиненных им драмах; о стихах, написанных по разным поводам; о сборе им полезных сведений, общих и частных, во всех отраслях хозяйства, как-то: земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, птицеводстве, звериной, птичьей и рыбной ловле, в поваренном и кондитерском искусстве, в лечении обыкновенных болезней домашними средствами, во всем, что входит в круг хозяйственных занятий и может способствовать приумножению достатка; с присовокуплением, где нужно, изъяснений из естествознания, физики, химии, страстей и увеселений, производимых цифрами, картами, зверьми, а также пословиц, анекдотов, суеверий, например: «Судьба треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского, сопровождаемая краткой мифологией и каталогом листков персидской сивиллы Самбетты», и т. д. и т. п.

1895—1918 гг.

Когда я поглядел на себя в осколок зеркала при тусклом свете фонаря, мной овладел такой страх при виде себя самого, столь похожего на ужасный труп, что я задрожал как лист и готов был отречься от своей роли.

Эдгар По, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета»

— Пим! — шептал голос.— Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!

В этот раз я слышал совершенно ясно, что кто-то произносил эти слова совсем близко от меня.

Жюль Верн, «Ледяной сфинкс»

Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас тридцать девять лет, я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством, почти страстным, объехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня.

Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо семьдесят лет, рассказывал всем, что ему сто семнадцать, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу, возле божницы, висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. Шесть дней в неделю он страшно враждовал с богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал бога, сыпались из его рта непрерывно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фольговые ризы мог выдавать за серебряные. Приходило воскресенье. У деда собирались гости. Появлялся поселковый поп Андрей, ехидный и глуховатый старикашка, с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый длинный платок. Он больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с богом. Дед протирали иконы постным мас-

лом, зажигал лампадку, а позднее ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его, а особенно ловко утешал тогда, когда деда пороли шпицрутенами.

— Каторжников-то, кажись, не пороли шпицрутенами? — осторожно говорил ехидный поп Андрей, так быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до полу.

— Это почему же не пороть бы?

— Военных пороли шпицрутенами, и даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые гордились, когда подпадали к такому наказанию.

— Вот меня и пороли, поймавши после восстания! Я воевал за Польшу, будучи польским военным.

— Любопытно бы знать, через какой способ пороли шпицрутенами?

— Для каждого удара отдельная палка.

— А если три тысячи ударов? — спрашивал ехидно попик.

— Восемь тысяч я выдержал! — орал тощим своим голосом дед Семен. — Восемь тысяч, и на каждый удар отдельная палка. Пятнадцать возов палок на меня истратили, а я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал: «Послать его к чертям собачьим в Сибирь, на Иртыш, в поселок Лебяжий, и пусть он живет до ста пятидесяти лет». И проживу!

— Как не прожить, — соглашались гости.

О, эта родня моего деда! Выслушав, они рассказывали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столичным городом! А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов.

Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почтальоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами — лога; а дальше — на десятки

и сотни верст — заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы; а за дрофами — сосновые леса, «боры».

Бабка моя Фекла, жена деда Семена, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство деда ей доставляло удовольствие: чем больше страданий, тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась, а в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькая, курносенькая, сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами.

По двору, поглядывая на небо, бегал длинный, синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами. Он любил стрелять ворон и коршунов, охотящихся за цыплятами. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления.

Бабка Фекла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяженская святая Фекла. Денег за лечение она не брала, не брал их и дед Семен, который, хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен: если богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает святых.

Бабка Фекла лечила однажды богатого киргиза Таксы-бая. Киргиз страдал болями в желудке, бабка велела съесть ему на рассвете полфунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься десять дней. Выздоровев, Таксы-бай привел мне в подарок необъезженного жеребца. Он подарил мне коня потому, что ни дед, ни бабка, ни тем более отец мой подарка б не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1910 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мною числилось пятнадцать лет жизни.

Конь, как и полагается необъезженному коню, бил копытами, раздувал ноздри, хвост — трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унижены любопытствующими казаками, все желали видеть, как я буду объезжать подарок, ибо, по казачьему обычаю, полагалось сесть на пода-

ренного коня, если он обьезженный, один раз, а если не обьезженный — три раза, а спишет он или не спишет — это уже дело другое.

Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью. Бабка — в землю, дед — целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился. Я перелетел через его голову. Конь перелетел через меня. Я перелетел через сугроб. Снежные бури перелетели через меня. Из сугроба меня выволокли за ноги. Отец смотрел скромно, бабка — готовясь излечить, дед — вспоминая свою молодость.

Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрючинами в руках за конем побежали киргизы. «Хоть бы им его совсем не поймать!» — томительно думал я. Широко вокруг меня растянулась пустота, упиравшаяся в молчаливое презрение. Из снега торчали втопанные конем мои рукавицы, шапка, полушубок; в ногах звенело; из ушей лилась вода.

— Ведут, — сказала бабка лечебным своим голосом.

И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен, пар клубился над ним, пена струилась изо рта, от каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. Треск из его желудка походил на треск лопающихся льдин при крещенских морозах. А глаза у него были нежные, голубые. Надеясь единственно на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал:

— Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой. И никакими святыми не исцелить его.

— Христос и мертвых воскрешал, — обиделась бабка Фекла.

— А если я сегодня в Христа не верю, — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло. — Если мне сегодня на всех богов начхать? Слезай, Сиволот!

— Мне надо проехать третий раз, — сказал я, немедленно слезая.

— Наездишься после меня. Я вам покажу, как надо коней обьезжать!

Сам Таксы-бай почтительнейше подал деду Семену стремя.

— Я вам покажу, как обьезжали коней сто лет тому назад, — сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под

себя полы чапана. Он похлопал рукавицей вдоль заинде-
вевшей гривы и взял повод.— Пускай!

— Пу-уска-ай! — воскликнули киргизы.

— Эх ты, милый! — взвизгнул дед.

Киргизы отпрыгнули. Сердце мое екнуло от радости. Конь совершил такой невероятный прыжок, что мне было приятно подумать: вряд ли падал кто-нибудь с такой вы-
соты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору, и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот, уже без всадника, махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежит в сугробе как раз в том месте, где недавно лежал я.

Я схватил деда за ноги.

— Тащите меня под образа,— сказал дед Семен,— а ты, Фекла, зови всех богов меня исцелять. Не дожить мне до полутора ста лет. Да и тебе, Сиволот, не дожить.

Мне было жалко деда. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чапана, его тощий го-
лос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в божьем могуществе. Несколько лет назад, в селе Волчихе, отец определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчовый халат, се-
ребристый и широкий. Я подавал кадило. Когда поп ухо-
дил из алтаря, я пил теплое, разбавленное кипятком вино; приготовленное для причастия, и курил украденные у отца папиросы, пуская дым в форточку печки. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня, я под-
палил свечкой его бороду. Я прожег ее вплоть до дерева. Затем я съел четыре просфоры, приготовленные для при-
частия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, кото-
рым запивают причастие, и наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал. И тогда, ис-
ключительно только с целью напакостить богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшем себя почему-то к польским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который отдал свою душу сатане. У пана Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества, но дьяволу она почему-то по-
нравилась, и пан променял ее с большой выгодой. Его, например, никак не могли арестовать, он безнаказанно со-
вершал всяческие жульничества и подлоги, он исчез, нари-
совав на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяво-

лом мне все-таки не хотелось. Я рассчитал, что, если напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, оно непосредственно попадет в руки дьяволу, ибо дьявол как раз здесь сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к печке и плевал в нее. «Не иначе,— думал я,— что он плюет на дьявола».

С трудом я выпросил перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сынка. Ножик оказался тупым. Я попробовал прокусить руку — больно. Тогда я сбегал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку. Показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пан Твардовский подписывал договор.

Перо было очинено плохо. Писал я на подоконнике в алтаре. За окном лежали неисчислимые сугробы. Взлетали голуби. Шло говение. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно, атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен был пустыми бутылками «церковного» вина. Оказалось, что писать целый договор, помимо незнания его формы, было трудно и потому еще, что поп мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен. В. Иванов» — и бросил эту бумажку в печь, но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шепотом мои условия. Я требовал: валенки-чесанки цвета яичного желтка в молоке, «барнаульские», расшитые; коньки; перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел на поповском чердаке.

Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнять наш договор. Коньки я получил приблизительно лет шесть спустя. «Таинственный остров» прочел через восемь лет, перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею.

Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фекла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время — какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь бы ты, Семен, посторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, она желала ему смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные, неистребимые страда-

ния, которыми мучились все святые! Дед Семен вносил легкомыслие в ее жизнь.

Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось. И не успел труп деда остыть, как уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня объездить, а стосемнадцатилетнему деду удалось укротить. Кстати сказать, конь оказался очень смиренным, а дурил он тогда оттого, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но еще более удивительно: историю о том, как я не смог объездить коня, а стосемнадцатилетний дед мой объездил, я рассказывал еще совсем недавно.

Бабка Фекла ото дня в день святела все больше и больше. Просто износу не было ее святости! Притворяясь слепой, она требовала, чтобы ее вели под руки не меньше двух человек, причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно, нашему дому было приятно, что вдоль всей Горькой линии о нас шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди, и однажды даже остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубочев. Но моему отцу видеть это было обидно. Он должен чем-нибудь пробыть и перебыть!

Мой отец, Вячеслав Алексеевич Иванов, был удивительнейший человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неимоверном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее словам, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, «завоевателя Туркестана». Есть все основания полагать, — хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом, — у бабки Дарьи случился грех с кучером. Но так как отец мой был «незаконно-рожденный», то бабка рассказывала, что грех этот от Кауфмана. Отец мой работал раньше на приисках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебяженских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику! Уж на что чистописание, казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам, и они опять-таки плясали.

И вот этот учитель Вячеслав Иванов сделался зятем святой Феклы. Ее святость огорчала его. Какое бы дело ни совершил отец для славы, все же бабка Фекла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в «городке». Он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в «байгу»¹ боролся с искуснейшими борцами — и часто побеждал. Но тут бабка Фекла исцеляет глухую! Бабка Фекла молится о дожде, и дождь выпадает. Заболеет корова — она мгновенно вылечит. У станичного атамана Трубочева угнали аргамака — она помогла найти воров.

Отец приносил ей «кожаные» книги, читал «пролог» и Четьи-Минеи, указывая, что святые не таковы. Нигде не написано, например, будто святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке трудно было отказаться, и она говорила: как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства.

И точно, она их испытала.

Киргизы доверчивее казаков. К бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми пускай, но хитрыми глазами.

Отец выписал почтой азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он выучил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому ишану Гауказу Фахтулину проверить свои знания. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им Коран по-арабски. Он читал и толковал по всяким поводам: при болезни, при несчастьи, при счастье. Он объяснял будущее, он разъяснял настоящее. Он врачевал.

Киргизы повалили к отцу.

Он отказывался от кумыса. Вот он какой бессребреник! Он отдавал кумыс бабке.

Исцелять, по-видимому, возможно многими способами. Отец, например, исцелял посредством Корана. Но бабка Фекла не верила в силу Корана и говорила, что отец украл у нее тайну трав. Вскоре она нажаловалась попу Андрею. «Учителя Иванова посетил дьявол», — говорила она. Он отнял у нее киргизов, которых она хотела обра-

¹ Байга — скачки на народных праздниках.

тить в христианство. Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный о. Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубочев. Благочинный был высокий седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник.

— Ты чего это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься?

— Нехорошо! Жил как человек, а тут...— Станичный атаман склонил толстую голову набок и задремал, ибо генерал Шмит, наказной атаман сибирского казачьего войска, тоже любил подремать.

— Надо, прежде чем осуждение, узнай причины,— сказал им отец.— Вот, смотрите, здесь написано...

Он раскрыл Коран и прочел по-арабски.

— А я киргизам объясняю, что все это ложь. Я их сшибаю с направления через неправильное толкование и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов-то спросите-ка, каковы их мысли теперь о своем Магомете.

— Охота мне,— сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца.

Отец был тоже доволен. Но битвы между ним и бабкой продолжались.

Получив раз двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фекле.

Кумыс ей нравился. Она пила стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенно страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. И кстати, он рассказал о найденном им и немедленно пропитом кладе сасанидских монет. На дворе жара и высокое солнце.

Бабка охмелела. Она вдруг запела, но не церковное, а «Вот мчится тройка удалая». Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо. Внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза. Он весь стройный, ловкий, узкий.

Бабка пошла в пляс. Вначале гости подумали, что так полагается для святых или что она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка прозрела! Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, облевав все вокруг и пририсовав углем великомученице Варваре — иконе, которая стояла у входа, нечто непотребное. Отец был жалостлив. Он принес домой бабку на плечах, уложил спать, а непотребность счистил.

Свержение Феклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла возратить себе святость, она пустилась в торговлю. Она подыскивала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубочева, обеспокоился и побежал жаловаться.

— Она же кыргыз хочет взять с собой в коммерцию! Кыргызы будут заслуженным казакам, георгиевским кавалерам, товары продавать.

Станичный атаман призвал моего отца.

— Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного... Вот ты к чему кыргыз-то Кораном потчевал. Приобрести с ними хочешь капитал? Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам.

Отец испугался и захлопал глазами.

— Мирись, пускай лучше она святой останется.

Отец побежал мириться. Многое он придумывал, дабы вернуть бабку Феклу к святости. Он и Коран толковал, где выходило: киргизу не полагается торговать в компании с христианами. Он и грозил, что сам откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Феклой торговли не утихали, хотя компаньонов, особенно когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что бабка, накопив денег, откроет торговлю и его тогда выгонят, обдумывал иной поворот своей жизни.

Отец мой решил стать ученым. К тому же он знал арабский язык, знал и киргизский. Свою ученую деятельность он начал с того, что взялся составить словарь киргизского языка. Тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне сделаться студентом», — вдруг сказал отец.

Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу тридцать рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву — сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил три года. Мать моя Ирина Семеновна в это время служила по людям в кухарках. Изредка мы получали от него письма. Одно из них было из Иерусалима. Сдав экзамен, он надумал по дороге посетить Мекку и для этого, по-прежнему пешком, направился в Одессу.

В Одессе он познакомился с богатыми мусульманами, которым сказал, что желает перейти, или даже перешел,

в мусульманство. Он приобрел зеленую чалму и называл себя Иван-беем. Богатые мусульмане купили ему билет на пароход, который должен был везти паломников к Мекке. Перед отъездом, на постоялом дворе, он разговаривал с паломниками, которые на другом пароходе уезжали в Иерусалим. Его начали стыдить. Тогда отец мой решил вначале съездить в Иерусалим... Как-никак он православный. Да и пароход, который шел в Иерусалим, отправлялся раньше, чем меккский. Отец продал мусульманский билет и купил себе новый билет, до Иерусалима.

В 1912 году, приехав из Павлодара, нашего уездного городка, уже наборщиком, то есть когда я считал себя человеком совсем самостоятельным, я спрашивал у отца:

— Ну, пап, каков из себя Иерусалим?

— Так, вроде Ташкента, — уклончиво отвечал отец.

Мы стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица. Бредет желтый, отбившийся от стада теленок. Девчонка гонит его хворостиной, теленок прыгает и никак не хочет вернуться в пригон. Утки поднимаются лениво по откосу от Иртыша.

Отец вынес из странствований длинную костяную зубочистку. Эта зубочистка в поселке всех необычайно удивляла. Отец постоянно, даже во время обеда, ковырял ею в зубах. И сейчас он стоит, ковыряя ею.

Сдав в Лазаревском институте экзамен, отец достал зашитые тридцать рублей, купил тужурку с погонами, блестящими пуговицами и петлицами. На штаны не хватило. Через три года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился у ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов ходит возле поселка, и они считали, что он поступает правильно. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, взяли трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках.

Тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки пять книг, взял их под мышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам.

И казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, и казачки кланялись в пояс,

Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил навсегда в сундук.

— Я не был в Ташкенте.

— Побывай, полезно,— отвечает отец, ковыряя в зубах.

— Нехорошо, пап.

— Чего нехорошо?

— Нехорошо этак легкомысленно действовать. Мать три года мучилась по чужим людям.

— Я тоже мучился по чужим людям,— говорит отец.— Кормили меня, браток, с трудом, придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дряни, а потом работать заставят, да еще шею набьют, если плохо работаешь. А в Иерусалиме, в подворье, заставили нужники чистить, честное слово! Ладно, сказал им, мол, студент я, тогда на картошку пересадили. А я и дома картошки не чищу.

— Все-таки каков он, Иерусалим-то?

— Вроде Самарканда,— ответил, подумав, отец.— Собак, пожалуй, больше.

Я помолчал и сказал решительно:

— Эх, нехорошо!

— Чего нехорошего-то? Если бога нет, то просто прогулялся из любопытства, а если бог имеется, то все-таки подвиг, зачтут там, на небе-то.

— Тщеславие — штука нехорошая.

— Тщеславие? — повторил он с удивлением.— Этакого слова я вроде и не проходил в словарях.

— Тщеславие,— объяснил я,— присуще многим особям, пап, но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие — это когда гордятся пустяковыми, часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые и необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно вколачивается в семье последовательно и долго. Оно отражается на детях! Благодаря тщеславию на детей не обращается внимания, они растут покинутыми, предоставленные влиянию улицы, они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко — с размаху. Тщеславие тем еще опаснее, что оно ужасно прилипчиво, оно приобретает быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие губительно для женщин, но еще губительнее оно для мужчин! Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке! Сельскохозяйственные машины, вме-

сто того чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами, они ржавеют и портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливается все заработанное в течение года, лучших коней загоняют на скачках, девушек пропивают, как скот...

Отец крайне огорчился. У него текли по щекам слезы. Он припал к моему плечу. Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него столь сильно.

Я тоже растрогался и прослезился.

— Ты прав, Всеволод, — сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы.

— Еще бы не прав.

— Ты прав, Всеволод. Не женись, брат.

— Я и не собираюсь, — сказал я, не понимая его.

— Не женись, сыночек. Я тебе выскажу откровенно. Хоть мне и трудно это. Долго присматриваюсь я к тебе. Правильно ты выпустил слово — тще-е-еславие, — сказал он протяжно. — Сто лет думай, и лучшего определения нету. На те-е-бя, Всеволод.

Я оторопел.

— Для меня?

— Не женись. Загубит жену и детей, Всеволод, твое тщеславие.

— Я же про тебя говорил, пап!

Отец соболезнующе погладил меня по голове.

— Я тебя понимаю, Всеволод, когда ты на других сваливаешь. Как же иначе? Молодость любит говорить иносказательно. Только к старости приобретаешь откровенность. Теперь, будучи стариком, я могу тебе указать, что ты, Всеволод, поистине тщеславнейший человек. Повторю тебе еще раз: не губи ты себя, а главное — не губи своих детей. Будущих. Хотя бы! Я бы тебе в монахи посоветовал.

— Капусту жрать?

— Жизнь, конечно, там трудная. Дерутся они, пьянствуют. Но, по крайней мере, не кому другому, как только таким же испорченным, портят жизнь. А тут ты будешь приличным людям ломать хребты. Вот ты насчет сельскохозяйственных машин. Выставлены, действительно. Ржавеют. Тебе кажется — глупость, а на самом деле — коммерция.

— Какая ж тут, пап, коммерция?

— Значит, богатство, стоит на глазах. Больше кредита откроют. На земле все творится для кредита.

Он мечтательно посмотрел вдоль улицы. Девчонка все еще не загнала телушки. Утки все еще переваливаются с боку на бок. Все еще лениво светит солнце. Выгон. Кругом пески, а крыльцо у школы высокое, словно спасаются от болот.

Отец вдруг сказал:

— А ты слышал, у нас в поселке банк собираются открыть? Кредиты требуются для казачков крупные, а как без банка?

Он толкнул меня кулаком в бок и радостно рассмеялся:

— А мне, кажись, быть директором! Вот кабы не твое тщеславие, так и тебя пристроить бы. Почему я директором? Потому что я шестью восточными владею и западно-французским.

О языках он не врал. К тому времени, правда, плохо, он знал шесть восточных языков и уже читал по-французски. И тем более обидно было мне слушать о банке, что я уже предчувствовал: вечером моя родня будет обсуждать кандидатуру директора, ему назначат не менее пяти тысяч жалованья, он накупит подарков, он очастливит всех своих друзей, табак он непременно начнет выписывать из Турции, для переговоров Персия и Афганистан потянут к нему караваны.

Мне грустно.

— Вспоминаю... Ты и в детстве, Всеволод, уже тщеславился. Скажешь, нет? Прогуляйся-ка попробуй назад...

2

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе, Барнаульского уезда, где в начале русско-японской войны отец мой служил учителем.

Все, что происходило до Волчихи, я помню смутно.

Например, с рассказов ли матери, или это мне сохранила своя память: я вижу крыльцо школы; отец и мать ушли в лес по ягоды, меня оставили одного. Чтобы я не уполз, меня привязали веревкой за ногу к столбу. Возле подушки — тарелка с молоком и большая деревянная ложка.

Под крыльцом живет громадная черная змея. Когда родители скрываются в лес, змея вползает на крыльцо.

Она спит на моей подушке и любит хлебать молоко из моей тарелки. Если она надоедает мне, я бью ее ложкой по голове. Змея отворачивается, позволяет мне сделать несколько глотков и вновь лезет в тарелку. Однажды я вижу у ворот необыкновенное, бледное лицо моего отца. Он испуганно смотрит на моего приятеля, затем осторожно обходит школу, взбирается в окно и возвращается с кочергой. Он оттаскивает кочергой змею, но не убивает, так как убить ужа грешно.

В детстве моем я встречал много змей.

Одно время отец учительствовал в селе Семилужки, возле Томска. Село окружено бесконечными болотами. Мне лет семь. Я хожу с отцом и с матерью по ягоды.

Рано утром мы приближаемся к полянке. Осенняя изморозь укрепила болотные кочки, и они не так шатаются, как летом. Осока засохла, идти легко. На полянке, впереди нас, широкая ярко-красная калина. Никогда позже я не видывал столь громадного дерева. Если попытаться вспомнить сейчас его размеры, то эти багровые гроздья как бы заполняют собой все вокруг меня. Я останавливаюсь изумленно возле кочки. Сухая, звенящая осока ровнею с моим плечом. Отец, размахивая корзиной, кричит, бегая на полянку:

— Смотри, старуха, вот рясна́ так рясна́! Вот это калшна!

Мать медленно и степенно идет за отцом. Перед калиною серый пенёк в три обхвата. И вот с этого пня приподнимается голова, чем-то напоминающая лошадиную. Разверзается пасть, и нас останавливает яростное: «Вфффшш...»

Громадный полоз — болотная змея — обвил несколько раз пенёк. Полоз, видимо, грелся на солнце. В деревне о полозах мы слышали и раньше. Говорили, что они будто бы встречаются длиною в несколько сажен, что потревоженный однажды в камышах проезжавшим мимо мужиком полоз бросился в погоню. Он свертывался и прыгал! Он перепрыгнул телегу, упал на лошадь и был столь тяжел, что переломил лошади хребет, а мужик будто бы от пуга навсегда лишился языка.

Отец подхватил меня на руки. Мать размахивает палкой. Мы бежим и долго слышим за собой грозное шипение. Позже отец утверждал: полоз потому не зашиб нас, что не успел снять свои кольца с пня.

Страшная область болот изобилует дикими пчелами, гнездами шершней и длинных сердитых ос. Отец ловко умеет находить их гнезда, он берет с собой мешок с отверстиями для глаз, обмазанный дегтем. Когда бабы, за которыми отец идет следом, набирают достаточно ягод, отец где-нибудь поблизости от баб разрушает несколько гнезд. Бабы, побросав корзинки, с визгом убегают. Отец забирает бабы ягоды.

У меня двое братьев — Палладий и Андрюшка. Андрюшке, наверно, лет пять. Он рослый, смуглый, весь в отца. Палладий походит на мать, хозяйственный, степенный. Мы с Андрюшкой лазим в огороды, воруем огурцы. Палладий, взяв плату за молчание, затем все-таки ябедничает матери.

В Сибири вокруг сел в радиусе приблизительно трех-четырех километров возводится «поскотина» — ограда из жердей, дабы скот мог ходить без пастуха и не проникать на пашни. Для дорог, пересекающих поскотину, сооружаются ворота, которые караулят старики или дети. Отец за три рубля в лето направил нас, трех братьев, караулить поскотину.

Напрасно мы обрадовались предстоящей разгульной жизни! Палладий угнетает нас. К нам приходят с ночевкой мальчишки из села. Для угощения нужна картошка, а Палладий не желает поощрять воровство.

Мы с Андрюшкой, приложившись ухом к телеграфному столбу, слушаем его гудение и с испуганными лицами говорим:

— Ты слышал? Из Петербурга шлют телеграмму. Нонче ночью жди, Палладий, сильную грозу. Молния ударит в поскотину, самый раз возле нашей землянки.

— А я не слышу, — говорит Палладий.

Он верит нам, хотя и не слышит. Он боится грозы. Он уходит спать домой.

Долго мы обсуждаем вместе с деревенскими мальчишками, как бы нам украсть мак. Километрах в трех от нашей землянки — длинные поля мака, принадлежащие немцам-колонистам. Еще весной, когда он цвел, мы уже облизывались. Осенью колонисты навезли к маковому полю высокие скирды хлеба, разбили ток и с ружьями караулили свое зерно.

Нежные, тонкие снопы мака сложены в маленькие копны. Головки свисают в разные стороны, и ветер качает

их. Мы несколько раз на дню проходим мимо макового поля. Немцы грозят нам кулаками.

Уже надоело открывать ворота. Далеко слышишь ты, как поскрипывает телега, бьется лагушка, мужик поет или ругается с бабами. Выдернешь жердь, которая заменяет засов, и «на весу» оттаскиваешь ворота в сторону. Изредка проезжают на почтовых торговцы, иногда они дают три копейки, но и эти три копейки отнимает отец, потому что Палладий тотчас же сообщает.

Мы, тайком от Палладия, вместе с деревенскими ребятами делаем из сухой бересты громадное чучело в два человеческих роста. Мы его укрепляем на крестообразной жерди. Прорезаем рот, глазные и носовые отверстия и закрываем их красной тряпочкой. Внутри мы ставим огрызок церковной свечи.

Когда ночью мы поставили это чучело в лесу, зажгли свечку и отошли в сторону, нам самим сделалось страшно.

Мы говорим Палладию, что пойдем отрывать в лесу клад.

Приближается полночь. Палладий трусит, но не показывает. Он думает: «Если они найдут без меня клад, то непременно истратят его на пряники». Хозяйственная душа Палладия колеблется. Мы торопим его.

Когда мы выходим на полянку, он, увидав страшное берестяное чучело, кричит, ноги у него подкашиваются. Обратный путь он наполовину идет ползком. Мы тоже испугались и, бросив его, убежали в свою землянку. С той поры Палладий приходит караулить поскотину только днем.

Осенью, в глубокую темную ночь, мы, шесть мальчишек, поднимаем наше берестяное чучело и тащим его по дороге к скирдам. Мы переругиваемся и упрекаем друг друга в трусости. Раза два мы бросаем чучело, отходим и вновь возвращаемся.

За скирдами, возле громадного костра, сидят рослые молчаливые немцы, курят трубки. Изредка кто-то из них встает и подбрасывает сучья в костер. Мы подползаем ближе, зажигаем свечку, высовываем чучело и во всю мочь орем:

— Ой-ой-ой-ой!..

Немцы вскакивают. Мелькает огонь костра на испуганных лицах. Наверное, они только что окончили мирный разговор, вспоминая о прошлом, об урожае, о неве-

стах, о приданом, о лошадях. Пора бы ложиться спать, но нельзя: в тайге ходят бродяги, да и деревенские люди не лучше бродяг,— страна дикая, холодная, чужая. Они закурили трубки, прислушиваются к далекому шуму бора. Вдруг выскакивает высоченная фигура, ревущая и кровавая. Огненный рот разинут, высоко вскинуты белые руки.

Мы долго прислушиваемся, как полем разбегаются немцы. Костер догорает. Бросаем в костер наше чучело. Костер вспыхивает ярким высоким столбом, и этот необычайный свет, наверное, совсем «допугивает» немцев-колонистов. Каждый из нас берет, сколько сможет, снопов. Всю ночь в землянке мы крошим головки мака. Мы начистили громадную кучу зерен. Животы у нас болят: доест мак невозможно.

Я снимаю рубашку. Мы завязываем концы рукавов, ворот и сыпаем в этот мешок оставшийся мак. Мы выкапываем под костром яму, сверху и с боков обкладываем ее сухими листьями и кладем туда мак. Над ямой мы сжигаем пустые головки и стебли.

Утром колонисты догадались: кто-то их обманул и обокрал. Они обыскивают нашу землянку, ее окрестности, находят несколько пустых головок. Мы утверждаем, что головки нам подарены проезжающими. Когда проезжали? Кто проезжал? Мы усердно врем. Ночью. Шесть мужиков в красных рубахах. С топорами и ружьями.

Я доволен своей выдумкой. Вот взрослые, большие люди, а не могут догадаться. Везде ковыряют, а на костер даже и не смотрят. Я подбрасываю валежника.

В деревне много говорят о краже мака у немцев. Мак быстро надоедает нам: не так вкусно, если нельзя рассказывать, как его добыли. Я вспоминаю стряпню своей матери. Выкапываю мешок и несу его в деревню.

— Мам, сделай в воскресенье пирожки.

— Откуда у тебя оно?

— Купцы подарили. За поскотину, мам.

Палладий бежит к отцу. Отец строго спрашивает:

— Какие они из себя, купцы?

По голосу его я понимаю, что ему все уже известно. Наверное, кто-нибудь из моих сообщников, не найдя в яме мака, наябедничал.

Отец считает себя честным и правдивым человеком, он глубоко презирает воров. Он отводит меня к немцам и на их глазах долго порет меня ремнем.

После порки я обиженно думаю: уйти бы от них. Но у меня не хватает смелости уйти далеко в тайгу, чтобы пристать к бродягам. Деревенские мальчишки не соглашаются сопровождать меня и даже смеются надо мной.

Кто-то рассказывает: если взять в рот глоток керосину и выпустить его тончайшей струей мимо зажженной спички, которую вы держите в руке, то керосин разлетится во все стороны красивыми клубами. Я наливаю в бутылку керосину. Андрюшка сопровождает меня. Поскотина уже окончилась. Ночью нас не выпустят из дома. Андрюшка предлагает пустить огненные шары в темном школьном сарае, куда сметано сено.

Собираются все деревенские мальчишки. Мой рот наполнен керосином. Андрюшка держит зажженную лучину, Палладий стучится снаружи в запертую дверь, крича:

— Все равно отцу нажалуюсь!..

Я выплевываю керосин, чтобы сказать.

— Жалуйся,— отвечаю я.— А шаров тебе не видать.

Я брызгаю. Огромный огонь взметывается над мальчишками, падает на сено. Сарай пылает. Мы распахиваем дверь. Палладий уже убежал жаловаться.

На этот раз меня порют вместе с Андрюшкой!..

Андрюшка решаетея сопровождать меня в тайгу. Но у нас нет коней. Украсть? Для запряжки нужно иметь силу затянуть супонь хомута. Я могу утащить коня, телегу, всю сбрую, но у меня не хватает сил для супони. Тогда мы решаем воспользоваться деревенским козлом Васькой. Это рослый серый детина с великолепной сивой бородой и круглыми рогами.

Мы берем у поповского сына игрушечную тележку. Поповскому сыну нравится, что мы уходим в тайгу. Он тоже ушел бы, но ему хочется быть дьяконом.

Я держу козла за рога. Козел впряжен в тележку. Андрюшка отходит на три шага и вынимает из-за пазухи краюшку хлеба. Я отпускаю рога. Козел идет к Андрюшке. Постепенно мы увеличиваем расстояние, и вот козел пробегает с тележкой целую улицу, направляясь к тайге. Я сажусь к нему в телегу, и он везет. Этот сивобородый зверь очень привязался к нам. Он является рано утром и стучит копытами по крыльцу. Мы берем его с собой в лес, в поле, к реке. Андрюшка догадался:

— Я с хлебом через всю тайгу иди, а ты будешь катиться в тележке?

Я понимаю Андриюшкину обиду. Я привязываю краюшку к палке и бросаю ее вперед. Теперь в тележке мы усаживаемся вдвоем. Все приготовлено к бегству: сухари, запасные портянки, топор. Поповский сын подарил одеяло. Нам надоели морозы, порки, скучная деревня. Мы уходим через тайгу в теплые далекие страны!

В солнечный день осенью мы последний раз испытываем нашего козла. Я бросаю с обрыва реки палку. Я приучаю козла к весьма различным рельефам местности. Река в Семилужках неглубокая. От берега до середины устроены мостки, чтобы полоскать белье. На мостках всегда стоят, согнувшись, бабы и высокими сдавленными головами переговариваются. Сейчас в конце мостков только одна толстая баба в красной юбке, и рядом с нею длинная мокрая корзина.

Когда я бросил палку, козел побежал было прямо, но со середины дороги вдруг повернулся, наклонил голову и понесся к мосткам. Резкий топот. Баба поднимает голову. Глаза ее вытаращены. Козел бьет ее рогами в зад и вместе с корзиной, бельем и бабой летит с мостков в воду.

Оказалось, что сивобородый Васька ненавидит красный цвет.

Белье, которое утопила баба, принадлежит попу. Поповский сын подло предает нас. Он говорит: «Они готовили козла, чтобы натравить его на папу». Надо полагать, что он хотел выслужиться. Но порют его не меньше нас.

Вообще нас порют много и часто.

Мне сшили новые штаны. Мы скатываемся по железной крыше сарая прямо на сметанное возле сарая сено. Я задеваю за гвоздь и разрываю штаны. Порка.

На другой день мы прыгаем с возка на пол. Возок стоит возле сарая... Возок крыт кожей, в нем поп разъезжает по приходу. Сбоку возка, подле облучка, висит палка с крючьями для пристяжной. Я прыгаю, задеваю за крюк ногой и почти напрочь отрываю кожу с пятки. Но, боясь порки, я молча иду домой. Кровь льет у меня из ноги. Я сажусь обедать. Ложка прыгает у меня в руке. Отец свирепо рассматривает меня.

— Ишь добегался, белый как бумага.

Я падаю лицом на столешницу. Мать замечает текущую по полу кровь, кидается за перевязкой. Отец сразу добреет. Я горжусь своей раной и его добротой.

Зимой поповский сын читает нам стихотворение

«Спор». Спорят две горы. Мне кажется, что это спорят Палладий и я. Удивительно и страшно смотреть на этот спор со стороны. Затем поповский сын читает нам сказку о Щелкунчике. Я обещаю Андрюшке взять его с собой, как только пройдет зима, в царство, где был Щелкунчик. Прошлой весной мы с Андрюшкой лазили по огородам. Однажды мы лезли за огурцами в огород лавочника. Вокруг высокий плетень. Я влез и помог забраться Андрюшке. Мы прыгаем вниз, но лавочник хитрее нас. Он пробил насквозь гвоздями несколько досок и разложил их на траве остриями вверх. Мы прыгаем прямо на гвозди.

Я обещаю Андрюшке лучшую весну, чем прошлая.

И вот она приходит, эта весна.

Сразу же за школой начинается березовый лесок. Утром «к чаю» мы должны собрать земляники. Осторожно держа наполненные ягодой стаканы, мы возвращаемся домой.

Андрюшка собирает быстрее всех. Вот он бежит к большому пню.

— А этой вы и не видали!

Он вскрикивает, приседает, дует на пальцы.

— Меня змея укусила, что ли?

Мы осматриваем пень. Он безмолвен. Ягоды толстые, пухлые, красные.

Пока мы бежим домой, рука у Андрюшки начинает синеть. Он не плачет. Он боится порки.

Отец разрезает ножом крошечную ранку и сосет кровь. Но рука у Андрюшки синее все больше и больше. Приходит беззубая горбатая старуха заговаривать. Мать причитает. Мне велено поймать на колокольне живого голубя. Старуха утверждает, что если приложить голубя сердцем к ране, то голубь перехватит смерть, а мальчик выздоровеет.

Сняли повязку. Из ранки хлынула кровь, и на эту кровь приложили перья голубя, под которыми трепетно бьется сердце. Андрюшка уже бредит. Голубиные перья алеют. Голубь боязливо ворочает головой, раскрывает клюв, его долго держат у раны.

Отец хватает голубя и со злостью бьет его головой о косяк. Он выходит выкинуть умершего голубя. Отец стоит возле крыльца, плачет и крестится на церковь, которая упирается прямо в нашу школу.

Ночью Андрюшка умер.

С той поры у меня боязнь и ненависть к змеям. Все лето я хожу лесом с железной палкой и бью змей. Много я их натаскал к могиле Андрюшки. Отец запрещает мне таскать змей на могилу, это противобожественно. Я их вешаю на жерди поскотины.

3

Мы должны жить возле города Колывани, в обширных лесах, на берегу какой-то большой реки. Я не помню названия ни реки, ни селения. Город Колывань я запомнил потому, что отец, показывая черную лаковую табакерку, наполненную монетами, которые он собрал на берегу Иртыша, говорит:

— Вот здесь под цифрой года стоят две буквы «к. м.» Гости щупают буквы.

— Это значит — колыванская медь! Раньше Сибирь свою монету плавил, делали ее в знаменитом городе Колывани. Но существует тайная монета, появившаяся из-за сибирской гордости.

— Какая такая сибирская гордость?

— Сибирякам, видишь ли, не разрешали выпускать золотую, так они отлили золотой империл и покрыли его медной оболочкой. Я его непременно найду!

— Что же, поймали их на жульничестве?

— Не на жульничестве, а на гордости. И тогда превратили этот знаменитый город Колывань в заштатный город.

Мне хочется увидеть Колывань и потому, что он заштатный, и еще более потому, что в нем плавил монету.

Нашей семье уже встречались заштатные чиновники, заштатные попы. Это люди, у которых остаток уверенности постоянно заслоняется страхом. Препятствия жизни сломана, день, который раньше он пропускал с легкостью, теперь таит множество испугов, множество предчувствий. Можно подавиться и умереть от глотка воды. Корка хлеба кажется им тяжелой. Колокольчик почтальона, который раньше приносил скучный журнал, теперь, кажется им, несет ужасную весть в траурном пакете. Они придираются к словам родственников, намерения друзей кажутся им подлыми. Человечество отступило от них.

Но город...

И вот мы проезжаем через заштатный город Колывань.

Помню, перед этим наша телега, запряженная парой коней, мчится под крутую гору. Мы переезжаем в телеге, потому что в иной экипаж трудно поставить наши громадные сундуки. Сундуки привязаны спереди, позади, с боков. Мы с братьями сидим в перине на сундуках.

При спуске с крутой горы отрывается сундук и глухо падает в густую пыль. Мне любопытно потерять этот сундук. Я и сам не знаю, откуда во мне это любопытство; может, потому, что из-за сундуков наша телега идет вскачь только под гору, да и то не от силы коней, а оттого, что колеса катятся сами, и кони испуганно оглядываются, словно боясь, как бы их не задавило это высокое сооружение.

Внезапно мать замечает, что сундука нет. Поднимаются крик и споры. Я говорю:

— Он упал у горы.

Меня наскоро порют, развязывают веревки, снимают сундуки с телеги, сажают нас, детей, на сундуки, и отец с матерью и возчиком озабоченно скачут обратно. Мы сидим долго и неподвижно. Нам страшно. Мы ждем разбойников. Мы ненавидим эти сундуки. Мы знаем, что в них жалкая рухлядь — сковородки, горшки, утюги, вальки для белья, какие-то отрешья, которые уже носить невозможно, но над которыми мать еще долго размышляет, не зная, к чему бы их приспособить, все же надеясь на свою выдумку. А разве разбойники знают это?

Приближается вечер. Мы, держа друг друга за руки, тихонечко всхлипываем. Наконец среди высоких сосен показывается телега, и на ней наш сундук.

Заштатный город Колывань чрезвычайно удивляет меня.

Широкие улицы заросли нетронутой лесной травой. Дома заколочены, церкви заколочены, тротуары сгнили.

Мы проезжаем весь город и, словно в сказке, не встречаем ни одного человека. Мы едем по высокой траве через громадную площадь. Собор тоже покрыт травой, окна выбиты. В трехцветной будке спит стражник, и спит каким-то неестественно громким сном. Над городом нет голубей, над травой — ни бабочек, ни стрекоз, и солнце в небе необыкновенное, тусклое и чужое.

Тепло, но я весь дрожу. Мне кажется, что дома смотрят подозрительно, и вот-вот сами собой откроются ворота, и телегу затянет в пустынный двор. Мы заснем и окаменеем навеки! Разве этот сказочный город понимает, что мы проезжаем? Он, пожалуй, видит в нашей езде дурное стремление разбудить его сон. Мне хочется спросить: где же тут плавил монеты? Но у меня нет смелости, мне кажется, что такой вопрос город Колывань способен понять как насмешку. Да, заштатность его похожа на ту заштатность, которую раньше встречала наша семья, но та хоть сколько-нибудь была подвижна, а эта спит!

Села за городом Колыванью окружены громадными кедрами. Эти кедры, обросшие сизым и длинным мхом, эта «тайга», в которую я попал впервые, вызывали во мне нежность к самому себе, сознание ничтожества. Я долго хожу приниженный, слабенький, и все вокруг кажется мне пустынным и темным.

Летом отец заготавливает в тайге дрова для себя и для школы, потому что на отопление отпускается несколько рублей, и нет смысла покупать дрова. Мы уходим в лес ранним утром. Отец выбирает полянку и начинает таскать на нее гигантские сучья, рыжие и корявые. Он идет мимо кедров и сосен, сучья задевают за стволы и ломаются с треском. Мать готовит обед или помогает таскать сучья, которые полегче. Отец рубит сучья, потому что деревья распиливать ему не с кем — мать слабосильная. Странно, но я никогда не слышал, чтобы он попрекал мать отсутствием силы.

Отец, довольный и веселый, часто втыкает топор в пень, достает кисет, вышитый матерью, и, свертывая папироску, говорит:

— Непременно найду в сухом дереве дупло, а в нем клад. Сухое дерево — оно самое древнее и опять же приметно в лесу для разбойников.

— Какие уж в тайге разбойники, так, нищие бродяги.

— История Сибири мало обследована, может быть, здесь были какие-нибудь древние монтецумы, — говорит отец.

Дров нужно много. Отец рубит половину лета, затем нанимает лошадей и возит дрова, сложенные в поленницы. Мне нравятся поленницы, от них идет крепкий запах смолы.

Мы играем на дороге. В лес нам ходить запрещено. Отец обрубает сучья. Сверкает его топор, отец ухает при каждом ударе. Только что прошел дождь. Мы пускаем по колее щепки, сажаем муравьев пассажирами в наши пароходы. Мы привязываем к щепке травинку, это заменяет нам руль. Вода устоялась и прозрачная. Мы сначала пьем ее, затем бросаем сучья, мутим и поднимаем волны и пускаем в эту бурю наши пароходы.

Я слышу чей-то нежный и веселый голос в кедровнике. Братья не слышат его, они занялись пароходами. Мне хочется удивить братьев. Я иду на голос. Земля устлана мелкой и теплой хвоей. Я иду долго.

Возле крошечного кедра сидит длинная фиолетовая утка. Вот чей я слышал голос! Она шипит на меня. Ласковости уже нет в ее голосе. Мне боязно, но я упорно иду к ней. Утка отбегает, прихрамывая. На хвое несколько голубоватых яиц.

Я знал, что утка бежит от меня, притворяясь, но все-таки я думаю: а может быть, притворялись остальные, что они не умеют летать, а эта действительно разучилась? Я пощупал яйца. Яйца совсем теплые, я сгребаю их в подол и бегу за уткой. Я бегу среди кедровника. Яйца по одному выкатываются из моего подола. Утка вспорхнула.

Я остался один. Внезапно надо мной поднялись страшные и высокие кедровые деревья. Я понял, что заблудился. Я кричу. Я стою, подчиненный чужой и ужасной воле громадного леса. Я сознаю свое ничтожество, я чувствую к себе громадную нежность, и мне приятно, что я так испуган.

Отец выходит из-за кедра. Он ласков.

Он выводит меня на дорогу и опять начинает рубить сучья. Но внезапно лицо его сереет и руки дрожат. Он всматривается напротив. Через дорогу розовый осинник,— значит, была уже осень. Осинник редкий и высокий.

Отец хватается за нас, детей, и тащит к толстому кедру. Нас заслоняет мать. Отец, подняв топор, встает перед матерью. Затем он поворачивается к осиннику. Лицо отца наполнено обидой и пренебрежением. Он держит топор наотмашь.

Теперь мы слышим широкий шум среди осинника. Пыхтит громадное. Трещат деревья.

— Медведь,— тихо говорит отец.

Мать мелко крестится, Она прижимает нас руками

к дереву. Отец дышит быстрее, топор поднимается выше. Шум осинника увеличивается.

Прямо перед нами, среди матово-серебристых стволов, показывается длинное бурое тело. Медведь идет, мотая головой и ломая направо-налево лапами осинник. Он величиной с корову, мохнатый, медленный и спокойный зверь. Он смотрит в землю, словно потерял что-то. Гораздо страшней, когда я заблудился в погоне за уткой!

Не знаю, почему медведь шел осинником, а не дорогой. Отец утверждал, что осенью этот зверь питается грибами. Не знаю, почему медведь даже и не посмотрел на нас. Отец утверждает, что ветер от нас — не на медведя.

Когда далеко заглохли медвежьи шаги, отец со злостью воткнул топор в пень и сказал:

— Хорошая шкура пропала. Не ребята, я бы его топором!

Позже отец любил рассказывать, что он гнал топором верст пятнадцать черно-бурого медведя, но, к сожалению, не догнал. Когда ему говорили, что медведи бегают быстрее лошади, отец объяснял: «Объелся он ягод и дикого меда и потому тяжел на подъем». Мать подтверждала отцовский подвиг. А мне казалось, что совершенно нечего добавлять к тому, как отец стоял с топором возле сосны, защищая своих детей. Этим подвигом может гордиться любой человек. Но отец осуждал себя за то, что он не мог в доказательство своего подвига представить хорошую медвежью шкуру.

4

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе... Итак, Волчиха. Узкие газетные полосы говорят о войне.

— Японцы-то? Наполеон погиб от мороза, да не в Сибири, а в Москве, где и десятиградусный мороз в редкость, а для нас сорок градусов вполне жизнеспособно.

Отец достал со стены пожалованную саблю и начал «отпускать» ее. Отец мой был красноречив. Рассказы его были пестры и огромны. Исчерпав свои рассказы и видя утомление слушателей, он уезжал в город хлопотать о переводе. Там уже, конечно, знали, что он «незаконно-рожденный» сын барона Кауфмана, что за джигитовку ему пожалована сабля, что он пьяница и великий знаток

языков, что он, наконец, студент Лазаревского института. Он быстро получал перевод.

— Мне, Ариша, только в армии служить, там людей с великим прошлым уважают. Вернусь я с пятью «Георгиями».

Отпустив саблю, отец завязал ее в газеты и направился в город, захватив меня, видимо, для того, чтобы было кому подтвердить его подвиги.

— Ребенка-то хоть бы оставил,— плакала мать.

— В Спарте,— сказал отец,— дети с трех лет привыкали к оружию.

Я радовался и отъезду из Волчихи, и отпущенной сабле, и даже тому, что отец пойдет добровольцем, хотя я уже знал, как страшна смерть. И вообще я знал очень многое. Мы часто забываем, став в летах, как много мы знаем в детстве, и это многое знаем более здраво, чем взрослые. Особенно любовь.

Волчиха имела две школы — церковноприходскую, где учительствовал мой отец, старую, грязную, темную, и новенькую — «земскую», где и учителя-то были чище, получали больше жалованья. Школа просторная стояла далеко от церкви, и попы ее не любили. Я не помню всех «земских» учителей — ни их фамилий, ни их имен, помню только, один учитель был волосат, ходил в черной рубашке, с широким кожаным ремнем, рябой. У него я таскал книги для чтения. Учительница высока, бела, грудаста и неповоротлива. Все в ней есть, о чем поется в степи. Я влюбился в нее.

Брат ее Кузьма, розовый гимназист лет двенадцати, приезжал летом на отдых вместе с отцом, хромым и лысым чиновником. Вокруг Волчихи отличные леса и рыбная ловля. Отец мой любил ловить рыбу. За два часа он калавливал ведро окуней.

Учительница, Кузьма, отец их ходили на рыбную ловлю вместе с нами. Мой отец пылко рассказывал о пленительной Москве. Сосны. Желтые кувшинки в тихом заливе тихонько кивали головами, их листья похожи на громадные подметки.

Учительница смотрела отцу в глаза, не замечая, как окуни склевывали насадку. Я завидовал и восхищался отцом.

Ночью мы зажигали костры на берегу, затем отец сталкивал в воду сухие лесины, делая из них небольшой

плот, сверху наваливал лапы желтой хвои и зажигал. Плот медленно плыл по реке. Отец шел по берегу с шестом и отталкивал. Отец — багровый, высокий, ловкий. Ох, кабы не это любовное беспокойство, как бы легко и приятно!

Мы сидели с гимназистом поодаль, и он мне рассказывал сочинения Жюль Верна. Меня сердило, что он читал так много, а мне негде достать эти книжки. И вот я спросил его:

— А читал ты «Зеленую реку»?

— Нет, — ответил он, видимо предчувствуя что-то неладное. И он сказал на всякий случай: — Знакомые тоже не слышали, — значит, это интересно.

— А ты послушай.

Книга ему понравилась, он записал заглавие и автора.

— А читал ты, Кузьма, «Путешествие в подземной трубе»?

Теперь он просил рассказать и это путешествие.

В течение двух недель я рассказал ему содержание сорока книг, которые тут же придумывал — от заглавия, автора и до счастливого конца. Кузьма почувствовал ко мне большое уважение. Это было приятно, но слегка досадно, потому что он перестал мне рассказывать романы, считая, что я прочел больше него удивительных и страшных книг.

В зимний прозрачный вечер волосатого «земского» учителя нашли повесившимся у косяка на полотенце. Отец мой никогда романов не читал, презирая их. А полка над кроватью учителя была туго заполнена романами.

В тот вечер отец рассказывал в гостях у кузнеца, как рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле. Один из мужиков вставил:

— Спасибо, народ наш смирный, вместо убийств — самое большое, повесится.

Отец мой читал монархическую газету, ту, какую присылали в школу. В те дни газеты много печатали брехни о Максиме Горьком, о его книгах и, кажется, о пьесе «На дне», о том, что Горький пьяница, развратник и богач.

— Шесть домов имеет четырехэтажных, — сказал мечтательно отец, — выезд белых лошадей и сам саженого роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может быть, даже из самого Скобелева.

Больше всего мужиков поразило, что от писания книг

можно завести дома. Мужик, который говорил, что наш народ смиренный, добавил:

— Слово черное знает. На черное слово денга идет. Черные книги пишет.

И все согласились, что без черного слова нельзя обойтись.

В селе шла ярмарка. Отец мне выдавал каждодневно по пятаку. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы.

Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в девяносто шесть и сто двенадцать страниц: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло «М. Горький». Они были по тридцать две страницы и меньше и стоили по три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только шестьдесят четыре страницы! Совершенно невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волчихе будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд белых коней. Ясно, что до завтрашнего пятак книжки раскупят. Я побежал домой.

Отец отказался выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и великий опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа.

— А это что, зачем тебе дано? — спросил он гнусаво, подражая кузнецу. — Подпояшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай! Пойдем. Мы вместе выбирать будем.

И вот мы украли у лотошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесать, книжка и проскальзывала за пазуху. Отойдя от лотошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала:

— Тушите, чего керосин переводите.

— Сейчас, сейчас погасим, — отвечали мы.

Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, многое было непонятно, и стало даже обидно, что на такой непонятности человек может разбогатеть и выезжать на белых конях, вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым, все в огромных застывших валах.

Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах. А дальше по сугробам — заячьи следы. Мне очень хотелось к морю и было очень хорошо.

Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидел их; взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко.

Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на пол-аршина или менее). Мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал. Я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал:

— А вот и не вылезу, замерзну, сохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына...

Не нравилось мне село Волчиха, не нравилось его богатство, особенно же не понравилось, когда я увидел, как вскоре после ярмарки били пойманного конокрада. Это был плечистый сизобровый цыган. Цыгана били толпой, скопом, трусливо, дабы не отвечать одному, а отвечать всем обществом. Его поднимали за руки и за ноги, подбрасывали, расступались, и он тяжело падал на дорогу. Его кинули умирать у забора. Он лежал с пятнистым, сизо-багровым лицом, кудри у него не развились, плисовые шаровары и желтая рубаха с туго застегнутым воротом были опрятны. Мальчишки долго стояли, смотря, как корчится цыган, хватая ртом снег и как на щеке его прыгает выбитый глаз.

Я решил завести дневник, где буду записывать всю свою неправильную жизнь. Я исписал целую тетрадку, но писал я совсем не то, что случалось со мной. Я писал что-то такое легкое и розовое, хотя оно каждый день и

отмечалось теми датами, которые крупно напечатаны в отрывном календаре.

Меня везет какой-то корабль по тихому морю, и все округ — тихое.

Дата. Год.

«Море тихое, 45 градусов восточной долготы и 56 западной. Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. Коккрадов нет».

Дата. Год.

«Море тихое. Острова. Лодки. Нашли выброшенных крушением. Корабль их потонул, но люди все целы. Люди тихие. Опять острова. Мы плывем дальше».

Дата. Год.

«Море тихое. 67 градусов восточной долготы и 42 западной широты. Америка. Люди тихие. Проехали мимо. Опять острова».

Особенно нравилось мне писать — острова. Я помнил их на Иртыше. В половодье их заносит илом, и когда вода спадает и ты подплывешь, то на поразительно гладком песке видны одни лишь следы птичек. Тонкие синие прутья таволожника, обвитые у корня травой, склоняются перед лодкой. Выберешь место, сядешь удить. Хоть и не клюет, но все равно приятно.

Или еще вот остров на озере неподалеку от Волчихи.

Мы с отцом отправились за грибами, поднялась буря, лодчонка у нас была паршивенькая, дощатый плоскодонник. Нас качало, заливало водой, отец крестился, прижимал меня к себе, и оттого грести ему было трудно. Я испугался. Нас вдруг подхватило громадной волной. Бил гром, сверкала молния, величиною со все твое разумение. Нас широко мотнуло и посадило на куст. «Остров!» — крикнул радостно отец. И точно, остров. А мы, совсем как в книгах, сидим, закинутые вместе с лодкой на куст. Внизу торчат кочки. Мы идем по зыблущимся, покрытым острой осокой кочкам. Перед тем как шагнуть, отец пробует кочку шестом: прочна ли? Лодку он тащит за собой. Мы вышли на песчаный берег острова. Спокойные сосны встречают нас. Подле сосен — чистенькие грибы. Ветер прекратился. Было тихое утро.

Отец нашел и прочел мой дневник.

— Дураком ты у меня растешь, Всеволод, — сказал он снисходительно, — надо погоду записывать, Меня вот ско-

ро заведующим метеорологической станцией назначат и могут выдать медаль.

На следующий день я записал:

Дата. Год.

«Погода хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. Шесть градусов по Реомюру. Острова. Индия! Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия! Опять проехали дальше».

Я понимал эту необыкновенную снисходительность моего отца.

Белокурая, голубоглазая учительница любила его.

Об этой любви говорила вся Волчиха. Поп учил отца:

— Надо, Вячеслав Алексеевич, блюсти семейную чистоту, ибо и без того много смуты.

Мы составляли частушки против «земских». В большую перемену две школы делали друг против друга снежные городки. Мы, «церковники», влезали на городок и пели свои частушки. Пенке это обычно кончалось дракой, выбегали учителя с папками, сторож с метлой, иногда церковный звонарь.

Теперь белокурая учительница не ахала, не взметывала руками, не говорила: «Перестаньте драться», — а какими-то чужими глазами смотрела поверх нас и, как я полагал, думала: вот, из-за ее молодости и любви вешаются люди, горюют, дерутся.

Я завидовал моему отцу и в то же время гордился им. Моего отца нельзя не любить. Он переписывал ей в альбом стихи разноцветными чернилами на восьми языках: на шести восточных, одном западном и одном русском...

Об этой любви знала моя мать. Хотя я уважал свою мать, но у меня к ней было какое-то неясное презрение. Жена учителя, а неграмотная. Обо всем и обо всех она говорила непререкаемо, всех осуждала. Отец, когда напивался, бил ее, она же всем рассказывала, что никто так не умеет управляться с мужем, как она. Все знали правду, все смеялись над ней за глаза, она думала, что никто ничего не видит. Ходила она в ситцевых платьях, потому, дескать, что они к ней шли, а на самом деле просто не было денег купить шерстяные. Я ее уважал за то, что она защищала меня от побоев, но было обидно, что иногда побои доставались ей, а не мне. Я не хотел, чтобы она страдала, взамен получая от меня, хотя и скрытое, презрение.

Она выговаривала отцу:

— Бросаешь ты меня. В поселок мне до позора вернуться, что ли?

— Зачем бросаю? При двоих детях порядочные люди не бросают женщин.

— А учительница?

— Учительница — особая статья, Арина. Ты бывала у ней?

— Приходилось.

— Ножную швейную видала?

— Удивишь меня ножной швейной! Кабы поменьше пил, давно бы завели...

Моя мать постоянно мечтала приобрести швейную машину, хотя бы ручную, хотя бы за шестьдесят рублей. Через несколько лет мы ее приобрели: в рассрочку, по три рубля в месяц. Платить было тяжело. Агент компании «Зингер» приходил каждый месяц и клеивал марки в нашу книжку, но так как мы часто переезжали, то агент, наконец, потерял наш след, и машинка досталась нам за тридцать три рубля.

— Так вот я тебе и открою, Арина: я ее оболещу, и так оболещу!.. Я вокруг нее на восьми языках кручусь и так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится.

— Не повесится она, — отвечала моя мать спокойно.

— Я тебе говорю — повесится. Что, я баб не знаю?

— Баб-то ты знаешь, — отвечала с почтением мать, — но она ведь городская. Отец у нее чиновник. А они тебя засудят.

— Меня? Чиновники? Я к тому же сам чиновник.

— Либо сам ты повесишься.

— Не может такого случиться, чтобы в один год, в одном селе два учителя повесились.

Этот довод убедил мою мать.

— Конечно, она девка. Если завертится у ней ребенок от тебя, так она и повесится. А если ребенка не будет?

— Чего же не быть? У тебя от меня сколько их было? Сейчас двое, да Клавка, да Андрюшка помершие, — выходит, четверо.

Мать заплакала.

— Наша машина будет, Ариша! А дальше я ни за кем, кроме тебя. Пускай из-за меня хоть одна баба повесится. Зачем же иначе меня уродил барон фон Кауфман?

После нее не буду блудить. Вот тебе перед божницей перекрещусь.

— Да я не об том. Мне ребеночка ее жалко. Она девка блудливая, а ребеночек был бы у нас пятый.

Мне хотелось остановить учительницу, когда она проходила мимо меня в шелковом своем платье в церковь. На паперти она встретится с моим отцом, у нее длинная коса и голубые глаза. Вот я подойду к ней и скажу: «Отец хочет утащить у тебя машинку, не верь ему, не надо мне братьев». Но я не говорил ей этого: потому что я знал — полюбить она меня не может, и, кроме того, мне лестно было думать, что она способна повеситься из-за моего отца. В поселке Лебяжьем я рассказывал бы: был у меня знакомый гимназист, которого я погубил знанием бесчисленных книг, который стал пить запоем, а сестра его от любви к моему отцу повесилась. Я видел, как снимали ее с петли, как ревел отец, а мать везла к нам швейную ножную машинку.

Кончилась эта любовь тем, что учительнице кто-то вымазал ворота дегтем. Учительница уехала в город. Исчезли ее голубые глаза и широкая коса.

5

Отец хотел повидать в городе голубоглазую. «Кто ее знает,— говорил он,— не пошла ли она сестрой милосердия на войну?» Всю дорогу отец мне рассказывал о сестрах милосердия. Он сообщал о них всяческие пакости и особенно восхищался тем, как много они наживают денег в Харбине, какие там идут великие кутежи и как именитые князья проигрывают миллионы.

— Встречу я там, Всеволод, своего брата! Отвалит он мне тысяч пятьдесят. Небось не иначе как шулер и сразу выигрывает по громадным кушам.

— А разве у тебя есть братья?

— Двое детей законных произошло от барона Кауфмана.

Повторяю, в детстве мы знаем больше, чем думаем об этом знании взрослыми.

— Не признаёт он тебя,— сказал я наставительно.

— Другие признают и устыдят. Мы все трое на одно лицо, разница только в чинах.

К тому времени отец всюду именовал себя коллежским асессором.

— Братья-то у меня небось георгиевские кавалеры и генералы.

Остановились мы на постоялом дворе. Среди подвод ходили на костылях раненые солдаты в широких папахах. Солдаты сердито просили милостыню. Отец вычистил куртку, натянул штаны с лампасами, прицепил саблю и направился к учительнице. Вышел старичок чиновник.

— Дочь? Замужем она и переехала в Томск. Муж у нее землемер.

Старичок добавил хвастливо:

— Двести семьдесят пять рублей в месяц загребают. Сам весь лысый, водку не пьет. А каков у вас урожай понче в Волчихе?

— Гречуха хороша, хотя и мышей много, — ответил отец и злобно хлопнул дверью.

У палисадника задержались. Чиновник смотрел в окно, обняв рукой графинчик зеленой настойки. Отец сразу развеселился, хотя, видимо, и обиделся, что чиновник не угостил его водкой.

— Врет старичок-то. Просто не взяли ее в сестры милосердия, она и отправилась к Сметанихе.

— Куда? — спросил я.

— В публичный дом, а куда же иначе? Придется и нам пойти туда, Всеволод.

— Придется, видно.

Я много слышал разговоров о публичных домах, мне любопытно было посмотреть, что же делает там голубоглазая учительница. Я только высказал отцу опасение, что всех хороших девок могли отправить в Маньчжурию и осталась шваль. Отец не удивился моим сведениям. Возможно, ему казалось, что он отвечает своим мыслям. Он сказал:

— Раз ее не взяли в сестры, так она с публичными девками в Маньчжурию не поедет. У ней тоже есть своя амбиция.

Возле голубого дома неподвижно стоял ржавый фонарь, широкий и разбитый. Из подворотни вылезла собака с черной, тоже разбитой, мордой и лениво тявкнула. Отец весело дернул за ручку звонка. Дверь быстро открылась.

Плотная хозяйка с толстой шеей медленно вышла к нам. Вдоль стены стояли венские стулья. Круглый стол

был покрыт бархатной скатертью. На нем лежал альбом, и сверкала лаковая тройка. Лихой ямщик сидел «на облучке, в тулупе, в красном кушачке». Отец придвинул стул к альбому и посадил меня.

— Кого пожелаете, господин офицер? — спросила вяло хозяйка.

— Гони всех девок.

— Да они в бане.

— Вот и гони их из бани. Плачу за всех. И угощаю коньяком.

Денег у отца было всего два рубля сорок. Мне стало страшно. Я знал, как бьют здесь, и даже слово «вышибала» мне было известно, но я тотчас же подумал, наверно, то же самое, что думал отец: за все наши проворства заплатит учительница.

Вышли багровые девки. Одна, в длинном халате, с веником, тощая, с длинными кудрями за ушами, показалась мне очень смешной. Они выстроились в ряд. Отец подошел к низенькой, белокурой, с голубыми глазами.

— Эту! — сказал он, стукнув ее кулаком по плечу. — На два часа. И коньяку полбутылки.

— Спеть, что ли? — спросила девка с веником.

— Допаритесь и споете, — ответил отец и вышел, не оглянувшись на меня.

Хозяйка сказала мне:

— Вы, молодой человек, только не ковыряйте пальцем лак, он отпадает, и вообще с вещами надо обращаться осторожно.

Когда комната опустела и я просмотрел весь альбом, я вдруг сильно испугался. Непременно нас будут бить, мало того, на постоянном отец меня будет бить еще и за то, что я не отговорил его! Мимо малиновых портьер в сенях, припадая на ногу, прошел широкоплечий детина с длинными руками. На дворе торжественно кричал петух. И тогда, впервые за всю свою жизнь, я заорал диким голосом.

Вбежала белокурая девка. За ней вышел отец. Лицо у него было злое. Я заорал еще сильнее. Отец вытолкал меня на улицу. Я продолжал орать. Улица пустынна, хоть бы какой-нибудь мальчишка удивился б на мое оранье. Я схватил кирпич и закричал, что расшибу окно. Появился отец. Он лихо крикнул с парадного:

— Тридцать копеек до воинского присутствия!

— Пожалуйте, — ответил извозчик.

Усевшись, отец развеселился.

— Пожалуй, ты прав, Всеволод, деньги мне и в армии сгодятся. Я, брат, немедленно карточную игру открою. Вот жалко, за приглашение пришлось выплатить полтинник хозяйке. Зареветь бы тебе пораньше.

— Я ревел.

— Разве так режут? Ты бы погрозил,— мол, альбомом в окно пустим.

Воинский начальник, зобастый, в синих очках и растегнутом чесучовом кителе, одной рукой придерживая синюю папку, другой держа на ней длинный карандаш, вежливо поклонился отцу. Студенты в городе были редкостью. Солдаты, вдовы и писцы расступились.

Отец оперся на саблю.

— Добровольцем иду защищать отечество,— сказал он таким же высоким голосом, каким заказывал коньяк.— Прошу отправить немедленно на фронт, в действующие казачьи части около Харбина! Единоутробных своих братьев хочу найти на поле брани. И сам я погибну за родину, срубив предварительно несколько японских голов.

— Прелестное дело,— сказал одобрительно воинский начальник, указывая рукой на висевший за его погонями портрет Николая Второго.— Подвиньте стул и садитесь. Документы в порядке?

— У казака все в порядке.

— Прелестное дело,— повторил воинский начальник, рассматривая документы,— именно в порядке. Вдова будет получать пенсию. Сынишку устроим в кадетский корпус, а сами вы хотя и мертвый, но достигнете дворянства. Извините, начнем официально. Ваше имя и отчество?

— Вячеслав Алексеев Иванов.

— Прелестное дело. Откуда родом?

Отец побледнел. Идя сюда, он, наверно, думал, что воинский начальник поблагодарит его за усердие, выдаст медаль да прибавит еще денег. А тут вдруг: быть через полчаса солдатом, а через несколько дней помчат на «сопки Маньчжурии»!

Мне стало обидно за отца, но в то же время я радовался его испугу.

Испуг его длился недолго. Отец вскочил, уперся обеими руками о зеленый стол и, приблизившись к лицу воинского, крикнул неожиданно:

— Так-то вы, сукины дети, поступаете с добровольцами. Ура-а-а!..

Я схватил его за штаны, он лягнул меня. Я упал. Он выхватил саблю. Штаны с лампасами взметнулись на стол. На полу, под столом, я увидел тонкие ноги воинского начальника! На стене что-то затрепало. Этот треск протяжным вздохом отозвался в соседних комнатах и разнесся по всем коридорам.

Шлепнулась вырубленная из рамы голова Николая Второго.

Отец толкнул ее ногой и понесся по пустому коридору, размахивая саблей.

— Вперед, добровольцы, ура-а-а!..

На улице слышались свистки. Кто-то крикнул у окна: «Коня! Пожарных! Ловите сумасшедшего!»

Передо мной колыхалось зеленое сукно, а дальше лежала отрубленная голова Николая Второго. Я попола. Зобастый начальник выполз раньше меня. Он сел на корточки возле срубленной головы, затем быстро обернулся ко мне, хлестнул меня несколько раз по щеке, поднялся на ноги и, пальцами отрясая пыль с брюк, басом спросил:

— Поймали?

— Ловят, — ответил вошедший солдат.

— Допросить! Следующий.

Но следующего не оказалось.

Присутствие убежало.

Воинский осторожно, двумя пальцами, поднял голову Николая Второго и еще раз хлестнул меня ею по лицу.

— Убирайся к черту!

Я был совсем одинок на этой пустынной барнаульской улице. Куда-то мчались свистки, скакали кони, обыватели бежали с кольями и вожжами. Все они ловили моего отца! Возможно, его уже поймали и уже бьют. Я плакал. Лучше бы оставить его с голубоглазой девкой, хотя она и не похожа на учительницу, — лучше б его избили там, в голубом доме. Все-таки мой отец остался бы тогда при мне. Кроме того, я боялся возвратиться на постоянный. Я вспомнил страшных раненых, чужие подводы, бородатых цыган, бродивших возле подвод, вспомнил я и рассказы о том, как цыгане воруют детей. Увезут они меня с собой!

Я направился к Сметанихе. Позвонил. Вышла хозяйка.

— Ту, голубую,— сказал я,— вроде учительницы.

Хозяйка начала меня выспрашивать. Она сочувствовала отцу, пока не узнала, как он изрубил портрет царя.

— За такие дела вешают,— сказала она хрипло,— а ты лучше уходи.

Она подала мне булку, но раздумала и отрезала мне горбушку от этой булки. Я ждал у палисадника, не выглянет ли та, голубая. Я думал — вот она выйдет, обнимет меня теплой рукой за шею и поведет на постоялый, где остались у нас мешок с провизией и белье. Она найдет мне подводу и напишет длинное письмо матери. На прощанье она погладит мою голову. Я расплачусь. Она тоже прослезится.

Но не колыхалась герань в окне. Плотны и неподвижны были ситцевые занавески.

Так окончилась моя любовь к голубой учительнице.

На постоялом я сказал хозяину, что отца моего убили. Хозяин испуганно выдал мне наш мешок. Я направился пешком домой. Добрые люди подвезли меня к Волчихе.

Отца отправили в томский сумасшедший дом. У него нашли белую горячку.

Мы переехали в Томск.

Мать поступила в кухарки. Стряпала она плохо, кроме того, ей часто приходилось менять службу, так как я не нравился всем ее хозяевам. Службу она старалась найти неподалеку от сумасшедшего дома.

Каждое воскресенье мы навещали отца. Мне казалось, в сумасшедшем доме он стал рассуждать спокойнее и правильнее. Он составлял киргизский словарь, а в свободное время колол дрова для смотрителя. Жизнью своей он был очень доволен. Палаты чистые, опрятные, соседи смирные. Вскоре мне самому захотелось стать сумасшедшим.

— И долго тебя продержат? — спрашивал я с завистью.

— Да вот доктор говорит: прибавите еще десять фунтов, и можно выпустить. Главный доктор больного меньше пяти пудов не выписывает. Какой, говорит, он поправившийся, если не весит пяти пудов?

— Опять в Волчиху поедешь? — спрашивает мать с тоской.

— Надоели мне мужики, вернусь я в казачество. Кроме того, давно я стерлядей не ловил.

— Лов хороший,— сказала мать.

— Писали, что ли?

— Не писали, а наших казачков встретила.

А встретили мы наших казачков так. Возвращались мы поздно ночью с матерью из гостей. Она ходила к знакомой рябой кухарке помогать стряпать пельмени. В городе шел еврейский погром. Стряпая пельмени, кухарки рассказывали друг другу о том, как черная сотня сожгла Народный дом вместе с митинговавшими студентами и рабочими.

Мы пересекали большую пустынную площадь. Где-то в стороне, у белого дома, горел костер. Не помню, было ли это зимой или весной, но пронизывающая, тоскливейшая изморозь поднимается вокруг меня и сейчас, когда я вспоминаю эту длинную площадь. Мать шла довольная — пельмени удались, она несла остатки, чтобы завтра утром поджарить и угостить меня: наша хозяйка, как и все хозяйки, обижалась, что кухаркин мальчишка много жрет.

От белого дома донесся крик. Затопал иноходец. К нам скакали с пиками наперевес широкие папахи. Мы остановились. Кони уперлись в нас. К седлу приторочено что-то пушистое. Я не испугался, я с любопытством ждал их. Они были пьяны, радовались своей удали; они не видели никакой подлости в том, что грабили людей; они радовались тому, что не попали в Маньчжурию, а сражаются в тихом и безопасном месте, они радовались будущим медалям.

Размахивая пикой, казак крикнул пьяным и ленивым голосом:

— Жидовка, чо, младенца спасаешь?

Второй закурил трубку, звякнул пашкой о стремя. Голос у него был еще ленивее, чем у первого.

— Не успели дорезать?

— Дорежем!

Мать молчала.

— Жидовка, отойди. Сейчас пронзатъ будем сына твоего пиками.

— Кетер, пайтан! — ответила моя мать торопливо. — Таре, дчал гасым? ¹ Очумели совсем! Чо, своих не узнали, штоб вас язвило! Совсем перепились.

Казак с трубкой сплюнул.

— Чо? С Иртыша?

Первый казак спросил:

¹ Отойди, черт! Что надо?

— Чо, какой станицы, тетка?

— Семиарской,— ответила мать.

Первый казак спросил:

— Прохора Хворостинина из Урлютюпа знаешь?

— Слыхала.

— Передай по всей линии, что сына его встретила в Томске. Жидов громит, дескать. А это бери себе.

Он отстегнул от седла черное и бросил матери. Мать пощупала и передала мне. Это был разорванный скюртук и шапка меховая с длинной тульей. Хворостинин слез с коня и, шатаясь, с протянутой рукой, подошел к матери.

— Чо, видишь, тетка?

На ладони у него лежали золотые часы.

— Мог бы тебе подарить, но скажут — не с удалства, а спал с ней. Смотри, тетка.

Он поднял коню переднюю ногу. Положил часы на землю и опустил копыто. Легонько хрястнуло. Хворостинин опять поднял ногу и показал сплюсненные в лепешку часы. Пощелкал по крышке ногтем, плюнул и бросил изо всей силы в сторону.

— Вот как сибирячки-то поступают,— сказал он, отъезжая.

Мы долго ползали по земле, разыскивая эти часы.

Чуть светало, когда мать вернулась на площадь. Часов она так и не нашла. Тогда она обругала Хворостинина, который, наверно, только махнул рукой, а часы остались в ладони.

— Знаю я этих казачков, жадней зверя не встретишь.

6

В Томске мы прожили два года. Отец все еще не дотянул до пяти пудов. Мать испытывала к нему огромное уважение. Она теперь считала, что умный и ученый человек только тогда сможет быть настоящим ученым, когда посидит в сумасшедшем доме. Она, отличавшаяся и без того большим трудолюбием, теперь, слушая советы отца о тихой «подчинительской» службе, работала еще лучше. Хозяева прощали ей даже мое пребывание на кухне.

Отец мой важно басил и тучнел. Он уже заведовал библиотекой, а почерк его считался в канцелярии лучшим во всем сумасшедшем доме. Приняв нас однажды в кабинете

начальника, под портретом бородатого ученого, отец надел пенсне и степенно сказал:

— Поехали бы вы в Павлодар. А я, если понадобится, приду пешком.

Мы и поехали.

У матери в Павлодаре находилось две сестры: Фиоза Семеновна, за подрядчиком Петровым, и Фелицата Семеновна — вдова. Фиоза Семеновна жила на краю города, неподалеку от сельскохозяйственной школы, мрачного и громадного здания. Фелицата Семеновна — на берегу Иртыша. У одной — каменный дом и уже клала другой в три этажа. У второй сестры — «деревяшка» в две крошечные комнаты, покосившаяся, с разноцветными от древности окнами. К богатой сестре мать моя побоялась пойти и поселилась у бедной.

Фелицата Семеновна поила чаем киргизов-грузчиков. Брала она три копейки с человека. Чай для киргизов заменял обед. За свои три копейки они пили часа по два. Кучами они сидели во дворе, в комнатах, в сенях. Тетка ходила между ними, раздувала несколько самоваров. Мать ей помогала. В течение всего лета день и ночь поили киргизов, а накапливали денег столько, чтобы с грехом пополам прожить зиму.

Тетка Фелицата обладала возвышенными стремлениями. Киргизов она поила чаем, чтобы облегчить их участь, впрочем, брала она с них не дешевле других «поилиц».

— Но у меня душевное обращение, — хвасталась она, — где им такую ласку найти?

Все возвышенные ее стремления оканчивались обычно чепухой. Покойный муж ее считался яростным пожарным и все мечтал иметь ребеночка. Фелицата не любила детей, но для возвышенной нежности она усыновила ребеночка. К тому времени, когда мы поселились у тетки Фелицаты, приемышу, Марье, шел пятнадцатый год.

Держать этого приемыша было трудно. Упрямо решил приемыш: надо беречь красивую фигуру свою, замечательные руки и ноги! Ходила Марья непременно в перчатках и за таскание самовара скидывала киргизам по копейке, дабы не портить фигуры. За это самовольство тетка била приемыша раза три-четыре в день.

Акушерка Мулутова занимала половину дома. Мулутова была фиолетовая какая-то и страстно разводила кошек. Она заботилась только о себе, но умела произносить

пышные фразы; кошек она растила потому, что их разбирали купчихи. У нее были и ангорский кот, и две ангорские кошки. В комнатке постоянно пахло котятами. Она запирала комнатку, чтобы котята не разбежались.

Я сооружал удочку, привязывал к ней кусочек мяса и тащил. Котенок бежал за мясом. Я прятался под бочку у окна. Едва котенок появлялся на подоконнике, я хватал его и бежал с ним «на зады», оттуда к плотам, где у меня устроена была норка. Котенка надо было продерживать по возможности дольше. Акушерка сначала обещала пять копеек, если я его найду. Затем семь. Дело доходило иногда, смотря по достоинству котенка, до двенадцати копеек. Особенно хорош был серый, с разноцветными глазами. Мне его страстно хотелось стащить. Акушерка, когда открывала окно, держала серого котенка зажатым между колен.

Однажды я сманил все-таки серого, привязав кусочек печонки на ниточку.

Я рассчитывал получить не меньше полтинника. Мулутова набавляла каждый день по гривеннику. Она волновалась, говорила пышные слова о справедливости и благе и обедала поэтому каждый день у тетки, которая была этим польщена и отдавала ей лучшие куски, до этого достававшиеся мне.

Пришел день, когда пушистый разноглазый комочек стоил уже сорок копеек. Я мечтал о полтиннике. Акушерка хотя и морщила свой фиолетовый нос, но платила деньги аккуратно. Утром она грустно сказала:

— Хорошо бы бараночек.

— Сходи! — сказала мне тетка.

Фелицата посмотрела на акушерку. Мулутова наглыми глазами на тетку. Тетка молча вздохнула, достала деньги. Впрочем, она была довольна, что акушерка словно бы нуждается.

— Иди. На гривенничек купи.

— Мало, — сказала акушерка.

— На пятиалтынный!

Грызая баранки, акушерка заявила, что она за котенка не даст ни копейки, искать его не стоит.

Мать сидела покорная, глядя на три самовара, которые она чистила, встав еще до рассвета. Правильно! Если ученая акушерка завладела Фелицатой и та отказалась брать

за квартиру ввиду возвышенной любви к животным и расширению животного стада: правильно!

— И ведь действительно,— возвышенно глядя на самовары, подтвердила тетка Фелицата,— надо развести кошек... А то ведь сколько же мыши поедят зерна!

— И чуму разносят,— добавила акушерка.

Тогда я посадил котенка в корзинку и сунул его тетке под кровать. Я вымазал его в дегте. Котенок просидел до вечера, а вечером ему стало страшно, и он запищал. Акушерка выбежала на писк.

Мулутова ругалась и обижалась.

— Я вас считала возвышенной дамой, Фелицата Семеновна, а вы над животными смеетесь.

Тетка с огорчения выпорола Марью. Марья, пряча руки и ноги под себя, молчала. Молчала она потому, что недавно ее приняли в прогимназию, где открыли у нее отличный голос. Я сильно страдал. Я знал — Марья не скажет, кто испортил котенка. Она любила меня. И я ее любил.

Да, я ее любил! Нас клали спать на сеновале. Мы ложились в разных концах. Тетка целовала нас на ночь. Как только она уходила, мы соединяли наши постели, запирали плотно сеновал и кидались в объятия друг к другу. Сколько мне было лет? Тринадцать. Наверное, многие скажут, что это плохо, стыдно, я был нехороший мальчик. Я и сам сознаю сейчас: пожалуй, не столь плохо, сколь преждевременно. Но тогда я был счастлив. По утрам я был нежен и к самому себе, и к Марье. Я помогал сестре. Я гордился Марьей, когда она надевала коричневое платье и отправлялась в прогимназию. Я желал приобрести форму и блестящие пуговицы.

Тогда меня повели к дяде Василию Ефимовичу Петрову.

Мать моя к тому времени поступила к богатой сестре Фюзе кухаркой и прачкой. Сестра потребовала, чтобы Арина никому не говорила о родстве: просто женщина из одного поселка. Мать согласилась без протеста.

Василий Ефимович Петров происходил из пермских мужиков, отец его — пимокат. Город Павлодар был отменно ленивый город. Василий Ефимович отличался чрезвычайной пермской подвижностью, соглашался на все и брал любые дела, и притом немедленно. Он строил церкви, дома. Без архитектора, сам составлял планы и строил быстрее всех, метался по уезду, торопил, бил каменщиков,

плотников. Церкви получались кособокие, с кривыми окнами, так что говорили: «А, это Петров построил». Люди дивовались и отдавали ему подряды, должно быть, только от изумления перед его вдохновением.

На тетке он женился внезапно. Фиоза ему попала на дороге. У таратайки сломалось колесо. Фиоза шла с водой. Совсем как в песне! Он попросил ее указать ему, где живет кузнец. Тетка, только из лени, чтобы не тащить до дому ведра, проводила его к кузнецу. Василию Ефимовичу оттого показалась она страшно деятельной, и он ей немедленно предложил тут же обвенчаться. Ему вспомнилось, что он до сих пор не женат. На другой день они и обвенчались.

Тетка Фиоза приехала в город, купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился, а переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель. Она говорила и думала только об еде. Больше всего радовалась она, когда в городе открывали гастрономический магазин. К ней присылали приказчиков. Она подробно выпрашивала их, что поступило в магазин. Рыболовы ей приносили лучших стерлядей. Из поселка ей привозили пареный боярышник, язей. Кололи баранов. Она приказывала каждую неделю варить баурсаки в меду. Но ко всему тому она была скупа: мать мою наняла только потому, что Ариша брала меньше других. И еще любила она зверей. Волк, его звали «Вилькой», носился на цепи во дворе. Волку шел второй год.

Во дворе, перед возводимым трехэтажным домом, стоял Василий Ефимович в чесучовой рубашке и штанах. Увидев нас, он хвастливо крикнул, указывая на суматоху во дворе:

— Внизу предполагаю открыть лавку... и еще что-нибудь.

Среди возов с кирпичами пробирались к амбарам верблюды, навьюченные шерстью и кожами; толкались овцы; метался на цепи волк. Пока мы шли через весь двор, Василий Ефимович успел обежать вдоль фасада, слазил на чердак, заглянул в колодезь, который копали тощие киргизы. Лицо у него сияющее и довольное. Все идет отлично. Жена возлежит, не работает. Отлично! Пускай лежит! Подрядчик Василий Петров десять жен способен содержать. Впрочем, он не думал о десяти женах, потому что если бы он подумал, то, несмотря на все неприятности,

завел бы себе этих десять жен, даже если бы для этого потребовалось перейти в магометанство.

В теткиной комнате меня встретили таинственные запахи. Особое солнце лежало за густыми занавесками. Я впервые видел такую широкую алую постель и такую раскрашенную толстую женщину. Уважал я и атласное одеяло, под которым она лежала, несмотря на жару.

Мать, худенькая и покорная, остановилась у дверей за моими плечами.

— Ариша,— сказала ей тетка Фиоза,— ты чайку нам сготовь.

Тетка Фиоза со вздохом скинула одеяло и встала передо мной в рубашке до пят. Она не торопясь надела киргизский полосатый халат, расчесала волосы чудовищной длинноты и черноты. Я чувствовал — надо что-нибудь сказать, но губы мои одеревенели. Никогда и нигде не встречал я подобной красоты. Я понимал — нельзя скоромерно думать о тетке, но богатство отдаляло от меня родство. Марья показалась мне ничтожной.

— Грамотный? — спросила она, кладя в алый рот коврижку.

— Да,— ответил я тихо, весь пылая.

Она чмокала, щурилась, поводила плечами.

— Ну, иди в столовую.

На круглом столе, который я тоже видел впервые, уже кипел самовар. Мать расставляла чашки. Она было направила меня на кухню, но дядя Василий Ефимович остановил:

— Пускай здесь пьет. Поощрение полезно.

На скатерти — круглые прозрачные блюдечки для варенья. А сколько их, этих варений! Малиновое, яблочное, земляничное... Протяжной струей непрерывно текут они в тарелку к тетке. Мне положили клубничное, оно самое дешевое: неисчислимы поля дикой клубники в степи. После варенья тетка подвинула к себе торт, ела она жадно, торопливо. Ее громадные, круглые тела колыхались. Дядя, рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убежал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал каменщиков. Прихлебывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу.

— Надо строить кирпичный завод! Выгоднее иметь свой.— Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы.— Учиться хочешь?

— Хочу,— ответил я, глядя на тетку.

Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тетка Фюза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе ее что-то благостно хлюпало.

— Учиться полезно. Поедем сейчас. Коней уже закладывают.

Дядя усадил меня править инокходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город.

— Дорога отличная! Плоды отличные!

Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бахчей, полей. Поднялись на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть.

Мы ехали часа четыре, пока не увидели желтых деревянных ворот. Меня удивило, что от ворот не идет ограда. На воротах надпись: «Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы». «Наплевать,— подумал я,— буду и здесь учиться». Ворота мне понравились. За воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сена и обмолоченной пшеницы, сарай, а в стороне, возле громадного огорода и озерка, беленький домик. Мы подъехали к домику.

Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия — Сваз, а имя самое простое — Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он радовался каждой встрече, толстоногий Сваз! Он прослезился. Он ждал дяде руку, гладил по плечу, по животу.

— Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидеть. Я на тебя сердился.

И он на самом деле изобразил на лице сердитость.

— Третьего дня видались у городского головы.

— Так разве это виденье? Виденье — это чтобы посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться? — Он вспылил, впрочем, тотчас же отошел, увидав меня. — Сын-то у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось лет шестнадцать! В гимназии? Или посредством домашних учителей обучаете?

Он плясал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал мало, он преимущественно действовал. Подумать можно,

что они приятели сотню лет! Оказалось, он и в гостях у Сваза впервые, и даже ничего не строил Свазу.

Узнав, что Василий Ефимович привез меня учиться, Сваз и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю почему, но ему не понравились мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в низкие сапоги с голыми лицами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай. Я еще не успел дойти до склада, как увидел, что дядя уже садится на таратайку, видимо вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл.

Сваз тоже обо мне скоро забыл, хотя, увидав меня, он всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и деятельном подрядчике Василии Ефимовиче.

Нас, учеников, было сорок два человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из «чертовой кожи» с белыми пуговицами по вороту, а зимой, когда мы переехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительное вставанье! Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжелой работы.

Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль, глаза слипались, все время мучительно хотелось спать. Много было приятно, кабы не просыпаться так рано. Приятно с высоких сидений лобогреек перекликаться друг с другом. Кони бежали, махая хвостами. Оводы впивались в наши загривки.

— Подбавля-яй!.. — начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос.

— Подбавляй! — кричал другой.

Мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее: поломалась бы машина. Но нам было приятно — мы как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бахчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семечки и ввали друг перед другом, идя в туче теплой пыли. Отличная жизнь, кабы не вставать рано!

Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас каждый день дежурили на кухне. Один оставался убирать столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Двое помогали стряпухе. Надо чистить картошку, таскать дрова в печку, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молока. Все кричали. Одни — налил слишком густой чай, другие — слишком мало молока.

Обед. Мы, дежурные, вносим щи.

Середину стола занимают старшие ученики: плечистые, крепкие, расчетливые. Все, что они собираются сделать, они обсуждают долго и тщательно. Как покрепче зашить штаны? Сколько чашек чая можно выпить, чтобы не повредить учению? Как развеселить Сваза? Они осторожно работают, осторожно хвалят или бранят... Да нет, они до брани не доходят, куда им! Они боятся всего нового, неиспытанного. Нельзя, например, переставить им кровати. Они не выходят из школы без спросу. Они в большинстве из крестьян.

По краям пристроились «вьюны». Приютские подкидыши, дети нищих, бродяг, обедневших мещан, они постоянно ругались и дрались и, казалось, не размышляли.

Но все они, весь стол, и середина и края, постоянно пребывают в крайнем напряжении. Чем больше я живу в школе, тем сильнее я понимаю его. Особенно напряжение усиливается зимой, когда мы приезжаем с фермы в город. Мне кажется, что течение мыслей у «средины» встретило высокое препятствие. «Вьюны» ломаются, дурчатся, форсят, но у них мысли опережают друг друга, словно воздвигнут фасад, а дома-то нет. Даже сам Иван Иванович Сваз потускнел. Сваз должен преподавать нам физику, геометрию и животноводство. «Какие глупые, пустые науки,— думал я,— если даже Сваз способен их узнать!» Уныло он раскрывает книгу, уныло читает название главы и затем откладывает книгу в сторону.

— Огласи, Иванов.

Он чувствует, что здесь учить невозможно и радоваться ему не на кого. Он смотрит на эти тупые лица, которые ждут только еды, думают только об еде, и ни с того ни с сего он говорит:

— Чайки еще не летают, и, по-моему, их вообще нет на Иртыше как предвестниц весны и хода рыбы.

Он чертит карандашом по столу и дремлет. Звонок.

— Что и требовалось доказать, — говорит он и уходит из класса, сияя радостью, надеясь встретить менее напряженных людей.

Каждые две недели нас водили в баню. Мы шли через город черными парами. Мальчишки кричали нам: «Козлы!» Улицы мы проходили молча. Многие из нас гордились позорным званием вонючих козлов, но я страдал. Когда мы проходили мимо прогимназии, сестра моя Марья, которая постоянно торчала у окна, отходила прочь. Еще бы! Город после нашего «прохода» делался напряженнее и злей. Сколько их проходит здесь, несчастных уродов, подкидышей, эпилептиков, золотушных, будущих убийц, воров, грабителей. Город смотрит на нас со злобой и омерзением, на эти наши черные шинели с зелеными кантиками...

Глупая моя форма!

И я подумал: «А что, если Марье не нравятся мои штаны, вправленные в сапоги? Если ей нравятся штаны «городских» учеников, которые в своих шинельках похожи на синиц?»

В следующее воскресенье я выпустил штаны поверх сапог. Никто у тетки Фелицаты не заметил моих пре-красных штанов. Я остался ночевать.

Тетка погасила керосиновую лампу. Мы с Марьей лежали рядом на полу, головами под стол. Я протянул Марье руку. Она спит. Как быстро она заснула. Будем верить, что она заснула оттого, что ей хочется спать, а не оттого, чтобы скорее забыть вонючего козла.

Мы мало работали зимой. Истопишь печи, заправишь лампы, подметешь классы. Работы было особенно много в субботу, когда мыли всю школу.

В свободные часы я уходил на застекленную террасу первого этажа. Здесь предполагали устроить столярную мастерскую, но кто-то украл инструменты и лес. Ученики избегали террасы — слишком светло и холодно. Здесь я прочитал «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», «Ледяной сфинкс», «Восемьдесят тысяч лье под водой», «Архипелаг в огне», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось повторять: «Бедный Пим! Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!» Мне нравились терраса, холодное солнце, большой свет. Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба, они совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие, если

всмотреться, то сквозь них снега, заполняющие площадь громадными валами (сюда мещане свозили навоз), очень похожи на Ледовитый океан и даже на полкус. Смотришь и думаешь — сейчас кончатся снега, попадешь в теплое течение и корабль понесется к запашистым островам. Дневник мне вести не хотелось. Я написал письмо. Я писал: «Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов, читал и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве». Долго я думал, куда же мне спрятать мое письмо. Я бросил его в щель столба, подпиравшего террасу. Столб был обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров, и о встрече с ним и его замечательной жизни будет рассказано дальше.

К весне школьников кормят хуже. Они голодают. Мы едим гнилую солонину, гнилую капусту, тухлую и вязкую. Чай нам подают без молока. Правда, пицца теперь похожа на ту, которую едят люди, потерпевшие крушение, но мне не нравится такое крушение.

В большом актовом зале висит портрет Николая Второго. Лицо у него такое же, как и там, в воинском присутствии, где отец мой записывался добровольцем. Но портрет вырос, а я такой же маленький. И все окружающее по-прежнему враждебно мне и внушает страх.

Вечером мы заправляем и развешиваем по классам керосиновые лампы. Налешь керосин, идешь осторожно с лампой, держа под ней тряпку, чтобы не обкапать пола. Классы пусты. Повесишь лампу в проволочную цепалку, зажжешь и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, качаясь и наполняя желтым светом. В углу стоит громадная черная доска чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупным мелом: « $2 \times 2 = 4$. Индия! Балеарские острова».

Два раза в день — рано утром и вечером — мы должны обтирать пыль с портрета и золоченой рамы. Зачем он такой громадный? Почему на него ложится так много пыли? Почему и у него напряженное лицо? Мы переименовали портрет, как переименовывали все, что надоело нам. Мы называли его «шадра́-барда́», что значит — ямки на лице от оспы. И нам нравилось говорить друг другу: — Твоя очередь сегодня шадру-барду обтирать.

А главное — окаянная эта лесенка, на которой нужно

было стоять, чтобы достать до верха портрета. Лестница качается, скрипит. Иногда с нее дежурный падал, и тогда весь класс целый вечер «поддувал» — смеялся над упавшими. После падения надо вернуться веселым, иначе «поддувальщики» будут кричать: «Перекачал!»

Перед исповедью, великим постом, накануне экзаменов, нас послали перебрать картошку в погреб к управляющему школой И. И. Свазу. Многие предполагали мы увидать в этой «харчевой», но не такое. Толстые окорока встали нам навстречу, качались сушения, блестили маринады, улыбались пузатые банки с красными помидорами, поодаль несколько сорокаведерных бочек с арбузами, мешки сухарей. Десять морских судов можно было б кормить десять лет в этой «харчевой».

Нам сразу надоело заправлять лампы. Мы поняли наше напряжение. Мы поняли наш голод.

Мы думали три дня.

Проели мои экзамены!

Не скажет теперь поп того, что он говорит каждому после удачного экзамена, поглаживая бороду в седых крапинках:

— Будешь сельскохозяйственным техником. Пора. У меня в прошлом году саранча пожрала пшцу и пшеницу.

Я отказался помогать в подкопе, не столько потому, что считал поступок этот опрометчивым накануне экзаменов, сколько потому, что не понимал жадности к еде. Голодать — так голодать. Вот сладкое — это дело другое. И «вьюны» и «средина» свалят вину на меня. Они сразу возненавидели меня за отказ. Чем я гордился? Я подошел вместе с ними к складу. Лица у них стали еще напряженнее. «Средние» вползали в черную дыру подкопа, которая начиналась в пригоне. «Вьюны» отталкивали «срдину», кусались, визжали. Я должен был влезть последним. Я слышал возгласы из подвала:

— Кормись!

— Расходуйся!

— Траться!

Экзаменаторы, когда обнаружится, что вся закуска съедена неизвестными ворами, сурово будут смотреть в наши глаза, сурово осматривать стены, и увидят они портрет Николая Второго. И это преступление с глазами Николая Второго тоже свалят на меня.

Дежурным надоело стирать пыль с этого напряженного лица, и они гвоздем выкололи ему глаза. Лицо утратило свою напряженность, поглупело. «Козлы» осмелели. «Козлы» хохотали. Тогда-то «козлы» и придумали подкоч.

Выколоть глаза царю — это не то что скушать помидоры. Мне и хотелось быть «политическим», но я боялся, что меня сошлют на каторгу. Мне вспомнились цепи деда Семена, его синее лицо. Страшно. Там, наверное, на каторге, еще более напряженные лица, чем здесь, в школе. В голове клубилось, а в сердце как бы клевало. Да, вот и земля, да, вот и приближающаяся весна. Ох, надоела мне земля! Наскоро окончить экзамены, потому что Свазу надо посеять больше для себя. Надо вставать с рассветом. Сапоги и без того тяжелые, а выйдешь на двор — прилипнет земля, и еще станут тяжелей. Хочется спать. Ветер холодный, дождь. По краям неба сафьяновые весенние облака...

Я сказал Свазу:

— Пустите меня.

— Завтра экзамены, — сказал Свaz.

— Пустите меня совсем, — сказал я торопливо, — у меня отец помер.

Свaz перекрестился.

— Вечная память, — сказал он тихо, — прекрасный был человек.

Он никогда не видал моего отца.

— Хоронить поедешь?

— Хоронить.

— Ну, поезжай, а мы тебя проэкзаменуем отдельно, когда вернешься.

— Пустите меня совсем.

— Экий дурак, — сказал уныло Свaz, — разве у нас разрешены отдельные экзамены? Пора бы научиться высокому смыслу аккуратного разговора.

Кирпичный красный фундамент школы тоже какой-то напряженный, как и серые деревянные коридоры, как и все окружающее, которое, кажется, вот-вот готово расплакаться. Но не успел я пройти мимо фундамента, не успел шагнуть на пухлую великопостную дорогу, как напряжение окончилось. Я с наслаждением шагал по лужам, посвистывал, размахивал узелком. Я шел к дяде Василию Петрову.

Круглый самовар. Суетливый дядя Петров ругается в окно. По-прежнему перед теткой Фиозой бесчисленные варенья. Мать моя, всхлипывая, печет на кухне оладьи. Не вышло из Всеволода сельскохозяйственного техника!

Тетка Фиоза еще величественнее, еще румянее, еще блее. Я обмер, как никогда не обмирал. Какое счастье жить с нею рядом, видеть ее каждый день! Взял бы меня дядя хоть в кучера.

— В повара его разве? — вяло говорит тетка. — Там горячими ложками бьют по лбу, если плохо учится. Пицца...

Она смотрит, как я неумело и жадно тянусь к варенью. Она думает: «Нет, из него повара не выйдет. Повар должен относиться к пище бесстрастно».

Василий Ефимович, обжигаясь, торопливо допил стакан, покрутил усы, поддернул штаны. Ему хочется угостить жене.

— Ушел, значит?

— Ушел.

— Вобщем... Жениться тебе, Всеволод, рано... — Он растерянно взглянул на жену. — Куда б мне его направить?

— Направь его вниз.

— И верно, направлю я тебя, племянничек, в приказчики.

7

Ранним утром пароход высадил меня у крутого берега. Возле костра грелись киргизы. Тополя курчавились по высокому скату. Киргизы кинулись грузить бочки и кожу. Капитан с мостика кричал в широкий рупор. Из трубы парохода летели прощальные искры.

Я продрог. Большеголовый человек с белесым чубом, перекрывающим его лицо, потянул меня за руку. Большеголового звали Федор Малых. Он помогал моему «нижнему» дяде Кузьме Кузьмичу Македонову, заведующему лавкой Давыда Лыкошина в поселке Урлютюпском. В тележке Федор Малых всю дорогу от пристани до поселка рассуждал о своей судьбе, тяжелой и невыгодной. Вожжи то и дело выпадали из его рук. Он достал кисет и тоже выронил. Долго искал, поучая меня, что я неправильно сижу, что человек даже в сиденье должен иметь выгоду. Приди волос падали ему на губы.

— Не ужиться тебе здесь, придется к «верхнему» дяде ехать.

Родственники наши делились на «верхних» и «нижних»: по течению Иртыша.

Дядя Кузьма Македонов жил в новом розовом доме. Говорили поселком — у него долгая и страстная любовь к хозяйке Юлии Лыкопиной. Сам владелец дела купец Лыкошин за убийство шансонетки в Омске был приговорен к четырем годам тюрьмы и уже отсидел два года. Дядя был лыс, тонок, с пискливым голосом. Холост. Хозяйством управляла его сестра, толстогубая Софья Кузьминишна, помогала ей дальняя родственница Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах. Жена купца Лыкошина ревновала дядю и часто ночами приходила внезапно: узнать, не лежит ли он с Клавдией.

Нравилось мне все вокруг. Я спал у дяди на кухне, вставал рано утром, шел подметать лавку, двор, пилил с работниками дрова, носил из склада тюки мануфактуры. Днем мы ездили к пароходу, обедали почему-то в сарае. Отпускали нас домой поздно вечером. Ночью я часто просыпался, прислушивался: не идет ли с ножом в зубах купчиха Лыкопина? Тощая, с зонтиком и сумкой в руках, она бранилась необыкновенно искусно по-киргизски, была работников и злобно смотрела на дядю. Я был уверен, что она зарежет его. Это было даже немножко любопытно. Я полагал, что у лысых мало крови, и мне хотелось проверить свои предположения. Удивляло меня еще и то, что дядя Македонов, явно боясь купчихи, поддакивал ей во всем, послушно исполняя все ее приказания, все же ухитрялся так ловко обманывать ее, так ловко воровать, что в течение пятнадцати лет его ни разу не поймали ни хозяева, ни приказчики. Весь поселок завидовал его воровскому искусству, а больше всего завидовал Федор Малых. Приказчики неустанно следили за дядей. «Неужели, — думал я, — и мне следить?» И я решил, что он ворует по приказанию купчихи. А если и спит с Клавдией, то это — чтобы купчиха смогла совершить преступление и проникнуть к своему купцу в тюрьму.

Но все мои размышления о любви и воровстве раздавило огромное количество сладкого на складе и в лавке. Нигде позже не видал я столько конфет, — шоколадные, клюквенные, земляничные, мармеладные, в белоснежных, пурпуровых, желтых и алмазно-прозрачных коробках, они

лежали на прилавках, глядели с полок; загромождали самые отдаленные углы склада. Но к ним трудно было пробраться! Тюки кожи, сукна, сбруя, гвозди, цибики чая преграждали мне путь. К сладостям допускались только опытные приказчики. Приказчики раскрывали тюки с изюмом, урюком, винными ягодами, а мне доставались кожи и чай. «Неужели, — думал я, — казаки и киргизы столь лакомы?» И я понял, чем меня прельщала Индия. Прежде всего, она чрезвычайно сладка. Мне снился сахарный тростник. Качались под ветром белые сладкие стебли. Я твердо знал, что они не могут быть белыми, но все-таки я не верил в тростниковую зелень.

Я решил хорошо служить.

Я прилежно возил на пристань бочки с маслом, помогал принимать грузы. С парохода кричал сиплый голос: «Лови чалку!» Я ловил эту скользкую мокрую веревку. Дожидаясь парохода, мы жгли костры и рассказывали свои похождения.

Я сбирал в темноте валежник, ощупью — по хрусту возле ног. Я прислушивался к далекому шлепанью парходных лопастей.

Тянулось лето. Несмотря на прилежание, я все еще имел право делать не более пяти шагов внутрь кладовой. До сладких тюков оставалось еще шагов двадцать.

Мне выдали тяжелые сапоги и поддевку. В руках у меня приемная тетрадь и привязанный к ней карандаш, изгрызенный и пачкающийся. Я доволен. Ну, еще месяц, ну, два — и я попаду в сахарную кладовую и туго набью конфетами огромные карманы поддевки.

А через неделю Федора Малых и меня отправили «вправо», далеко через степь, к опушке бора. В этом далеком и загадочном бору киргизы заготавливали лес и возили его в Урлютюп.

Лыкошины решили открыть в бору лавку, где бы киргизы и «переселенные» украинцы покупали мануфактуру и сбрую. Все равно возы к бору шли пустые, пусть лучше возят товары.

Мы ехали нескончаемо долго. Перед закатом волов выпрягали. Я собирал сухой конский помет, разводил костер. Степь лежала глянцеви́тая и пустая. Я впервые попал в подлинную киргизскую степь. Как приятны молодые травы! Я вставал рано, ложился в траву и смотрел в небо. Волы пыхтели, от телег пахло дегтем. Небо в га-

дунном блеске. Жаль, что мы везли плохие конфеты. Но и мануфактура тоже плоха.

По-прежнему у Федора Малых падали вещи из руки рубахи, хлеб, чашки. Чуб валился по-прежнему, и, казалось, глаза тоже вываливались. Свесив дряблые ноги с телеги, он рассуждал:

— Вот кабы украсть!.. Такое... а что и как, хоть убей, не найду.

— Красть, по-моему, скучно,— говорил я.

— Не знаю, скучно или весело, а приходится. Все крадут. Ну, вот попробуй, укради в нашей борова лавке. Македонов такие назначил хитрые цены, что киргизам и переселенцам за двести верст ехать за покупками выгоднее, чем к нам. Вот тут и назначь цены выше.

Казалось, Федор Малых знает, кто и сколько украл по всему миру.

— А кто не ворует? Укажи! — спрашивал он меня, возчиков-киргизов, всех встречных.

На краю громадного леса увидели мы нашу лавку. Лес был тяжелый, ровный, а если и выскакивала вверх какая сосна, то непременно карминно-красная. Рядом с лавкой киргизы в ситцевых чамбарах¹ неустанно пилили бревна. Сухая жара окружила нас.

— Нет, куда там покупателю явиться.

И точно: покупатель являлся туго.

Киргизы складывали новые плахи на возы. Опять я ходил среди возов с тетрадью, опять жгли костры. Только валежник собирать легче.

Поодаль от нашей лавки жил в зеленой избушке лесной объездчик Петр Водовозов. Объездчик уехал в Урлютюп. Нас угощала чаем жена его Елизавета, высокая, удивительно стройная, с тяжело-чугунными глазами. Я обижался на свой малый рост, я старался говорить мудро, ходил вразвалку, словно киргиз, и отпустил чуб, подобно Федору Малых.

Тетка Фиоза прислала вскоре к нам своего Вильку. Волк сорвался с веревки и передалвил у нее всех кур, затем залез к соседям и задушил теленка. Волка привезли в клетке, на тройке взмыленных и перепуганных лошадей. Киргизы долго рассказывали, с каким трудом они

¹ Ч а м б а р ы — шаровары.

запрягали эту тройку. Вся степь крайне недоумевала: зачем везти волка, когда и без этого пропасть волков?

Волка привязали на цепь в углу лавки. По вечерам он выл. Лес отвечал ему тоже воем. А кони и волы танцевали.

Елизавета, жена объездчика, учила меня «мягкому» разговору с животными.

— И человеку, и прочей скотине умей первым делом подольстить, милый мой.

Легкая, какая-то непачкающаяся, она заставляла верить многому. Она находила особые мягкие слова, и хотя все в хозяйстве было чрезвычайно грязно, хотя платье на ней болталось кое-как, в квашне плавали мухи, иконы висели косо, пол не подметался, все же, казалось мне, опрятность окружала ее. На другой день после нашего приезда она обнималась с Федором Малых, а ночью взволнованно видел я, как ее тискал за веселое возвышение киргиз, десятник пильщиков. Он приехал час тому назад, а Елизавету видел впервые. Мне стало легче. Еще вчера я завидовал удали Федора Малых. Мне хотелось сказать Федору о десятнике, но — зачем? Елизавета так же выпадет у него из рук, как падали все вещи, как падал аршин, которым он мерил киргизам ситец.

Волк сидел у крыльца и, смотря на громадные сапоги киргизов с каблуками пальцев в шесть, весело выл.

Пищу волку варили в особом котле. Когда подходишь без пищи — он позволяет гладить, жмурит глаза. Когда он совсем закроет глаза, то котелок, который до этого держишь за спиной, внезапно сунешь ему под нос. Но руку убирай скорей, иначе он тяпнет раньше всего за руку.

Елизавета не прятала пищи за спину. Она ставила котелок к волчьей морде, и волк не кусал ее. Он позволял гладить себя ночью, когда выл по-лесному и соотечественники откликались ему из лесу.

Елизавета ела что попадется, вроде волка. И это, и то, что она по-особому умела смотреть на мужчин, казалось мне чем-то нездешним. Она подолгу стояла возле козел. У нее был такой взгляд, что старый-престарый киргиз, засучая гачи¹, взволнованно говорил:

— Кэтэр, уходи!

¹ Г а ч а — штанина.

Она облизывалась и сплевывала, когда перед пилкой киргизы снимали рубахи. Опершись обеими руками о желтое бревно, на котором таяли солнечные искры и редкий ветерок словно оставлял свое течение в жирной смоле, она говорила:

— Мало догадливы!

— Твой очень плохая баба, — отвечал старик.

— Перетолмачь, не понимаю.

Федору Малых она говорила:

— Мне много надо творенья. Я веселая, как весы.

Федор по-прежнему твердил:

— Умеют же люди ловко воровать. Пустая наука, а как подойдешь к ней?

Облокотившись на прилавок, она смотрела в сторону ласковыми глазами. Федор ей надоел.

— Хоть бы ты ограбил кого, Федор.

— Если даже и полную кассу украдешь, куда убежишь?

Иногда к ней приезжали верст за полтора или за двести объездчики, якобы справиться, дома ли муж. Она оживлялась, но утром опять ходила с чугунными глазами. Я думал: никто не умеет поговорить с ней по-настоящему. Я искал в себе особые слова, но не мог ничего найти.

На закате Федор и я ходили в бор стрелять тетеревов. Вот странная, сдвинутая куда-то вбок птица! Тетерева перед закатом усаживались на вершины самых высоких карминных сосен. Темные, мохнатые, они сидели неподвижно, словно тоскуя по уходящему свету.

Подойдешь к самому дереву, выстрелишь. Если не попал, тетерев, сверкая пушистыми крыльями, летит на другую карминную вершину. Мы шли от одной вершины к другой. Это было глупое и тоскливое занятие. Мы набивали громадный мешок тетеревов: для себя и для Вильки.

А на следующий закат карминные вершины опять наполнялись тетеревами. Особенно отяжелели тетерева, когда созрела клубника.

По воскресеньям и двенадцатым праздникам мы ездили пить кумыс к богатым киргизам. Вся степь сплошь была покрыта дикой клубникой. Ягоды, величиной в наперсток, плотные, пахучие, лежали перед нами верста за верстой. Возле дороги бродили дрофы. Увидев нас, они, тяжело разбежавшись, поднимались, словно с якорями.

Федор Малых все никак не мог собраться поохотиться на дроф. Мне казалось, он навсегда увяз в скучных рассуждениях о воровстве.

— Ну, укради ты хоть десять рублей, — говорил я ему.

— Десять рублей — жульничество. Кража начинается от сотни.

Я резал птиц на кусочки и варил их в масле. Это кушанье по-киргизски называется «каурдак». Варить его нужно на чистом воздухе. Оно мне чрезвычайно нравилось. Приходила Елизавета, брала кусочек мяса, относила Вильке и, возвратясь, смотрела на огонь и тоскливо говорила:

— Увезли бы мое женство в город да посеяли в публичном доме. Только плохо, там и старики часто пляшут. А я не люблю стариков. Богатой бы мне быть, персики кушать. Для меня условиться легко, как перо сдунуть.

— Мужа тебе надо с кулаками, он бы тебя перетаврил.

— Увези меня, Федька, в публичный дом, вот тебе и кража.

Я впервые видел женщину, которая говорила о публичном доме так откровенно и просто.

— Зачем я знаю причину моей муки, а не могу изменить ее? Плохо, Федор, устроена моя жизнь. Ну, кто меня увидит в этом бору?

— Копи деньги.

— Сколько я скоплю от двадцати пяти рублей жалованья? Пять лет копи — купишь шелковое платье, а глядишь — молодости-то и нету.

Она брала опять кусок мяса и несла его Вильке.

Когда ягода в степи осыпалась, приехал желтый, как из латуни, объездчик Петр Водовозов. Он непавидел лес. Он любил городскую жизнь, любил рассказывать о своих встречах с особыми людьми, помнил, как они были одеты, и особенно точно помнил все металлическое на этих людях: кольца, сережки, пряжки. Он хвастался часами какого-то чудесного завода и серебряной цепочкой. Лес он объезжал только опушкой. Ему нравилось, когда выбегали зайцы. Он останавливал коня, махал плетью, вставал на стремянах и кричал. Голос у него был какой-то подплясывающий, к тому же он сильно шамкал.

Раз я шел из бора, нагруженный тетеревами. Объездчик не видел меня и кричал в степь, вслед зайцу:

— Поддай! Эй, Живой! Вросок! Кулунда! Нажимайто! Смирнов, Терентьев, да что вы, ослепли? Берите вышло! Осинником, осинником, говорю!

Но вокруг него не было ни собак, ни людей, да и заяц давно скрылся, а он все шамкал, все оборачивался влево, разводил руками и хвастливо говорил:

— Ну-с, каковы мои леса, Матвей Сидорович? Дарю тебе сто десятин корабельного.

Елизавета ездил по лесу. Я думаю, она скучала с мужем, до его приезда она всегда сидела дома. Но лесные кражи от ее объездов не уменьшались. Переселенцы и киргизы посылали ей навстречу красивых парней. Лениво смеясь и пощипывая Федора за бок, она говорила, возвращаясь из бора:

— Я будто Екатерина Великая. Только она, наверно, мужиков сгребала по другой причине, а может быть, и народ был иной. Почему же я не могу выбрать Потемкина? Зачем мне этакая страсть? И ребенка нету. Так просто живу, не для наказания, а для беспокойства.

Тень ее беспокойства нависала над валежником, собранным для костра. Я боялся ходить в лес, чтобы не встретить ее. «А вдруг,— думал я,— она пройдет мимо меня?»

Водозовов знал какие-то свои приемы властвования над людьми. Лесные вору ночью стучали в окошко. Он выходил. Ему сообщали о крупных порубках. Он не ездил сам и не ловил порубщиков, он писал письмо, и порубщики присылали ему взятку. Он называл это «цапальем за щиколотку». Он копил деньги, чтобы под каким-нибудь предлогом уехать в Павлодар или в Урлютюп и пропить. Елизавета ли, лес ли очень хороший, но постоянно из бору доносился стук топоров. Мне думалось — порубят весь лес, а он стоял по-прежнему густой, и по-прежнему неисчислимы тетерева сидели на карминных вершинах.

Петр Водозовов и женой своей Елизаветой владел умело. Он ссорил ее с любовниками, рассказывал про них сплетни, и рассказывал так умело, что ему верили.

— Вот Петька, он врать не умеет,— говорила Елизавета.

Он поймал Федора Малых и Елизавету на прилавке.

— Дверь-то бы хоть запирали,— сказал он и вышел. Водозовов выписал четверть водки, настоял на сморо-

дине, подержал водку положенное количество дней на солнце, велел жене сделать пирожки из сушеной клубники и вечером пригласил Федора Малых. Комнату он украсил сосновыми ветками и хвостами тетеревов.

Малых понимал, что произойдет битва. Целый день он сидел на крыльце лавки с грустным лицом и чистил ружье. Ружье блестело в его тонких руках. Он зарядил его крупной дробью.

— Не украсть мне крупной суммы,— говорил он, вздыхая.

Я смотрел в окно. Мне было любопытно, как же убьют Федора Малых.

Они долго и медленно пили из толстых матово-рыжих рюмок. Пирожки плоские, алые. Объездчик сверкал глазами, тыкал пальцем в тонкую свою латунную грудь. Тускло горела керосиновая лампа, а пузырь в ней был очищенный.

Они допили четверть. Водовозов потряс и опрокинул посуду. Медленно из нее капали в рюмку длинные капли. Держа под мышкой четверть, Водовозов опрокинул в рот рюмку, ударил четвертью о стол и, освирепев, схватил висевшее среди зелени ружье.

Елизавета кинулась к дверям. Мне показалось, что лицо у нее было веселое и довольное. Федор Малых побледнел, затрясся и выполз через порог на карачках.

Дорогу вдоль опушки освещала луна. Я бежал впереди всех с криком и плачем. За мною Елизавета. А позади всех Федор Малых. На Елизавете было розовое платье, волосы ее развевались, дышала она легко.

Шамкая, догонял нас объездчик и стрелял с ровными промежутками сразу из двух стволов. Больше всего меня пугало: почему они все бегут по дороге, а не хотят свернуть в лес? Петр Водовозов улюлюкал так же, как он улюлюкал на зайцев.

— Максим Петрович, Иван Егорович, Сосвитуй, Пономарев, все смотрите, как уничтожаю жену-потаскуху и сажусь на каторгу.

Федор Малых бежал развинченно. Деревья, казалось, обвисали на него. Он падал. Тогда Елизавета перегоняла меня с визгом. Я вопил:

— Убивает!

Федор язвительно вскрикивал:

— Ясно, и тебя убьют.

— Убью! — откуда-то издалека подтверждал объездчик. Наконец Водовозов выпустил последний патрон и свалился. Елизавета медленно подошла к нему. Ощупала, взяла ружье.

— Эх, дуло-то раскалил, — сказала она, легонько смеясь.

Она потрогала у Федора щеки, Федор достал из кармана гребешок. Голос у него дрожал. Он ударил каблукком объездчика. Елизавета спокойно сказала:

— Глаз только не вышиби. Бей его в живот.

Затем они свернули в лес. Я забрался в стог сена и задремал.

Вернулся Федор совсем пьяный. Елизавета презрительно молчала. Федор жаловался мне:

— Завеличалась пакостная баба. Смерти избежала. Богу бы молиться надо, а она мне чуть душу не вывихнула разговорами.

— Ты разговорчив, — со злобой отозвалась Елизавета.

Федор, приседая, быстро пошел домой. Елизавета осталась возле мужа.

У лавки, сверкая глазами, вертелся Вилька. Из лесу выли. Луна уходила в степь.

Внезапно Федор Малых перекрестился и полез целоваться к волку. Он наклонил к нему лицо. Волк прыгнул и молча начал его кусать. Я затрясся, зарыдал. Федор Малых протягивал к волку руки, желая его обнять. Это было очень страшно, это сверканье зубов, луна, бормотанье Федора, звяканье цепи и пасть, скачущая по телу Федора.

Я кричал, но никто не отзывался. Киргизы заперлись в землянках и юртах.

Федор поскользнулся и упал на меня. Цепь была коротка, и волк рвался, но не смог допрыгнуть.

Волк скрылся под крыльцом.

Федор Малых, залитый кровью, в изорванной одежде, оттолкнулся от меня. Он добавил валежника в костер.

— Давай плясать, парень.

Он упал и заснул. Меня пугало больше всего его плоское, поперек разорванное ухо, из которого густо текла кровь. Я вспомнил, что где-то я читал — зола затягивает раны. Я пригоршнями брал золу и посыпал Федора. Я оттащил его в сторону, раздул костер, подтянул широкую

плаху и лег на нее. Федор застыл, мне казалось, в мертвом сгибе.

Я проснулся поздно. Уже давно сверкали пилы. Федора Малых возле костра не было.

У крыльца лавки стоял объездчик Водовозов. Латунь его лица отдавала широкой синью. Подняв высоко кулак, он шамкал:

— Я ее отпущу! Я ей буду выплачивать все мое жалованье! Сглазила она меня. Я после выстрелов прозрел! Даю ей свободу. Она много счастья способна принести, но не мужу. Мужа ей не требуется. И тогда многие скажут — правильно сделал, что отпустил, благодетель ты людской, Петр Водовозов.

— Все равно подаю в суд, — слышался внутри лавки сиплый голос Федора.

— И для казны благодать. Лес воруют не потому, что на моем участке лес лучше, а из-за удивительной бабы.

Малых, весь перевязанный, вышел из лавки. В руке он держал кол.

Лениво покачивалась в окне Елизавета.

Петр Водовозов разжал кулак и протянул руку.

— Сгладанная моя жизнь...

— Меня сильнее обглодали, — сказал Федор Малых.

— Но ты же меня обесчестил. Ты меня бил. И ты же меня тянешь к мировому.

— А кто меня волку в зубы бросил?

Объездчик тяжело вздохнул.

— Ничего не помню, может, и я.

Елизавета рассмеялась. Федор Малых сказал резко:

— Плати десять рублей и получай мою руку.

— Три!

— Пять!

— Три!

— Давай!

Малых сложил втрое бумажку, сдул невидимую пыль. Елизавета подбоченилась. Малых пожал руку объездчику:

— Для обезвреженья раны водки бы.

— Кваску бы, — прошамкал объездчик.

— Квасу захотел? Кумыса привезли, хочешь? — сказала Елизавета.

Высоко держа ковш, наполненный до краев синеватым кумысом, объездчик медленно пил, поглядывая на кол.

— Для меня приготовил?

— Вильку убью, грубой обделки животное.

Елизавета вдруг, зыбко смеясь, сказала:

— Ну, так начинай.

Федор Малых, размахивая колом, подбегал к волку с разных сторон — как бы половчее ударить. Волк злобно скалил зубы.

— Эх, вы! И зверя убить не можете. Привязанного.

Елизавета закрутила цепь короче.

Они захохотали. Они вспомнили, что вчера с испугу Елизавета высыпала весь порох в простоквашу. Иначе волка пристрелить бы. «Как ей не жаль Вильку?» — думал я. Она жевала калач и смотрела на волка чужими глазами. Где-то в себе она нашла оправдание этому убийству, оправдание, которого я не понимал и которое обижало меня. Мне хотелось убежать, но тягостное любопытство, такое же, как когда убивали цыгана-конокрада в Волчихе, удерживало меня.

Волк подпрыгивал, мотал головой. Малых сплевывал перед каждым ударом. Лицо у него было скучное. Наверное, перед тем как убить, он долго рассуждал и нашел какую-то выгоду. Он старался удар направить в нос. Малых ловко прыгал, ловко целился, но удары попадали волку по ребрам. Наконец Малых изловчился и выбил глаз. Волк завыл. Он струсил. Трусость его быстро прошла. Он упал на живот и молча грыз цепь. Изредка он лязгал зубами, стараясь поймать кол, но поймать ему не удалось, и тогда он опустил голову. Мне показалось, волк положил презрительно голову на землю, дабы ударили — и конец. Малых слегка передохнул, вытер шею, потную и тоненькую, и с большого размаха ударил волка между ушей. Волк подышал долго. Из рта его шла кровь, он хрипел и быстро крутил хвостом.

Петр Водовозов выпросил на память волчью шкуру.

— Наше место свято, если поругание снято, — сказал он неизвестно к чему.

За чайным столом они говорили о порубщиках, о торговле, смеялись над своими синяками. Федор Малых перерыл свои соображения о пользе воровства. Обездчик вспоминал пышный и шумный город. Елизавета опять глядела в окно.

Я удивлялся на этих людей и, признаюсь, несколько восхищался их легко исчезающей злобой, их дешевым

лукавством. Елизавета не появлялась в лавке, она охладела к Федору, и Федор не обижался. Елизавета завела кошку. Из поселка ей привезли жирную беременную суку — сеттера. Даже глухой осенью, в распутицу, когда невозможно воровать лес, когда объездчики разметаны врозь, Елизавета сидела одна в доме.

Зимой торговля шла совсем плохо. Киргизы откочевали в «джетаки» к Иртышу. Степь была пустынна, дороги не было, непрестанно дули ветра. Федор Малых купил четверть водки, настоял ее на кореньях, пригласил в лавку объездчика и его жену. Я уже не ждал стрельбы и убийства. И точно — трое целовались весь вечер, говорили ласковые слова, и на другой день мы с Федором переехали жить в избу объездчика.

Избу топили жарко. Меня заставляли пилить и колоть дрова, но помогать мне в пилке по лени не хотели. Я ходил в лес, рубил сучья и топил печи. Меня заставляли стряпать. Я стряпал «баурсаки» и блины. Я научился делать пельмени, месить квашню.

Федор Малых перешептывался с объездчиком, объездчик качал отрицательно головой.

— Не годится.

Федор Малых предлагал, видимо, необыкновенную кражу.

Однажды заехал богатый киргиз Таесчи. У него были длинные черные глаза, воловья шея. Елизавета вспыхнула и пожелала прокатиться по степи. Но у киргиза была верховая лошадь. На другой день он приехал в санках. Пара вороных подхватила и унесла Елизавету. Когда Елизавета подбирала под себя полы тулупа, меня удивило ее чужое лицо, сухие губы. Кошка смотрела в окно. Опираясь на полозья, позади саней ластился сеттер.

Объездчик бессильно плакал в избе. Федор Малых махал деревянной лопатой возле санок. Он расчищал дорогу от избы к лавке.

— Заказывай, чего тебе из Урлютюпа привезти, — сказала Елизавета.

Федор опустил лопату в мягкий снег.

— Того, чего мне надо, ты, Елизавета, не привезешь.

— А чего тебе надо, Федор?

— Умения.

Киргиз свистнул, кони исчезли в снегах.

— Не вернется,— сказал Водовозов, когда мы вошли к нему в избу.

Она и не вернулась.

Весной нам велели переезжать в Урлютюп.

Лыкошинский двор тесно забили подводы. С крыш валились со звоном молочно-белые сосульки. Опять передо мною лежал склад, наполненный доверху сладостями.

И опять я не попал в склад. Каждый день меня посылали за пятнадцать километров встречать почту: дороги возле Урлютюпа испортились, и почта проходила стороной. Я скакал по оврагам, объезжая рыхлые снега, изредка на меня насакивали мокрые снежные бури. Иноходец быстро несся обратно. На боку у меня висела почтовая сумка. Я размахивал нагайкой. Мне вспоминались киргизы-охотники, которые нагайкой, на всем скаку, убивают в степи горностаю. Шкурка стоит пять рублей. Я бы купил много конфет, рыжее портмоне, лаковый пояс. Но горностаю не попадались мне.

Каждый день я отважно соскакивал у почты, привязывал «чембырь» к столбу и вразвалку подходил к сетчатой перегородке. Купец писал из тюрьмы своей жене каждый день. Мне хотелось прочесть эти письма. Меня волновали эти длинные синие конверты, размашистый почерк. Наверно, приятно сидеть богатому убийце в тюрьме.

«Забедокурю,— думал я, скача по степи,— забедокурю, когда вырасту большой. Убью шансонетку, разбогатею, попаду в тюрьму».

На поездку я тратил полдня, остальное время я проводил в «джетаках» — окраине поселка, где киргизы блюли скот купца Лыкошина. Мне поручалось наблюдать, как они кормят скот, но я ни за чем не наблюдал. Я лежал на кошме в землянке и время от времени седлал коня и выпускал на улицу самых бойких в пригоне телят. Телята, задрав хвосты, бегали по узким улочкам. Я схватывал «укрючину» — длинную палку с веревочной петлей, садился на коня и ловил телят.

Приятно скакать по мерзлой, утоптанной дороге. Приятно гикать и размахивать гладкой укрючиной. У пригонов киргизки, поправляя на голове чувлуки¹, с уважением смотрели на меня. Дым пах молоком и кизяком.

¹ Чувлук — белое покрывало.

«Вот придут пароходы,— думал я,— придется пере-
кладывать товары, и без помех попаду я в склад».

Опять высокие препятствия!

Едва Иртыш очистился от льдов, нас послали в глу-
бокую степь «переездными».

8

Нам поручалось менять мануфактуру и галантерею на киргизское масло. Впереди, крытые холстом, двигались донезья перегруженные четыре фуры с товарами, каждая запряженная парой коней. На передней фуре сидел Федор Малых, на последней я. За фурами шли телеги с пустыми бочками. В эти бочки мы сливали выменанное масло и отсылали их с киргизами-возчиками в Урлютюп. Оттуда киргизы привозили нам новые тюки мануфактуры, цибики чая «Цейлон № 42», мешки с сахаром, зеркала, одеколон.

Много дней мы шли в степь. Мы миновали овраги, перевалили через высокие холмы медного цвета, останавливались возле переселенческих поселков у белых хат, среди широких улиц. Мы пробовали торговать с украинцами, но они говорили:

— Всяк своим воровством живет. Продавайте немá-
канным.

Одна только дивчина, алебастровая, с голубыми глазами, купила у нас зеркальце величиною с ладонь, но и то, оказалось, потому, что ночью она пришла к Федору. На ночь мы составляли наши фуры четырехугольником и ложились спать, прикрывая телом наши товары. Работники спали снаружи. Всю ночь Федор уговаривал дивчину. Она требовала жепитьбы. Он обещал, но хотел, чтобы она подождала его удачи при ближайшем удалом воровстве. Ей смешно: сколько человек знает о воровстве, сколько пространно говорит «за» и «против».

— Ты раньше, Федор, в конокрадах хаживал? Лучше не сознавайся. Иначе — не пойду. Изобьют тебя, а я, перечаючи встретить, сколько почей плачь?

Он громко глотал слюну.

— Небрежно судишь. Ты бы лучше подвинулась ближе.

Ночь шафранная и длинная.

Я впервые узнал, о чем могут говорить всю ночь девки и парни. Мне это показалось скучным. К утру у дивчины голос совсем ватный и холодный. Она не объясняла, а коротко на его длинные речи: «Нет, нет». А Федор говорил одно и то же. И мне думалось: «Зачем же им так глупо лежать всю ночь под одним одеялом?» Но я старался запомнить их разговор. Когда подрасту, к этим разговорам я прибавлю что-нибудь от себя, более ловкое.

Взошло щеголеватое солнце. Дивчина исчезла. Федор с бранью начал меня будить.

— А я и не спал,— ехидно сказал я.

— Дураком размышляешь, много не напромышляешь.

Мы ушли далеко в степь, километров за семьсот от Урлютюпа. Каждый вечер за два рубля мы покупали свежего барана. Мясо съедали, а сало курдюка добавляли в масло, наполнявшее бочки. На каждом баране мы наживали полтинник, помимо шкуры.

Обычно мы останавливались у края аула. Товары раскидывали по кошмам. Киргизы усаживались подковой перед нашими фурами и, прежде чем покупать, осматривали шелка. По шелкам они узнавали, богатая ли торговля, хороши ли у нас товары. Они спрашивали, щупая юно-розовые шелка:

— Эт барма? Мясо есть?

Они помогали нам колоть барана, разводить костер и внимательно наблюдали, как мы едим: не жадничаем ли, не лениво ли? Если жадничают,— значит, запросят лишнее. Если лениво,— значит, объелись и тоже запросят лишнее.

Время от времени Федор лез в котел, доставал пальцами кусок мяса и клал какому-нибудь киргизу в рот. Киргиз с легким присвистыванием проглатывал мясо. Рядом с нами сидеть допускали мы только аульного старшину.

Киргизы присматривались к нам день, иногда два. Торговаться приходилось бешено. Федору хотелось украсть, крал он пока, только подливая сало в масло. Киргизы отлично знали цены. Федор браковал масло, но и тут с киргизами спорить трудно: они осмеивали все знания Федора.

Мы сливали в бочку масло и шли к следующему аулу.

Мы увидели иных киргизов, не похожих на тех, которые жили в прииртышских «джетакках». Меньше ситцев,

штаны спшиты из целых бараньих шкур. Лицом они темнее, с толстыми губами и стремительной улыбкой. Говор их значительно отличен от прииртышского. Они не потребляли хлеба, питались сыром «ирюмчук» и мясом «каурдак». Монет они не брали, татары-торговцы завозили к ним много фальшивых.

Перед торговлей они спрашивали:

— Сколько на фунт масла получу аршин?

И они указывали на шелка.

И степь иная. Травы выше. Далеко где-то на юге виднеются водянистые горы. Небо васильковое.

Мы стремились к аулу Рахман-Аяза.

— Здесь произойдет кража так кража, — говорил Федор.

Но вещи и дела по-прежнему падали из рук Федора Малых. По-прежнему его чуб свисал на губы. Малых жадно хотел обогащения, но ничего не мог придумать, никак не мог уговорить себя: такое количество мыслей доказывает предстоящую неудачу. Вот здесь — люди не знакомы с монетами, можно всучить им новый медный грош вместо золотого, купить подлинно «на медные гроши» какого-нибудь сказочного коня, а попробуй! Ведь даже и тут обманут: киргизы лучше Федора понимают коней и подсунут ему сказочную дрянь.

Мы приближались к роду султана Рахман-Аяза, к его кочевьям. У подножья красновато-розовых скал мы увидели его белую юрту, похожую на «вершину горы, расшитую солнечным закатом». У прикольев множество копей. Мы достали новый зеленовато-золотой сундук, где были приготовлены самые редкие товары: фольга и «дикого цвета» бархат. На эти товары и на султана Рахман-Аяза очень надеялся Федор Малых.

— Уж я-то его сумею обузить. Я покажу вам, какой он двусторонний.

Работник в богатом, «для гостей», искристом бешмете пригласил нас к султану.

Возле дверей на полочке качался ручной беркут. Голову его покрывал легонький колпачок. Султан сидел в глубине юрты на белых коврах, возле кумысного турсука, из которого торчала мешалка. Вдоль стен стояли казанские сундуки, обитые яркой жостью. Через открытый верх юрты солнце золотилось на сундуках. По правую руку от хана сидела увешанная серебряными монетами, в круглой

бобровой шапке с павлиньими перьями, в фаевом кафтане и розовых сапожках его дочь, круглолицая Нюр-Таш.

Снаружи султан был какой-то эмалевый, а изнутри, мне показалось, — его сдвинуть невозможно.

Рахман-Аяз хорошим русским языком говорил Федьке:

— Что такое жизнь? Жизнь, молодой человек, это не извод положенных вам сил, а сближение вас с очень большими явлениями природы. Вот я веду по нескончаемой степи свои бесчисленные стада и в середине лета привожу их к моим горам. В моей семье растут возвышенные души. Мы уже видели много гор, много степей! Теперь мы хотим увидеть море. Разве вы сможете продать мне море?

— У меня есть фольга лучших варшавских фабрик. Уверю вас, господин султан, что она цветом лучше любого моря.

— Красота понятна даже скоту. Я вожу свой скот по самым красивым местам. Такого принципа не выдвигал еще ни один скотовод. У меня скот жирнее голландского. И вот теперь я жду со дня на день покупателей из Китая. Весьма возможно, что моих кобыл, мой кумыс потребуют ко дворцу китайского императора.

— Прямой свет, не отраженный, лучше даже и не в торговле, — ответил вежливо Федор.

— Но, кажется, в Китае революция, — сказал я.

Федька остро взглянул на меня. Федька знал — русские чиновники обирают Рахман-Аяза. Он весь в долгах, сундуки ему продают втридорога. Из уважения к императору Китая он отдает свой скот за гроши. В погоне за красотой и возвышенностями султан изменил вековые кочевые дороги своего рода — прочие роды на него обижаются и воруют у него скот. Вообще здесь много можно украсть, но как?

Нюр-Таш подвинулась ко мне. Я подумал — она хочет спросить меня о китайской революции, но я забыл и причины, и все, что сопровождало революцию, все прочитанное мною в «Огоньке». Я знал гораздо больше о Панамском канале, о живом бронтозавре, найденном в болотах Северной Родезии, о том, что, по свидетельству Карла Гагенбека, местожительство чудовища находится в озере-болоте между реками Лунга и Кафу, о кораллах и коралловых островах, о парадоксах равновесия, о находках мекенско-финикийского периода, о собирании почтовых

марок, о межзвездных пустынях и о многом другом, что я читал в [журналах] «Природа и люди» и «Вокруг света».

Нюр-Таш была вся бальзамическая, душистая, опрятная. Она чистила все, что ей попадало в руки. Она многим походила на меня: лунообразное лицо, коротенькие ручки, серые глаза, окаймленные припухлыми веками; впрочем, на киргизский вкус я тогда был красив. Кроме того, она смотрела на меня как на вещь, которую необходимо вычистить. По правде сказать, я давно не мылся.

Она положила на мои ладони свои руки и быстро сказала:

— Я люблю тебя.

Впервые, в степи, у гор, которые я видел тоже впервые, на чужом языке мне суждено было услышать это слово. Услышать от чужой девушки из народа, которого казаки иначе не называли, как «немаканным» или «собачкой». Сердце мое треснуло! Голова закружилась.

— Я тебя люблю,— сказала Нюр-Таш громко,— прятани мне свою голову. Зачем тебе в такую жару волосы? Их надо снять. Ты будешь совсем круглый и совсем хо-роший.

Во мне все томилось и ликовало. Но я молчал и не двигался к ней. Я боялся султана,— Рахман-Аяз трунил над Федькой и одним глазом посматривал на меня.

Федька жадно пил кумыс. Ему казалось, что он сейчас выпьет все богатства султана.

Султан описывал Бухару и всю поездку туда. Ему и его любимой дочери не понравилась бухарская неопрятность. Бухарский эмир за отличную и умную деятельность султана по распространению магометанства обещал орден. Да, Рахман-Аяз исправит свою степь, наполнит ее просвещением, науками, обновит магометанство и перенесет «купол Ислама» из Бухары к подножьям своих гор.

Нюр-Таш перетрогала все мои одежды. Глаза ее сверкали. Как она вычистит меня! Только мои глаза казались ей достаточно прочищенными, да и то потому, что серые.

— Я убью себя если ты меня не полюбишь,— сказала она.

Я уходил оробело, натываясь на телеги, на кобылиц. Я совсем взрослый!

Я ушел далеко в степь, будто бы посмотреть спутанных коней, и здесь долго плясал и прыгал.

Тут же на киргизском языке я составил стихи:

Кыздарай учун Юртуп-нан базарнан,
Барыб кельдемауй, дейды.
Юртуп-нан базарнан быр кебис алдымауй, дейды.
Быр кебис-сын багасы — кзык мын теньга
Кыздарын сюйткены: багасын чок, дейды¹.

Когда я вернулся, Нюр-Таш стояла возле нашей лавки. Федька раскидывал шелка.

— Назначай любые цены, — говорила она, — отец купит, потому что я люблю твоего приказчика. Назначай. Хотя ты и мошенник, но и мошенника украшает любовь.

— Такого отца нельзя не любить. Прикажите мне его уведомить: не о любви, а о ваших покупках.

Я прочитал ей стихи.

Она смеялась прямо в лицо Федору, а тому казалось, что он поймал самую главную ловкость в своей жизни. По-разному мы все были довольны. Я помогал Федьке достать «дикий» бархат и золотую фольгу. Цвета индиго, с удивительным ворсом, мягкий, легкий, этот бархат пришел в нашу степь из далекой страны — Франции. Он стоил восемнадцать рублей аршин, сбоку у него была выткана европейскими буквами фамилия фирмы, его приобрел накануне убийства купец Лыкошин для любимой своей шансонетки. С великим трудом выпросил Федька Малых этот кусок в степь с собой. Вот почему Федька страстно желал поймать кочевья Рахман-Аяза.

— А фольгу для короны! — говорил он. — Непременно, если хан купит бархат, то пожелает соорудить королевскую корону. Временно, пока нет золотой. Эх, так бы изворотиться, чтобы бархат рублей по полтора за аршин продать. В куске-то двадцать пять аршин.

Но Нюр-Таш отвернулась от бархата. Она смотрела на меня и говорила Федьке:

— Я люблю его.

Мы готовились обедать. Она велела мне вымыть ложки и так ловко поставила мои пальцы, что ложки — лучше новых. Везде она уничтожала грязь и пыль.

— Идет к ней чистота, — подобострастно говорил Федор.

¹ Ради девушки ездил в Урлютоп я на ярмарку,
В Урлютопе на ярмарке
Купил я ей башмаки.
Башмакам цена сорок тысяч рублей,
А поцелую любимой — цены нет.

Беспокойство осенило меня. Неужели всякая любовь беспокойна? — пришло мне в голову. Перед закатом Нюр-Таш поцеловала меня в щеку, пошла было, но вернулась и прижалась к моим губам.

Я встал рано, с рассветом. Я вычистил чайник. С мылом промыл чашки. Я принес из колодца шестнадцать ведер воды и вымыл колеса телег. Я вымыл гривы коней, заплел хвосты. Я вычистил сбрую и смазал салом хомуты.

Пришел султан Рахман-Аяз, сонный, плотный, малорослый. Мы расстелили для него новую кошму. Солнце стояло над головами. Киргизы робко уселись поодаль. Нюр-Таш стояла рядом со мной за прилавком.

— Какие же товары вам дадим вначале? — спросил Федор.

Сегодня султан мне казался лентяем, соней, что называется все вместе «байбаком». Сонно он указал на меня пальцем.

— Лучшие товары имеются, — сказал Федька.

— Дочь мне призналась.

Окружающие киргизы подтвердили вздохами султанский вздох.

— Я не буду спать много ночей, — сказал медленно Рахман-Аяз. — Будь я иным, безвозвышенным и бессовременным, я б плюнул этому молодому приказчику в морду и сказал: запрягайте ваши фуры! За мою дочь уплачен калым. У моей дочери есть богатый жених. А мне она признается в любви к приказчику. Позор! Стыд! Но я хочу вместе с ней любоваться тайгой и морем и вместе с ней поехать путешествовать в Париж и Америку. Она одной крови со мной. Она убьет себя, если я ей откажу.

— Убьет, — подтвердил Федька.

Я придвинулся ближе к Нюр-Таш.

Султан продолжал:

— Будь бы у этого приказчика черные глаза, он был бы совсем красив, а то словно капнули на лицо грязным молоком. Впрочем, наш род всегда имел глупые вкусы.

Я потупился.

— Не обижайся на правду стариков, молодой человек. Не обижайся, и далеко пойдешь. Ты хочешь на ней жениться? Как тебя зовут?

— Всеволод.

— Я отдам ее за тебя, Сиболот. Хочешь?

— Хочу!

Хан ушел.

Федька чувствовал ко мне уважение. Вот великолепный план, который он придумал. Вот что значит далеко предвидеть! Вот что значит французский бархат! Теперь он продаст не только бархат, но и все, что есть в этих фурах, все, что есть в Урлютюпе на складах. Хан приглашает нас вечером к себе! Он режет жеребенка, десять жеребят, он устраивает трехдневный «той» — пир! Что поделаешь, если его дочь полюбила русского? Обидно, правда, что не только не офицера, но даже не купца, а приказчика, мальчишку.

— Кажись, мне пятнадцать лет, а женят только восемнадцати, — сказал я.

— Казаки — обычаем собаки, мы подделаем документы.

Я опять плясал в степи. Я был так счастлив, что уж не мог составлять стихи.

Перед солнечным закатом мы подходили к юрте хана.

Высокий холм весь покрыли белые кошмы. Внизу растилась каменистая сухая долина.

Федька весь день не ел, готовясь к пиру. Он велел надеть мне чистую рубашку, отрезал шелку на пояс и дал на время лучший гребешок. Он дрожал от жадности, он боялся грядущей подделки документов, подтверждающих мои восемнадцать лет. Страшился он и гнева моего отца, хотя совершенно не знал ни отца, ни его характера.

— Как-никак на немаканной женишься. Султанская дочь, а все равно казачки в свои семьи не пустят.

— А мы уедем.

— А деньги? Я же все деньги заберу у хана. Опять ты, Сиволот, будешь в полной зависимости от меня. Хана я нищим пушу!

К белому холму со всех сторон верхами съезжались киргизы. Каждый всадник долго держал в своих ладонях руку Рахман-Аяза. Вскоре все кошмы прикрылись разноцветными халатами. Нюр-Таш сидела со мной рядом. Работники, багровые, лоснящиеся от жары, внесли громадные корыта вареной «казы». Самое большое корыто они поставили перед султаном.

Рахман-Аяз положил жирный кусок жеребятины своими пальцами мне в рот.

— О-о-о... — почтительно промычали киргизы.

— Да, это так,— сказал Рахман-Аяз, вытирая о бороду жирные пальцы,— это так. Моя дочь полюбила приказчика, а по всему миру передают: я современный и ученый. Ученые же мудро говорят: зачем угнетать детей, пусть они идут своей дорогой, а ты, старик, своей. Так ли? Мне хочется видеть моря и леса, а им свое сердце. Пускай лежат в юрте и смотрят друг у друга сердца.

Из дальних рядов спросили:

— Много ли у приказчика скота?

— У него нет скота.

— Его отец купец?

Еще более дальние ряды спросили:

— Или офицер?

Рахман-Аяз ответил:

— Нет, его отец мулла.

— В большом городе мулла или где поменьше?

— Его отец мулла в поселке Лебяжье. Приказчик — очень бедный и глупый мальчик, но моя дочь балованная, и что я с ней могу сделать, если я уважаю науку?

Передние ряды сказали:

— Ты поступаешь правильно, Рахман-Аяз.

— Еще бы не правильно! Вы огорчаетесь, родственники: у приказчика нет скота. А я сейчас покажу вам, сколько он будет иметь скота, когда я умру или буду ласков и щедр.

Федор Малых наклонился к моему уху и прошептал:

— Заболванит он тебя! Ты на меня, Сиволот, направляй надежды.

Подали шкатулку. Рахман-Аяз долго рылся в гербовых бумагах. Со дна он достал шелковый платок, большой и лиловый. Рахман-Аяз высморкался в платок, затем высоко поднял его над головой.

Всадник поскакал на закат. Спину его покрывала жемчужная луна.

Не успели съесть второе корыто «казы», как в степи послышался глухой гул. Рахман-Аяз указал мне платком на следы заката. Нюр-Таш наклонилась ко мне и протянула чашку с кумысом, указывая то место, куда присадились ее губы. Я допил кумыс.

Федор Малых начал торопливо и несвязно рассказывать султану о замечательных бархатах. Султан не слушал его. Все мы смотрели на закат.

Сначала проскакали внизу холма по долине, потрясая

укрючинами, пастухи в лохматых малахаях. Затем пошли стада.

Бежало множество коней, молодых, необъезженных. Они шли непрерывным, нескончаемым потоком. Они шли часа три. За ними двинулись солидные объезженные жеребцы. Они ржали. От них несло потом. Тяжелая пыль колебалась над ними. Хлынули кобылицы, окруженные жеребятами. Лоснились и сверкали под тонкой луной конские спины. Скот шел тесным потоком, величиною с улицу. Мелькали рога коров, мычали бугаи, прыгали телята, и вот, наконец, двинулись овцы. Они шли, прищелкивая копытцами. Долго стояло у меня в памяти это прищелкивание.

Овцы шли всю ночь.

Федор Малых повис на моих плечах.

— Вот оно, хозяйство-то, — бормотал он неустанно. — Вот оно, хозяйство! Какое! Неужели я его все украду!

Федор Малых мне давно надоел. Мне опротивел его гнусавый голос и то, что вещи падают из рук, словно у него нет пальцев. Чему он радуется? Даже мне, ослепленному любовью, ясно: султан сегодня узнал о любви дочери и тотчас же согласился на ее брак — это бывает, но нельзя в тот же день согнать со всей степи стада! Федор Малых знает не меньше меня законы степи. Сердце у меня заболело: а не искал ли хан предлога, чтобы похвастаться своими стадами?

А стада все шли и шли. Светало.

Опять идут кони. Они разделены по мастям. Вот идут белые, в тумане рассвета они похожи на розовый пух. Мы устали и уже не слышим топота и крика пастухов. Многие из киргизов, опившись кумыса, спят.

По-прежнему сверкают глаза Нюр-Таш. По-прежнему султан Рахман-Аяз говорит о высоких и длинных путях. Он непременно привезет сюда из путешествия моторную лодку. Федька Малых гнусавит: «А где же здесь вода?» Султан Рахман-Аяз будет в лодке кататься на верблюдах. Или поставит ее на сани. Рахман-Аяз зевнул. Я стремительно хотел спать. Я устал думать о богатстве и о любви.

Киргиз с длинным и вишневым ртом, сидевший против меня, спросил:

— А как же вера?

— Вера есть вера, — зевая, сказал султан, — сколь

искусно ни составляй скорлупу, если она без зерна, то не получишь плода.

— Вот и я то же самое говорю.

— Выходит — мы с тобой согласились и потому ляжем спать.

Длинноротый указал на меня.

— А как же его вера? Его вера одна, его жены — другая.

— Его вера одна?

Султан погладил меня по голове.

— Этот приказчик всех перегораздит выдумкой. Их вера будет одной, ибо истинной вере могут принадлежать такие стада. Что дала ему его вера? Этого? — И он указал на уснувшего Федора Малых. — Твоя вера будет истинной верой. Ступай спать, сынок.

Я сильно ударил Федьку в плечо. Он закачался и сел. Я тихо сказал ему:

— Я не верю ни в того, ни в другого пророка. Я не верю ни в Магомета, ни в Христа, ни в Будду. А кроме того, я не желаю брить голову и производить над собою обряд обрезания.

Федор смотрел на меня заспанными и злыми глазами. Он был слегка напуган: сколько «против» встало перед ним. Опять не удастся совершить великую кражу! Этот русский, этот христианин, этот богомольный и богобоязненный казак готов был продать меня. Как я одинок, как мне жаль себя! Я обернулся к Нюр-Таш и протяжно сказал:

— Я не хочу быть магометанином.

— Наша вера опрятнее, — ответила Нюр-Таш.

У нее переменялись глаза. Она осуждала меня. Я понял — мне не убедить ее. Я горестно встал во весь свой рост.

— Я не хочу быть магометанином.

Рахман-Аяз одобрительно прислушивался к тому ропоту, который окружал меня.

— Приказчик, ты глуп и неуч. И ты никогда не будешь ученым. Что такое для ученого вера? Для него важна наука, и только стада дадут тебе науку, а не этот... — Он пренебрежительно толкнул ногой Федьку. — Ты не научился многим наукам, приказчик. Ты бы мог через мое богатство довести мой род до самого синего моря. Моему роду не хватает кораблей!

— Чего? — спросил я.

— Кораблей! Рахману-Аязу пора сломить перегородку песков и плыть по обыкновенному синему морю.

— Правильно! — подтвердили киргизы. — Нам пора быть мореплавателями.

Рахман-Аяз махнул направо и налево шелковым своим платком.

Киргизы расступились. Я кинулся в проход. Я побежал.

Султан хохотал. Окружающие валились со смеху. Они уходили в сторону. Некоторые катались по кошмам, смеясь и взвизгивая. Ухабы, раскаты смеха, гряды, уступы. Они меня прижигали смехом. Они туго-натуго перетянули мое сердце. Они проказничали, тыкали меня пальцами в бока: «Хт, эх, галка!»

Нюр-Таш сказала мне вслед:

— Ты просто глуп.

Пьяного Федора вели под руки.

Работники торопливо запрягали коней. Федора положили в глубь фуры на тюки. Я пытался ругаться: нам нужно торговать. Работники злобно посмотрели на меня, испуганно на ханскую юрту. Я все понял.

Кони побежали крупной рысью.

Работники свистели бичами.

Мы мчались краем лощины. Трава была истоптана, — это следы бесчисленных стад. Еще висит над травой их запах. Это как бы высыхающая река.

Федька Малых крепко спал. Горы оставались по-прежнему высокие, но аул уже давно скрылся. Я был как бы в беспмятстве.

— Кого это?

Всадник скакал по следам нашего обоза.

— Забыли на «тое» бумажник, что ли? — переговаривались работники.

Бобровая шапка подпрыгивала, развевались перья.

Нюр-Таш на полном скаку прыгнула из седла ко мне в телегу. Конь ее бежал рядом, посматривая на меня. Работники тотчас же остановили фуры. Они не желают умирать за то, что угнали девуку.

— Вы дураки! — крикнула им Нюр-Таш.

Она поцеловала меня. Я плакал. Большим шелковым платком, таким же, каким махал ее отец, она утерла мне слезы и повязала мне платок вокруг шеи. Она положила мне в руки кусок душистого мыла в блестящей красной

обертке, где нарисован черный персианин в желтой чалме, зеркальце, гребешок в розовом футлярчике.

Нюр-Таш молча вспрыгнула в седло, огрела пагайкой работника, который торопил ее. Она повернула коня. Мне хотелось спросить, что же она думает о своем отце, но слезы помешали мне.

Фуры двинулись дальше.

9

Федор Малых возненавидел степь.

— Цветец недурён, да голова от него как бубён.

Он придумывал всегда чрезвычайно глупые поговорки.

Я скучал по печеному хлебу, по людям, которые говорили бы более понятно, чем Федька. Торговали мы плохо. При первых заморозках Лыкошины разрешили вернуться нам в Урлютюп.

Дули холодные ветры. Низкие тучи волоклись почти по травам. Вставать утром трудно, морозно, дождь. Дорога тяжелая. Чем ближе к Иртышу, тем больше глин. Мы закутывались в овчины. Дождь их быстро отяжелял, а сушить было негде.

Мы увидели на лугах стога. Еще дальше — и вот сияет Иртыш, казачья река. Мы приближались к парому.

У переправы Иртыш шириною километра в три, и мы не успели пробиться к берегу. Наш паром затерло «шугой». Двинулся внезапно лед, и вокруг нашего парома образовался затор. Лед наступал, нас могло раздавить.

Колеса парома действовали плохо. К счастью, льдины начали тянуть нас к берегу. Нужно было доставить канат на берег. Казаки много говорят о геройстве! И паромщиков, и Федора Малых я считал героями. А тут они струсили и только хрипло кричали казакам, стоявшим на берегу:

— Чего же вы канат не даете?

Казаки так же хрипло отвечали им с берега:

— А вы чего не даете?

Какая брехня вдруг поднялась вокруг! Казаки окружили меня, хвалят. Я вспрыгнул на коня. Взял в руки конец бечевки. Казаки толкнули коня с парома. Вода нестерпимо холодная. Я очень испугался. Я обвил ногами лошадиную шею, уцепился рукою за гриву. Конь

плыл искусно, минуя льдины. Когда конь выскочил на берег, я не мог его остановить. Я бросил бечевку казакам, и конь помчался вперед. Он страстно желал согреться. Не помню, как я очутился в селе. Я узнал джетаки, деревянную церковь, лавку Лыкошина. Я свалился в лужу возле дома дяди моего Кузьмы Македонова. Мокрый, дрожащий, но довольный своим геройством, я вошел в дядин дом. По правде сказать, это подлинный и, пожалуй, единственный геройский поступок в моей жизни.

Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах, стояла на табурете, поправляя лампадку перед иконой. В кухне было по-прежнему тихо и опрятно. Я ожидал — она спросит: где это я ухитрился так вымокнуть? Она сказала с незнакомым мне набожным лицом:

— Разве ты у нас будешь жить?

Ее набожность быстро улетела. Она ее приготовила для Кузьмы Македонова. Это его она пугала богом и какими-то особыми молитвами.

Я желал сообщить о моем геройстве. Она выслушала и спокойно сказала:

— Ноньче шуга красивая. Ступай в баню. Веник в сенях.

Она отправила меня в баню не потому, что боялась, что я захвораю, она ждала Кузьму. Она шла со мной не для того, чтобы проводить меня, а полюбоваться на ледоход. Она могла часами смотреть на природу. Она вставала ночью и слушала, как течет Иртыш, уходила в стену, знала все цветы и запахи их, она готова была всю жизнь провести в деревне, не понимала людей, восхищающихся городом. Дядя Кузьма возил ее в Омск, показывал театр. Она сказала спокойно:

— Балуются. Жизнь-то скрытней.

Она недоверчивая, замкнутая. Я ее спросил о Лыкошных. Она уклончиво ответила:

— Много про них болтают, а зря. Люди в полном мире живут. Сам-то приехал, выпустили его, передурил он всю положенную ему дурь.

Но спокойствия в доме Лыкошиных я не нашел. Купчиха Юлия Лыкошина неустанно ходила по комнатам. Множество вещей окружало ее, а ей все казалось, что комнаты чересчур просторны. А Давыд Лыкошин помещался в крошечном чуланчике, на другом конце дома. Говорят, он сожалел, что ему не удалось посидеть в тюрем-

ной одиночке — сидел он в общей. Дядя Кузьма Кузьмич радовался: приехал хозяин, даст настоящие распоряжения. Давыд Лыкошин распорядился так же, как и прежде: скупать кожи и масло. А это теперь не выгодно. Новоселы вырабатывали масло лучше киргизского. Заказов на кожи не было. Распорядился также Лыкошин: прекратить Кузьме Кузьмичу встречаться с Юлией. Кузьма Кузьмич подчинился без протеста: все по-старому.

Давыд Лыкошин упрям, самолюбив. Узкое лицо его обведено жесткой каймой рыжих волос, зубы перемолоты, вставные. Ему кажется — он все знает наперед.

— Не кожи нам надо заготавливать, — вздыхал Кузьма Кузьмич.

— Кожи негожи, а рогожи для одежды тоже не кожи, — без всякого почтения вставлял Федор Малых.

— Другое снадобье пора заготавливать. Я полагал, он в тюрьме поразмыслит.

Лыкошин вдруг поверил, что товары, которых никто не покупал, он продаст на ярмарке зимой. Три года он думал в тюрьме — правильны ли все принимавшиеся им раньше решения? Получалось, правильны. Так и будет поступать он в дальнейшем. Он брал в кредит дорогие товары. «Не потому ли он полюбил шансонетку, — думал я, — что на ней были такие драгоценные камни, какими он, Лыкошин, не может торговать?»

Наготовили длинные мешки пельменей. Готовили их два месяца, всем домом. На ярмарку поехали тоже всем домом.

Снега. Укатанные ухабы. Мы шли в новых полушубках и длинных валенках возле розвальней. Постоялые дворы в станице Рамолинской были переполнены. На площади стояли новые дощатые балаганы. Купцы в толстых шубах, а сверху еще тулупы с громадными воротниками. Нам тоже выдали тулупы.

Давыд Лыкошин радовался: его балаган самый богатый и пышный. Ночью приказчики посменно караулили внутри балагана. Мы грелись возле лампы-молнии и самовара. Стояли удивительно прозрачные холодные ночи.

Выйдешь — площадь пустынна, сквозь щели балаганов видны в лавках желтые «молнии». Небо черное. Приказчики ходили из балагана в балаган гостить, играли в шашки и хвастались: у чьей хозяйки больше любовников.

Лыкошин привез шелка, бархат, дорогие сладости, се-

ребряные украшения для седел и хомутов, сафьяны — зеленые, красные, голубые. Товар превосходный, но торговали мы хуже всех.

Лыкошин рано утром приходил в балаган и выгонял приказчиков. Видимо, ему приятно было сидеть одному. Он читал под нос Библию.

— Уважение надо внушить покупателю. Чего его приманивать? Чего его переманивать? Хороший товар сам приведет покупателя.

Приказчики убирали коней, распаковывали тюки: Лыкошин вдруг приказывал запаковать один товар, раскрыть другой.

Вечером ели пельмени, пили водку. Лыкошин быстро съедал несколько тарелок пельменей, выпивал два стакана водки и уходил к ярмарочным девицам. Кузьме Кузьмичу хотелось остаться с хозяйкой, но все-таки он ушел за Лыкошиным, ища распоряжений. Юлия Лыкошина сумела и здесь нагромоздить вокруг себя множество вещей. Видимо, ей было лень останавливать Кузьму Кузьмича, она придвигала к ногам любимый свой желтый чемодан, доверху наполненный мельчайшими штучками: костяными собачками, металлическими жучками, слониками, раковинами, какими-то искусно выбитыми монетами, принадлежавшими некогда великим угодникам перед самым их уходом в спасение.

Кузьма Кузьмич никогда раньше не делился со мной, но Клавдии не было, и он сообщил мне свои огорчения:

— Разорется Лыкошин, а Юлия Петровна охорашивается, жеманная. С чего бы?

— Как же быть?

— Мозги надо Лыкошину жать...

— Его не сжать, а как бы сожрать, — вставлял Федор Малых. — Где такой ход найти, чтобы кредиторы его товары вместо своих складов ко мне перекинули?

Кузьма Кузьмич покорно готовился к бремени разорения. Приказаний и распоряжений он не мог добиться, на себя он не надеялся. Так оно и шло.

Наш балаган разбирали последним. Лыкошин ждал: придут-таки покупатели! Они не пришли. Наши обозы бешено гнали в Урлютюп, словно мы там могли застать покупателей. Но и в Урлютюпе нас забыли. Лыкошин выгонял приказчиков и сидел один. Он не показывал выручки, не позволял заносить ее в книги, он надеялся еще кого-то

обмануть. Подвоз товаров прекратился. К новому году Лыкошин должен был платить по векселям.

— Год велик только избытком снегов, — говорил Малых.

Дом дяди Кузьмы стоял на высоком яру. Мы полили яр водой от верху до середины Иртыша.

Льды сейчас были завалены снегами, а в былые бес-снежные дни Лыкошин, говорят, подковывал коня на стальные шипы и мчался по льду на коньках, держась за вожжи. Девки влюблялись в него. Клавдия рассказывала нам о его победах. Заложив пальцы в рукава, она говорила:

— Как прекрасно и величественно! Я обожаю лед, по которому еще никто не катался.

Мне нравились ее книжные слова, ее определения чувств, ее особый взор на природу. Она помогла мне увидеть иной Иртыш. Я читал смысл волчьих следов на снегу, понимал хитрый рисунок их. Сквозь снег пробиваются льдины, и каждая иного цвета: зеленовато-бурая, глинистая, клюквенная. Водовоз поднимается с бочкой по яру, и от его бочки откалывается и падает лед коленкорового цвета.

— Чудесно ты, неизвестное творенье, — медленно вполчила Клавдия слова.

Когда ей хотелось сказать при посторонних о боге, она путалась и мямлила. Она готовила резкие слова о боге и его гневе для Кузьмы Кузьмича!

Клавдия низко повязывала платок и садилась в мои санки. По казачьему обычаю, скатив девушку, я мог поцеловать ее. Я стеснялся, и девушки деловито сами целовали меня.

Чем дальше уносились в снега наши санки, тем крепче Клавдия целовала меня. Избежать бы этого целования: она целует не меня, а природу! Если санки опрокидывались, Клавдия долго лежала. За шалью у нее таял снег, забивался в ее валенки. Она, казалось не имея сил встать, смотрела вверх во все глаза и говорила:

— Как прекрасно! Смотри, подходит закат, и все изменится.

Я уважал ее. Я желал такой же способности видеть и понимать природу, хотя меня больше всего тянуло к людям. Я старался быть подольше возле Клавдии. Я вставал рано, поливал дорожку, чистил санки. С каждым днем ле-

дяная струя «катушки» все дальше и дальше уходила по Иртышу.

Я ждал от Клавдии удивительных поступков. Где ей любить дядю Кузьму, оба они цепляются за грех, так как если они расстанутся с этим грехом, то они совершат другой, еще более страшный. Они цепляются за бога и лампы! Бог должен быть разрушен мной. Мне казалось, Клавдия лишь со мной откровенна. К другим в санки она не садилась. Я не спал ночей. Я пылал. Я опять любил.

Дни и ночи я думал о Клавдии, об ее скрытой любви ко мне. Ну что ж? Пусть! Вначале она целует меня, как всю природу, но придет час, когда она поцелует меня, как человека, самого важного для нее! Недоверчивая, замкнутая, искалеченная ленивой казачьей жизнью, она менялась, когда мчалась в санках к удивительным снегам, которые иные каждый час. Так что, видите, я не был заинтересован в кожах. Их выдумал другой приказчик. Вечером в одно из катаний кто-то притащил кожу, широченную юфть. Множество парней и девушек уселись на нее с визгом и хохотом. Я виноват только в том, что чрезвычайно выгладил ледяную дорожку. Кожа неслась по ней не хуже санок.

Клавдия села в мои санки. Она отказалась от кожи. Это походило на свидание. Забрехала измена! Пусть поплачет дядя Кузьма Кузьмич. Я вел санки безрассудно. Они опрокинулись на половине дороги. И все-таки Клавдия крепко поцеловала меня. С яру послышался голос дяди:

— Клавдия, иди, поставь-ка мне горчичник. Что-то в боку закололо!

Я долго катался один. Клавдия не пришла. Ну, придет завтра.

Утром Федор Малых дал мне тяжелый ключ.

— Принесешь шесть ящичков розового «Эйнем» и ящик гильз Катька.

Наконец-то я открою сладкий склад! Я медленно повернул ключ, распахнул высокие двери. Липкий мешок с урюком стоял у моих ног. У меня не было сил перешагнуть. Я набил карманы брюк этим урюком. За урюком лежал мармелад. Я сразу вскрыл две коробки. Рядом — шоколадные конфеты. Длинные, толстые, они лежали аккуратными рядами, в тонкой оболочке. Я совал их в карманы, совал в рот. Из конфет брызгало вино. Я был хмельен, весел, сыт, я обладал подлинным счастьем. Я ел и ел.

Мне хотелось найти такие конфеты, которые сегодня же вечером можно было бы поднести Клавдии. Я раскупорил несколько ящичков. Мелочь, мелочь, мне нужна конфета в кулак!

Я увидел узкий металлический ящичек с наклейкой на чужом языке. У дверей валялся топор. Я сбегал за топором и рубанул им по ящичку. В щель сверкнуло что-то жидкое и розовое. Я попробовал на палец. Это было похоже на мед. Я сунул палец в рот. Остро, протяжно, вкусно... Но как это назвать и во что налить?

Тут меня схватили за ухо.

Я встал. Я понял все, что произошло. Я готов был отвечать.

Давыд Лыкошин сжалился. У него злое зеленое лицо, рыжие волосы.

— Он испортил кожи!

Кузьма Кузьмич смущенно смотрел в сторону.

— Судя по конфетам...

— И ты еще, Кузьма Кузьмич, переносишь такого племянника? Я ставлю тебе в счет все слопанное.

— Слушаюсь,— покорно сказал Кузьма Кузьмич.

Было и стыдно, но было и приятно причинить гадость дяде, которого я ревновал к задумчивой Клавдии.

Я пришел на кухню. Увидев меня, Клавдия ушла в горницу. Дядина сестра вынесла мне мой узелок. Меня посадили к ямщику, возвращающемуся в Павлодар.

Тетка Физоза по-прежнему лежала в постели, поправляя атласное одеяло пышной розовой рукой.

Дядя Василий Ефимович, улыбаясь, прочел письмо двоюродного брата Кузьмы Македонова. Василию Ефимовичу я, видимо, нравился. Я чем-то походил на те кривые здания, которые он строил. Он посмотрел на мои губы.

— Придется устроить тебя, где кушанье не занозистое. Надо что-нибудь тебе, Всеволод, все-таки перенимать у людей.

Он устроил меня в павлодарскую типографию, принадлежавшую Викентию Ивановичу Владычкину.

Мать униженно благодарила Василия Ефимовича. Она все еще служила у сестры.

Я поселился у тетки Фелицаты. Она готовилась поить чаем киргизов. С верховьев Иртыша уже двинулись плоты.

Я вышел на яр. За Иртышом темнели Три Острова. Налево затон и пристани с пароходами. Я привыкал к городу.

Сестра Марья почти не разговаривала со мной. Вместо акушерки появился новый квартирант, о котором Марья с уважением рассказывала, что он каждую субботу ездит в публичный дом, получает в казначействе семьдесят рублей жалованья, вдов, у него дочь шести лет, припадочная. Квартирант ходил в форменной тужурке, с такой необыкновенно аккуратной бородой, что она мне почему-то казалась бряцающей.

10

Я приходил в типографию к семи часам утра. Я поил белого жирного коня, помогал кухарке таскать дрова, давал коню и коровам корм, подметал типографию, а когда приходили рабочие, вертел колесо печатной машины. Перед обедом я опять поил скот, подметал двор и уходил к тетке Фелицате. Наскоро проглотив несколько тарелок щей, я опять возвращался вертеть машину. Привыкать к верчению было трудно. Я потел, задыхался, спина болела, вставать утром было тяжело. Недели через три я привык. Я вертел одной рукой и думал о тех книгах, которые брал в городской библиотеке, о тех странах, где мне непременно нужно побывать.

Печатник Бьюков пел песни. Иногда я подтягивал ему.

Типография имела одну скоропечатную машину, четыре реала со шрифтами, маленький тискальный станок, большой тискальный для афиш, крошечную переплетную с ножом для резки бумаги, с папширом и набором шрифтов для золочения корешка. Я с удовольствием ходил в эту типографию. Я проходил берегом мимо прогимназии. Миновав две улицы, сворачивал к двухэтажному дому, в подвале которого мы работали. Вскоре оказалось, что дорогу я выбрал счастливо.

Однажды, возвращаясь с обеда, возле прогимназии я встретил девушку под громадной черной шляпой. Она шла, размахивая желтой сумкой. Я оглянулся ей вслед. Меня удивили ее голубые глаза. И она оглянулась.

Каждый день ровно в два часа я встречал ее. Она оглядывалась. Я быстро заучил лихой поворот ее черной шляпы. Я останавливался и смотрел ей вслед. Это была

дочь владельца павлодарской гостиницы господина Шмидта. Он славился длинными рыжими усами и еще тем, что ездил по городу верхом на толстом вороном коне. У нас полагалось ездить верхом только в исключительных случаях, только в степи, верхом ездят «немаканные», порядочный мещанин или казак должен ездить в таратайке.

Господин Шмидт, развеивая усами, мчался верхом по городу. Вечером, когда горожане выходили гулять на яр, взад-вперед — от кинематографа к складам «Пароходство Плотниковых», — господин Шмидт скакал по яру, и все шарахались от сверкающих копыт вороного его коня. Ах, не эти копыта раздробили мое сердце, а черная шляпа его дочери, голубые ее глаза!

Тихо гуляла по яру его дочь. Локоны падали ей на плечи, черное платье сказочно обтягивало ее стан! Как я любовался ею! Расслабленный, пораженный, я проходил мимо нее. Она оглядывалась на меня. Я оглядывался на нее. Я, очень довольный, уходил спать. Как бы да мне и впредь этак оглядываться на девушек!

Печатник Бьюков тяготил меня своей аккуратностью. Он желал, чтобы при печатании непременно выходили все буквы. Он долго подклеивал на барабане, выстукивал, ровнял краску. Таков он был и в остальной его жизни. Квадратный, с длинными темными зубами, похожими на железные гвозди, он говорил:

— Варвары вы. А я во всем сам разбираюсь. Обопрусь на свою совесть и разбираюсь.

Наборщиком работал Гришка Заботин. Он себя звал любовно скороговоркой «Гришка-маленький». Крохотный, в диагоналевых синих штанах, синей куртке в обтяжку. Но праздникам он надевал лаковые сапоги и чесучовую рубашку. Кроме этой одежды, он не имел имущества. Всякое имущество он считал обременительным, путающим людские отношения. Он бранил Бьюкова за стремление скопить на дом.

— А если ты захочешь бросить дом? Ведь трудно!

Бьюков не понимал.

— Как же бросить? Раз я всей своей совестью решил иметь дом и украсить его.

— А если твои близкие начнут уговаривать тебя бросить дом?

— Кто меня сумеет уговаривать, если я сам внутри себя разбираюсь.

Бьюков презирал Гришку: «Легко плавится, будто олово». Гришка действительно, если замечал, что мимо окна бежит красивая кошка, догонял ее, лез даже за ней на крышу, ухаживал, кормил ее несколько дней, а затем покупал ей бант и дарил ее кому-нибудь. Если он видел серьезного фотографа, он стремился понять фотографию. Его пленяли стекольщики; девушки с крикливыми головами «во всю варезку». Работал он небрежно, держали его потому, что в Павлодар, в унылый городишко, наборщики не заезжали. Я не понимал, чем Павлодар уныл, мне казалось, в нем могло сбыться все, о чем мечталось.

Печатника Бьюкова постоянно сопровождал Иона Зипунов, наш переплетчик. В опрятнейшей холщовой рубашке, с черными усами, высокий, он пугал меня своими знаниями: о переплетном деле, о золочении, о брошюровке. Он часами рассказывал о замечательных переплетчиках, которые наживали «тысячи тысяч», но сам он работал плохо. Любил он рассказывать, как пришлось ему служить в солдатах, унтером, как он, конвоируя, заразил плохой болезнью «политическую». Этот рассказ особенно меня смущал. Я знал о «политических» только то, что они ходят в черных рубашках, с кожаным ремнем, волосатые (я сам носил длинные волосы до плеч), что «политические» убивают исправников, что «политических» вешают. Я жалел их. Иногда Иона Зипунов напивался и лез ко всем «своевольничать». Он начинал с кухарки Анисьи. Он приходил на кухню и многозначительно говорил:

— Я такое знаю о переплетном деле, посмотри на меня ласковой, Анисья.

— Шука сома не съест,— отвечала так же многозначительно Анисья.

Анисье было лет девятнадцать. Ловкая, с густыми бровями и ресницами, похожими на щетки, она избегала рабочих. Все мы знали, что она желает открыть трактир, что выписывает и учит «бухгалтерию на дому», а по ночам ведет по книгам запись заказов типографии Владычкина. Опрятная, постоянно вся в белом, она умело охраняла себя и свое единство.

— Я желаю тебя увещать,— орал переплетчик.

Анисья швыряла на пол трубу от самовара. Являлась пани Марина, жена Викентия Ивановича Владычкина. И сам Владычкин, и пани Марина были выходцами из

Польши. Дебелая, волоокая пани Марина уважала Анисью, хотя постоянно уговаривала ее забыть о трактире.

— Зажгите себе другой факел, Анисья,— говорила пани Марина.

Пани Марина много заботилась о своем будущем. В ее спальне стоял громадный желтый шкаф. В нем, говорили, лежат книги об освобождении Польши. Я однажды робко попросил у нее почитать книг. Она сурово ответила:

— У вас другой факел, пан Всеволод. Я вам не дам читать этих книг, так как они снабжены факсимиле.

Никто не мог объяснить мне слово «факсимиле». Я решил, что это относится к политике. Я верил теперь переплетчику Зипунову, когда он утверждал, что «здесь нет никакой бакалеи»: если Марина Мнишек продала Польшу русским, то Марина Владычкина поможет Польшу освободить! Пани Марина постоянно торчала в типографии. Ей все казалось, что работаем мы медленно, она торопила нас. Когда Иона Зипунов напивался и глаза у него становились глупые и влажные, как сыр, пани Марина понимала его.

— Ай-ай, какой вы, Иона, последовательный.

— Если долбить, так долбить до конца,— отвечал ей переплетчик.

Она отсчитывала семьдесят пять копеек и посылала меня за извозчиком. Печатник Бьюков брал под руку Зипунова и выводил его за ворота. Пани Марина торговалась с извозчиком: туда и обратно за четвертак, а полтичник извозчик должен был передать Ковалихе. Ковалиха содержала в Павлодаре публичный дом.

Переплетчик стучал кулаком по облучку.

— Вези, кыргыз, важнее.

Пани Марина наказывала извозчику:

— Поскорее его обратно. У нас срочные заказы.

И, возвращаясь в типографию, она тихо восклицала:

— О, смерды!

Ее хозяйственность мы уважали. Уважали ее также и за то, что она читает латинские книги. Меня удивляла способность ее одновременно читать польскую книгу и править нашу корректуру. Для этого, думал я, пужно обладать великими страстями и великим умом. Хозяина, Викентия Владычкина, мы презирали. Владычкин постоянно говорил о своем здоровье и о чахотке. Прежде он был акцизным чиновником, скопил денег, ушел в отставку, и

жена уговорила его открыть типографию. Он часто приходил на кухню, говорил:

— Анисья, опять бухгалтерией занялись, щи перегорят.

— Кого, кого, а себя я понимаю, — отвечала Анисья.

Он вставал по будильнику. Он любил вкусно покушать, после обеда вздремнуть ровно пятнадцать минут, а затем уходил бродить по городу. У него часто собирались гости. Он утомлял своей мнительностью, сводя все разговоры на случаи отравления или заразы. По его мнению, прогресс задерживается из-за людской небрежности. Если он появлялся в типографии, то непременно говорил мне:

— Когда же ты, Иванов, волосы остригешь и вымоешь шею? Зачем же свою жизнь укорачивать?

В середине лета в доме Владычкиных появился маляр Глеб Журавко. Он красил кабинет хозяина в белый цвет, потому что Владычкин вычитал из отрывного календаря, что белый свет самый здоровый для глаз, а на глаза Владычкин постоянно жаловался. После кабинета маляру поручили окрасить в желтое коридор, сени и крыльцо. У маляра жирное, какое-то мылистое лицо и потрескавшиеся, облупленные руки. Журавко уважал лаковые краски. Двигая кистью по стене, он говорил:

— Редко понимают, какое изменение способны надевать лаковые краски. Я сам родом почти из Германии...

— Фамилия-то у вас русская, — сказал я ему.

— Я рожден в Германии. Меня мамаша на курорте родила, в Карлсбаде. У меня папаша был крупный вор и жепу всегда держал при курортах. Мне бы офицером вырасти, а он возьми да от тифа и помри, возле Павлодара. Мамаша превратилась в портниху, а из меня — маляр.

Мне хотелось узнать, что он думает про Анисью. Мне казалось, что он правится Анисье. Хотя я все еще продолжал оглядываться на девушку под черной шляпой, но и Анисья волновала меня.

— Вы, Глеб, красите великолепно.

— Маляр я не из словяющихся, но маляр я для лаковых красок. Германия стала опрятной только после того, как употребила лаковые краски. Бездельники не понимают лаковых красок.

— Чему же способствует опрятность? — с грустью спросил я, вспоминая Нюр-Таш.

— Опрятность в современной работе, милый мой, очень

многому способствует: например, уважению к своему делу. Я склонен к философии, к единой любви, а мне позволяют черт знает какими красками красить. Думал я: один умный человек в нашем городе — Владычкин. Но и тот клеевой краской покрыл свой кабинет.

Глеб Журавко старался разговориться с Анисьей Опракса. Кухарка отвечала ему осторожно. Мне казалось, между ними уже шел какой-то сговор. Теперь я обедал на кухне у Владычкина. Кухарка советовалась со мной:

— Почему он убивается о прошлом и папаше-воре? Нет хуже, если человек женится и начнет убиваться о прошлом.

— Он тебе предлагал жениться?

— Жениться каждый предлагает.

От обиды на маляра я внезапно осмелел:

— Вот я, Анисья, жепиться тебе не предлагаю.

Она замолчала.

Подала еду медленно.

Видимо, по ее расчетам, подошло время, когда ей пора узнать любовь, чтобы в старости вспоминать: вот и я когда-то забавлялась. Но она не желала терять самостоятельность. Журавко казался ей чересчур степенным. Перед моим уходом она взяла меня за пояс:

— Вечером ты чего делаешь?

— Коня запрягу и пойду домой.

В девять часов вечера, съездив на Иртыш за водой, я обычно перепрягал коня в тележку. Владычкин ехал с женой кататься за город или же в кинематограф «Заря», хотя и до кинематографа всего четыре квартала.

— А ты не уходи. Посидим.

Я и остался.

Анисья подробно разъяснила мне, как она начнет дело. Бабе хотя и трудно начинать, но всякие случаются бабы. Надо, главное, избавить себя от забот по женской части. Она, хоть и решительна, все же планы кажутся ей трудными и великими. Ей необходимо поощрение близкого человека. Родственников у нее нет, замуж выйти она страшится, и она знает только один способ — чтобы к ней привыкли. А кроме того, все так делают.

Она спросила:

— Скоро поди хозяева приедут?

Я встал. Она положила мне руку на пояс.

— Ты не больной?

Я рассмеялся.

— Снаружи, надеюсь, видно.

— Избезумеешься с тобой,— сказала она ласково.— С девками, спрашиваю, у Ковалихи бывал?

Я покраснел.

— Ну вот, теперь видна правда. Полезай на полати, а то хозяйка, когда придет, непременно в кухню пойдет.

Я трепетал. Мне предстояло сделаться настоящим мужчиной. Страх мой увеличивался тем, что едва я влез на полати, как приехали хозяева. Владычкин долго распрягал коня. Пани Марина передала записать Анисье какие-то накладные. Анисья спокойно отнесла им ужин, долго читала молитву и причесывала длинные волосы. Я укатился к самой стене, возле которой шли толстые железные трубы из плиты.

Анисья легла навзничь.

— Ну, иди, дурачок.

Все мои движения казались мне удивительно ловкими, но когда я кинулся к Анисье, одна из моих ног сорвалась и с громадной силой ударилась в железную трубу. Я до сего времени не понимаю, зачем протянули вдоль полатей железную трубу. Раздался дикий грохот.

Владычкин с воплями промчался коридором. Он выскочил на крыльцо и вопил:

— Слезай! Я здоровья своего не пожалею, а застрелю!

Ему показалось, что кто-то лазит по крыше. Анисья уже стояла у открытого окна и спокойно говорила Владычкину:

— А вы на двор выдите. Вор-то, наверно, за трубой сидит.

— А если он меня кирпичом оттуда? — тихо ответил ей Владычкин.

Он выстрелил. Я забился под одеяло. Охая, Владычкин вернулся в спальню. Анисья закрыла окно.

— Слазь, мочало,— услышал я злой ее шепот.

Она протягивала мне плоские мои брюки.

— Штиблеты в зубы возьми, а то опять загрохочешь.

Она тихо распахнула окно. Лицо у нее было строгое и утомленное. Я выскочил и упал на кирпичи. В кухне перекладывали русскую печь, и печники не успели убрать материал. Я сильно зашиб колени. Забор высокий, из толстых плах. Калитка крепко замкнута. Студеная сердцем, я долго лез на забор. В лицо мне глядела точеная луна. Обиды трепали меня.

Улица была пустынна, залита песком. Сторож, постоянно дремавший со своей колотушкой возле типографии, видимо испугавшись выстрела, убежал. Верхом на заборе! Грустно я натягивал свои ботинки. Грустно рассматривал улицу.

Спрыгнув, я долго растирал колени. Когда я поднял голову, передо мной стоял маляр Глеб Журавко.

— Ты от хозяйки или от Анисьи?

Голова у маляра была прилизанная, а тальково-бледные щеки корчились. Он был мертвецки пьян.

— Мое дело! Может быть, у меня их двочка.

Маляр ухватился за мой ворот:

— Гони три рубля! А то всю морду развалю и размалюю.

Откуда он догадался, что в кармане у меня ровно три рубля? Я желал страдать и сражаться, но нелепо биться из-за трех рублей. Глеб Журавко сунул деньги в карман, расправил штаны и сказал презрительно и вяло:

— Помоги!

Подсаживать это грузное тело было гораздо обиднее потери трех рублей, но мне хотелось покончить с позором. Я подсадил.

Журавко качался и бранился на заборе. Он требовал, чтобы Анисья помогла ему слезть. У поворота улицы я услышал вдруг его испуганный крик. Обернулся. Мелькнули вздетые его руки, и Журавко рухнул вниз головой в типографский двор. Тотчас же раздался вопль Владычкина и за ним — выстрел.

Попробуй быть недовольным! Первое мое знакомство с долго ожидаемой любовью ознаменовалось убийством. Я не спал ночь. Я подбирал слова, которые скажу на суде. Кто виновен в его убийстве? Я ли, который опрокинул железную трубу? Хозяева ли, возводящие трубы в сомнительных местах? Суд придет освидетельствовать место смерти маляра Глеба Журавко; зрители будут рассматривать меня и думать: что в нем нашла красавица Анисья?

Утром выяснилось, что Журавко от выстрела упал в обморок. Очнулся он в участке. Владычкин хихикал: револьвер был заряжен холостыми патронами.

Анисья Опракса ходила по кухне такая же опрятная. Недели две спустя маляр пришел. Он зарекся пить, го-

ворил о своей отчаянной любви и, сидя возле кухонного окошка, до приторности тщательно рассматривал бухгалтерские книжки, по которым училась Анисья. Я понимал его принужденность и не осуждал его.

Гришка Заботин заметил мое расстройство. Я уныло вертел колесо. Он правил корректуру, ловко и весело выдергивая шилом литеры из набора.

— Тоскуешь?

— Приходится, — ответил я, вяло держась за рукоятку, деревянную и лоснящуюся.

— Влюблен?

Я не желал сплетен и сказал уклончиво:

— Просто так.

— Грамотный?

— Как же!

Он бросил шило на пол.

— Тю! Зачем тебе вертеть колесо! Ты аффект должен иметь. Тебе надо, парень, помочь. Хочешь, я из тебя наборщика сделаю?

— Кто не захочет?

— В три месяца!

— Хоть бы в год.

— Говорят, в три месяца. Цепляйся!

Он яростно принялся за мое обучение. Учиться я торопился. Гришке я мог быстро надоесть, так же как ему надоели все веселые девушки в городе, все кошки, воспитанные им, битые стекла у Ковалихи, числящиеся за ним несколько протоколов. Он был родом из Семипалатинска. Каждую весну он уезжал куда-нибудь подальше от родных мест, к осени терял свой паспорт и возвращался всего чаще по этапу. В Семипалатинске его отмывали и залечивали от тюремных побоев, друзья устраивали его в епархиальную типографию, и он работал, пока не начинал вновь тосковать.

Вначале он учил меня разбирать, затем преподавал мне правила сплошного набора, афишного набора и под конец — акцидентного. Если хозяин хворал, а пани Марина уходила собирать по городу заказы, то Гришка вертел колесо, а я работал вместо него. Самоуверенность ли его, мои ли старания, но я действительно научился в три месяца.

Однажды он поставил меня у кассы и велел набирать сплошняк: в час восемьдесят строк на четыре квадрата,

корпусом. Я торопился. Я понимал, что это экзамен. Потный, с перетрескавшими от волнения губами, я метался возле кассы. Я пригибался и отгибался. Литеры послушно ложились в мою верстатку.

— Выходит,— похвалил меня Гришка.

Он передал рукоятку машины повертеть переплетчику, а сам убежал за водкой.

— Единозвучным будь по заработку, Всеволод, вот тебе мое завещание,— кричал Гришка, размахивая наполовину опорожненной бутылкой.

— Как вы понимаете единозвучие, пан Григорий?

На пороге, за его спиной, стояла хозяйка.

Гришка пошатнулся. Его выпуклые глазенки смотрели на меня ласково:

— Всеволод, труби сбор!

Он вдруг показал хозяйке язык и плюнул к самым ее ногам.

— Расчет! Совесть моя чиста, я вам рабочего сделал.

В тот же день мы его проводили на пароход.

Я остался наборщиком. Вертельщиком наняли киргиза. Работать мне приходилось до поздней ночи: то ли заказов было много, то ли я не успевал. Приближалась осень. И я подумал: вот выпадет снег, нет сюда, в Павлодар, ни пароходного пути, ни железнодорожного, откуда появиться наборщику? Я желал подражать благородному Гришке Заботину. Я желал, чтобы совесть не изнуряла меня. Я потребовал у хозяев жалованья.

— Пока есть дорога, вы имеете возможность выписать вместо меня другого наборщика.

Пани Марина кинулась к Викентию Ивановичу.

— Сбрэндил! Вот он, твой Иванов. Сколько за ним ухаживали! А он жалованья требует.

— Никогда с ними не выздоровеешь,— уныло сказал Владычкин,— пьяница на пьянице, нахал при нахале.

Хозяйка вернулась ко мне и сказала с пренебрежением:

— Четырнадцать.

— Восемнадцать,— ответил я.

— Семнадцать, иначе хоть закрою типографию.

Я возгордился. Из-за меня закрывают целое предприятие, целый город будет без прессы. Зима будет без афиш.

— Окончательно восемнадцать,— сказал я.

Пани Марина выругалась очень нехорошо.

— Отбывать вам часть вашей жизни в тюрьме или даже на каторге, пан Всеволод. Да, я вам даю восемнадцать. Но вы должны жить при типографии, платить мне шесть рублей за квартиру и за хлеб, дабы постоянно быть под руками.

— Согласен, пани Марина.

Я мечтал примириться с Анисьей. Но и восемнадцать рублей жалованья не всколыхнули ее погашенного сердца. Маляр Глеб Журавко вскоре женился на ней. Она отменила бухгалтерию и готовилась снять малярное заведение. Маляр опять пил. Она ушла от Владычкиных. Позже я встретил ее. Она несла большой и отлогий живот, лицо ее было покрыто синяками и нос свернут на сторону.

— Какую же там бухгалтерию?— ответила она и заплакала.

Самые выгодные заказы поступали из магазина миллионера Дерова. Их приносил непременно вечером приказчик, обладающий чудной фамилией — Жде. Поципывая коротенькие усики, широконосый, широкобедрый, он повторял:

— Ну-да-ну... Прошу напечатать к завтрашнему дню. Ну-да-ну...

«Зачем такая торопливость?» — думалось мне. Но я быстро понял. Приказчик Осип Жде жил на хлебах у печатника Бьюкова. Жена Бьюкова Варвара молода, здорова, «перепеченная», приказчик Осип Жде холост. Бьюков, полагаю, понимал деровскую спешность, но жадность владела им. Осип Жде пользовался уважением Дерова.

Ни сдельных, ни сверхурочных мы не получали, и все-таки Бьюков работал часов до трех ночи и меня заставлял. Иногда он останавливал машину, и по лицу его было видно, как бьется его сердце. Он думал вслух:

— Вредно сокращать мысли, надо во всем разобраться без прикрасу, чтобы со стороны совести не увидеть противовесу.

Подражая Гришке Заботину, который никогда не отводил смысла беседы в сторону, я спрашивал:

— Дом хочешь отломить?

— Ну и отломлю, если найду в совести опорную лампу!

— Привередничаешь, — говорил я ему с достоинством. — А ты попроще.

— Вот и попроще выходит: утомление мне без собственного дома.

Я видел его входящим в церковь. Мне любопытно было посмотреть, как он молится. Я пошел за ним. Он стоял неподалеку от алтаря, смотрел в окно и, видимо, гадал: удастся ли ему при помощи Осипа Жде купить или выстроить дом? Или приказчик обманет? Он любил жену, но еще больше любил свой будущий дом, и в церковь, должно быть, зашел потому, что все люди перед постройкой своего дома советуются, а здесь, в таком щекотливом деле, с кем посоветуешься? Еще осмеют. Я порадовался, что бог опять впутался в гадость, явно поощряет ее всем этим не тускнеющим благолепием храма. Но печатник Бьюков был противен мне не меньше бога. Я поспешно ушел из церкви.

Добившись жалованья, я решил: пора знакомиться с девушкой в черной шляпе. В обед она все еще встречала меня. Вечером она все еще оглядывалась. Я узнал ее имя. Ее звали Ирма Шмидт.

Это редкое, далекое имя воодушевило меня.

Я написал ей громадное письмо.

Я с первых же строк открыл ей великую тайну. Я ни больше, ни меньше как индийский принц, брошенный к берегам Иртыша коварными претендентами на престол моего отца. Мой отец, Саид-Ахмет-хан, принадлежит к древнему роду, который ведет начало от потомков Магомета. Его предки, пришедшие в Индию из Центральной Азии, занимали высшие должности при дворе Могольских императоров. Он умер в Аллаха-Баде. Я описал корабль, на котором меня везли по океану. Корабль качало, дул скользкий ветер. Острова обозначались удивительными запахами. Вокруг меня стража, готовая при первой попытке к бегству содрать с меня шкуру. Но и эта дикая стража пожалела меня! Ей приказано сбросить меня в Охотское море, а она выкинула меня в Павлодар. Что я предлагал девушке? Точно не помню, но, кажется, я звал ее быть моим другом, помочь мне убежать в Индию. Я обещал ей золото, любимых коней, яхту, Европу.

Твердо знаю, что исписал не менее двадцати страниц. Я писал красными и синими чернилами. Я называл го-

рода: Пенджаб, Бегар, Оутт, Гузератт. Я называл восточные части Индии, я перечислял ей южные края центральных провинций, Берара, Бомбейского декана. Наконец мне надоело вспоминать города, реки и озера, и я начал выдумывать их. По моему письму ходили слоны, мяукали тигры, гипопотамы хрюкали на каждой странице. Ничего малюсенького! Я купил громадный розовый конверт. Я накапал сургуча и прикрыл его пятаком, но так ловко сдвинул пятак при нажиме, что каждый должен был принять российский герб за мой собственный.

В обед я дал нашему киргизу-вертельщику Ахтыру четвертак и попросил его пойти со мной. Когда девушка вышла из-за угла, Ахтыр передал ей мое письмо.

Больше она не выходила ко мне навстречу. А когда встречала меня на яру, то отворачивалась.

Получив первое жалованье, я приобрел рубашку «фантазия», пышный голубой галстук, черный плащ-накидку с капюшоном, застегивающийся на львиные морды, суконные брюки навыпуск, зеленое толстое кепи. Я завел дутую железную трость с никелированной рукояткой. Я поднял капюшон и отправился гулять на яр. Была сильная жара. Дули стремительные ветры. Все удивленно смотрели на меня. Жалко, что не хватило на бинокль! Я стоял бы на яру и смотрел на подходившие пароходы.

Галстук мой развеялся. По утоптанной дороге густо шла мимо меня толпа мещан. Вот прошла Ирма Шмидт. Она не смотрела на меня. Мне показалось, что она улыбается.

Из-за деревянного здания прогимназии белый конь грузно вывез моих хозяев Владычкиных. Они ехали в кино. Черный плащ обвивал меня. Далеко внизу плыли по реке тяжелые выцветшие плоты. И я так же медленно и упорно плыл потоком жизни.

Я стою гордо на высоком яру. Я уже наборщик. Я пишу удивительные письма и рассылаю их со своими слугами. Я могу уехать, куда хочу, работать, где хочу, у кого хочу.

Ветер бил по моим тесным ботинкам легким песком. Из сарая, возле кино, выскакивал голубой дымок: там действовал электрический двигатель, снабжавший током «электротئاتр». Приятно смотреть на прогресс и цивилизацию создателю этого прогресса!

Хозяйская тележка медленно приближалась. Она пройдет в двух шагах возле меня. Я вежливо сниму толстую суконную кепку и скажу:

— Добрый вечер, Викентий Иванович! Добрый вечер, пани Марина!

— Добрый вечер, Всеволод Вячеславович,— ответят мне они.

— Гуляете, Викентий Иванович?

— В кино едем, Всеволод Вячеславович.

— Хорошее дело, Викентий Иванович. А я вот смотрю на Иртыш и все не могу насмотреться.

Превосходный разговор, отличный разговор! Как доволен Владычкин, как он рад, что не уволил меня, какой исполнительный и грамотный наборщик, как он цивилизует типографию. Ведь вы подумайте, он любитесь на природу! А по правде сказать, черта ли лысого на нес любоваться? Желтый высокий яр, желтый ветер, течет громадная желтая река и несет тусклые плоты. В кино куда любопытнее: хропика комическая, научная и видовая, страшная драма. Весь мир мелькает перед вами. На пианино играет дочь священника, почтенная дама в синих очках. Сеанс окончится, пригласишь гостей сыграть в карты, выпить вина, поговорить об эпидемиях и неприятности киргизов.

Когда тележке осталось до меня шагов пятнадцать и она, перед тем, как выкатиться ко мне, нырнула в овраг, непонятный, огромный стыд охватил меня. И я опрокинулся под яр.

Я перекувырнулся и упал на песок.

Яр высотой метров в пятнадцать, но песок спружинил. Я подпрыгнул и шлепнулся лицом в Иртыш. Вода холодная, тугая.

— Осень скоро,— сказал я, лежа на животе.

Плащ прикрывал меня. Я лежал, пока не стемнело.

Утром пани Марина, передавая мне для набора заказ, спросила лукаво:

— Какой это англичанин прыгнул вчера с яру?

— Пани Марина, я работаю здесь не для издевательства, а для просвещения,— ответил я. Эту фразу я обдумывал целую ночь.

Но трудно перекудрявить словами пани Марину. Она вздохнула.

— Ах, просвещение столь опасно, пан Всеволод!

Я понял ее. Дело в том, что в город Павлодар, впервые за все его существование, приехал цирк А. Коромыслова. На площади, возле дома купца Дерова, сколачивали огромное здание из досок, и руководил постройкой мой дядя Василий Ефимович Петров. Пани Марина уже успела полюбить борца-легковеса Роальда Максимовича Азгерц.

Осень была томительная, вязкая, непрерывные ливни затопили город. Цирк занял в гостинице все номера. Я видел, как долго с парохода выгружали имущество. Стриженные, как люди, пудели, обезьяны с оранжевым задом, высокие черные ящики, кольца, сети, вагончики. Но оказалось, что осенью цирк открыть невозможно. Василий Ефимович выстроил цирк криво, и его еще более скосило от упорных дождей. Слешно пришлось перестраивать.

Циркачи ходили в длинных плоских шляпах. Город неустанно говорил о борцах и акробатах. Мне казалось, что мещане и на себя смотрят лучше, что сам город как бы вырос на их глазах, как бы его продули особыми целебными ветрами.

Любительские спектакли, для которых почему-то всегда выбирали украинские пьесы, не делали сборов. Обыватель берег деньги на цирк.

Дядя Василий Петров, любуясь топорами плотников, хвастался:

— Уверю, цирк оставят навечно. Я под него кирпичный фундамент подвожу.

Мать рассказывала, что укротитель и владелец цирка Коромыслов пьет много чая и любит сахарные печенья. Коромыслов рычал и торопил, дядя вертелся возле него, клятвенно обещая прямую постройку.

Однажды у ворот типографии меня остановил паренек в лаковых сапогах, в пальто с бархатным воротником. Тоненький, весь покрытый застенчивыми веснушками, он скромно улыбался.

— Я хотел бы поступить в типографию,— сказал он.

— Как тебя зовут? — солидно спросил я.

— Пашка.

— Не подойдешь, Пашка,— важно сказал я.— Нам нужны вертельщики, народ сильный.

— А учеников?

— Не принимаем.

Но тут великодушная мысль осенила меня. Почему мне не поступить так же, как и Гришка Заботин? Он благодетельствовал меня, зная хоть что-то обо мне, зная, что я люблю просвещение, книги. А если благодетельствовать человека, не зная его? Это возвышенной и трудней. Пашка не понравился мне, его скромность казалась напускной, а затем — откуда его щеголеватость: лаковые сапоги, зеленые диагональные брюки в обтяжку, фуражка с широкими полями, розовая шелковая рубашка? Почему он решил поступить в ученики?

— Как твоя фамилия?

— Вот возьми, тогда и узнаешь.

— Иди к хозяевам.

Пани Марина посмотрела со странной улыбкой на его опрятную хулиганскую щеголеватость. Хозяин выходил кашлять на крыльцо. Он стоял, прислонившись к двери, и вежливо кашлял, грустно глядя на пригоны. В столовой, против буфета, сидел Роальд Азгерц. Я до сего времени не знаю подлинной его фамилии. Тогда я его считал иностранцем. Меня удивлял только его отличный русский язык, его великолепная способность ругаться. Это был громадный розовый атлет с матовым затылком, весь в сером. Передавали, что он вел чрезвычайно аккуратную жизнь. Он съедал в день ровно три фунта мяса, выпивал ровно шесть стаканов воды, спал семь часов, а если пил водку, то никак не меньше и не больше, а ровно четверть ведра.

Пани Марина, не обращая внимания на нас, пристально рассматривала Роальда. Вдруг она, точно выплескивая что-то, сказала:

— Легче жить, если освободишь себя от избытка страстей.

— Вот именно, — забасил атлет, — во всем надо знать пределы и уметь избавиться от избытков.

— А избытки в любви, например, вам известны, пан Роальд?

Голос у пани Марины был особый, он не нравился мне. И пани Марина не нравилась мне. Голос у нее был какой-то раздетый. Пашка как будто понимал больше меня. Он смотрел смелее, даже несколько нагло.

— Известны избытки, пани Марина,

— А врачевание?

Пани Марина обернулась к нам. Я впервые увидел ее безмерно обнаженные плечи. Сердце у меня захолонуло. Я отвернулся.

— Что вам нужно, мальчик?

— Я пришел. Говорят, вы требуете ученика.

Пани Марина рассмеялась каким-то своим мыслям.

— Вот мы и не думали требовать в типографию ученика.

Пашка улыбнулся еще наглее.

— Значит, наврали.

Пани Марина как будто вдруг охладела. Румянец покинул ее щеки, движения ее стали медленными. Она держала в руках глубокую тарелку и пристально смотрела в медь стоящего на буфете самовара. Наверное, это было ее последнее размышление. Если ее тогдашнее размышление перевести на мое теперешнее понимание, то она подумала приблизительно так: возможен ли более интеллектуальный путь для освобождения Польши, чем тот, который хочется ей избрать?

Она улыбнулась опять той улыбкой, которую мы видели, когда вошли в столовую. Движения ее опять стали стремительными. Меня злило, что я не понимал связи между Пашкиной наглостью и размышлениями пани Марины. А эта связь была. Доказывало мои предположения и следующее обращение пани Марины к Пашке:

— Куда же ты хотел поступить? К переплетчику?

— Нет, в наборное.

— Вы беретесь его научить, пан Всеволод?

— Пан Всеволод берется,— сказал Пашка.

Я угрюмо ответил:

— Надо подумать.

— Чего же тут думать, если взялся? — нагло сказал Пашка.

Пани Марина легонько потрепала меня по плечу.

— Я его принимаю. Идите в типографию, мальчики.

Пашка оказался понятливым. Учился он быстро. Я вскоре привязался к нему. Я узнал его фамилию: Герасимов. Но фамилия ничего не объясняла мне. Мы ходили с ним гулять вдоль яра, я рассказывал ему содержание книг. Читать он не любил, но ему нравилось слушать содержание прочитанного мною. О себе он молчал. словно у него не было ни детства, ни родителей, ни товарищей.

Удивляло меня, что рабочие обращались с ним с какой-то презрительной почтительностью, а веселый почтальон в зеленой куртке Донсенко, щеголь и весельчак, постоянно торчавший в нашей типографии, весьма странно подмигивал Пашке.

Холода ударили рано. Пожарная команда устроила возле кинематографа каток с платою пять копеек за вход. Для нашего города платный каток тоже был нововведением, как и цирк. Раньше мы катались или на Иртыше, или с обледенелого яра возле «торговых бань». По воскресеньям на катке играл оркестр пожарных. Пожарные сидели в страшных медных касках, завязанные пуховыми шалями: со степи всегда дул свирепый ветер.

Если на катке появлялась сестра моя Марья со своими подругами, коричневыми прогимназистками, я смелел и приглашал девушек прокатиться. Сестра важничала, на каток ее провожал чиновник с бряцающей бородой. Марья хвасталась, что нахлебника повысили «втрое в окладе».

— К семидесяти годам,— язвил я,— его впятеро повысят.

— Ух, вы, молодежь,— пренебрежительно отвечала мне Марья.

Каток в день открытия цирка пустовал. Мы катались вдвоем с Пашкой. После обеда пришло несколько барышень, Марья, три чиновника. Барышни важно проплыли мимо меня. Я поклонился им. Они не ответили.

Огорченно я подкатился к Пашке.

— Играют они со мной?

— А ты спроси,— сказал он, косо и нехорошо улыбаясь.

Улыбка его встревожила меня. Я направился к Марье. Она тихо и боязливо ответила мне:

— Ты просто подлец, Всеволод. Тебе еще нету и семнадцати лет, а ты уже ходишь в публичные дома.

Мне льстила эта боязнь, этот тихий голос сестры, и я важно сказал:

— Возраст вполне подходящий. Но откуда тебе известны мои похождения?

— Ты имеешь право на твои похождения,— сказала она с почтением.— Все же кататься возле сына бандыриши Ковалихи просто безобразие.

— С кем хочу, с тем и катаюсь. Захочу, девок приведу.

— Весь в папашу,— удрученно сказала Марья.— Я с тобой больше не знакома. Я и дома и везде с таким развратником не разговариваю. Если на то пошло, лучше бы тебе переехать в публичный дом.

— Вместе с твоим чиновником?

Марья ударила ножкой в лед и откатилась.

Теперь мне все ясно. Ясны пряные улыбки пани Марины, смешки печатника, подмигивание зеленого почтальона.

— Пашка, зачем ты сказал мне фальшивую фамилию?

Пашка нагло смотрел на меня, облокотившись на забор. В лицо ему бил свет кино. Между ног стлался по льду снег. Девушки поспешно покидали каток. Встревоженно переговариваясь, они шли, одергивая платья, поправляя косы. Впереди них Марья.

— Девчонок напугался? Ничего. Из них в наше заведение еще многие попадут,— сказал Пашка.— Можешь и ты мне не кланяться, не учить меня.

Не кланяться? А вот возьму и научу, возьму и буду кланяться. В конце концов это настоящий подвиг и нечто похожее на книгу. Весь город удивится. Так думал я.

Я пожал Пашке руку. Он прослезился. Мне было легко видеть его слезы. Я тоже уронил слезу.

— Я хочу научиться печатать, чтобы сочинить историю нашей злосчастной семьи,— сказал Пашка.— Вот отчего я и решил поступить в типографию.

В этот день Роальда Азгерц пригласили обедать к Владычкиным.

— Употребляете вы водку? — спросил его Владычкин.

— Да.

Я принес четверть водки. Пани Марина велела внести водку в столовую.

Глаза ее были наполнены удивительным блеском, плечи опять обнажены.

— Зачем вам освобождать Польшу? — мычал борец.— Освободите меня!..

Возле буфета Владычкин осторожно капал в маленькую ложечку лекарство. Он следил напряженно: не перекапать бы лишнего. Роальд Азгерц тем временем целовал пани Марину в шею. Пани Марина взяла у меня сдачу — и ни она, ни борец не поглядели на меня,

Кухарка отнесла нарочно сваренную для борца курицу весом ровно в три фунта. Не знаю, почему так водка подействовала на борца, но вдруг в типографию прибежал бледный Владычкин и крикнул:

— Господи, какая зараза! Метлу!

Я влетел в гостиную с метлой.

Роальд Азгерц, должно быть, попробовал удержаться за книжный шкаф — и опрокинул его. Все книги, освобождающие Польшу, выпали. Азгерц блевал на этот атлас, на эту свиную кожу, на эти красивые заглавия, напечатанные аккуратно латинским шрифтом. Лицо пани Марины говорило о негодовании, о брезгливости, о любви. Плечи ее потускнели.

Что я мог придумать? Я подставил под рот борца свою метлу. Водка и курица текли безостановочно.

— Господи, какая зараза! Разве вы не можете остановиться, господин Роальд? — беспомощно говорил Владычкин.

Господин Роальд тупо посмотрел на него и пошевелил локтями, как бы показывая: где уж там, мол, останавливаться? Владычкин вышел на крыльцо.

— Такой закат, а он блюет,— сказал Владычкин.

Он понимал полное свое ничтожество. Он знал, что не так освобождают Польшу, но даже изругать и выгнать борца у него не было сил. Ему было совестно перед собой, совестно передо мной, но он любил свою жену и, главное, боялся ее. Я понимал его трепет. Ему плевать на закат, ему пора вернуться в столовую, а если вернешься не вовремя? И он поплелся за мной в типографию.

Цирк клонился набок, но отклонение искупала новизна цирка. Отклонение давало цирку даже некоторую стремительность. Яростно горели дуговые фонари. Оркестр рассаживался в громадной ложе. Капельдинеры, щеголяя бронзово-бурыми мундирами, расстилали васильковые ковры. И вот выскочили клоуны. Весь цирк захохотал. Киргизы кричали: «Уй, бой! — Здорово!» В бархатном, березкового цвета костюме выбежала канатоходец Антуанетта Сирбо. У нее было блеклое лицо. Проволока гнулась, как струна, и цела, как струна в моем сердце. Канатоходец распустил глянцевого, дивно алого зонтика. У нее были круглые «вредные» брови. Я любил ее. Я любил весь цирк, и когда вышел, щелкая бичом, укротитель и

дрессировщик Коромыслов, толстый, жирный, всеми ненавидимый, я его тоже любил.

Коромыслов был во фраке густого дегтярного цвета. Эта блестящая манишка, этот черный галстук, этот фрак сжигали мое сердце.

Последнее отделение. Капельдинеры очистили арену. Вышел низенький, широкогрудый арбитр и свистящим тенором закричал:

— Музыка, марш! Парад, алле!

Шли борцы, увешанные, как генералы, орденами и медалями. «Эх, кабы да мне,— шептал я,— как бы да мне хоть одного орденочка добиться!» Я испарялся в любви и в восторге. Над ареной высоко сияла проволока — и дивная Антуанетта Сирбо все еще, казалось мне, размахивала там глянцевитым зонтиком.

Я посмотрел на пани Марину.

Среди арены стоял Роальд Азгерц, розовый, в черном шелковом трико, с бурной мускулатурой. В его голубых глазах еще отражалась четверть выпитой водки, он икал. Но какая любовь светилась в ее глазах! Муж, сидящий рядом, как бы крошился. Как поднималась ее грудь, как она его любила и как, наверно, кипище целовала она его. А я, все равно, любил и борца, и пани Марину, и даже Владычкина. «Все пройдет, все минует, но цирк останется», — думал я.

Арбитр провозгласил:

— Чемпион Северной Норвегии и всех островов Скандинавии господин Роальд Азгерц.

Борец вышел вперед и поклонился. Как ему пышно хлопали! Он поклонился особо низко ложе, где сидела пани Марина. Пани Марина закивала головой и захлопала так, что и она и все поняли: зря этак не хлопают. Она все простила ему. Простила испорченные книги, забытую Польшу, свою испорченную жизнь. «Вот это любовь, вот это чувство!» — ошпаренно думал я.

Арбитр прислушивался к хлопкам. Он смотрел внимательно вдоль рядов. Я еще не знал, что арбитр старался догадаться по аплодисментам: кому из борцов предстоит быть любимцем этого города. Хлопали больше всех Роальду Азгерцу. И тогда арбитр начал самозабвенно прибавлять к его заслугам все больше и больше побед.

А пани Марина считала, что самая лучшая победа прекрасного Роальда — это победа над ней.

Я вышел из цирка. Чувства мои были разъединены, как разводят мосты для пропуска судов. Я отрезал от того, что хотел сделать, но что я хотел сделать вновь, я и сам еще не знал.

Дула метель. Я шел, покачиваясь. Цирк все еще тайно сиял вокруг меня. Я шел, подняв лицо к небу. У, как высоко мы вознесемся! Высоко, чуть ли не у Млечного Пути, я протяну свою проволоку и понесусь по ней, одетый в огненное трико. И весь мир будет смотреть на меня, и чудесная Антуанетта Сирбо обнимет меня за шею и скажет... Я и сам не знал, что она мне должна сказать, но что-нибудь непременно сгорающее на губах.

Тетка Фелицата приняла на хлеба рыжего капельдинера Сережку Трошкина. Ему было девятнадцать лет, он гордился своей бронзово-бурой ливреей, чистил ее два раза в день, широко расставляя длинные, тонкие ноги. Он часто повторял, что все в жизни преобразовывается, развивается, что судьба тащит нас правильно. Если имеются борцы, — значит, борцы нужны для развития цирка. Он желает промышлять борьбой.

Мне хотелось учиться канатоходству. Но у кого? За ученые, рассудительно сообщал Трошкин, циркачи берут крупные деньги. Лучше всего посещать цирк и подсматривать. Сережка подметил уже много приемов.

— Давай практиковаться?

Я утащил у тетки Фелицаты большую кошму и растелил ее на чердаке амбара. Мы боролись все свободное время. Перед борьбой мы пожимали крепко друг другу руки и выше колен закручивали кальсоны, чтобы они походили на трико. Трошкин свистел и дискантом приказывал: «Музыка, марш!»

По-разному мы снимали нашу жатву с арены цирка. Сережка великолепно воспринимал и воспроизводил все эти «тур де бра» и «двойной нельсон». Я же мог перенять жесты, оттенки голоса, какое-то еле уловимое выражение лица, походку борцов. Я мог подражать только звукам, а ловкость и, главное, сила движений ускользали от меня. Я ощущал сильное чувство разлада. Сережка испытывал удовлетворение: все, что он проделывает сегодня, — нечто более удачное, чем вчерашнее. Эта ловкость ему нравилась, она вызывала в нем приятное расположение. Вытирая полотенцем тело, он добродушно смотрел на мое расстроенное лицо и говорил:

— Подожди, отвалится и от тебя мешковатость. Ты и сам не заметишь, как тебя подопрет цирковая панорама. Наблюдай за ней, Всеволод, крепче.

Я веселею, передразниваю арбитра, борцов, их пыхтение, их выцветшее дыхание. Сережка хохочет.

— Торопись, спроваживай, Всеволод, навоз из головы. Смелость надо! Головную. Мускулатура? Она прогрессирует более быстро.

Город готовится к масленице.

Масленичное гуляние идет кругом по двум улицам, похожим на крендель, мимо базара, собора, прогимназии, купеческих дворов и двух гостиниц. Улицы наполняются копеечками, санками, розвальнями. Иные убраны коврами, а победнее хозяин — расшитыми кошмами. Экипажи идут тесной толпой. Деревянные тротуары наполнены мешанами, казаками, киргизами.

Пани Марина презирала павлодарские гуляния, но не поехать было нельзя. Мне велели запрячь белого коня в беговые санки. Пани Марина надела беличью шубку.

Люди вытащили все лучшие одежды. Здесь хвастаются конями, шубами, количеством детей, иные семьи сразу выехали на нескольких санях. Некоторые вместо сидений ставят громадные сундуки с добром.

Деревские рысаки выскакивают из общего потока, обгоняют, ломают санки свои и чужие. Купцы бахвалятся поломанными санками! Вот мчится на огромном дымящемся бегунце Осип Жде. На нем бобровая шапка, а позади в санях сидят Варвара и муж ее, унылый печатник Бьюков. Дядя Василий Ефимович нарочно пригнал из степи два десятка коней: должны ехать все родственники, все работники, все киргизы. Санок у него не хватает. Он предлагает мне ехать верхом.

Вечером город до изнеможения ест блины и пьет водку. Утром город встает с тяжелой головой, с трудом натягивает мохнатую шубу, падает в сани и опять крутится по этим двум улицам. Опухшие, заспанные лица! Я знаю, у кого сколько съели блинов, кто сколько настряпал пельменей. Возле цирка артисты с почтением любят этим катящимся мимо них степным обжорством.

Я отказываюсь ехать. Я обертываю свою шею «соломенной собакой» и брожу пешком. Меня злит тонкость и точность борьбы Сережки Трошкина. Я завидую ему.

Паперть собора заполнена нищими, калеками, юриди-

выми, странниками. Все они забыли свои несчастья и страдания. Они восхищаются этим клубящимся вокруг богатством.

Улицы покрылись ухабами. Сани ныряют, выскакивают. Маслянисто-серы спины коней, в мыльной пене уздечки. Малахитовые ковры, лисьи малахаи работников, опаловые шубки девиц, пестренькие их платья, посеребрённые кудри кушцов — все это потрясает паперть. Она забыла свое уродство, свой добровольный отказ от удобств и благ жизни земной, от выгод жизни общественной, от родства кровного. Она, некогда принявшая облик безумца, не знающего приличий, стыда, кривляки, насмешника, нагая, босая, распустив волосы, «трясаясь и биясь», бегущая из города в город, — теперь...

«Жирная степь опоила вас, дураков, — думаю я со злостью, глядя на паперть. — Погибло ваше обличение».

Дома я собирал лохмотья. Сережа Трошкин помог мне разрисовать себя. Мы купили в парикмахерской тресу, клея. Соорудили длинные усы и бороду. На всякий случай я приобрел длинный кинжал в деревянном футляре, оклеенном малиновым бархатом. Мы вырезали из картофеля тоненькую пластинку, проделали в ней несколько отверстий, так что пластинка являла собой круг, внутри которого болтались белые полоски. Эту пластинку я вставил в рот. Я завязал грязной тряпичей щеку, надел рваную шапку. Страшная рожа, волосатая, клыкастая, юродивая, глядела на меня из зеркала. Сережка поднес мне длинный корявый посох, накинул быстро сооруженный деревянный крест, покрыл его сумой, куда кинул куски хлеба и тряпки.

Для начала я решил обличить тетку свою Фиозу Семёвну Петрову.

Разве это подлинная жизнь? Это дрейф какой-то! Лежит на кровати, под атласным одеялом, кушает варенье, оплывает жиром, а ее родная сестра служи ей! И вообще Петровы совершают много несправедливостей. Дядя Василий Ефимович обсчитывает не только киргизов, но и более грамотных русских каменщиков и плотников, строит кривые дома, дает взятки уездному начальству.

Кухня пуста. Я подождал, кашлянул.

Из столовой появляется в длинной белой рубашке, в туфлях на босу ногу, тетка Фиоза. Уже два часа дня, пора бы ей и одеться! Тетка Фиоза взглянула на меня. Лицо ее

делается беспокойным и плоским. Она махнула рукой и торопливо сказала.

— Сейчас.

Она возвращается с необычайной для нее поспешностью. Она встревожилась: в доме нет защитников, а если зубастый нищий с обманом? Вот он мычит, и дрожит его протянутая рука. Тетка Фиоза успела переодеться. Она протягивает мне пятак.

Я убрал руку. По лицу тетки разливается бледность. Ее откормленные толстые щеки вздрагивают.

— Чего же тебе еще надо? — еле выталкивает она из себя.

Мне смешно. Нужно снизить себя. Я поднимаю кверху руку. В другую беру суковатую палку и крест.

Тетка затряслась и повалилась на колени. Картошка в моем рту мешает мне обличать. К тому же я не могу удержать смеха. Я бросаю палку, крест и поспешно бегу.

Я слышу, как за мной закрывают на засов дверь. Сквозь двойное окно я вижу испуганное и словно бы подметенное лицо тетки. Она мелко-мелко крестится.

Глупо! Я огорчен. Я вскакиваю на извозчика. Мне уже кажется, что за мной гонится полиция, что тетка успела спосылать в участок. Я испуган. Извозчик удивляется моей суме, моей бедности и говорит:

— Не повезу.

Тогда я выхватываю кинжал. Извозчик затих. Он увозит меня на окраину. Я вручаю полтинник и грожу кинжалом. В глухом переулке я зарываю в сугроб суму, бороду, картофельные зубы.

Вечером я прихожу к матери. У Петровых гости. Ох, как тетка разделявает меня! Странное видение посетило ее сегодня на кухне. У нее стонулось сердце. Ей требуется съездить на богомолье. Кто в этом городе растолкует ей виденье? Она умолчала только о том, что я оставил возле плиты палку и крест, ибо виденье вряд ли могло оставить ей так неискусно сделанные предметы.

Я постыдно молчу. Я доедаю оставшуюся после гостей пищу.

Масленица продолжается. Ухабы все глубже и глубже, лица катающихся совсем заплыли, и едва ли сорок дней поста смогут отделать их заново.

У нас остался трес и клей. Днем мы играем с капельдинерами в карты «двадцать одно», на спички. Куплен-

ный кинжал жжет мне руки. Его блестящая сталь часто выходит из футляра. Я щупаю нежный малиновый бархат и неуверенно говорю Сережке:

— Вот мы проигрались с тобой...

— Все развивается правильно. Игра и та совершенствуется.

— Правильно-то — правильно, — уступчиво говорю я, — а счастье в игре бывает, по приметам, от награбленного.

Сережке не хочется, чтобы с него спадало величие. Он говорит:

— Отвык я грабить.

Смелость явно убывает во мне, но если я позволю загонять себя в цирковой борьбе, то здесь, в степном рыцарстве, я должен уложить Сережку.

Из кинематографа «Заря» около десяти часов вечера, после сеанса, последнего и малолюдного, возвращаются мещане и купцы. Некоторые из них сворачивают вправо, через площадь, мимо пожарной команды и городского училища, а редкие направляются яром, около дома тетки Фелицаты и складов пароходства «М. Плотников и Сыловья». Возле складов, на углу, горит большой керосиновый фонарь — от воров.

Прицеплены бороды. Кинжал лежит за пазухой. Верхнюю половину лица прикрывают плисовые маски. Мы останавливаемся за углом и выглядываем. Скоро десять часов.

Очень сложные чувства заставили меня пойти на ограбление. Это и обличение, которое не удалось мне с теткой. Вот сейчас купец вынет из кармана десять тысяч рублей, и мы скажем: «Награбленные тобою деньги пойдут по принадлежности, то есть бедным людям». Было здесь и желание показать себя более ловким и сильным, чем Сережка Трошкин. Хотелось мне также достать сразу побольше денег, купить завтра необыкновенного рысака, лучше, чем все деревские, и обогнать весь город. Хотелось мне в карты играть не на спички, а на большие суммы. Хотелось, наконец, сидеть в цирке не по контрамаркам, а на свои собственные деньги в первом ряду и в бенефис Антуанетты Сирбо поднести ей серебряное блюдо.

Мы пропустили несколько плохо одетых мещан.

Вот показался тот, кого мы ждали.

Он шел в бобровой шубе, в бобровой шапке, подpira-

ясь железной тростью. Рядом с ним — жена, накрытая лисами. Сердце охватила тоска. Это идет купец.

— А вдруг у него в палке вынимающаяся шпага? — сказал Сережка.

Я начал расплату. С каким наслаждением я тихо ответил ему:

— Трус!

Я нарочно, чтобы показать свою храбрость, выскочил под свет фонаря.

Купец замедлил шаги. Жена его остановилась. Я высоко поднял кинжал над купеческой головой, «и луч фонаря заиграл на его ужасном лезвии».

— Руки вверх, — сказал я басом.

И вдруг я испуганно увидел: купец действительно поднял вверх руки. Жена его тоже подняла руки. А я не знал, что мне делать дальше.

— Руки вверх! — сказал я еще раз.

— Я и так их вверх, — ответил купец. — Куда же мне их выше?

Купец, видимо, обладал юмором. Я рассердился.

— Давай деньги!

— Руки-то можно опустить? — спросил купец.

— Давай деньги, — сказал я. — Я вот тебе покажу — опустить руки. Садану металлом в живот, так опустить их на всю жизнь.

Я опять сверкнул ножом. Купец глубоко вздохнул.

— Господи, вы бы хоть не изголялись, — сказала издали купеческая жена, со страху опустившаяся на снег.

Я приказал Сережке:

— Лезь к нему в карман.

Сережка, весь дрожа, сунул руку в боковой карман купеческого пиджака.

Купец тихо сказал:

— В брюках.

Сережка еще тише проговорил:

— Ой, не могу.

Я сверкнул на него кинжалом, и Сережка поднял вверх руки. Дело совсем плохо. Еще немножко, и Сережка убежит. Держа кинжал на изготове, я торопливо достал тяжелое купеческое портмоне и сказал возможно страшней:

— Уйдешь отсюда через час. Иначе наши дежурные пристрелят.

— Слушаюсь,— сказал купец.

Мы скрылись за углом. Выглянули. Купец стоял, подняв кверху руки. Упавшая шапка лежала у его ног.

— Шапку надо было бы взять,— сказал Сережка.

— Трус,— ответил я ему.

С трепетом открыли мы дома портмоне. Там лежало медью и серебром один рубль двадцать копеек. Скрывая следы, мы сожгли портмоне, а кинжал мой Сережка кинул в иртышскую прорубь.

Утром за пятьдесят копеек из сумм, мною награбленных, я купил открытку, на которой изображена пышная девушка с наклеенными волосами и с серебристыми блестками на громадной груди. Эту открытку я положил в глянцевый прозрачный конверт. Я написал адрес, а на груди девушки, возле сердца: «Люблю вас всю жизнь. Незвестный разбойник».

Эту открытку я отправил с извозчиком Антуанетте Сирбо.

Хотя Сережка теперь и уважал меня, но борьба оказалась трудно изучаемым искусством. Руки и ноги болели. Постоянно ныла шея. Я плохо спал. Сестра Мария шипела, указывая на мои синяки:

— Все по девкам шляешься. Вот схватишь сифилис.

К тому же мы протерли кошму. Испорченная кошма напомнила мне катание на коже в поселке Урлютюпском, сладкий склад, мое изгнание. Я предложил Сережке:

— Давай лучше бороться на сене.

— На сене козлы борются,— сказал он строго,— у козла прогрессу не дожدهшься.

Я выпросил у дяди Петрова на время двухпудовую гирию. Утром, в полдень и вечером я поднимал гирию пятнадцать раз. У меня заболел живот и почему-то открылся насморк. Но я упорствовал. Я питался сырым мясом, пил молоко вместе с пивом, каждый день ходил в цирк — высматривал.

Тем временем Роальд Азгерц приобрел в Павлодаре гигантскую славу. Он клал любого борца через пятнадцать минут. Каждую неделю у него бенефисы. Он выдумывал пантомимы. На его голове гнули железнодорожную рельсу, через его тело, стоящее «мостом», проезжала тройка коней. О нем говорили приказчики, ему завидовали мясники, в него влюблялись прогимназистки, кавки, потягивая «носогрейки», говорили:

— Приличный бы урядник вышел.

Я завидовал великолепному Роальду. От зависти мне показалось, что мускулы выросли. Явившись в контору цирка, я выразил желание бороться с любым из чемпионов. Против меня назначили самого слабого борца, самого рыхлого, старого.

Я боролся под маской.

Я держал маску цвета охры. Мне предложили надеть трико, но я отказался. Я скинул рубашку. Подле столика, наспех сколоченного из горбылей, стояло высокое парикмахерское зеркало. Я тоненький и, наверно, очень шаткий. В уборной пахло кожей, все углы завалены седлами. Я открыл дверь в коридор. Антуанетта Сирбо, в белой шубке и высоких ботинках, пробежала мимо меня. Она не посмотрела на меня. Разве она знает, что я борюсь ради нее! Возле голубого сугроба ее ждет деревовский рысак, усатый кучер дремлет.

И вот я на арене. Публика! Я трепетно держу собою громадную буйную силу, как держит ее новая плотина. Павлодарская сила смотрит, ждет. Звонит звонок. Арбитр свистящим тенором провозглашает этой силе:

— Господа! Павлодарский борец-любитель, скрывающийся под желтой маской, против волжского чемпиона и богатыря Ильюши Произвол. Музыка, марш!

Пожав старую волосатую руку борца, я мгновенно забыл все заученные приемы. Ильюша Произвол пыхтел, переминался с ноги на ногу и скучными, старческими глазами смотрел на меня. Храбрость слоями спадала с меня.

Борец положил меня в несколько секунд, плелнул по заду и уныло сказал:

— Туда же лезешь, сопляк.

Тонкий девичий смех вспыхнул в первом ряду. Грохот хохота ответил с галерки. Хохот потрясал здание. Я снял маску. В первом ряду девушка с высокой шеей хохотала, закрыв лицо руками. Толстая баба смеялась, вавизгивая: «Ой, топнехонько, сдохну я, смеючись». Смеялись старые, молодые. Весь Павлодар смеялся, вся его сила. В ложе я увидел пани Марину. Она тоже смеялась. Смеялся Владычкин. «Тебе-то совсем ни к чему», — с озлоблением подумал я.

Я спал тревожно в эту ночь. Проснулся рано утром. Я страдал. «Необходимо решительно воспитать свою волю», — думал я.

Вы, ровесники, помнящие нашу юность, знаете, наверное, эти объявления в тогдашних газетах и журналах: «Сила внутри нас», «Воспитывайте волю». Их много было, этих объявлений. Словно вся страна обезволилась!

За рубль двадцать я выписал «Полное руководство воспитания воли».

Я читал внимательно, долго. Брошюра рекомендовала упорно смотреть в одну точку, по возможности блестящую, и говорить всегда раньше вашего противника.

Я купил дюжину никелированных пуговиц и прибил их на самых видных местах. Отрываясь от верстатки, я смотрел на пуговицу. В обед она висела над моей головой. Перед сном я видел ее в моих ногах. Упорный взгляд воспитать оказалось так же трудно, как понять искусство борьбы. Я давно забросил гири, но и от упорного взгляда у меня болела поясница, ныли руки, подгибались ноги. А зачем в нашем городе нужна решительность? Вот я хожу другом Пашки Ковалева, не пью водки, не курю — и все-таки воля моя никому не нужна.

Деньги? Скот? Дом? Зачем мне все это? Торговать? Я помню, каким я был торговцем в степи и в Урлютюпе. Вот печатник Бьюков передоверил свою жену Варвару деревскому приказчику Осипу Жде, а тот ему купил дом. Бьюков уже заказал живописцу вывесок домовладельческую жестянку. А стал ли Бьюков счастливее? Я видел, как тетка Фелицата мучается со своим домом.

В цирк я уже не мог ходить, хотя мне и хотелось посмотреть, как Роальд Азгерц будет бороться с приехавшим из Санкт-Петербурга мировым чемпионом «Черной Маской». Я торжественно передал Пашке свою верстатку. Крепко поцеловал его, как целовал меня Гришка Заботин, и с первым парходом уехал в Лебяжье.

Вот почему я и мой отец задумчиво стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица, возле черного выгона девчонка гоняет хворостиной телушку. Мы говорим с отцом об Иерусалиме, Москве, монастырях, но чувствуем — пора начинать более серьезную беседу. Я держу в руках отцовскую зубочистку и думаю: если где и надо применить волю, так к моему отцу. Будущее моей матери и моего брата Палладия беспокоит меня. Мать

моя теперь не кухарка, но каждый день над ней опасность: вернуться в прислуги.

Отец продолжает разговор:

— Да, братец, ты и в детстве был тщеславным. Учил я тебя, учил — и все без толку. Чего же теперь тебе от меня надо, Всеволод?

— Мне хотелось, чтобы ты не сваливал тщеславия на меня, а видоизменил себя и свои намерения, пап.

Я быстро проговорил давно приготовленное:

— Мадам Рюизье пишет: «Из тщеславного человека делают все, что угодно, льстя его тщеславию». Боатт подтверждает это, говоря: «Тщеславный человек никогда не может быть свободным; люди, мнения, их взгляды поработают его: он раб того, кто его видит». Монтескье говорит: «Чем более людей бывает вместе, тем они тщеславнее, непрестанно ощущая в себе желание отличиться маленькими вещами».

— Умные мысли.

— Пап, тот же Боатт говорит: «Тщеславные люди надоедают друг другу».

Отец радостно сказал:

— Вот самое справедливое изречение, которое, братец, мне когда-либо приходилось слышать. Дай я его запишу.

Он отложил карандаш, которым было начал записывать изречение.

— А ты его против меня? Ведь тогда казаки должны бы мне надоесть? А никто еще не надоел мне! Тщеславие, по-моему, — это, братец, когда человек вроде тебя ездит без толку и теряет хорошие должности. Мало того — ездит: он приезжает и смеет учить своих родных. Тщеславие — это когда сын, не зная ни одного иностранного языка, не побывав в Петербурге или в Иерусалиме, не перевалив хотя бы через Уральский хребет, берется перевоспитать своего отца. Тщеславие — это когда сын не уважает своей родины, а почему-то уважает Индию, где сплошная сырость и змеи толщиной с бревно и люди ходят в разрисованных одеждах, пестрее клоунов. Тщеславие — это когда читают книги без разбора, от Майн Рида до Спинозы. Тщеславие твое, Всеволод, подобно суеверию, которое все превращает в чудеса...

Отец искренне жалел меня. Слезы капали из его глаз. Он говорил слабым голосом. Он хотел передать мне подлинную правду.

— Вот ты, Всеволод, даже в банк не веришь, а ведь это безверие уже предел всяческого тщеславия. Как же нашему Лебязьему существовать без банка? Город без банка? Без директора? Смешно! Я полагаю, он вырастет в Объединенный Иртышско-Китайский банк с филиалами, вплоть до Пекина.

Он топнул ногой от удовольствия. Он развеселился. Он как бы вдруг сдунул с себя все тревоги.

Грусти он подольше, я бы чувствовал себя легче. Но такое явное предпочтение несурзадной мечте перед моим серьезным разговором тяжело отозвалось на мне. Я вспомнил, что приехал сюда сгоряча, и средств у меня только на обратный билет до Павлодара. У отца ничего не было, кроме зубочистки. Если оставались какие-нибудь деньги от получаемых им в месяц двадцати пяти рублей, он их тратил на пустяки. Например, он выписал глобус с названиями городов и морей, почему-то на немецком языке. Пускай, дескать, казачата учатся, вдруг придется завоевывать Германию. Или появлялась модель самого новейшего английского паровоза. А мать все еще не могла скопить денег, чтобы купить корову. Питались плохо. Братиска Палладий жаловался на липкий, как глина, хлеб. Палладий страдал малярией, лицо у него было темно-оливковое, тощее. Он считал меня беспутным, глупым, шептался с матерью о хозяйстве. Мать страдала: из-за меня, из-за мужа, из-за Палладия.

Отец посмотрел на меня сияющими глазами:

— На правду нельзя, братец, сердиться. Не будь ты мой сын, я бы утверждал, что ты вырождаешься. Очисти себя, Всеволод, от сучьев тщеславия.

— Да ты подумай над окружающим, отец.

Он оглядел выгон, девчонку с хворостиной, избы, дешевое небо.

— Живут люди хуже. Откроем банк, жизнь, несомненно, улучшится, Всеволод.

— Пап, да откуда банку появиться-то? Ты вспомни, как мы питаемся, во что одета мать. А где лекарства для Палладия? В степи тысячные табуны, а ты не каждый день выпиваешь кринку молока.

Упреки показались ему чрезвычайно обидными. Он вспыхнул.

— Мне? От сына? Выговоры? Я приказываю тебе замолчать. Откуси язык, но замолчи! Всеволод! Прокляну.

Ему понравилась мысль о проклятии. Лицо у него стало озабоченным. Он, видимо, вспоминал и прицеливался, откуда начать проклятия. Губы его быстро шевелились. Надо торопиться, а сложный обряд проклятия он никак не мог вспомнить. Учил он ребят молитвам, но ни в одном из молитвенников не имелось, хотя бы примерного, отцовского проклятия. От напряжения на лбу его показалась испарина. Он то ставил ногу на забор, то убирал ее.

— Не отговаривай, не отговаривай,— скороговоркой бормотал он,— раньше б подумал об устранении препятствий.

Я рассердился настолько, насколько нужно для ухода из отчего дома.

Я вошел в классную, взял с парты шерстяной матрас, набитый соломой, распорол шов и вытряс с крыльца солону. Матрас был из кашемира, зеленого и дрянного. Набитый, он напоминал спящего пса, и про себя я так матрас и называл «соломенная собака». Он заменял мне иногда шкаф, иногда сумку. Сейчас я положил в «соломенную собаку» несколько книжек, краюху липкого хлеба, две луковицы, щепотку соли, бутылку с водой.

Мать уговаривала:

— Отец отходчивый. Изображает, а к вечеру, глядишь, и свернется...

Мне нравилась мысль об уходе. Кроме того, пренебрежение отца к моей воле, к заученным сентенциям огорчало меня. Да и что мне делать в Лебяжьем, зачем объедать и без того полуголодных людей?

Вот я выйду. Утро. Утки по-прежнему, переваливаясь, медленно поднимаются по откосу. Отец шлет мне вслед ужасные проклятия. Мать стоит возле крыльца на соломе и покачивается горестно. Она причитает. Обыкновенное дешевое небо над нами. Обыкновенные пухлые облака. Обыкновенная река Иртыш блестит за тополями.

Я перекинул через руку черный свой плащ, взял «соломенную собаку», пригладил на плаще львов. Я остановился против отца. Он рассеянно посмотрел на мою сумку.

— На рыбалку пошел? Нонче рыба на переметы идет плохо.

Не вспомнив ни одного проклятия, он рад был поговорить хоть о рыбе.

— Я уйду совсем, пап.

Отец сказал лениво:

— Ну, иди. А когда банк откроем, я тебе выхлопочу место и сообщу...

— Не открыть вам банка, пап.

— И тебе не уйти из Лебяжьего. Ты на себя посмотри, разве с такой мордой уходят. И лучше тебя были физиономии, да возвращались.

Он сердито отвернулся от меня, поднял самовар на крыльцо. Самовар потух. Из него могут вывалиться угли, когда отец начнет раздувать, могут зажечь солому. А убрать солому лень! Отец снял сапог и пристально уставился на стершийся каблук. Я медленно отошел от крыльца. Я направился не к пристани, а к тракту. Я опасался, что на пристань, пока я ожидаю парохода, прибежит мать и начнет меня уговаривать: примиришься. А завтра опять тот же самый спор.

У поворота я обернулся. Отец стоит ко мне лицом, слегка склонившись над самоваром. Позади отца широкий и черный выгон. Отец весь в желтом. Он раздувает самовар длинным сапогом. Острые искры летят на черный выгон. Я стоял, думал. Отец качает сапогом. Искры летят шумней. Он не смотрит на меня. Мне жалко себя. Я ухожу так обыденно! Этот длинный черный стоптанный сапог! Отец его чистит тщательно, ежедневно. Зря! Зачем летом носить сапоги? Это и не выгодно и жарко, потеют ноги, от пота сапоги портятся, преют. Грязи летом нет, а вот носит и носит — потому что так положено казачьей тщеславностью.

На Крестовском перекате, в трех километрах от поселка, пароходы идут тише. Здесь Иртыш изобилует мелями и корягами. За десять копеек рыбаки отвезли меня к пароходу. Бока лодки обиты рваной медной жестью.

— Зачем вам медь?

— А для красоты, — ответил рыбак.

— Сети рвете.

— Сеть починить можно.

— Вячеславу Алексеевичу нравится? — ехидно спросил я.

Рыбак улыбнулся.

— Учителю-то? А как же, он казачью красоту понимает.

До Павлодара я плыл грустный. Если просить денег, то, пожалуй, лучше у Пашки Ковалева. Он, подобно мне, потребовал у хозяев жалованья, и ему назначили восемь-

надцать рублей. Должен он своего учителя снарядить вниз до Омска? Обязан. Я отработаю и пришлю ему. Бродя среди тюков, возле машинного отделения, размышляя о Пашке и Павлодаре, я как бы износил свою тоску.

Я поднимался поздней ночью на палубу во второй класс. Я надевал плащ и ходил мимо окон, не смея опереться на перила. Занавески кают были плотно задернуты. Тишина, молчание. Какая-то высокая дама прижималась к белому кителю чиновника. Плечистый чиновник басил:

— Тести бывают и приличные. Мой тесть объедает меня и позволяет себе стравливать моих детей, как щенят. Я н-н-не разрешу...

— Но ты, Ксенофонт, совсем-совсем не понимаешь его...

— Н-н-не разрешу!

При каждой моей встрече с ними я слышал это слово «не разрешу», и каждый раз чиновник говорил его по-разному. Оно звучало то глухо, то высоко, то гневно, то пренебрежительно. Какая сложная наука, какая громадная государственная машина воспитала этого плечистого человека, чтобы он умел так удивительно многообразно выражать в одном слове «не разрешу» великое множество понятий! Проходя мимо этой пары, я поддерживал полы плаща. Дама надкусывала яблоки, делая это чрезвычайно изящно. Она к тому же и шепелявила.

Яблоки у нас в семье были величайшей редкостью. Отец покупал их только для именитых гостей. «Странно, — подумал я, — но вот я уже самостоятельный человек, а еще не ел яблок. Мог бы вместо дорогого галстука купить галстук подешевле, а на остатки приобрести яблок. И зачем мне плащ?»

Красные и белые бакены отмечали фарватер. Пароход иногда садился на мель. Нагруженный до отказа, он снимался с трудом. Меня раздражали эти стоянки. У меня оставался только полтинник, а я очень хотел есть.

Подходя к Павлодару, пароход празднично загудел. Сделал лихой круг. Из трубы повалил густой дым. Пароход блестел и сиял, его долго мыли. Матросы кидали тяжелые швабры в Иртыш и, смеясь, волочили их за собой. Пароход пристал к барже. Пассажиры толпились у трапа. Меня сжали, толкали. Из уборной, подле сходен, воняло

карболкой. На лестнице, упираясь чемоданами в медный поручень, стоял плечистый чиновник, бая: «Не разрешу».

Если пароход приходил в Павлодар вечером или в праздник, то вся городская молодежь и вообще легкие люди спешили «гулять». Все время, пока киргизы грузили тяжелые десятипудовые тюки с кожами, мешки соли, бочки масла и сала, пока они, обливаясь потом, бегали по качающимся мосткам, поддерживая на спине тяжести крюками, — тесная и густая толпа мещан кружилась по палубе, мимо окон кают и салонов первого и второго классов.

Киргизы-грузчики питались одним хлебом, мясо ели не больше одного раза в месяц, часто болели тифом, они все были изможденные, сутулые. Все знали об их несчастье, но никто не замечал и не говорил о них. И я не замечал и не говорил об этом. Я тоже «гулял» на пароходе. Мне нравилось, что капитан стоит на мостике в чистом новом мундире и все вокруг чисто и празднично. Погрузившись, пароход отваливал, толпа гуляющих долго стояла на берегу и слушала его гудки.

Прижатый к стене мешками и ящиками пассажиров, я ждал, когда сбросят трап, и смотрел на эту павлодарскую толпу, тоже ожидающую трапа. Был праздник. Они желали гулять. Я увидел здесь Ирму Шмидт с черными бровями. Она одна в городе красится, а если девушка красится — это позор. Краситься могут только замужние. И она ходила одна, даже деревские приказчики, славящиеся своей беспутностью, не подходят к ней. Неподалеку — Викентий Владычкин, лицо у него несчастное и тоскливое, он стоит, опершись на палочку, и ищет кого-то в толпе глазами. Сестра моя Марья, окруженная коричневыми прогимназистками. Рябой сапожник Лев Удавов в яркосерой шляпе и зеленом галстуке, приятель Пашки Ковалева. Мечется Василий Ефимович. Наверное, встречает знакомого. Весь город здесь, все, кто оглушительно и яростно хохотал, когда меня положили в цирке!

И вот я должен выйти к ним. Они небось уже знают, почему я вернулся в Павлодар. Какой хохот встретит меня, какие лоснящиеся наглые рожи! А я должен буду подойти, поклониться и попросить денег. У кого? У Пашки Ковалева! Он тоже здесь, он улыбается кому-то и приподнимает фуражку.

Ну, зачем нужен мне был этот детский лепет об индийском принце, об Индийском океане, о далеких островах? Вымалывать у мещан веру в дикую и нелепую выдумку; разве в этом заключается твоя воля, Всеволод Вячеславович? Вот они валяются по сходням и понесут важно свои тела, браслетки, часы, брюки, кофты, бархатные платья, надетые, несмотря на жару. Все они в черном. Почему? Над ними такое ясное, великолепное небо, такое солнце, которому позавидует Индия!

Какой там, к черту, индийский принц! Вытравить из себя, отменить!

Отныне я не принц. Отныне я человек низшей касты, но воспитавший в себе чудовищную волю, перед которой должен преклониться мир. Я получаю возможность отомстить всем, кто смеялся надо мной, но воля моя так велика, что я вычеркиваю все мысли о мести и прохожу мимо этих удивленных лиц, растрогав своим милосердием даже эти черствые сердца! Да, я теперь факир. Да, я теперь дервиш. В сущности, остается сделать немного. Водки я не пью, табак не курю, пиццей я не избалован, буду питаться черным хлебом и отчасти молоком. Женщины? К ним я не так уж и очень привык, а пометтать о любви и факиру не возбраняется. Я возвращусь в Павлодар мощный, великовольный, презирающий все блага мира. Итак, я дервиш.

Итак, я факир и дервиш. Итак, меня зовут...

...меня зовут Бен...

Имя короткое и невнушительное, хотя вполне достаточное для человека низшей касты. Но кто такой Бен? Беном назовется любой немец! Предположим, Август Бен. Нужно прибавить нечто восточное. Али? Это имя всем напомним «Тысячу и одну ночь». Бен-Али? Правда, это похоже на имя слуги. Надо бы повнушительней. Разве прибавить Бей? Это, кажется, значит господин. Господин Бен-Али! Разве не может факир называться господипом? Ведь он прежде всего господин над самим собой.

Я устремил очи свои вперед. Резко и внушительно глядел я.

Итак, меня зовут Бен-Али-Бей, великий факир и дервиш.

Нет, не сойдет Бен-Али-Бей на павлодарский берег. Не смеяться вам над ним больше, господа.

Я попятился.

Я постучался в каюту к младшему помощнику капитана. Лицо его, отцветшее и усталое, показалось мне добрым. Я сказал робко, но в то же время внушительно:

— Не будете ли добры, господин помощник, отвезти меня в Омск? Я, видите ли, издержался...

Вдруг его симпатичное лицо как бы уплыло по скату. Он отвернулся от меня. Он доставал конторскую книгу. Когда его лицо поравнялось с моим, от него как будто отломана была добрая часть.

— Терпеть не могу, когда клянча-ат...

Я отошел, слиняв. Я торопливо огляделся. Возле машинного отделения, у пустых еще пассажирских коек, я увидел громадную бочку в полтора человеческих роста. Такие бочки наполняет «головной» сахар. Она сколочена наскоро. Я заглянул в нее. Крышка свалилась внутрь до середины. Я приподнял крышку. Обрезки плах, стружки, солома, тряпки для обтирания машин заполняли ее. «Бедный Артур Гордон Пим!» — вспомнил я.

Я залез в бочку.

Бочка узка, но лежать в ней, скорчившись, можно. Я прикрыл себя сверху соломой, тряпками, дощечками, а еще выше положил крышку.

Погрузка шла долго. Я слышал постепенно уменьшающийся топот ног. Заскрежетала лебедка, поднимающая якорь. Раздалась команда: «Отдай концы!» Пароход заревел, отчалил. Я с трепетом ждал контроля. Если меня поймают, то посадят на Три Острова, стоящие поодаль от Павлодара. Таков обычай для пароходных «зайцев». По обычаю, их били, перед тем как посадить, три раза по шее. Сила удара зависела от характера матроса. Хорошо, если саданут покрепче, — поплачешь подольше, злости накопишь для того, чтобы влезть на следующий пароход.

— Ваши билеты, господа, — раздалось возле бочки.

Кто-то заговорил вкрадчиво. Знакомый голос, но теперь ласковый и мяукающий, ответил вкрадчиво:

— Терпеть, не могу-у, ко-огда у меня кля-ячат...

Помощник капитана, надо понять, соглашался на взятку. Он постучал в мою бочку карандашом.

— А здесь небось тоже ваше?

— Здесь, господин помощник, пустая нераспорядительность. Бочки возле пассажиров.

— Да, надо эту бочку в котельную отправить, — сказал помощник и приподнял мою крышку.

Я увидел длинную руку с тросточкой. Тросточка эта быстро опустилась, проверяя. Раз-два! Она стукнула меня ловко и больно по лбу и упорхнула. Мне показалось, что бочка покачнулась. Возможно, что помощник потрогал ее и она показалась ему легкой.

— Скатите ее к топке, — сказал помощник, отходя.

Я пощупал вспыхнувший лоб. Высокая шишка поднималась от бровей к волосам. Словно опасаясь, что меня еще кто-то ударит, я завязал лоб «соломенной собакой». Сидеть было очень неудобно, ноги затекли, колени болели. Чтобы развлечься, я попробовал просверлить сбоку отверстие попавшимся под руку гвоздем. Сухое березовое дерево не поддавалось. «Бедный Артур Гордон Пим!»

Пассажиры пели «На диком берегу Иртыша». Кто-то откупорил бутылку. Смеялись. Слышались шутки. Плыла, должно быть, большая и дружная компания. Я подумал: «Если они дали взятку, то почему бы заодно не попросить их присоединить меня к себе?»

Я потихоньку толкнул крышку и выглянул.

Белые койки завалены перинами, сундуками, чемоданами. Волосатые веселые люди пьют водку. Рюмки сверкают в их руках. Пена от паровозных колес отражается в стекле.

Я узнал их. Это уезжал цирк Коромыслова! Я узнал актеров, оркестрантов, капельдинеров, борцов, фокусников. Антуанетта Сирбо держала рюмку с водкой. Подальше стояли клетки, ревел попугай, бляела коза, прыгала обезьяна с оранжевым задом. Возле перил, обняв пани Марину за покатые плечи, стоял розовый Роальд Азгерц.

Итак, вот где факир и дервиш Бен-Али-Бей встретился с ними!

Я опустил крышку...

Опять я вспомнил этот страшный хохот в цирке. Вот я выгляну сейчас с огромной синей своей шишкой на лбу, и опять повторится этот хохот. Они заорут, завизжат, засвистят: «Вот он где! А мы-то вас искали!» Они узнают, что я безбилетный. Хохот увеличивается.

Ноги у меня будто сломанные, голову печет, рот пересох. Я сорвал зеленую повязку. Боль усилилась. Я вспомнил отца. Весь в желтом, отец раздувает сапогом медный самовар. Летят тяжелые искры с крыльца на широкий черный выгон. «Несчастный Артур Гордон Пим!», «Бедный Артур Гордон Пим!» — повторил я и горько заплакал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ



Глава первая

*История жьтъя посуды и рассказ Дава-Дорчжи
о трехсотом пробуждении Сиддарты Гаутамы,
прозванного Буддой*

...Один Будда являлся в бесчисленных видах, и в каждом из бесчисленных видов — является один Будда.

Камень, поставленный близ Пекина 1323 года, 16 числа, 3-й Луны

Котелок придвигается к трубе по возможности поближе. Дрова нужно класть подальше от стенок печи, ибо пламя, устремляясь вверх, крышку печи накаляет быстрее, чем при обычной топке, и тогда картофель варится ровно шестнадцать с половиной минут. Есть картофель нужно сразу, с кожурой и в оставшейся горячей воде вымыть лицо, затем руки и, наконец, посуду.

Едва профессор спустил руки в воду, едва лишь тонкое тепло обволокло его руки, как в двери постучали.

— Обождите десяток минут, — крикнул профессор Сафофов. — У меня в сутки двадцать минут теплой воды. Я спешу вымыть посуду.

Он быстро взял щепоточку золы и сильно потер тарелку. Надо спешить. Стук повторился.

— Я не медик, медик выше,— еще громче крикнул профессор, озлобленно вскидывая тощие свои брови.— Здесь живет профессор Сафонов, ничего не понимающий в медицине, голодный, холодный. Прошу проходить дальше, или обождите, если вас интересуют вопросы истории Востока — я кое-что понимаю в этой области, хе-хе!

Жизнь профессора наполнен приятным жаром картошки, его руки в теплой и веселой воде. Профессор обеспокоен. Стук в двери сильный и как бы сытый. Профессор, надев меховую шапку и шубу, идет к дверям. Перед дверным крюком, грохоча цепью, он обозленно кричит:

— У меня только третьего дня, милостивый государь, да и вчера,— простите, запамятуешь, приходили ваши с обыском. У меня нет столько теплоты в квартире, чтобы каждый день допускать обыски. Имеете ли вы, черт возьми, полномочный ордер?

Из-за двери отвечают неторопливо, но громко:

— Мне нужно профессора Виталия Витальевича Сафонова по личному делу.

— У меня нет личных дел, я голоден и одинок.

Но все же профессор, придерживая воротник у горла, снимает крюк.

— Медик этажом выше, милостивый государь, и какого черта вы стучитесь, если вам говорят: обождите.

— Господин профессор, мне необходимо видеть вас.

Человек в солдатской шинели и фуражке быстро, не обращая внимания на профессора, прошел в кабинет. Рукава шинели необычайно длинны, шинель подпоясана узким лаковым поясом. Профессор, догоняя солдата, сказал со злостью:

— Еще человечество надеется на продолжение жизни,— каждый день, по нескольку раз, стучат ко мне, в то время как знают, что другой профессор, медик, этажом выше. Они еще лечиться хотят...

— Надежда, как перо, мала, а указывает мудрейшие пути,— сказал солдат, не оборачиваясь.

— И превосходно, надейтесь, а я не желаю надеяться и к медику вам путь указывать не намерен.— Профессор плотно прикрыл дверь кабинета.— Я могу понимать мгновенно, милостивый государь, я привык. Если вас послали предложить мне картофель и муку, говорите. Но предупреждаю вас: у меня только книги. У меня пуста!

Вчера я, академик и автор почтеннейших трудов, ночью крался по Неве, дабы украсть доску из баркаса. Я пират, милостивый государь... В минуты тепла я ни с кем не разговариваю, я снимаю пальто, шапку,— читаю и пишу. Можете снять свое пальто, вашу шинель...

Солдат тихо берет миску из рук профессора.

— Простите, гражданин, но там нет картофеля, я его съел. Сейчас моется посуда, гражданин солдат.

— Я более опытен в мытье посуды, во-первых, а во-вторых, вы меня старше и мудрее...

— Не дадите ли вы за всю мою мудрость мешок картошки?

Человек в шинели расстегивает лаковый ремень. У человека неподвижное и злое лицо. Глаза у него маслянистые и темные.

— Я расстегну шинель, господин профессор, я не раздевался две недели. Меня зовут, господин профессор, Дава-Дорчжи, я из аймака Тушуту-хана...

— Говорите короче, а если хотите погреться, то в молчании греться более удобно. По опыту могу сказать, что вы можете скинуть верхнее платье на сорок минут. Видите, я снимаю...

Профессор, непонятно почему раздражаясь все больше и больше, тщательно закрывает вьюшку печи. Раздражает профессора и степенный вид грязного и почему-то всех презирающего солдата; раздражает его реденькая, словно выгнувшая борода, тонкий и пискливый голос.

— Сообщайте причину вашего прибытия поскорее, не такое времечко теперь, чтоб нам вести нравоучительные разговоры. Мне важно иметь тепло и незамерзшие пальцы, гражданин солдат.

— В Ху-ху-хото, неизвестно откуда, подобно вот моему появлению,— как-то неумело улыбаясь, сказал солдат,— неизвестно откуда прибыл отшельник Цаган-лама Рачи-джамчо. Была осень. Сотворив умеренное количество чудес в городе, отшельник ушел в горы. В горах, гражданин профессор, его застала непогода.

— Чрезвычайно глупо! Ну зачем мне знать, что какого-то отшельника застала в горах непогода? Плевать мне и на отшельника и на погоду... Говорите короче!

— В горах, уважаемый Виталий Витальевич, отшельник поселился для подвижнической жизни близ скалы

Дангу-хода и здесь проводил время постоянно, читая номы, помогая людям изучать правила буддизма и ревнуя о совершенствовании своего духа. Войны и сражения проходили мимо него... Вскоре он распустил руки, сложенные в молитвенном положении, и в год Краснова-того зайца...

— Сражения у скалы Дангу-хода?.. В год Краснова-того зайца? В тысяча шестьсот двадцатом приблизительно?

— В тысяча шестьсот двадцать седьмом году, дорогой Виталий Витальевич. Я знаю, с кем разговариваю. Убедительно прошу вас выслушать меня. В этом году он построил кумирню высотой в пять цзяней в долине аймака Тушуту-хана, у горы Баубай-бада-раку, при истоках речки Усуту-гола. Там моя родина, так как я из аймака Тушуту-хана.

— Мне совершенно неинтересно это знать. Вы утомили меня.

— Подвижник, ради испрошения блага для лам, воинов, пастухов и всех одушевленных существ, замуровал себя в скалу Дангу и в этом положении прожил семь лет, претерпевая свой трудный подвиг, помогая людям усваивать закон и учение Будды. Он скончался в двадцатый год правления Шуно-чжи, проведя в созерцании около тридцати лет. Главнейшие ученики его Цагай-дайчи, Чакар-дайчи и Эрдени-дайчи, размуровав с достойным благоговением келью его, обрели уже не кости Цаган-лама Рачи-джамчо, они обрели там бронзовую золоченую статую — бурхан Сиддарты Гаутамы, прозванного Буддой... Так совершилось трехсотое пробуждение на земле высочайшего ламы Сакья, вечного спасителя существ и подателя всяческой добродетели...

Профессор сложил миски у стены. Солдат сидел неподвижно. Уже тепло уходило, скоро надо брать шубу: день тепла пропал. Профессор воскликнул раздраженно, потирая руки:

— Очень великолепно, очень! Спасибо, что сообщили такую увлекательную легенду...

— Именно, увлекательную, — пискливо ответил солдат.

— И все же, если порыться в хороших книгах, — эту легенду можно найти. Я даже, помнится, где-то читал ее! Книжки кормили мои мысли, а теперь кормят мое тело. Не угодно ли: «Лависс и Рамбо. История девятна-

дцатого века» в восьми томах! Прекрасный коричневый переплет с золотым тиснением, можно выгодно продать. Там есть превосходные портреты и глупейшее содержание... Или вот, это может еще больше понравиться: «Двор Екатерины Второй». Почему я покупал такие книги? У меня была жена, она любила книги с золотыми тиснениями,— она предвидела голод и то, что во времена революций обостряется интерес к истории. Вот и вы...

— Владетели аймака Тушуту-хана,— прервал солдат, неподвижно глядя в лицо профессора,— владетели издавна с должным уважением берегли статую Будды. Капты по краям его одежды оторочены проволокой из золота, подобной же проволокой отделаны ногти.

— Превосходно, превосходно! Но, видимо, книги вам не подходят? Иным я ничем не обладаю, смотрите сами. Но если на деньги, то какова будет цена картофеля?

Картофеля, по-видимому, солдат не имеет. Солдат отрицательно мотнул головой. В этом мотании профессор заметил даже какое-то ехидство. Профессору нужно бы гнать солдата, но профессор спрашивает: может быть, мука есть? Ни муки, ни хлеба. Челюсть у профессора слабо вздрагивает, он предлагает надевать верхнее платье, ибо сорок минут тепла на исходе. И хотя солдат понимает, что сорок минут еще далеко не минуло и что, предлагая надевать ему платье, профессор как бы гонит его, солдат протяжно и хвастливо говорит:

— В аймаке Тушуту-хана, уважаемый Виталий Витальевич, я имею три тысячи голов скота, то есть имел до революции...

— А теперь отняли. И превосходно сделали! По справедливости, один человек, каким бы молчанием он ни обладал и какие бы великие планы ни держал в себе, он не имеет права держать три тысячи голов скота. Сколько это пудов мяса будет?..

— Революция как огонь: ест и не наестся. Но мой скот за время революции удвоился. Это мне точно известно.

Профессор торопливо подымает крюк двери. Внизу скрипят камни лестницы,— скрип склизкий, протяжный, нудный: кто-то тянет на верхние этажи бревно. Слышны вздохи, харканье. Лестница пахнет сыростью. Лифт обледенел и покрыт снежными мохнатыми сосульками.

Какое ехидство нужно иметь, чтоб прийти и сообщить глупую легенду и то, что ты имеешь три тысячи голов скота в Монголии, за десять тысяч верст от Петрограда. Жалкие тоскующие люди!.. Профессору хочется утешить глупого монгола, и Виталий Витальевич говорит:

— Весьма благодарен за лестное сообщение легенды; запишу немедленно, несмотря на голод, холод, недоразумения. Легенда необычайно ценная, особенно в наше время, не правда ли?

Рука у монгола твердая, жесткая. Лицо его обрадованно сияет, и он говорит несколько торопливо профессору:

— Весьма рад, что вы согласились. Я так и предполагал. Тогда же, в год появления бурхана Будды, явилось в песках воплощенное сомнение, но оно было немедленно же уничтожено нами. Я рад, что вы меня поняли, и обещанное мною вам стадо я еще более увеличу... На сто голов, — и три жены, да, увеличу.

— Какое обещанное стадо?

Монгол, весь сияя радостным лицом, исчезает в льдистых пролетах лестницы. Шаги у него звонкие и холодные. Да, на пороге холодно! Профессор задумчиво возвращается в кабинет. Здесь он, закутав поверх пальто ноги одеялом, пытается думать о картофеле, о муке, о деньгах. Но мысли его возвращаются к тому чувству, которое мелькнуло в нем сегодня утром, когда он проснулся. Он почувствовал себя одиноким. Правда, это чувство длилось одно мгновение, но и это мгновение было очень тяжелым.

Три тысячи голов скота... пастух, наверное, не чувствует себя одиноким. Но ведь ясно, что в революцию необходимо, в целях самосохранения, сидеть дома и быть одиноким. Если одинок, то сосредоточишься на самом себе, будешь заботиться только о самом себе. Там, где раньше стены были улеплены афишами, сообщающими об увеселениях, о премьерах или концертах филармонии, теперь наркомы и Советы взывают о помощи грозными, охрипшими от битв и приказаний голосами. А сугробы взбираются все выше и выше и закрывают воззвания. И вот по сугробу, на уровне воззваний, уже залепленных снегом, уже неразборчивых, идет монгол Дава-Дорчжи из аймака Тушуту-хана... Дурак монгол!

Если ты имеешь три тысячи голов скота, то почему ходишь в рваной шинелишке, и стучишься в незнакомые квартиры, и врешь и придумываешь легенды о статуях Будды, врешь только для того, чтоб согреться у железной печки? И даже смелости не хватает, чтоб, перед тем как скрыться, сказать: «А я вам наврал, никакого Будды не было в аймаке Тушуту-хана на моей родине. Я голоден и замерз, я думал, в вашей миске остался картофель или даже картофельная шелуха, ибо не знаю же я, что вы съедаете картофель вместе с шелухой».

И профессор с удовлетворением думает, что картофеля хватит на три дня, а если съесть половинную порцию, то на шесть или на неделю. И кроме того, во двор забегала собака из соседнего дома — из квартиры, где живет комиссар продовольствия... Почтенный комиссар продовольствия кормит собаку... Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никакой собаки у комиссара продовольствия нет. Он сам живет голодно, он в дикой кожаной куртке...

Профессор выдумал забежавшую собаку, дабы отогнать мысли об одиночестве, так же как и выдумал монгол статую Будды в своем аймаке Тушуту-хана. Очень нужно Будде опускаться в аймаке Тушуту-хана — грязном, вонючем селении. Там даже вода пахнет падалью, верблюды усеяны огромными клопами, пастухи зубами бьют вшей, а у Будды — «ногти отделаны золотом»... Профессор тихо грозит пальцем: самому себе, легковверному и грустному монголу Дава-Дорджи, остывшей печке, треску мороза на петербургских улицах...

Но тут в дверь опять стучат. Профессор без шубы, без шапки, со злостью потрясая руками, бежит к дверям и, срывая крюк, кричит озлобленно:

— У меня нет времени записывать ваши глупейшие сказания!

За порогом в кожаной куртке и коричневой кожаной фуражке с изломанным натрое козырьком любезно улыбающийся человек. Он вежливейше и тишайше спрашивает нежным дискантом:

— Разрешите узнать, здесь ли живет многоуважаемый профессор истории Сафонов?

— Никому еще не помогло, что я профессор Сафонов. Ко мне продолжают лезть. Никому это не помогло быть вежливым!

— Виталий Витальевич, если не ошибается адрес? Вы простите, Виталий Витальевич, все же.— И человек в кожанке, наилюбезнейше кланяясь, достает длинный пакет и с гордостью говорит:— Профессору Сафонову от товарища наркома по просвещению в личные руки...

И человек улыбается, потому что теперь-то известно — профессор не закричит, не вздумает возмутиться невежеством. Профессор смотрит на него, и взгляд его говорит: «Могу закричать, но чтоб не волновать тебя, дурака, не закричу. Почтительнейше беру пакет и почтительнейше раскрываю». Человек понимает мысли профессора, человек хочет быть взаимно вежливым; он даже, сняв перчатки, голой рукой берет крюк и, как бы подчеркивая свою вежливость, говорит:

— Не заметили ли, на улице — двадцать пять по Рео-мюру. Нас ждет машина...

Хм, на машине приехал! Понадобился профессор Сафонов, так на машине приехал? А полено дров прислать не могли, и если бы труп нашли профессора Сафонова, кому бы пакет вручили? Профессор со злостью разрывает пакет и нарочно читает не то, что к нему обращено, а обратную сторону бумажки:

— «Всероссийский союз городов, в дополнение к отношению своему, напоминает вторично...»

К чертовой матери летит почтительнейшая вежливость кожаной куртки. Раздается раздраженный голос:

— Вот дьяволы, саботажники, контрреволюционеры! В Чека таких, других путей нет. Важные отношения надо на чистой бумаге печатать, а они на обороте бланка союза городов, чтобы бедность нашу подчеркнуть. Переверните, гражданин профессор.

— «Народный комиссар просвещения. 16 ноября 1918 года. Проф. Вит. Сафонову. Народный комиссар просвещения просит гр-на Сафонова немедленно пожаловать на совещание экспертов в особняке бывшего графа Строганова по вопросу о статуе Будды. Народный комиссар (подпись). Секретарь (подпись)...» Ерунда какая, — восклицает профессор, — совершенно неправдоподобная бумага! Зачем мне Будда! Второй раз сегодня Будда.

Человек в кожаной куртке внимательно смотрит на бумагу.

— Действительно неправдоподобно, — соглашается

он, — но это оттого, что я спешил. Подписи действительно нет, а одно пустое место. Но я сейчас подпишу, потому что секретарь-то — я. Химическим карандашом, — и вот вам вполне правдоподобная бумажка.

— А как же Будда, разве он существует, господин секретарь?

— Будда? А почему не существовать Будде, если существует бумажка. Разрешите вам заметить, что эти разговоры праздные и как бы невежливые, ибо нас ждут...

— Будда?

Человек в кожаной куртке ухмыляется бесподобному остроумию профессора. Действительно, куда спешить, если ожидает Будда. Нет, их ждет закон революции. Профессор замечает: химическим карандашом на фуражке секретаря наркома выведена звезда, пятиконечная и кривая.

День солнечный и тревожный. По Троицкому мосту идут матросы с карабинами за плечами. Автомобиль гудит, поворачивает... Кидается в сторону испуганная старушка в длинной шубе с воротником искусственного кенгуру. Какие-то важные и неуловимые мысли в голове профессора. Нужно их немедленно же собрать, соединить и развеселиться, и тогда тревога немедленно исчезнет.

Глава вторая

Визаные изделия, некоторые речи об археологических изысканиях и о Российской Красной Армии

...Важные пути тем дальше,
чем укромное шествие становится
медлительней.

Сыкур-Ту

На ковры накиданы рваные рогожи. Рогожи, конечно, не защищают ковры от грязных валенок и сапог, но очень сильно показывают унижение дворца графов Строгановых. При входе часовой гордо курит трубку, сапоги у него укутаны ковром. Часовой искусно ловит пропуск трубкой и одним пальцем. Секретарь, неизвестно чем гор-

дьясь, говорит профессору, что даже и при появлении наркома часовой не встанет.

— И пропуск трубкой поймают?

Секретарь не понимает ехидности вопроса, но что-то в походке профессора ему кажется обидным, секретарь говорит:

— Теперь, музей, а не частная квартира, а потому никакого унижения не выявляем, гражданин.

Почему они все страшно боятся унижения? Они говорят громкими голосами. Неправдоподобный свет льется через грязные, заснеженные окна. Все это очень похоже на аукцион. Вот к секретарю подходит человек в черной шинели, с круглым, как бревно, портфелем. Растоптанные валенки косят, и длинный до пят шарф напоминает портьеру на низеньких дверях. Человек в валенках сразу начинает кричать человеку в кожаной куртке:

— И вечно вы, товарищ Дивель, не координируете действий! Сейчас звонят мне: вопрос о Будде, мол, дело не Наркомпроса, а комиссариата по делам национальностей. Следовательно, ни вы, ни нарком просвещения мне не нужны. Здесь должен говорить нарком по национальностям или его заместитель.

— Следовательно, по-вашему, товарищ Анисимов, я напрасно за профессором на Выборгскую сторону гонял? Я не позволю себя унижать, у меня вежливости хватит, но тем не менее такие свинства...

— Молчать, товарищ Дивель!

Товарищ Дивель, закатив глаза, тонким дискантом кричит совсем по-бабьи:

— Я тогда складываю с тебя ответственность за собрание. Я... вечные ведомственные трения... Я!

Он горячо жмет руку профессору, извиняется и сообщает, что произошло недоразумение, он не курьер, чтоб для комиссариата национальностей профессорам-экспертам разыскивать. Профессор может ехать домой. Как домой?.. Анисимов хватает профессора за рукав. Дивель за другой. Профессор смиренно и ехидно улыбается. Спорящие понимают его улыбку, но рукава все же отпустить не могут. Наконец Анисимов кидает портфель и подбегает к телефону.

— Аллэ. Комендатура? Говорит комендант дворца

Анисимов. Слушаете? Что? Да, да. Я, я!.. Сейчас пойдут Дивель и профессор Сафонов, так вот, у входа профессора задержать впредь до распоряжения, а Дивеля выпустить, пускай идет к черту, волынщик!

Дивель возвращается и кричит что-то совершенно непонятное, обидное перед лицом Анисимова. Они опять спорят; звонят в комиссариаты, требуют машину. Профессор садится в кресло. Мебель, портьеры, ковры — на все приклеены свежие нумерки. Действительно музей. В соседней комнате, видимо, канцелярия, оттуда несет табачным дымом и стучит машинка. Оттуда же с лохматой бараньей шапкой в руках выходит Дава-Дорчжи. Появление это не удивляет профессора, только как будто прибавляет в нем ехидства. Дава-Дорчжи спокойно говорит спорящим:

— Заместитель наркома выехал. Он просил передать выговор товарищу Дивелю за нераспорядительность и товарищу Анисимову за суетливость, или наоборот, не помню.

Дава-Дорчжи явно врет, но секретарь и комендант смотрят на него растерянно и смолкают немедленно. Дава-Дорчжи садится на ручку кресла и говорит в лицо профессору:

— Я забыл добавить к истории Будды еще рассказ о храме Распространяющем Спокойствие. Хотя этот рассказ относится к более поздним временам, но к событиям вокруг бурхана Будды имеет непосредственное отношение. Надо сказать, что аймак Тушуту-хана в эпоху династии...

— Аймака Тушуту-хана нет. Он сгорел в тысяча двенадцатом году и с того времени не восстановлен,— неожиданно для себя врет ему профессор.

— Насколько мне известно, его восстановили весной текущего года,— немедленно и явной же ложью отвечает ему Дава-Дорчжи. И, помолчав мгновение, он добавляет значительно: — И это восстановление тоже имеет отношение к событиям вокруг бурхана Будды.

Профессор понимает, что теперь-то ему надо сказать, что он, Виталий Витальевич Сафонов, находится вне опьянения революционным экстазом, что у него мало времени предаваться праздным и трудным мыслям, ему

надобно работать, он не может ездить осматривать все дворцы, захваченные революционерами,— ему надобно немедленно ехать домой. Сказать это надо смиренно, тихо, а Дава-Дорчжи несомненно отпустит его. Вернее, совет что-нибудь необычайно пышное, и профессора выпустят. Но вместо всего этого профессор глубоко надрывает шапку на уши и говорит многозначительно и медленно:

— Да, события вокруг бурхана Будды становятся для меня все более и более ясными.

Дава-Дорчжи отходит от кресла, наклоняет голову. Лицо его неподвижно, глаза сияют.

— Я рад. Все задуманное вами кончится быстро. Войдет Цвиладзе, заместитель наркома по национальностям. Человек он горячий, как и подобает грузину, ибо в их стране так же много винограда, как в нашей — легенд. Он горячий, но мудрый для своих лет. Сюда, Виталий Витальевич, сюда...

Толпа черноволосых и широкоскулых людей в солдатских шинелях и стеганках осторожно стоит на рогожах. Пахнет казармой: кислым хлебом и капустой. К этим запахам примешивается тонкий запах овчин и растаявшего снега на лыках. Солнце осторожно пробирается мимо ног на рогожи. У одного из солдат обмотки завязаны электрическим проводом. Дава-Дорчжи, прямой и широкогрудый, надменно смотрит в лицо товарища Цвиладзе. Но глаза толпы обращены выше рослого заместителя наркома. Взгляд толпы рассеянный, сонный, но как бы вековой. Профессор ощущает усталость и тоже подымает глаза.

До половины окна дотягиваются и бессильно свисают ветви сосны. Зелень их почти синяя, и выше этой зелени в окне сверкают золоченые плечи. На высоком мраморном пьедестале — литой, полуторасаженный, золоченый, в высокой короне Будда. На ладонях и ступнях у него лотосы. Около висков веероподобные украшения. Профессор опять вспоминает: «Канты по краям его одежды оторочены золотой проволокой, ею же отделаны ногти». Ну и глупо, глупо! Почему же Виталий Витальевич Сафонов, профессор истории Востока, должен стоять и думать о золотых кантах на статуе Будды? Пускай думают о кантах эти сонноглазые люди. Может

быть, и гортанный голос Цвиладзе напоминает им вечерние или утренние голоса коней. Каждый странник должен гордиться тоской по своей родине... Сафонов не странник, он хозяин, он дома...

Заместитель наркома высокогруд, в сером пиджаке и серой барашковой шапке. Из кармана у него торчат газеты, он говорит быстро и с какой-то насмешливой уверенностью:

— Товарищи и граждане, все трудящиеся Востока! Приветствую вас от имени Совета Народных Комиссаров. В вашем лице, товарищи и граждане, мы видим перед собой представителей далекой Монголии и, кажется, даже Китая. Позади меня статуя Будды, вывезенная из монгольского, ламаистского монастыря, святыня монголов, захваченная в аймаке Тушуту-хана царским генералом и палачом монгольского народа Савицким. Статуя эта является религиозным фетишем: предметом поклонения для монахов и одураченных ламами темных масс. Однако, товарищи... мы, пролетарии, умеем уважать не только принципы национальности, но и искреннее религиозное чувство. В то время как царский генерал Савицкий проиграл в карты графу Строганову статую Будды, мы, коммунисты, уважая ваши национальные требования и сознавая, что там, где национальное объединение и самоопределение разбивают и уничтожают отжившие рамки патриархального и родового быта, там, где разбивают реакционные узы семьи, рода, племени и соседской общины... где создают необходимую историческую почву для классовой борьбы,— там коммунизм выдвигает национальное объединение в противовес патриархальной анархии и внешнему иноземному национальному гнету. Мы желаем, чтобы складывались национальные типы киргизов, туркменов, монголов... Все же, товарищи, если мы помогаем вам выявить свое национальное лицо, то это не значит, что мы идем на помощь церковникам, ламам и монахам. Поэтому, товарищи монголы, постановление Малого Совета Народных Комиссаров о передаче в руки представителей монгольского народа находящейся здесь в покоях...

Заместитель наркома поднял кулак и, злобно тыча им в японские гобелены, тибетское оружие и на окружающие статую низенькие черного пахучего дерева крошечные божки, воскликнул:

— ...в покоях графов Строгановых статуя Будды из аймака Тушуту-хана,— еще не значит, что большевики покровительствуют ламам! Нет! Статуя Будды передается как музейная редкость, как национальное художественное сокровище. В наблюдение за точным исполнением инструкций Наркомнаца у монгольской границы, будут допущены в Монголию представители Советской власти на местах... Из центра же командирется для сопровождения перевозки политический комиссар товарищ Анисимов.

— Нами рекомендуется в качестве представителя экспертов товарищ профессор истории Востока Сафонов,— вдруг торопливо, даже вздрогнув, выкрикивает Дава-Дорчжи.

Заместитель наркома мельком глядит на монгола и повторяет:

— Совершенно верно, профессор Сафонов командирется в качестве...

Виталий Витальевич всего ожидал, но этого... он бормочет что-то несвязное: мои труды, белые ночи. Дава-Дорчжи ловит его на этом бормотании, на растерянности. Подавая заместителю наркома выпавшие из кармана газеты, Дава-Дорчжи лениво говорит:

— Господин профессор, по-видимому, желает вам возразить.

И тогда, сжав в кулаке газеты, Цвиладзе с внезапным кавказским акцентом восклицает быстро, проходя мимо профессора:

— Гражданин профессор, вэ... когда идет революция, нет возможности вилить хвостом. Завтра в одиппадцать дня — ко мне, в Наркомнац, за инструкциями, за мандатами,— и, кинув газеты на рогожи, оборачивается к монголам: — Да здравствует международная революция и раскрепощение трудящихся Востока.

— Ура-а!..

Громче всех кричит Дава-Дорчжи. «И все врет, и все врет», — думает профессор. Дава-Дорчжи, словно угадывая его мысли, подходит к нему. О, ему чрезвычайно приятно ехать с таким просвещенным спутником! И у него действительно веселое лицо. Он провожает профессора до ворот. Оба они минуту смотрят на пустынный Невский. Темнеет, проспект походит на лесную просеку, ветер несет холодный снег.

— Мы все получим по вязаной фуфайке,— вдруг тихо говорит Дава-Дорчжи,— мне обещали. Вернее, у меня уже ордер есть на вязаные изделия.

— Мне нужно жить в Петрограде,— так же тихо отвечает ему профессор,— я не желаю покрывать... ваши фокусы.

— Вы имеете возможность отказаться от фуфайки, Виталий Витальевич. И зачем нам фуфайки, когда миллионы народа сейчас голодают, в тифу. Да, революция научила нас великому чувству, не правда ли,— это стыдиться богатства. И чем дальше революция продлится, тем все глубже и глубже будет это чувство, и это самое важное в мире. От этого чувства появился Будда...

— Вы думаете посмеяться надо мной: что старика профессора, как комиссара, можете направить. Я смогу найти на вас управу. Я!..— Виталий Витальевич понимает, что так утвердительно говорить нельзя, что это указывает на его слабость. И Дава-Дорчжи ухмыляется самодовольно. Он стоит долго, потирает кончики пальцев о шинель и смотрит, как профессор, слегка припадая на левую ногу, идет через Мойку к арке Генерального штаба. На мосту через Мойку несколько мальчишек с салазками: они катаются. Петроград совсем похож на деревню: у окон сугробы, проруби на реке, в небе редкие дымы из труб. Небо низкое, светлое. Женщина в солдатской шапке несет мимо профессора конскую голову. И Дава-Дорчжи еще сильнее трет пальцы, ибо профессор останавливается и спрашивает больше по привычке: «Продаете?» И женщина, тоже, должно быть, по привычке, стыдливо глядя себе в ладонь, отвечает: «Нет». Да, люди стыдятся быть богатыми, им стыдно иметь конскую голову,— и тут ли не поехать профессору,— в командировке выдают продукты, усиленный паек...

Дома профессор думает о пайке. Наполнив котелок картофелем, профессор кидает дрова в печь и начинает собирать рукописи. В комнате становится теплее, профессор думает: кому он оставит на сохранение свои рукописи? Он перевязывает рукописи бечевками и сверху на каждой рукописи жирным красным карандашом пишет: «Рукопись профессора В. В. Сафонова, уехавшего в правительственную...», подумав, переправляет: «уехавшего в научную командировку на границу Монголии. Просят обращаться ос-

торожно». Рукописей много. Он подкидывает в печь дрова. Тепло. Но дров все же жалко, и он кидает в печку черновики, ненужные книги. Сколько ненужных книг и сколько нечитанных!

Но вдруг он останавливается. Как же так произошло и какая причина заставила его согласиться на поездку в Монголию? Ведь если пойти завтра в Наркомпрос, то распоряжение Наркомнаца легко можно аннулировать. Тем более что и Дивель поссорился с Анисимовым. Паек!.. но ведь если и здесь похлопотать, наконец, согласиться почитать лекции красноармейцам, ему давно предлагали читать лекции гарнизону Петропавловской крепости... Дава-Дорчжи не угрожал, хотя он весь и наполнен какими-то темными планами. Нет, авантюризмом наполнена вся земля; он, старый профессор Сафонов, на шестом десятке лет, как мальчишка, как гимназист, увлеченный экзотикой, легендами, соглашается ехать в Монголию. Глупый, грязный монгол, возможно — переодетый лама, везет его для каких-то своих, может быть, грабительских целей. А он уже собрал рукописи... Из печки вырывается бумажный пепел, он реет по комнате, Профессор сонно смахивает пепел со щек.

Глава третья

Политрук Анисимов говорит о Российской Красной Армии, то есть то, что он не успел сказать во второй главе

...Так: лев, сиречь, смерть, весь род человеческий мучит и раздирает, а ты сего аспида одной рукой поведешь.

Г. С. Скворода, «Письма»

— Необходимо голову завязывать платком, иначе от бумажного пепла выпадают волосы. Да и мыть голову трудно при мыльном кризисе,— так начал появившийся после десяти часов вечера политрук Анисимов. Он насвистывает, он доволен своей энергией. Анисимов помогает профессору сгребать в печь бумаги.

— Монгол с вами разговаривал?

— Разговаривал, долго, аж в пот вогнал, гражданин профессор.

— О чем же он с вами разговаривал?

— Совсем не помню. Но говорил действительно много.

— И не казалось ли вам, что монгол Дава-Дорчжи многое выдумывает? Не врет, а как бы сгущает то, что он знает, и это как бы вас тревожило. Уж не может же быть такой неправдоподобной жизнь...

— Жизнь может быть неправдоподобной, — вдруг остановившись собирать бумаги, говорит Анисимов. — Я только что с фронта, и жизнь Красной Армии — совершенно неправдоподобная жизнь.

— Как же это так? Тогда ведь, если жизнь армии неправдоподобна и то, за что она воюет, тоже неправдоподобно, и, завоевав это неправдоподобие, она заставит нас жить черт знает в чем и где, в легенде какой-то. Мне кажется, что об армии с вами тоже говорил Дава-Дорчжи.

— Нет, об армии, он не говорил. О Красной гвардии мы разговаривали, но Красная гвардия, конечно, правдоподобна.

— Почему же правдоподобна была жизнь Красной гвардии? Да, я вас понимаю. Вы хотите сказать, что жизнь Красной гвардии еще не была машиной, механизированной, то есть что там, больше чем где-либо, борьба походила на борьбу на баррикадах.

— Совершенно верно...

Анисимов весело улыбается. Улыбка у него совершенно детская, лицо мягкое и без тревоги, и оттого появление Анисимова в десять часов вечера кажется еще более странным. Чтобы сделать ему приятное, Виталий Витальевич спрашивает:

— Дивель жаловался на ваше распоряжение о моем аресте при выходе?

— Дивель, этот? Поорал, и будет. Вечером в пешки приходил играть. Он меня и направил к вам: пойди, говорит, человек-то, наверное, волнуется. Вот я пришел: вы не волнуйтесь, мы мигом слетаем в Монголию.

— Я не волнуюсь, но меня удивляет: зачем я, профессор истории, должен сопровождать статую Будды в Монголию? Есть ли в этом смысл?

— Есть.

— Объясните!

Профессор с тревогой посмотрел в лицо Анисимова. Если этот ясный и простой человек так легко говорит, что есть причипа, — значит, эта причина неизмеримо велика и важна для человечества. Анисимов улыбается.

— Это мне-то вам объяснять? Да вы и без меня знаете, даже и лучше меня. Вы ведь раньше меня согласились ехать.

— Раньше вашего прихода — вы хотите сказать?

— Ну да.

— Раньше.

— То-то и оно. А я шел вас уговаривать. Вот вы, значит, и без меня поняли — и поняли до точки. А я все шел и думал: как бы это ему складно и толково объяснить? Я объяснять люблю. Вы давно в профессорах?

— Двенадцать лет.

— В партии не состояли?

— Нет.

Анисимов счастливо расцвел.

— А я в партии третий год. Вот как... Так, значит, завтра едем. Хлопот-то завтра, хлопот...

И точно: утром пришлось им ждать три часа, пока подписали уже давно заготовленные мандаты. Полсуток бегали, добывая наряд на теплушку. Теплушка оказалась без печки. «А мы вашу прихватим», — вдруг заявил Анисимов Виталию Витальевичу, и неожиданно Виталий Витальевич обрадовался, что печка поедет с ним. Возвращаясь с вокзала, увидели они на Невском, как черный, груженный дровами грузовик, далеко воняя бензином, волок громадную телегу с толстыми чугунными колесами. На телеге несколько солдат придерживали тесовый ящик, обтянутый сбоку канатом. Ящик был свеж, ярок, и весело-весело прыгали на нем наляпанные суриком буквы: «Верх, осторожно».

— Вот наша динамика-то, и Будду и дрова по пути везут. И телесное тепло и душевное... Пойти помочь, что ли... — Анисимов лихо раскланивается с Дава-Дорчки. Профессор гневно проходит мимо. Грузовик катит мимо Знаменской гостиницы.

Позже везет профессор свое добро на салазках к вокзалу. Трамваи стоят. Линии рельс занесены снегом. Снег застыл, как лед. В лаптях и шинелях, перетянутых ремня-

ми, под красным кумачовым знаменем, обгоняют профессора солдаты. Он устал, и оттого на мгновение ему кажется, что они займут его теплушку. Он скользит, торопится. «Буржуй торговать едет, — кричат солдаты, — обсмотреть бы его, ощупать!..» Дава-Дорчжи встречает его у подъезда. Отталкивая подбежавшую к профессору жалкую старуху («продать, милый, хлеба нет ли али менять»), монгол ведет его среди людей, лежащих вповалку на грязном, заплеванном полу вокзала. «Правей, правей, гражданин профессор. Если б я обладал свободным временем, я приложил бы все усилия для помощи вам. Но снег твердый, санки ваши подкованы железом, я полагаю — вы не утомились».

Профессор тяжело дышит. Грудь колет. Каждый раз, как он видит Дава-Дорчжи, ему кажется, что происходит какая-то унижительная нелепость. Теперь вот кажется, что здесь, на вокзале, произойдет необычайное важное событие... если задержатся. Надо спешить.

— Когда поезд отходит? Анисимов пришел?

— Не беспокойтесь, до отхода поезда бесконечное количество времени, и товарищ Анисимов не опоздает.

— Но у него все мандаты и документы.

Дава-Дорчжи возмутительно бесстрастен. О, он знает такое слово, которое важнее всех мандатов и документов, с этим словом... С таким лицом, наверное, проходили Русью татары.

Стены теплушки обиты войлоком, вынутым из подстилок. Солдаты спят на соломе. В углу круглая железная печка профессора. На полене подле печи, в бутылочке, керосин с коптящим длинным фитилем. Коптилку поправляет женщина. Профессор не видит ее лица: на дворе сумрак и снег. Впизу, под полом, пробегают, постукивая по колесам молотком. За печатью, во всю длину вагона, тесовый ящик. От него пахнет смолой, поблескивают светом коптики новые гвозди. Тесный промежуток между стенами, стеной вагона и ящиком заложен кирпичами. С кирпичей тает снег. К запахам смолы примешивается запах воды. Будда, Сиддарта Гаутама, плывет в новой лодке. На лодке надпись суриком: «Верх, осторожно».

Дава-Дорчжи маленьким топориком колет дрова.

— Не считая вас, профессор, у нас наряд на двенадцать человек. Вы и товарищ Анисимов едете по другому,

литеру. Но двенадцатый человек отказался ехать на родину, и я взял женщину...

— Почему он отказался ехать?

— Он умер. Я взял женщину, она монголка. Я поступил мудро.

— Она чья-нибудь жена?

— Не знаю, возможно. Но она — женщина, — хихикнул он неожиданно. — С женщиной у нас будут ссоры и драмы, и мы будем узнавать друг у друга весьма легко характеры. Не правда ли, я поступил мудро?

— Мудрость — это поступать так же, как вы поступали вчера. Иной мудрости нет.

— Вы ловите мои мысли, профессор. Эта наша мудрость, и вы думаете, что, высказав ее мне, вы добьетесь у меня ее объяснения. Вы правы, в этой мудрости самое важное — объяснение.

Полено не колется. Дава-Дорджи распахивает дверь и прыгивает. Морозно звенят буфера. К составу прицепляют паровоз. Бранится машинист. У дверей, размахивая портфелем, что-то торопливо говорит Анисимов.

— Где ж ваш багаж? — спрашивает профессор. Анисимов указывает на портфель и, оставив широкий и длинный валенок, отвечает поучением:

— Какие же в коммуне багажи? Отсталый индифферентизм... Вот мы вчера с вами о Красной Армии разговаривали, а сейчас в третьем классе митинг затеяли. Меншевичок нашелся. Вот я им и покажу. Что, портфель оставить? А на чем же я спать буду?.. Я не отстану, не отстану...

Анисимов исчезает. Профессор возвращается к печке, он греет руки и говорит:

— Я одинок, господин Дава-Дорджи. Я верил, что благодаря своим трудам я приобрету тихую старость, то есть сытость, тишину...

— У нас добавляют: молодую жену, господин профессор. Я обещаю вам счастье и молодую жену, шестнадцати лет, не более. Она будет вас любить, ибо у нас женщины любят больше всего мудрость. А вы мудры, вы сразу поняли меня... Вы возвращаете этой поездкой свою молодость, вы сможете еще долго заниматься трудом, умственным трудом, великим трудом, единственным, которым может гордиться человечество. Что сила, если в мгновение ока бык

валит самого сильного человека земли? Что голос, если гром заглушает голос целых армий?..

— Я вас не понял, вы выдумали меня...

— У нас впереди много времени, гражданин профессор, и для объяснений, и для благочестивых размышлений... Да будут затканы драконами ваши мысли, Виталий Витальевич.

Монголы ровняют солому для сна. Женщина уходит в угол. Солдаты собираются и слушают лениво говорящего Дава-Дорчжи. Дава-Дорчжи проводит пальцем черту: они садятся по этой черте на корточки удивительно ровно. «У восточных народов есть чувство, не свойственное нам, геометрическое чувство», — думает профессор.

А вовсе надо думать не о геометрическом чувстве, нужно думать о другом, то есть захотеть думать о другом, заставить себя думать...

...Роль Красной Армии в русской революции, необычайные принципы организации армии. Товарищ Анисимов говорил и понимал, что остановиться нельзя, ибо те необычайно сильные доводы, которые он придумал, ускользнут. Меньшевичок уцелеет. А прервать нужно было бы для того, чтоб попросить коменданта станции задержать на десять минут поезд, пока товарищ Анисимов не кончит речь. Где догадаться самому коменданту? Вот он, разинув рот, смотрит на оратора, — и товарищ Анисимов в продолжение сорока минут громит подлого меньшевика. Поезд тем временем уходит...

...В теплушке, у соснового ящика с Буддой, молились монголы. Дава-Дорчжи, распластав перед Буддой руки, читал восхваления:

— Преклоняю колена с выражением чрезвычайнейших почестей пред своим высочайшим ламоу, видение которого не имеет границ, и даже пылинки, поднимаемые ногами его, являются украшением для чела многих мудрецов. Молитвенно слагаю свои ладони. Разбрасываю хвалебные цветы перед обладающим могуществом десяти сил, драгоценностью нежных ногтей, которыми украшены короны ста тэнгиев. Благословенно...

Глава четвертая

Мундиры итальянцев и французов, навлинии хвосты, а также разговор о клозете великого князя Сергея Михайловича

Мысль живёт ранее кисти.
Очарование пребывает вне картины,
Подобно звуку, гнездящемуся в струне.
Подобно дымке, делающейся туманом.

Ху-Ан-Юе. «Категория картин»

Снаружи, на дверях профессор крупно мелом написал: «Вход воспрещается. Служебная народного комиссара просвещения». Все же солдаты заглядывали и спрашивали: «Нельзя ли, товарищ, доехать?» Дава-Дорчжи говорил: «Груз сопровождаем. Проходи».

Весь день в теплушке монголы пьют чай. На станциях кипятки захватывают ведрами, и женщина один за другим подогревает чайники. За чаем они говорят о скоте, о лекарствах и религии. Иногда, зевая, Дава-Дорчжи ложится на спину и медленно, точно вдевая в иголку нитку, переводит профессору разговоры солдат. Часто они что-то продают, торгуются, хулят и хвалят продаваемое и сговариваются пожатием пальцев, причем один опускает рукав, а другой всовывает туда руку. Пожав тайно пальцы, — сговорившись, — монголы опять пьют чай.

Вначале профессор записывает разговоры, мысли, встречи, но бумагу он теряет и, прикрыв ноги одеялом, целыми днями сидит перед печью. Ночью на станциях солдаты воруя дрова, доски, какие-то шпалы. Станции забиты поездами. Звенят, напрягаясь, линии рельс. Теплушки забиты солдатами, женщинами, мешочниками. Со звоном, визгом и гулом проносится все это мимо. Иногда теплушку ставят в тупик, и она днями стоит там, пока ее в ночь не прицепят.

Внезапно, где-то на разъезде, в теплушку вбегают товарищ Анисимов. Шарф у него еще грязнее, а валенки в саже. Стукнув кулаком по ящику, он оторопело кричит:

— Здесь! Едешь? Еле нашел вас, ладно — номер запомнил. Тифозных нету? Сейчас борьба с эпидемиями. Белогвардеец прет. Я сейчас!..

Опять бежит. Портфель у него стал тоньше, волосы — цвета старого хлеба — растут где-то по носу. Он, хватаясь за голову, вскакивает на паровоз проходящего поезда и опять исчезает.

Профессора раздражает лень, ежеминутные чаи, своя неожиданная поездка, свое неумение устроиться, холод и ветер за дверьми. Ложась спать, он говорит Дава-Дорчжи:

— Я вынужден буду предупредить политрука, гражданин, что в вашем лице едва ли едут представители трудового народа Монголии.

Дава-Дорчжи шуршит соломой.

— Разве Виталий Витальевич знает трудовой народ Монголии? Сам заместитель наркома докладывал вам, что у нас пятьдесят процентов населения — ламы.

— Политруку неизвестно, какое отношение имеее вы к статуе Будды... когда, насколько я понял вас, вы — гыген, настоятель монастыря, и вообще, с точки зрения политрука, лицо подозрительнейшее. Да-с!

— Разве я виноват в том, что священнейший и благословеннейший Будда в очередном воплощении своем избрал мое грешное тело...

— Вы же не говорили об этом заместителю наркома.

— ...Но он этому не поверит. Вы только один верите этому.

— Я вам верю?

— Тогда зачем же смеяться над религиозными предрассудками или верованиями других? Можно говорить о другом, например, о мундирах итальянцев и французов. Кстати, я знаю анекдот о мундирах, с присовокуплением павлиньего хвоста... Вначале я скажу вам несколько слов, как я попал на германский фронт, а дальше буду...

Профессор, кашляя и почему-то ощущая дрожь в ляжках, говорит:

— Если бы я имел больше подлости, я бы сказал политруку о вашем офицерском звании... возможно...

Профессор Сафонов опрокинут, давится: жесткая солома забивает ему рот. Ноздрю больно колет, и склизкая теплота заливает ему небо. Дава-Дорчжи тычет ему кулаком в ребра и, отплеываясь, быстро бормочет:

— Счастье твое, помет, что меньше подл!.. а! Я тебе покажу офицерское звание. Тебе что, хлеба мало или мяса захотел, сволочь? Наран. Ыйй!..

Женщина зажигает коптилку. Дава-Дорчжи вскакивает. Профессор выплевывает солому и напуганно бормочет извинения. Дава-Дорчжи быстро застегивает шинель, он глядит в угол и говорит:

— Если вам не хватает вашей порции хлеба, мы можем добавить. Если вам нужна женщина, я ей скажу, чтоб она легла с вами,— она же не понимает по-русски.

— Отстаньте от меня! — говорит тихо профессор.

Тогда Дава-Дорчжи распахивает дверцы и смотрит вниз под колеса. Солдат, закрываясь тулупом, кричит:

— Закрой, и так понимает!..

Женщина гасит коптилку: керосину мало, нужно беречь. Дава-Дорчжи говорит из тьмы:

— Или вас интересуют анекдоты более легкого содержания? Тогда я бы мог рассказать вам прекрасный анекдот из жизни великого князя Сергея Михайловича. Клозет великого князя, как вам известно, часто заменял ему кабинет. Там у него была библиотека, преимущественно из классиков, легкий музыкальный инструмент и виды Палестины...

Профессор тычется лицом в солому. От печки несет холодным железом. Солдаты храпят.

— Как вам не стыдно!

— Я тоже думаю, профессор, как это два интеллигентных человека не могут найти общей темы для разговора... А я же все стараюсь говорить о вашей русской культуре, совсем не касаясь наших степных истин. Я ведь полагал совсем иное... хотя вы прекрасно сможете обосноваться в Сибири... там есть хлеб и все потребное для вашего существования. Я не настаиваю на Монголии.

Профессор вспоминает со злостью, что Дава-Дорчжи ходит, несколько скрючивая ноги. Видимо, ему доставляло удовольствие чувствовать себя степняком. О русских он говорил презрительно. И опять со злостью, млея сердцем, подумал профессор: «Этаким он стал после революции. Он после революции говорит так о России». Чтоб убедиться, он говорит в тьму:

— Вы где учились?

— В Омском кадетском... Увы, считали нужным и во-

площенного Будду учить. Впрочем, я сам пожелал, мне пенять не на кого. На войне меня не ранили, притом я доброволец...

— У вас был свой отряд?

— Да, на Кавказском фронте.

— Для чего вы везете Будду?

Он хохочет.

— Открою этнографический музей в аймаке Тушутухана... Вы заведующим будете, профессор. Мы же договор подписали — уплатить большевикам пятьсот голов за Будду... Вы думаете, даром говорил заместитель наркома? Пятьсот голов крупного рогатого скота мы вручим им на границе... Пятьсот голов они получают... Музей нынче дорого обходится непросвещенным варварам... вот русские взяли отняли у графов дворцы, превратили их в музеи, а на ненужное им имущество творят национальную политику Востока... И дешево и благородно...

Утром, когда профессор идет за кипятком, позади себя он замечает монгола-солдата. Монгол смотрит ему на руки и хохочет. У монгола широкие и длинные, как сабля, губы. Зубы в них — как гуси в реке.

Профессор спрашивает: зачем он следит за ним? Подмигивая, монгол просит у него кольцо с руки. Профессор, не набрав кипятку, возвращается. Дава-Дорчжи, качая плечами, слушает профессора. Затем он просит показать кольцо и удивляется, почему профессор в такой голод не променял кольца. Монгол же, объясняет он, убьет профессора, если тот вздумает прогуляться куда-нибудь, например, в Чека.

В этот же день сбежал из теплушки монгол-солдат. На станции Вологда был митинг, и монгол остался. Вначале Дава-Дорчжи смотрит профессору на палец, на пальто. Отворачивается.

— Он слишком много понимал по-русски, профессор. Я боюсь — не повредило бы это вам. Знание... Солдат, конечно, не возвратится. Или он напугался, или донесет... хотя за доносы большевики не платят.

Коптилка горит всю ночь: ждут ареста или боятся бегства профессора.

У дверей на бревне сидит часовой.

Профессору скучно: ему дали больше, чем всегда, хлеба, он сначала не хотел есть, а потом съел. Часовой

шинелью заслоняет весь свет коптилки, в теплушке так же темно, как и всегда ночью. Все же профессору не спится.

Профессор Сафонов думает о своем кабинете, о даче под Петергофом. Вспоминает умершую жену — образ ее плоский и неясный, как фотография, а он жил с ней шесть лет. После ее смерти жениться не решался, и каждую субботу к нему приходила девушка. Иногда, чаще всего в усиленные работы, он заказывал девушке придти два раза в неделю. Сегодня суббота. Он ловит себя: не подумал ли прежде о девушке, а потом о жене?

У него согреваются ноги. Теплота подымается выше. Он оглядывается на часового. Тот кидает окурок к печи и дремлет. Какое кому дело, о чем думает он. Он покрывается с головой, но ему душно, потеют подмышки.

Он подымается, чтоб подкинуть полено в печь, но неожиданно для себя ползет. На полдороге останавливается и смотрит на часового. Дремлет тот. Он смотрит в угол, где Будда. Веки вспотели, и он протирает их теплой ладонью. Потеют губы. Он, низко наклонившись к полу, сплевывает.

Подле ящика Будды спит женщина. Он не подкидывает дров, подползает к рыжему тулупу и трогает круглое, выпуклое тело. Женщина подымает голову, не узнает его, по-видимому. Тогда он лезет под тулуп к женщине.

...Утром за чаем Дава-Дорчжи говорит ему о своих лошадях. Профессор думает: узнала она или нет? Он смотрит на нее украдкой и вдруг замечает на своем рту ее медленный — как степные озера — испаряющийся взгляд. Он чувствует жар в щеках.

— Как ее имя? — спрашивает он.

Дава-Дорчжи наливает чай в блюдечко.

— Чье?

— Этой женщины.

— Не знаю.

Дава-Дорчжи спрашивает у солдат, шумно вздыхая, тянет чай и сообщает:

— Цин-Джун-Чан... очень длинно, профессор. Но у русских есть еще длинней. Как звали вашу жену, Виталий Витальевич?

Глава пятая

Высокопарные рассуждения о мандатах наших душ, крушении цивилизации, сосновых ящичках различных размеров. Неисправные истопники, по вине которых в степи видны волки. Гыген волкуется

...В вечер его остановки на этой мысли Будда, словно видение, пролетел в воздухе, показав свое золотистое тело.

«Сказание о строительнице Пу-А»

Виталий Витальевич делает вид, что забыл происшедшее ночью: он улыбается и острит. От улыбки седоватые его усы щекочут щеки, и чем он больше улыбается, тем неприятнее щекам. Похоже — чужие усы в чужой улыбке щекочут его щеки. Но гыген Дава-Дорчжи не глядит на него, он строгаёт длинным перочинным ножом лучину, и монгол Шурха заглядывает через плечо гыгена. Из лучины получается сначала меч, затем рыба, — и в виде птицы она исчезает в печи. Шурха визгливо смеется: череп его кочковат, волосы рыхлы и подходят на лоскутья.

Виталий Витальевич видит в лучине какое-то предзнаменование, и он мастерит лучину крестом. Скрепляет нитками. Ножа у него нет, — значит, он совершенно безоружен. Он кидает крест в печь, но и здесь гыген не оборачивается. Везде за профессором следит монгол Шурха. «Разве написать записку, кинуть», — и ему смешно.

На станциях все больше плакатов. Везде один и тот же краснощекий генерал колет рабочего и крестьянина. Везде подле плакатов споры. В вокзальных буфетах отпускные солдаты голосуют: пропускать им этот поезд или задержать?

Никто не возьмет его записки. Кому нужен его призыв? Люди читают воззвания, плакаты, листовки, брошюры и сводки о фронтах в серых газетах.

Поезд идет с длинными остановками. Кондуктора — в черных тулупах, и днем и ночью с зажженными фонарями; вагоны длинны и темны, как гроба. Рельсы визжат и рвутся — говорят о взрывах. На поездах охра-

на,— каждую ночь перестрелки с бандитами. Если зеленые задержат поезд, то коммунистов ставят налево, беспартийных путешественников — направо. Левых расстреливают тут же у насыпи.

Виталий Витальевич думает: «Куда же поставят меня?»

— Узнаете в свое время,— говорит Дава-Дорчжи.

За Вяткой начинаются туманы. Шурха ходит совсем у самого плеча профессора и, кашляя, заглядывает ему в шапку — он, должно быть, пугается туманов. Сосны подле насыпи выскакивают иногда, как напуганные огромные птицы. Зыбко дрожит пол вагона, дрожь отдается в коленях, и оттого — тошнота.

От туманов тоже вытягиваются и темнеют встречные лица: стрелочники, люди в длинных шинелях,— словно весь перрон — серые, вялые складки шинелей. Голодным, сжавшимся взором провожают они поезда. Локомотивы, сгибая шеи, рвутся в туман, и туман рвется на них. Пассажиры у насыпей валят сосны, пилят и колют их — это когда локомотивы останавливаются. Чугунное чрево накаляется вновь — и паровоз долго бьется в вагоны, сталкивая их с примерзших рельс. Иногда нужно воду (на станциях водокачки опустошены другими поездами), тогда в тендеры валят снег. Солдаты, женщины, кондуктора далекой цепью вытягиваются в туман и передают ведра со снегом.

Однажды, ночью, передавали воду в тендер с реки подле моста. Далеко в кустах (возможно, что шуршали не кусты, а снега) начали обстрел поезда, и кто-то кричал:

— Сдавайсь, перебьем иначе...

Кинув ведра, люди поползли, падая (подъем вдруг обледенел), бежали к вагонам, и женщина, прерывая голос,— точно били ее,— кликала ребенка. Машинист — он принимал и лил в тендер воду — тоже откинул ведро и откуда-то из угла, где ящик с ключами и гайками, выволок на тендер пулемет. Солдаты, хлопая рукавицами, ложились с винтовками между колес вагона, приглашая пассажиров уйти в поезд.

Профессор долго не может заснуть.

Утром (опять — разве объяснишь эти дни) он долго смотрит в потемневшие голодные лица. Конечно, они провожают ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Слез и воп-

лей не хватает на такие морозные туманы, вьюги и снега — лица у них как плакаты.

— Аргонавты! — говорит Дава-Дорчжи на слова профессора.

И гыген, точно намеренно, рассказывает о раскопках близ города Калгана, у скалы, именуемой «Верблюжьей Пятой». Он приводит легенду о брате Чингис-хана, Хасаре, и говорит, вспомнив туманы:

— Ясно, здесь не шел Чингис-хан на Русь... Тогда бы не было таких туманов. Все сырые места он очищал человеческой кровью... припомните Туркестан, профессор.

Иногда в теплушку входят люди в тулупах поверх кожаных курток. Они проверяют мандаты. В бумагу они смотрят плохо, а так поверх голов куда-то, словно по запаху знают — те ли и туда ли едут. Птицы в перелетах, наверное, такие же. И глаза у них забагровевшие от ветров и необычайно расширенные ноздри.

Такие же ноздри увидал профессор у монгола Чжи. Дава-Дорчжи хлопотал у коменданта станции о прицепке к очередному составу. Профессор попросил кружку с теплой водой. Чжи, подавая кружку, сломанной ручкой ее начертил на грязном, заплеванном полу неправильную пятиконечную звезду и, сплюнув, быстро ткнул пальцем в свою грудь.

Нужно было профессору выучить монгольский язык. Он жалеет об этом, и оттого, что ли, вода кажется ему необычайно сладкой...

В ту почь зеленые опять обстреливают поезд. Всех солдат, находящихся в поезде, мобилизует комендант. Теплушку караулят женщина, Шурха и профессор Сафонов.

Чжи и еще трое не возвращаются.

Профессор спрашивает:

— Убили?

Дава-Дорчжи тычет револьвером к ящику.

— Ушли! С красноармейцами!.. Собственноручно бы пристрелил собак, если бы не... Что им там, как мне тут понять?

Виталий Витальевич вспоминает звезду, нарисованную Чжи на полу, и понимает.

На той же станции (или монголы понимали по-русски и кое о чем догадались?) теплушку догоняют орудия. Серовато-голубые чехлы машин горбятся и блещут измо-

розью. Темные глыбы броневиков. Желтое крыло аэроплана. (Да, да, убежавшие монголы почуяли запах войны!)

Всю ночь с тяжелым грохотом, словно сливая в клубы звенящие рельсы, мчатся мимо грузовые платформы. Теплушки с людьми почтительно сторонятся. В теплушку стальные машины бросают плакаты, клочки газет, на которых, как брызги затвердевшей стали,— слова-крики: «Война!.. Товарищи!..»

Вслед за машинами — люди в кожаных куртках. Они кажутся профессору тоже кусками машин, только без чехлов. Он замечает у них одни груди — так, как замечал у женщин в дни своей молодости. Странно дыхание этих грудей; ровные, чуть выпуклые блестящие четырехугольники, — они, наверное, очень теплы, выпуская такое сильное дыхание.

Туман оседает за соснами. Профессор задумчиво уходит в теплушку.

Вскоре туда торопливо прибегает Дава-Дорчжи и за ним потный Анисимов. Портфеля у него нет, но кожаная куртка удивительно напоминает портфель. Он горячо пожимает руку профессора и оглядывается.

— Едете? Валяйте, валяйте!.. Я тут пока что повоюю. В отряд наш питерский, отряд коммунистов, — так я записался. Генералы наступают, всеобщие мобилизации... Да, прилизанная сволочь, да!.. — Он еще раз трясет руку профессора. — Я на вас, товарищ Сафонов, очень надеюсь... Хоть вы и профессор, а мне с первого взгляда понравились. Сидит и бумагой печку топит — совсем по-нашему. Я ему еще говорю — голову повязать надо... Начали мы тут с ним о всемирной революции говорить... всю ночь напролет. Пойдем к нам в теплушку, чаем угощу, и в пешки сыграем. Там и Дивель со мной, туда же...

Он оглядывается, щупает ящик: «Сидишь?»

Дава-Дорчжи ласково трогает плечи профессора.

— Едва ли профессор пойдет с вами, товарищ Анисимов. Хотя мы и находимся в отвратительнейших условиях, но, несмотря на это, решили, как просвещенные европейцы... вернее, это относится к одному профессору... решили и употребляем весь наш дневной досуг на ряд научных изысканий в области монголоведения. Хотя я и скромный представитель...

Анисимов одергивает куртку, щупает вздернутый нос и торопливо шагает к выходу.

— Одним словом, некогда!.. Всякому свое, обыкновенная история... я ведь не лекцию читать,— а нельзя— и нельзя!.. Очень просто!..

Он спрыгивает. Звонят на станции. Поезд уходит. Дальше.

Поезд стоит в соснах. Может быть, где-нибудь близко — зеленые. Сосны шумят, трогают друг друга — холодно, ветер — соснам тоскливо. Солдаты по пояс в снегу собирают сучья. В теплушке пахнет смолой, но не от ящика Будды. Женщина Цин-Джун-Чан спит: ее недавно, перед тем как поезду остановиться, посетил сам гыген. Гыген есть живое воплощение Будды: она довольна.

Профессор Сафонов слышал это посещение. И вовсе не оттого он говорит сердитым голосом:

— Я могу распорядиться собой так, как хочу. Если бы у меня было желание пойти к Анисимову, разве я не могу пойти? И потом, меня возмущает ваша постоянная ложь. У меня нет к вам доверия!..

— Дорогой Виталий Витальевич! Прежде всего закройте плотней: солдаты постоянно входят, а вы значительно подвержены простуде. Разве можно говорить, что вы не можете распорядиться собой... Да, о владыка Сакия-Муни! Все делается в ваших интересах, каждый шаг — это моя сплошная забота, и не моя вина, если вы ее отвергаете. Я привык к путешествиям,— зачем вам подвергаться ненужным опасностям? Идти вам к большевикам-захватчикам, есть и пить их пищу?! Я же — в заботах... Вам есть пища, тепло, любознательный разговор и женщина, молодая и искусная в любви... и не моя вина...

Профессор глядит в потолок.

— Плохая театральная декламация...

— По-монгольски, Виталий Витальевич, выйдет значительно лучше... почти песня... У нас есть мудрая поговорка: никогда не злись на дорожного спутника.

Профессор пальцем постукивает в печь. Монголы укладываются: они хотят чаю, но сырые дрова плохо горят. Они длинно со свистом сплевывают.

— Дава-Дорчи! Вы глубоко испорчены цивилизацией, и вам не к лицу Восток...

— Раздражение обостряет наблюдательность.

— Склонность к дешевым сентенциям!.. Ваша любовь к мудрости... Ха... Вы ведь и одни уедете, Дава-Дорчжи, без меня...

— Одного меня назовут вором. Анисимов не возвратился, что ему с нами?.. Ему поручено разрушать, а мы созидаем и укрепляем, как вам угодно понять.

— Надоели вы мне насквозь, Дава-Дорчжи, и мне хотя больно говорить так...

Профессор Сафонов садится. Вероятно, от сотрясения вагона у него дрожат губы. Он долго упрекает гыгена, пересчитывает ему обиды. Дава-Дорчжи лежит на спине, заложив нога за ногу. Он, щупая свои отросшие жесткие, как камыш, волосы, слушает очень внимательно. Монголы спят. Пахнет сырým дымом.

Окончив говорить, профессор так же, как и Дава-Дорчжи, ложится на спину. Они долго молчат. Гыген поднимается, чтобы подложить в печь дров. Он садится перед печью, делая ноги лотосом.

— Если мои люди... Знаете, что они мне говорят? Надо ехать в Монголию и делать большевиков... Мои стада они оставляют мне пока, потому что я им помогу отсюда выбраться. Они плохо знают по-русски, но успехи делают заметные... так же, как вы по-монгольски, профессор... но стада других гыгенов и лам они решили поделить так же, как поделили их в России. Если мои люди мне не верят, как вас я смогу убедить, профессор!

Губы у него пепельного цвета, как потухающая головня. Солдатская гимнастерка расстегнута, и видны натянувшиеся жилки: он очень тощ. Профессору хочется извиниться, но он молчит.

— Я могу доехать в аймак Тушуту-хана один, без людей и без бурхана Будды... я уже был бы там. А без этого соснового ящика не могу... Пока я воевал с пемцами, они захватили мои стада и юрты.

— Кто?

— Там... разные... Будде они отдадут. Лежащие рядом этому тоже не верят, говорят, что большевиком с красной звездой гораздо больше можно получить стад и юрт.

— Так три тысячи голов-то не ваши?

— Они мои, но молоко их пьют чужие мне люди, даже не родственники.

— Какие же пятьсот голов вы заплатите большевикам?

— О прибытии Будды, со мной поедете вы и еще... сообщите, что Будда на границе.

Он вдруг, широко раскрыв рот, кричит:

— Они отдадут стада, иначе!.. Иначе!..

Женщина испуганно вскакивает. Он машет рукой, она ложится.

— Привыкла при крике менять трубку с опиумом, поэтому и вспрыгнула... Как бы можно было назвать на вашем языке, профессор, проклятие Будды: «Ты никогда не воплотишься в родах, которые не возвратят мне стада»?

— Я первый раз слышу.

— Защищите или, лучше, запомните. При всем уважении к вам, карандаша мы не одолжим. Денег у меня нет— я истратил их в Петербурге... впрочем, едва ли вас интересуют финансовые дела экспедиции.

— Я тоже не имею денег.

Дава-Дорчжи тычет пальцем в огонь. Говорит мечтательно:

— На станциях продают калачи...

— Я видел также творог и даже гуся... Мясо они меняют исключительно на соль.

— Да... у нас соли мало...

Профессор, успокоенный, засыпает.

Позже он пытается понять, что его успокоило. Он с некоторым сожалением смотрит на маленького, черненького человечка. Правый сапог у Дава-Дорчжи лопнул, и он чинит его. Гнилая кожа лезет, расплзается, как грязь, шило блестит, узкое, словно глаз Будды.

У солдат гортанные голоса, и Виталию Витальевичу кажутся понятными их выкрики и даже то, что они так много пьют чая. Он только не догадывается, откуда у них чай: сейчас в России совсем нет чая. Он мочит тонкий сухарь в воде и долго поясняет Дава-Дорчжи свои мысли о крушении европейской цивилизации, о том, что Европа будет скоро огромным мертвым музеем.

Дава-Дорчжи думает свое. Потом, когда профессор смолкает, он пальцами показывает ему, как ловят тибетцы яков. Дава-Дорчжи был в Тибете и подарил далай-ламе часы с музыкой: это было давно, мальчиком. Солдаты, одобрительно вскрикивая, смотрят на его пальцы.

Теперь профессор Сафонов хочет понять себя: чего ему хочется. У огромного плаката, прилепленного на уборную,

где надпись: «Статским вход воспрещается», профессор Сафонов говорит тыгену:

— Я буду с вами разговаривать.

Говорит он так, дабы решить быстрее: чего ему хочется. Он, сбивая пристающий к каблукам твердый синеватый снег, ходит от уборной к станционному колоколу. Позади за ним следит монгол Шурха.

Станции ходят одна на другую, только в иных вместо колокола звонки дают ударом в вагонный буфер: значит, станцию захватывали зеленые, они для чего-то увозят все колокола. Но Будда уже проехал Вятку.

Профессор думает о колоколах, станциях, о том, что мертвых хоронят теперь без гробов. Когда ходили в деревню менять одеяло на хлеб, старуха со злостью указала:

— Вон у тех просите, они вам дадут!..

Три громадных бревенчатых амбара набиты сверху до низу трупами. Зачем мертвым амбар? Тепло нужно живым. Однако пикто не дает ни хлеба, ни дров.

«Не все ли равно: ехать ли в Сибирь, Туркестан или Монголию? Никуда не доедешь. Дава-Дорджи пусть мечтает о табунах и кумирнях с тысячью Будд. Библиотекой моей топят «буржуйку» какой-нибудь жилец, и придет время, когда будут топить манускриптами и Остромировым евангелием здания на углу Невского и Садовой». Так думал профессор Сафонов, раздраженный путешествием и жизнеспособностью Дава-Дорджи. По его мнению, Дава-Дорджи должен был подчиняться течению событий так же, как подчиняется им профессор. Иначе что же это такое? Русский профессор оказывается большим буддистом, чем буддийский перевоплощенец? Разница лишь в том, кто обоснованнее бранит Советскую власть? Экая невидаль! Многие профессора теперь бранят. А там, глядишь, побранят, побранят, да и встанут за кафедру читать лекции. А хорошо на кафедре — не то что в этой проклятой теплушке! И почему, собственно, он согласился ехать? Поздно проснувшаяся страсть к путешествиям, скука, стремление к пище или желание сделать добро монголам? А в чем добро? В статуе? Статуя — это лишь металл и сама по себе никакого добра не несет. «А какое ж добро несешь ты, профессор? У политрука добро скромного размера — и все-таки, пожалуй, добро. А у тебя?»

Профессор Сафонов, как видите, размышлял с полной серьезностью — и, кажется, с полной растерянностью.

Колокола на станции дребезжат морозно. Станционные колокола звонят России похоронную. Профессор Сафонов сидит в теплушке рядом с живым воплощением Будды — гыгеном Дава-Дорчжи. Гыген ест мерзлую брюкву и, одобрительно кивая, слушает.

— Будет же что-нибудь выдвинуто в противовес этой неорганизованной тьме, этому мраку и буре. Неужели же кровь и смерть? Неужели такое же убийство, как и у них? Генералы будут вешать, расстреливать, грабить коммунистов... Коммунисты будут восставать и расстреливать генералов, и колокола будут звонить все меньше и меньше, буфера вагонов занесет снег... Дава-Дорчжи, для чего нам даны сердца?

Сырые дрова горели плохо. Женщина забила в ящик, глаза, — ресницы их были бледновато-синими, — бледные от снега глаза она плотно прикрыла, спрятав куда-то внутрь. Профессор дал ей одеяло; гыген отвернулся. Ушли из теплушки, отстали еще четыре монгола, остался один Шурха.

Дава-Дорчжи и профессор Сафонов стоят подле дверей. Синяя тяжелая ночь. Через сугробы, за соснами, в холмах — искры.

— Волки, профессор!

Виталий Витальевич думает о дровах. Но у всех заборов часовые. Их кормят исправно, и они не разучились еще откидывать затворы. Крестьянам не нужна вшивая и грязная солдатская одежда, они гонят: «Зараза». Греться только разрешают в хлевах, но кто их будет караулить: они могут выпить молоко или отрубить у живой скотины ногу, — в хлева пускают редко.

Дава-Дорчжи берет зазубренный, соскальзывающий с рукоятки топор и рубит сверху там, где написано суриком «Осторожно».

Выходит из рогожи, из стружек желтое, раскосое лицо и, отпотелое, благостно улыбается вечной улыбкой на вечно теплый огонь.

Профессор снимает сапоги и, выжимая портянки, говорит:

— Я решил, Дава-Дорчжи. Безглазой дикой тьме мы противопоставим омытое европейской пытливостью благословенное, настойчивое шествие вперед. Наши сердца! Я пока не знаю куда... но хотя бы провести Будду через водопад... мор и голод... Мне неизвестно, какие у вас мо-

тивы для движения вперед, у меня есть они: сердце,— хоть капля его, уцелевшая в цивилизации, мысль вечная и пьяная всегда своей волей... я с вами!..

Дава-Дорчжи пальцем указывает женщине: вернуть профессору одеяло, теперь тепло. Подвигая чайник на более раскаленное место крышки, он отвечает:

— Я так и думал, Виталий Витальевич!

Что он думает о словах профессора, которые чрезвычайно туманны, крайне трудно понять. Профессор, по правде говоря, и не пытается. Он утомился от размышлений, и, если уж передать вам тайну, он недоволен собой. Профессор истории, знаток Востока,— и его, по сути дела, ведет вперед почти невежественный монгол! Даже ведь в области буддоведения профессор знает гораздо больше, чем Дава-Дорчжи. Ах, этот поток жизни! Как он странен, непонятен и одновременно певуче нежен и кипуч!

Неделю они топят печь досками, которыми забит Будда.

Через семь дней видны его ноги...

Глава шестая

Металл, распространяющий спокойствие

Конфуций над рекой говорил:
«Уходящее,— оно подобно этому,
ведь не перестает ни днем, ни
ночью».

Луи-Юй, IX Эб

Колокол толст,— непременно не звонок;
Ухо заложено,— непременно глухо.

Юань-Мэй

События, описанные в настоящей главе, должны бы начинаться так: в тьме, холоде и ветре теплушка несется вперед. Гыген, злобно махая топором, рубит ящик. Топор (писал уже) зазубренный: летят пахучие, лохматые щепы. Низенький, плечами немного скошенный, серобороденький человек, намеренно кротко улыбаясь, подкидывает щепы в печь. Женщина и Шурха боязливы: их пугает золотистое тело обнаженного Будды. И вышедший

из сосновых досок улыбкой лотоса приветствует снега и ветры.

Последний солдат гыгена покидает вагон — он последний, его надо запомнить — Шурха. Гыген отворачивается, когда монгол собирает свои тряпки.

— Теперь вас некому караулить, профессор.

— Я сам караулю себя.

— В последнее время мне часто приходится опускать или отворачивать свое лицо, профессор. Сможете ли вы себя укараулить? Их тянет красная звезда и еще не знаю что... Страсть проливать кровь?

Будда сидит: его поставили так, когда вынимали снизу доски. Видны веероподобные украшения у его висков. Не потому ли Дава-Дорчжи щупает его руку?

— Значит, действительно, профессор, тяжело, если решился уйти Шурха... какие-то духи здесь помимо голода и мороза. Он был верней меня...

— Вы хотите сообщить, Дава-Дорчжи...

— Что мне сообщать! У него какие стада. Никаких... все же он был самый верный из всех... вернее меня.

Дава-Дорчжи гладит руку Будды. Конечно, тело Будды светлее тела гыгена (оттого сквозь узкие тигровые глаза его — улыбка).

Виталий Витальевич вдруг ощущает в локтях внутреннюю легкую испарину, словно кости, опустошенные, наполняются водой, теплой, как парное молоко. Либо вкус парного молока приходит вперед того ощущения. Он смутно помнит. В жилы, еще куда-то (совсем трудно уловить) испарина взметывается острой, пронизывающей ломотой, и желудок вдруг крутит и трясет тело. Он совершенно уверен, что Дава-Дорчжи, находящийся сейчас за спиной Будды, ест там вместе с женщиной хлеб и масло. Пищу ему принес сбежавший монгол Шурха, как выкуп за свой уход. Он, Дава-Дорчжи, жаден и даже не прожевывает кусков, в то время как Виталий Витальевич с весны этого года учится возможно медленнее жевать пищу. (Зубы нужно сжимать плотнее, — вкус пищи тогда долго держится в нёбе и деснах.)

Зато Дава-Дорчжи обещает в Монголии обильно кормить Виталия Витальевича: бараньим мясом, парным молоком и мягким весенним хлебом. Виталий Витальевич поспешно обходит Будду (действительно, желтый металл

очень тепел). Дава-Дорчжи успел спрятать, он действительно скребет ножом стену вагона. Он хитрый.

Профессор притворяется непонимающим. Он разводит руки, и ему трудно их свести обратно: он опускает их вдоль тела. Необычайно длинны у человека руки.

— Вы не думаете сегодня искать пищи, Дава-Дорчжи?

— Да, да... я иду.

Он сыт, — куда ему торопиться? Но в угоду профессору он спешит, даже не повязывает вокруг шеи полотенца. Ясно, — в чем профессору сомневаться? — он понюхал полотенце, оно пахло теплым ржаным хлебом. Профессор ухмыляется и грозит женщине пальцем.

— Обманщики, обманщики!.. Старика обманывать... Голодного старика!..

Женщина тоже хитро ухмыляется и проводит ладонью по губам: они у ней кровавые и плотные. Когда человек питается хорошо, разве будут бледные губы. Она, по-видимому, хвастается. А еще Дава-Дорчжи жалуется на отсутствие пищи!

Следовательно, Виталию Витальевичу нужно самому спастись себя. Придерживая рукой борт шинели (пальто он давно променял на шинель, — пальто сейчас все закапывают: Россия вся ходит в шинелях, — она мчится и воюет), он зажат между Буддой, железной печкой и ворохами мокрой соломы. Женщина сидит у подножия бурхана, глаза у ней закрыты, и лунообразно ее лицо.

В былое время, если б он захотел есть... он бы купил. Он часто говорит с Дава-Дорчжи, что можно было купить раньше.

И все-таки Дава-Дорчжи его обманывает.

Ему жалко самого себя, и он плачет. Он голоден, бос и одинок.

Потом он возвращается к Будде. Он полагает, что думал давно о поступке, который он сейчас совершит. Началось еще в особняке графов Строгановых, когда в первый раз увидел Будду. Или нет, когда Дава-Дорчжи мыл его посуду и рассказывал легенду. «Дава-Дорчжи глуп и за пищу распускает своих людей, он сыт и не может подумать о статуе».

Подпрыгивая, срываясь, зачем-то подскакивая на одной ноге, он скачет вокруг Будды. Ногти у него скользят и срываются — они до противного мягки. А золотая проволока плотно вправлена в твердую медь, и нет у ней кон-

ца, за который ухватиться и потянуть. Он запирает дверь на болт, как ночью, и запалает коптящий, сильно пахнущий керосином светец. Он внизу ножом гыгена расковыривает конец проволоки и тянет. Проволока в углублении скреплена крошечными медными гвоздиками, он режет их, золото осыпается мелкой пылью.

Ладопи его мокры, проволока вырывается: он обматывает руку полотенцем гыгена. Про женщину он забыл, — она в ужасе визжит в углу. Он оборачивается, видит непомерно большой рот и на острых коленях грязный кусок цветистого платья. Он грозит ей ножом. Рукой, завернутой в полотенце, трогает ее губы и отскакивает снова к Будде. Рот ее под полотенцем такой же неуловимый, как проволока. Она смолкает — за свою жизнь она научилась понимать приказания.

Меньше кулака получается плохо свернутый клубок золотой проволоки. Он в углу топором откалывает доску обшивки, всовывает туда проволоку и вновь забивает гвозди. Ножом соскребает с полу искорки золота, их совсем мало, можно пересчитать, но сыплет их в карман брюк.

Женщина скажет о случившемся Дава-Дорчжи, и, продавая проволоку, гыген не будет уже скрывать от Виталия Витальевича пищу и молоко.

Между пальцами сильно болит оттянутая проволокой кожа. Зачем же он трудился? И Дава-Дорчжи может сделать то же самое, к тому же он моложе и опытнее во всяких работах. Напрасно.

Но Виталию Витальевичу приятно чувствовать себя утомленным. Притом, по понятию язычника, он свершил святотатство, едва ли Дава-Дорчжи решился бы сделать такое...

...Дава-Дорчжи возвращается поздно: поезд стоит на разъезде, и деревня далеко в степи. Он приносит полкалача и доску, сорванную с забора. И с радостью Виталий Витальевич думает, что другую половину калача гыген съел дорогой. Половина делится натрое. Женщина молча наливает чай.

Сердце у Виталия Витальевича бьется беспокойно, и он ждет, как гыген откинет раскалываемую доску и вскрикнет. Но женщина молчит. Он съедает свою часть калача.

— Чай пустой пить будете? — говорит Дава-Дорчжи. Профессор виновато гладит кистью руки колено.

— Мне сильно хочется есть.

— Дело ваше.

Гыген роняет на пол оторвавшуюся от гимнастерки пуговицу. Он берет лучину. Смолистая щепка загорается сразу; чтоб продолжить ее горение, он подымает ее выше над головой. Ищет на полу пуговицу. Смола капает ему на рукав, он выпрямляется.

В Будде горят сотни лучин, брови у него мягкие и круглые.

Дава-Дорчжи вдруг вскрикивает:

— А-а-а...

Он сует другую лучину в печь и, треща искрами, подбегает к статуе. Хватает пальцами лицо Будды. Надергивает шапку и вместе с горящими лучинами выпрыгивает из вагона.

— Ага! — несется из пухлых, синих и розовых снегов.

...Вечер вязнет на твердых ветках берез. Темно-синие березы, и в них черным звоном звонит колокол проходившему поезду...

Виталий Витальевич ждет. Он застегнулся, повязал туго шею. Он готов к допросам и аресту. Всегда устраивается не так, как думаешь. Если Дава-Дорчжи нашел нужным доносить на него, как на вора, то стоит ли умалчивать об его офицерском звании? Если расстреляют, то пусть расстреливают обоих.

Внезапно Виталий Витальевич ощущает благодарность к женщине Цин-Джун-Чан — она смолчала и скажет о проволоке при допросе. Он берет ее вялую руку и жмет. Она улыбается: у ней совсем молодое лицо и тоненькие круглые брови. Она слегка коротенькими мягкими пальцами касается его лба и говорит:

— Ляр-ин!..

«Это, наверное, значит люблю или что-нибудь в этом роде», — думает профессор.

Он ждет, когда сильно заскрипит снег: люди, ловящие других, ходят тяжело и быстро. Сильно ноют плечи, и забнут руки. «Так он и не выменял варежек».

Долго спустя Дава-Дорчжи приводит трех мужиков. Один из них, рыжебородый, в овчинном бешмете со сборками, тычет пальцем на статую и говорит другому:

— Этот?

У спрашиваемого детское розовое лицо и совсем мужской хриплый голос:

— Много работы, дяденька...

Они ходят вокруг Будды, стучат пальцами и хвалят хорошую медь. Дава-Дорчжи проводит рукой по лицу Будды, по складкам его одежды и внезапно отскакивает. Губы у него скрючены, он брызжет слюной в уши профессора, толкает его кулаками в печень:

— Ободрали, сволочи, всю проволоку дочиста... теперь я понимаю, почему они ушли от меня!..

— Кто?

— Солдаты... кто!... они постоянно выпроваживали меня из вагона, а сами ящик разбили и проволоку выдрали... Вы-то, вы-то чего смотрели...

— Мне! Мне! Мне?

— Вам! Вам!.. вы же сопровождаете, вы тоже ответите, здесь на триста рублей золотом!.. Я-то подумал: почему так ящик легко раскололся?.. Попадись теперь они мне, я...

Он замахнулся кулаком и, обернувшись к крестьянам, крикнул:

— Беретесь, что ли?

Рыжебородый мужик снял шапку. Лысина у него была тоже рыжая и широкий веселый нос в веснушках. Профессор улыбнулся ему. Мужик посмотрел на него и, улыбаясь, протянул руку:

— Здорово живете, давно в дороге-то?

Дава-Дорчжи прервал нетерпеливо:

— Ну, беретесь?!

Мужики осторожно переглянулись, и рыжий ответил тихонько:

— Поди так и на золотой не наскребешь. Ты как, Митьша, полагаешь?

Митьша в вязаном спортсменском шлеме и дырявом полушубке ответил уклончиво:

— Бог его знает... главное — не русская штука... и слышать не приходилось. Из китайцев еп, што ли, статуи-то?

Рыжий мужик решительно надернул рукавицы.

— По работе и заплатим, мы тоже не живоглоты... сколько наскребем, столько и получите... еще влезешь с таким золотом, — нонче ведь, раз-раз, да и к стенке!

Дава-Дорчжи вяло оперся о печку.

— Скребите... поскорее. Задержите, прицепят теллушку, как я с вами... останетесь.

Мужики ушли за инструментом.

Остается самый младший. Он, ворочая сапогами солону, ходит по теплушке и смотрит во все углы.

Спит профессор плохо, мужики принесли дров, угарно, несет теплом печка, воняют человечиною высыхающие одежды. Профессор стыдит себя, ворочается. Дава-Дорчжи, сытый и сонный, бормочет:

— Блоха спать не дает, завелась...

Среди ночи Виталий Витальевич просыпается от пороха соломы. Ему кажется, что он угорел, — во рту сухо. Через полузанесенное снегом окошечко — на соломе пятна света. По соломе ползет человек. Это Дава-Дорчжи к женщине. Профессор закрывается с головой. Но от женщины гыген возвращается быстро. Профессор ощущает на себе его руку. Пальцы легко пробегают по телу, ощупывают одежду и сапоги. Гыген ищет даже в подушке и в соломе под подстилкой. Затем он возвращается. Он ищет проволоку.

Утром Дава-Дорчжи говорит:

— Это русские ободрали Будду. Я честно везу его домой. Русские сорвали проволоку и сдирают позолоту. Но увеличивается святость божества от поруганий...

Три дня мужики соскабливали с Будды позолоту. Толще, чем везде, лежит позолота на лице Будды, на его круглых щеках. И вот красный, злой, медный выступает из золота лик его. Губы его темнеют, и совсем внутри глаза. Вокруг статуи наслана шерстяная шаль, золото осыпается туда.

— Выколоти́м, — говорит рыжебородый.

На теле остается кое-где позолота: желтые, как прыщи, пятна. Совсем не могут снять золото с пальцев Будды.

За золото Будды мужики приносят мешок мерзлых булок, меру картофеля и дров. Они бережно завертывают шаль, на которую падали крупинки, и в газету — листочки золота с лица. Потом рыжий мужик, вздыхая, жмет руки:

— Продешевили мы, да уж...

Гыген выторговал еще кусок рваной кошмы. Из дров он устроил себе кровать. Он поминутно заставляет женщину подкидывать в печь поленья.

— Если бы я догадался раньше... за проданную проволоку мы бы ехали спокойно. Теперь я простудился, и меня знобит. Утянули... — Он кутается в шинель. Намеренно громко хохочет: — Я вас ночью видел, вы к женщи-

не шли, Виталий Витальевич. Сказать ей, чтоб она вам не сопротивлялась?

— Мне мало нравятся ваши солдатские шутки, Дава-Дорчжи.

— Тогда я могу рассказать какую-нибудь поучительную монгольскую легенду. Теперь я вам разрешаю записывать, потому что я вам верю. Вы очень подробно объяснили, чего хотите... Например, история кутухты Муниулы с жизнью его — непристойной и женолюбивой...

— Когда мы доедем?

— При хорошей экономии на полтора месяца нам хватит продуктов. К тем дням мы будем в Сибири, там много почитателей моего перевоплощения, и я склонен надеяться на пищу, питье и достойные меня благочестивые разговоры.

Профессор, заложив руки за спину, слегка сутулясь, ходит из угла в угол. Он решил молчать о проволоке, ему наскучили ссоры, упреки. Он расспрашивает про аймак Тушуту-хана. Гыген словоохотлив, немного витиеват и часто, с прихлебываниями какими-то, смеется. Он говорит историю своего рода, в ней много имен, мест и замечательных битв. Профессор понимает смутно, но слушает охотно.

Утром Дава-Дорчжи знобит сильнее. Он много пьет чая и лежит, сжимая виски пальцами.

Профессор на станции из красноармейского лазарета приводит доктора. Он щупает голову гыгена, раскрывает грудь, спрашивает, не дожидаясь ответа:

— Голова болит? Ноги болят? Озноб?

У доктора широкие, длинные и тонкие, как ремни, пальцы. Он проводит пальцами по руке профессора:

— Лекарства у нас нет, в Омске иногда принимают в лазарет... все перегружено. У него тиф. Кофе, чистое белье и компрессы.

Смотрит на Будду, стучит ногтем и говорит «медь» и уходит.

Гыген вдруг начинает плаксиво просить револьвер. Хотя револьвер у него под подушкой, все же профессор прячет его у себя. Гыген грозит застрелиться. Он упрекает профессора в лени, из-за которой он, гыген, должен умереть. Лучше ему погибнуть сразу, если нельзя достать лекарств. Он по-монгольски бранит женщину, и та падает на колени, уткнув голову в пол.

— Какие домашние лекарства есть? Где мне достать кофе?.. Ступайте менять револьвер!

Профессор идет.

Бред начинается через день. Профессор со стыдом думает, что гыген притворяется. У него нет никакого повода так думать, но ему кажется намеренным, как Дава-Дорчжи срывает компрессы и разбрызгивает кофе. Гыген часто садится в постели, предварительно сунув себе под спину шинель (стена холодная); одними и теми же словами он вяло говорит:

— В тебя одного переходит дух Будды... ты один воплощение гыгена, Дава-Дорчжи... дай мне из бокового кармана... напишу в аймак.

Сует какие-то бумаги с монгольскими надписями и жалуется:

— Все меня бросили. Ты только один перед смертью. Я уже умер... я опять дух Будды.

Профессор носит кипяток, ставит компрессы.

Скучный, сухой весь лежал Дава-Дорчжи. Постоянно нужно было лить в него воду — поить. Волосы отросли необыкновенно густо и как-то все сразу: жутко было смотреть на пряди, торчащие из носа. Подушка вся залепилась слюной, — переворачивая голову, Виталий Витальевич силой заставлял себя не отдергивать руку. Из ушей торчала вата (гыген боялся ушной простуды), и теперь она походила на черных тараканов.

Часто гыген вскрикивает гортанно и длинно и, подняв тощие руки, лживо приветствует заместителя наркома по делам национальностей от имени монгольского народа. Затем он говорит речь об угнетателях — китайских империалистах — и сразу почти из слова в слово (насколько помнит профессор) передает легенду о статуе Будды из аймака Тушуту-хана. Начинается она словами: «В год Красноватого зайца...», и Виталию Витальевичу представляется большой, с собаку, красноватый заяц на бесконечном снежном поле. Тогда он отворяет дверь.

Чаще всего происходит это на ходу поезда. В зубы профессора несется колючий и твердый, словно камни, снег. Серый дым откидывают вагоны.

«Есть какое-то возмездие за наши поступки», — думает профессор, возвращаясь к печке.

Женщина — ее профессор сокращенно зовет «Цян» — моет в кипятке белье гыгена. У него всего одна пара, и,

когда однажды женщина мыла, профессор захотел узнать, насколько оно крепко. Он подошел к котелку (мыла нет, тряпки просто жамкаются и преют), — поверх, в кусках грязи, плавали серые точки. Профессор наклонился ближе: это были сварившиеся вши.

Поэтому ли или по чему другому в этот вечер Виталий Витальевич чувствует особенную боль в ногах, ему холодно, хотя он сыт и в теплушке ярко горит печь.

Раз утром Цин идет искать сухой растопки. У гыгена сильный бред, — он вскакивает и порывается бежать. Его во время восстания ловят большевики. От сырого дыма болят у профессора глаза, и потому же кричит гыген: «Зачем глаза выкалываете?» Тонкие, скользкие руки гыгена раздражают, и голос у него становится пискливым.

Много спустя является с щепками Цин. Подле дверей Виталий Витальевич видит высокого, горбоносого человека в черной, до пят, собачьей дохе. На шапке у него широкая красная лента.

Профессор высовывается:

— Вам что нужно?

— А ничего, — распахивая доху, говорит человек.

Профессор раздраженно стучит по ручке двери.

— Проходите, здесь больной... Проходите, вам говорят, — здесь правительственный груз! Проходите прочь.

Доха, отходя вразвалку, гудит:

— Ну, не очень-то верещи... правительственный!

Виталий Витальевич грозит кулаком Цин. Та смущенно взвешивает на ладони принесенные щепы: они сухи совершенно. Она не понимает.

На рассвете в дверь скребут. Женщина Цин снимает засов и, чуть наклонив голову, смотрит в темноту. Чья-то лохматая, в шкурах, рука просовывается и тянет ее за платье. Она, не обернувшись, уходит.

Профессор озлобленно хватается гыгена за вытянутую вперед руку. Тот садится, глаза его мечутся по потолку, на лице блаженная радость. Профессор опускает ему руку, тот вздрагивает.

— Сми-и-ирна-а! — кричит Дава-Дорчжи. — Здорово, молодцы-ы!

Виталий Витальевич шевелит его плечо, семенит вокруг кровати и, стараясь перекричать гыгена:

— Послушайте, она ведь ушла, ушла!.. Необходимо крикнуть: назад! Я же не знаю этого слова по-монголь-

оки... Послушайте, ее присутствие в ваших интересах; — кто вам будет мыть белье!.. Разве мне разорваться! Послушайте, Дава-Дорчжи.

— Молчать! Какая там сволочь строй ломает? Ни с места! Сми-и-ирна-а-а!..

Профессор распахивает дверь и тоненьким, срывающимся голоском — в ночь:

— Послушайте, вы-ы!..

По щепке, что лежит подле вагонных ступеней, шуршит и перекатывается снег. Сухой шорох, щепка тоже сухая. Ее обронила Цин.

Глава седьмая

Все о том же металле, благоухающем спокойствием

...Жизнь человека часто бывает лишь продолжением его детства.

*Из записной книжки
профессора Сафонова*

...Поезда пропускали грохочущие и звенящие дни. Доски, железо и люди мчатся вперед. У синих льдов одинокие волки, туго задрав молодые морды, воют на поющую сталь. В степи одна должна быть песня — волчья. У людей песни человечьи и железные. Волку страшно.

Дава-Дорчжи чувствует пальцы. Оно трепетно и радостно — это первое ощущение. Поднять и опустить палец руки — на вершок, — отодвинуть его по одеялу. Влажно и слабо все тело, горят уши, — так, наверное, цветут цветы. Упоенная цветущая слабость.

Подле печки, как и всегда, сидит в шинели, подпоясанный облупившимся ремнем, сутулый старикашка.

— Профессор!

Старикашка, вихляя одной ногой, знакомым шагом подвигается к кровати. Дава-Дорчжи манит его пальцем, шепчет, задыхаясь, в ухо:

— Не подох ведь!

И улыбается, ему кажется — он улыбается всем лицом, но шевельнулись только брови и слегка мускулы подле губ.

Профессор не знает, что теперь делать. Волновать нельзя. Он жует, косится, задумчиво вздыхает.

— Да... теперь питаться нужно.

— Давайте же!

И Дава-Дорчжи ест.

Профессор кормит его размоченными в воде булками, он жадно тянет воду и пальцами шарит в кружке:

— Еще!

Чтобы отвлечь его, Виталий Витальевич говорит осторожно:

— Цин скрылась уже три недели, и я ничего не слышал о ней.

— Еще!

— Вы были в бреду, и, по-моему, достаточно было крикнуть одно слово, чтобы она немедленно вернулась. Ее увел какой-то или грузин, или черкес.

— Еще!

На другой день Дава-Дорчжи сжимает уже кулак и трет им по одеялу:

— Еще давай, старая карга!

— Вам нельзя много есть, Дава-Дорчжи, у вас суженный кишечник...

— Давай! Еще давай, жрать хочу!.. Все поел... мяса хочу!

Тогда профессор меняет в поселке возле станции свое обручальное кольцо. Когда он возвращается с мясом и молоком, Гыген лежит на полу: он пытался ползти.

— Давай!

Он хватается зубами молоко, льет его себе на шею и с шеи скребет ладонями в рот.

— Еще... еще!..

Профессор отодвигает бутылку.

— Уже Омск, Дава-Дорчжи. Где здесь у вас знакомые?

Гыген сыт, спит.

Теплушка в тупике, на сортировочной. Тысячи пустых вагонов. Между составами рыскают собаки. Виталий Витальевич собирает по вагонам оставленные поленья, доски.

В комендантской говорят ему:

— На Дальнем Востоке и в Маньчжурии белогвардейские восстания, товарищ. Мы не имеем времени отправлять какие-то экспедиции с Буддами... а если у вас там

в Буддах-то эсеровские воззвания, вы такой возможности не допускаете?

— Осмотрите.

— У меня, товарищ, семьдесят составов каждый день — да коли каждому под подол заглядывать...

Однако профессор Сафонов снимает рогожи, прикрывавшие Будду, и всего вытирает тряпкой. Во время тряски отломился кусок высокой короны, зияет кроваво медь. Куска нет: вымела или утащила Цин.

Профессор осматривает свои мандаты: на них бесконечное число штемпелей, справок и резолюций.

— Правильнее мы поступим, Дава-Дорчжи, если отправимся через Семипалатинск, горами? Подле Иркутска восстание. И пускают поезда в Семипалатинск... Оттуда ехать труднее.

— Мне все равно!

Дава-Дорчжи зажмуривается и мнет ладонь так, что слышно шепуршание кожи.

— В аймаке есть бараны... курдюк пятнадцать фунтов. Надавишь — из него масло... ццаэ.

— Вы можете не увидеть баранов, Дава-Дорчжи, если не будете слушать меня.

Гыген дергает бровью.

— Увижу,— я хитрый... Дайте мне есть, мне все равно.

Профессор, заложив руки за спину, ходит по вагону. Пол подметен. Перед Буддой и вокруг него доски и поленья. На коленях в лотосоподобно сложенных руках — береста для растопки, доставать оттуда близко.

— Несомненно, это наиболее целесообразный выход, но раньше, чем предпринять решительный шаг, я подожду вашего полного выздоровления, Дава-Дорчжи. Тем временем я составлю подробный маршрут и смог бы составить подробную смету, если бы имелись деньги.

— Мне все равно!

— Ешьте!

Он видит круглые желваки на челюстях гыгена, и ему кажется, что во время болезни он приобрел над ним какую-то непонятную власть. Он резко говорит:

— Не ешьте, не трогайте!

Дава-Дорчжи боязливо отодвигает чашку.

— Но мне хочется!

— Не ешьте!

— Немного!

— Нельзя!

И гыген говорит покорно:

— Хорошо.

Профессор медленно двигается по вагону.

— Можете есть!

Он для чего-то отряхивает с себя кусочки щепок и какие-то приставшие перья.

— И завершительные станции нашей поездки, вплоть до этого места, не разубедили меня в тех мыслях, какими как-то я вам высказывал, Дава-Дорчжи... Более того, они яснее и яснее вырисовываются мне. Ваше героическое стремление со статуей, вашей родовой святыней,— оно является, скорей всего, голосом крови, непонятным зовом ее на Восток. Ваша неорганизованная мысль, простите меня, бессознательно исполнила великую задачу: она побудила меня особенно внимательно прочесть мудрые строфы Сыкун-Ту...

— Пить!

Профессор сплеснул осевшую пыль и подал кружку.

— Вы, опьяненный взрывами шестидесятитонных снарядов, танками, разрушающими города... таких танков еще нет, они будут, или вы думаете, что они есть... в вашем бреде вы видели их,— опьяненный тридцатипятиэтажными домами и радио, вы метнулись туда, куда позвала Европа. Но дух веков заговорил перед вами, когда Европа скинула свое покрывало и — и пока на Россию только — выпустила своих волков. Вы вспомнили, что вы воплощенный Будда, гыген, повезли через мрак и огонь, сам претерпевая мучения — очищая себя...

— Помогите подняться!

Дава-Дорчжи, сдирая длинными, грязными ногтями засохшую кожу с губ, быстро дышал. И шея у него была вытянута, словно при беге. Глаза сонные, как паутина.

— Чтoб у себя в кабинете изучать спокойное течение стад? Нет? Ощутить их на воле, где они похожи на течение вод в озерах. Мягкие спины их пахнут камышами и землей, ярко нагретой солнцем. Кроткие женщины, в любви к которым незнакома ревность, кумирни со статуями Будды, улыбающимися, как небо... Вы к этому и еще к чему-то другому стремились, Дава-Дорчжи... Другое, более ценное, несу я. Я преодолеваю большие проходы, огромными камнями заложен мой путь. Цивилизация, на-

ука, с ревом разрывающие землю... от пустой мысли, что являюсь одним из властителей земли... это глупая, гордая мысль, может быть,— самое важное, от нее труднее всего оторваться... Это блестящий, бесцельный, глупый колпак на голове. Укрепление же — там, подле стад и кумирен,— укрепление одной моей души будет самая великая победа, совершенная над тьмой и грохотом, что несется мимо нас — и мы с ней, по-своему разрезая ее. Спокойствие, которое я ощущаю, все больше и больше... чтоб сердце опускалось в теплые и пахучие воды духа...

— Есть хочу!..

Сквозь быстро жующий рот и влажные от жадности глаза гыгена профессору видится радостное согласие Дава-Дорчжи. Тот еще молчит; слова об еде, выбрасываемые им, скомканы, невнятны; если бы их даже не говорил гыген, они все же были бы понятны.

В свою записную книжку (он ее получил в Екатеринбурге на митинге в честь Третьего Интернационала: барышня в рваном свитере, стыдливо моргая белесыми глазками, раздавала их,— «от печатников на память») профессор заносит: «Идет снег. Дава-Дорчжи пытается сидеть — трудно. Необходимо подумать, насколько повлияла на Сибирь восточная культура. Связь между восстаниями и ею. Здесь наиболее долго длится борьба с тьмой».

И еще пониже: «Жизнь человека часто бывает лишь продолжением его детства».

Дава-Дорчжи встает. Опираясь на стену, он бредет к дверям. Снег в проходах высокий и пухлый. Вагоны заносит, и без колес они веселее — похожи на конфетные коробки.

— В городе есть наши,— говорит гыген,— они дадут еды.

Профессор послушно одевается.

— Вы мне сообщите их адреса?..

Гыген вдруг улыбается. Профессор замечает: какие у него необычно большие скулы, точно уши сунуты под глаза. Кожа на скулах темная и, наверное, очень толстая и твердая, как мозоль.

— Я помню... да... совсем забыл...

Он, продолжая улыбаться (теперь улыбка у него во все лицо, и так, пожалуй, хуже), водит длинными пальцами перед ртом:

— Забыл... забыл... это не болезнь была... а новое мое перевоплощение... да... Принесите мне, пожалуйста, есть.

Профессор в городе. Он отправляется в отделение Географического общества. В музее вповалку спят солдаты. У входа в библиотеку, на ступеньках лестницы, человек в шимах и самоедской малице. На восточном входе — музейный ярлык.

— Вам кого?

Профессору необходимо поговорить с председателем Общества. Правление и председатель арестованы за участие в юнкерском восстании. Малица жалуется:

— Спирт из препаратных банок выпили, крокодиллом истопили печь, на черепахе мальчишки с горы катаются.

Кто же профессору может сообщить о монголах? Откуда малице знать о монголах, — их в шкафах нету, он стережет библиотеку, дабы не расхитили.

— Обратитесь в исполком.

Исполкомовская барышня посылает в Киргизскую секцию. Там юный мусульманин переводит на киргизский язык «Коммунистический манифест». На вопрос профессора он спрашивает: «Товарищ, вы знакомы с системой пишущих машинок? Необходимо в срочном порядке переменить русский алфавит на киргизо-арабский алфавит». Монголов в городе нет, они скрылись неизвестно куда, впрочем, если товарищ владеет монгольским языком, ему могут предложить переводческую работу.

Теплушка за Омском.

Дава-Дорчжи неуверенно и легко, точно ноги его из бумаги, выходит из вагона. Виталий Витальевич ведет его под руку.

— В Новониколаевске я буду хлопотать, чтобы нас пустили по южному пути на Семипалатинск.

— Мне все равно.

Едва только Дава-Дорчжи приобретает силу, чтобы самому надеть сапоги, он берет котелок.

— Куда вы?

— По вагонам... у солдат каши просить...

— Я могу сделать это! Возвратный схватите, Дава-Дорчжи.

— Я же не болен... откуда у меня возвратный... Вам они каши не дадут... вы старик, а похожи на китайца...

— Дава-Дорчжи, на мне лежит обязанность.

— Почему вы меня голодом морите? Вы сами все втихомолку съедаете...

Профессору стыдно думать о золотой проволоке. Пусть она лежит в углу, плотно забитая гвоздями, и погибнет вместе с вагоном. Для себя он ее не употребил и не употребит — он не вор. Думая так, он чувствует себя спокойнее. Весь Будда в пыли, только почему-то слабо оседает пыль на бровные извилины. Спина — в зеленоватом налете, профессор смазывает ее маслом, которое достает тряпочкой с вагонных колес.

Однажды в составе, везущем на дальневосточный фронт коммунистов, он среди кожаных курток замечает товарища Анисимова. Впрочем, он пристально не разглядывает: он бежит в комендантскую — ждет. Если Анисимов придет за справкой — он перехватит его.

Он ждет напрасно: Анисимова нет.

Дава-Дорчжи приносит котелки с кашей и щами. Ест он жадно, опуская пальцы в пищу, точно желая напитать жиром пальцы рук. Ложка у него кругом обкусана, и на металле круглые следы зубов. И зубы у него точно выросли и заострились: профессору больно смотреть на них. Каша темная и густая, походит на землю, и запах ее стелется по полу.

Гыген почти не разговаривает с профессором и не спрашивает о пути. Движения его становятся быстрее, спина выпрямляется.

В Новониколаевске он исчезает на целый день.

В распредпункте как-то неожиданно быстро комиссар делает пометки на заявлении профессора Сафонова: «Удовлетворить, направив по просимому маршруту».

Вечер. Профессор долго путается среди составов, отыскивая теплушку. Надпись на дверях соскоблена: это он видит при ярком свете дугового фонаря. «Нужно восстановить», — думает он.

Дава-Дорчжи сидит на постели. Он распахивает новый козий полушубок и поправляет ворот гимнастерки.

Профессор спрашивает:

— Подарили?

Ему хочется пошутить с гыгеном, и он хочет сказать: «В разрешении на южную дорогу отказано».

— Получил!

Он, все думая о своем, как-то позади себя говорит:

— Вот что... где же выдают полушубки странникам?

Гыген делает несвойственный ему жест: подбоченивается. Лицо удлинняется, и профессор видит белые, как бумага глаза. Голос у Дава-Дорчжи высок, почти крик:

— В полку, в полку, в полку... сволочь ты этакая... отстань! Подыхать мне тут с тобой! С голоду мне умирать. Не поеду, остаюсь! Мне здесь надо... я здесь... я...

Он пытается вскинуть вдруг ослабевшие руки, профессору страшно подумать, что он вскинет их. Он расстегивает шинель, забывает и опять шарит в петлях давно выкинутые крючки.

— Конечно, конечно, ваше дело...

Он вдруг обрадованно находит оставшийся крючок, но сукна подле крючка нет. Должно быть, серое, мокрое от снега сукно.

Дава-Дорчжи так и не подымает рук.

— Я совсем другое думал, Дава-Дорчжи... я полагаю, мы сможем сговориться... Я, наконец, могу достать деньги, получено разрешение. В таких случаях, знаете...

— Доносить пойдете — донесите! Я в анкете сам написал — офицер...

Профессор смотрит на его облупившееся лицо и распухшие (очень неровно, алыми горошинами) веки. Дава-Дорчжи кричит о новом своем перевоплощении: он отныне не Будда, не гыген, он не болел — он умирал, он оставлял дух того, который вот, в золотых пятнах, рядом; так разве болеют. Профессор говорит тихо:

— Оставьте шутить, Дава-Дорчжи... Вы офицер, вы почти русский, и вам ли идти служить к большевикам... Вы обязаны, если вы честный человек... Я вам не верю.

Дава-Дорчжи достает из кармана бумаги, они завернуты в носовой платок профессора. Он их швыряет на кровать.

Дава-Дорчжи идет к дверям военной прямой походкой. Ноги у него слегка кривятся, отворяет дверь пинком сапога.

Дава-Дорчжи, гыген и лама, уходит.

Он бормочет о новом перевоплощении — и непонятно, верит он этому или нет. Или он верит разговору солдат у вагона: «Заблудилась в тундрах железна дорога, можно теперь тысячу лет ехать»; или — после тифа, когда мозг иссушен болезнью, — владеет его ногами желудок. Ноги идут к свободной пище!

Он, подлезая под вагон, чтоб сократить путь, говорит:

— Вот надоел, старый хрен! Вези теперь!..

Глава восьмая

Что думал Хизрет-Нагим-бей и что мог бы думать красноармеец Савоська. Стень весной, суслики, и нестрые травы, и ветры

...В дымке, в дымке села далених людей. Люблю свой дымок на пустыре. На дверях и на дворе нет мирской пыли, в пустом шалаше живет в довольстве свобода. Я долго был в клетке.

Тао, «Свой сад»

Человек пробует засов. Железо в крюке лежит крепко. Долго по железу дрожит рука в шинели — засов недоумевает: почему?

Потому, что человек слушает. После болезни трудно узвать шаги. Но нога ожидаемого не скользит на ступеньках.

Проходы немые. Железнодорожники, как везде, — в тулупах и с фонарями, маслянистый свет которых никогда и ничто не в силах осветить. Прицепляют вагон, тулуп шуршит о буфера и стенку.

Человек гнется справа налево, слева направо — всем телом. Так гнется кисть тушью на бумаге, и непонятные знаки означают непонятное. Будде непонятно, зачем человек творит эти знаки.

«Это неправда!

Будде все понятно. И медным гневом залито его лицо. И лотосы рук — как льдины в шугу, золотые пальцы ломают синь, как солнце утром ломает вершины гор».

Человек лежит в теплушке. Его затылок сжимает подушка, он отрывает голову, дребезжаще злобится:

— Что, взял, взял? Думал освободиться, думал освободиться, думал одному уехать! Я уйду!

Человеку незачем поднимать голову: он один и самого себя хорошо слышит. Резки, почти враждебны его тощие губы.

«Придете в ужас и преклонитесь перед тем, который привезет вам святыню. Раскроете глиняные монастыри, чтоб просияло на него оттуда спокойствие. Он сам проходит последние тьмы. Он...»

Самому себе нужно говорить высоко и грубо. Он так и говорит. Он много раз повторяет самому себе:

«Один субурган, пройденный — мирно пройденный с Буддой. Только один субурган прошел Дава-Дорчжи. Другой субурган — проникновение в великую мудрость, превращение в Будду — не прошел к нему Дава-Дорчжи... От второго субургана свернул Дава-Дорчжи в сторону. Но я не свернул!»

Будда не думает так. Глаза у Будды занесены пылью...

«Это неправда!»

Лицо благоотшедшего горит медью всесовершенной победы. Величие чрезвычайной долговечности основывается в его ровно, как птица над пустыней, парящем круглом подбородке... его ресницы видят создание в течение одного часа миллиона субурганов. Ресницы его как сон, отрешившиеся от страданий. Металлописная его сила, потому что он — Будда».

Профессор Сафонов — европеец. Он знает: чтобы не думать, нужно занимать тело и разум движением. Двигаясь все время, не размышляя о смысле движения, Европа пришла в тьму. Восток неподвижен, и недаром символ его — лотосоподобный Будда.

Виталий Витальевич двигается и совершает свои обычные работы в вагоне. Ночью, под влиянием темноты и отчаяния (горько остаться одному), он мог совершить ряд глупых возгласов и жестов. Теперь ему что: он европеец, он должен исполнить свою обязанность, и, кроме того, цивилизованному европейцу достаточно дня, даже несколько часов, для победы над своими душевными волнениями. Ему поручено довести Будду до монгольской границы и сдать его представителям монгольского народа. В Петрограде у него квартира, книги, обстановка и рукописи: труды всей жизни. Он вернется, исполнив поручение. Предположим, что монгольские ламы в благодарность за услугу пожелают его иметь гостем в своей стране, — почему он не сможет остаться и прожить до конца революции или же просто отдохнуть и набраться сил. И его и чужое мнение было бы: он обязан доехать. Он доведет Будду.

Профессор Сафонов отдирает доски и кладет в карман кусок золотой проволоки. Где растет хлеб, там цветет золото. В ближайшей деревне (поезд идет так, точно машинист рождает на каждой остановке — постоянно в тендер льется вода и начальники разъездов торопливы, как повивальные бабки) профессор предлагает мужикам за короткий — со спичку — кусок проволоки дать ему хлеба

и масла. Толстый и низенький, как телега, в серой байковой рубаше мужик осторожно, словно червяка, берет проволоку. Катает кусочек по ладони, пробует зубом, звенит о сковородку и отдает обратно. Потом опять берет, щупает, кусает — и опять возвращает. Вносит калач и говорит:

— Оно, кажись, и в самом деле золото, а возьми ты его лучше обратно. Золото-то оно золото, — вдруг с мощей. Ноиче ведь к нам разные люди ходят. Вот если кольцо или, на худу голову, крест...

Профессор берет калач и уходит. В иной избе ему дают шапъги или картошки, но золото везде возвращают.

Ночью он ложится у засова, — когда в дверь стучатся, он плотно прижимает губы к щели (чтоб не отдавалось эхо в пустом вагоне): «Занято... командированный...» Доски трещат, хриплые лохматые голоса матерятся, пока не отходит поезд.

Так встретил весну профессор Сафонов.

День и ночь, особенно сильно к утру, дует в Семипалатинск ветер и несет желтый песок. Выдувает из степи целые камни, похожие на дома. Иртыш бережет тополя, иначе задул бы песчаный ветер, как свечу, и воды, и травы, и даже небо. Небо отражается в Иртыше и только этим живет.

Профессор Сафонов в комендантской на станции Семипалатинск. На борту тужурки коменданта красный бант, а лицо серое и прямое. Комендант привык писать на бумажках с угла на угол, и пальцы держат перо тоже как-то углом. Читает профессорские накладные, мандаты, литеры и прочее. Читает долго — точно наступает сапогом на каждую букву. Часы в комендантской хрипят со скуки. Скучно смотрит на профессора, точно читает «свод законов». К тому же профессор плохо переплетен: ему стыдно за свой костюм.

— Садитесь, товарищ... — Комендант долго, точно фамилия рассыпана в мандатах, ищет. — Товарищ Сафонов. Обождите... — Он опять ищет. — Товарищ Сафонов.

Наконец складывает мандаты, перегибает их, словно ему еще раз хочется прочесть. Всовывает рукав в рукав и смотрит.

— Приехали, значит?

— Я имею просьбу к вам, товарищ комендант.

Мозги у коменданта словно занесены песком, он крутит яростно головой, продирает с усилием, будто в первый раз, глаза.

— Какую просьбу?— спрашивает он подозрительно. Глаза его щурятся, закрывают щеки, лоб...— Какую просьбу, товарищ?

— Статую Будды, которую поручено сопровождать мне, выгрузили из теплушки, и она безо всякого присмотра лежит на дворе. Боюсь, как бы не нанесли повреждений, так как статуя имеет ценность не только археологическую или религиозную, но и высокохудожественную и общественную. Совнарком, поручая мне...

Комендант с сожалением распускает рукава, щупает грудь и носом дует в усы, словно хочет их сдуть:

— Та-ак. Выгрузили, и хорошо. Что же, год ей в теплушке лежать? Дорого сейчас в Питере все. Хлеб-то почему?

— Я прошу вас, товарищ комендант...

Тогда комендант подымается, поворачивает стул медленно и тяжело, словно это корова. Щупает сиденье и протяжно, как канат, тянет в соседнюю комнату:

— Сергей Николаич... А?..

И так же протяжно, толсто катится, как бревно, из другой комнаты:

— Но-о-о...

— Да идите же!

Наконец появляется из другой комнаты низенький человек с невероятно длинными черными усами. И бас у него нарочно для таких усов. Они читают мандаты вместе, и вдруг Сергей Николаевич густо и широко, точно смазывая дегтем, хохочет:

— Бу-у-уд-ду! Бога!.. Черти!.. Перуна на-ам!.. Хо-хо-хо!..

Комендант смотрит ему в рот, долго дожидается и внезапно пускается хохотать. Они катаются по столу, стулья падают. Сбегаются барышни, смотрят и вдруг с визгом, щипая в восторге друг друга, прыгая, мелко, бисерно, с продергом, хохочут: В спину барышням толкаются сонные солдаты, коридор дрожит в хохоте. На перроне, облокотясь о лесенку, мрет в смехе какая-то ветхая старушка...

Но тут комендант, хлопая рукой по кобуре револьвера, кричит в толпу:

— Убирайтесь!.. Работать мешает!..

Он вытирает с усов слезы и тревожно спрашивает у Сергея Николаевича:

— А подписи правильные?..

— Как будто правильные.

— А надо бы узнать, верно ли правильные.

— А как их узнаешь, что они правильные?

— Сверить надо.

— У нас заверенных петроградских подписей нету.

И комендант долго, точно ведро с водой из колодца, тянет новую мысль:

— А раз нету заверенных питерских подписей, значит, поддельно... если бы правильные подписи...

Профессору хочется плюнуть, крикнуть или еще что-нибудь.

— Разрешите заметить, товарищ комендант, я с этими подписями приехал из Петрограда.

— То из Петрограда... а у нас тут власть на местах. Из Семипалатинска-то вы бы не доехали. Вот кабы правильные подписи...

Басом, как кирпич, брошенный в пустое здание, вздыхает Сергей Николаевич:

— Правильная подпись, значит, дело правильно, вот, по-моему.

Комендант садится на стул и опять соединяет рукава. Вновь тянется ведро, плещется на губах слюна:

— Разве в центре по телеграфу подписи заверенные запросить?

Он опять разъединяет, как вагоны, рукава и думает вслух:

— Чудно. Зачем они нам Будду прислали?.. Да мы бы им тут из любого колокола десять свежих Будд отлили. Чудно!

— Чудно! — басом прет Сергей Николаевич.

— Посмотреть, что ли, Сергей Николаевич?

— Посмотрим!

Трое идут на товарный двор. Позади догоняет их барышня с бумажкой на подпись. Она тычет в несущийся песок бумажкой — сушит чернила. Комендант плавно, точно танцуя, опускает ногу на бурхан. Сергей Николаевич шевелит свой палец по сломанной короне: «Изъянец». Комендант опять спаивает свои рукава.

— Пальцы-то золотые...

— Позолоченные.

— То-то, я и то думаю,— как из Петрограда золотые пальцы выпустят.

Он кивает головой;

— А ведь безвредный. Пушай лежит.

Профессор кладет мандаты в карман.

— Я его увезу!

— Ну, и везите. Вам, собственно, от нас чего надо?

— Караул поставить!

— Караул?

Комендант смотрит на Сергея Николаевича. Тот где-то внутри ворочает:

— Караул можно.

Комендант быстро, точно шея у него отрывается, кивает:

— Можно. Поставить ему Савоську — тот спать любит, пушай спит...

Савоська коротконог и ходит так медленно, точно ноги у него уперты в пол, и ресницы курчавые. Шинель он несет на штыке, стелет ее подле статуи, и у него внезапно появляются ноги. Он закуривает, стучит пальцем в бок Будды.

— Медный,— мычит он с уважением.— А ты, дяденька, сказки не знаешь? — спрашивает он профессора. И, пока Виталий Витальевич отвечает ему, он засыпает.

Профессор Сафонов глотает пыль: у нее странный вкус, отдающийся холодом в висках. Снега стаивают, но шапки у всех встречных надвинуты глубже, чем зимой. Не от пыли ли они защищают виски?

За вокзалом профессор зацепляет у забора шинель: он хочет снять с гвоздя. Но это не гвоздь, а человеческий палец, а за пальцем человек в бешмете, похожем на гнилой забор. Бешмет хватает профессора за карман и кругло, раскатисто, как горсть брошенных монет, говорит:

— Бириги диньги... мащеньник на мащеньнике... ты чэго приввэз?

Профессору трудно двинуться, притом человек держит его за хлястик.

— Укажите, пожалуйста, где здесь Совет?

— Совет? Здесь много Советов... Есть Совет — дома имит, мой дом тоже этот Совет имит. Есть Совет в тюрьму садит, Билимжан пятый месяц сидит... Торговать Совет нету, все даром дает...

— Мне исполком Совета.

— Там народу много, чиго бояться, давай провиду.

Татарин идет вразвалку, дорогой жалуется и выспрашивает, какие товары пропускают на дороге. В прихोजей Совета он остается ждать. Окончив дела, профессор пойдет к нему пить чай и спать. Татарин тычет профессора в холку, чмокает: «Такая же мягкая у меня постель». Чем же заплатит профессор? Тогда татарин тычет его в голову:

— Приси, в Советэ всим дают... руками больше махай. Ой-пурмай, какой дела чаман...

Секретарь исполкома мандат читает быстро. Секретарь длинный и круглый, плечи у него почти вровень с головой, над столом он как суконный сверток.

— Вам нужно было двигаться к Иркутску.

— Мы не хотели мешать движению армии. Я проеду из Семипалатинска на Лепсинск, через озеро Чулак-Перек, и оттуда по пикетам на Сергиополь и дальше по станицам к границе...

— Но ведь это же целая экспедиция... И Будда, причем тут Будда? А где ваши товарищи?

— Они вступили в армию.

— Еще лучше! Вы один?

Они идут в кабинет председателя. Секретарь с насмешкой тычет в мандат:

— Будда приехал! Лошадей просит!

Председатель свирепо пучит глаза. Он невероятно добр, и ему поэтому все время приходится кричать.

— Пошлите его к коровьей матери!.. У нас здесь агитаторов возить приходится на верблюдах, а ему — лошадей. Вы его ко мне, ко мне... я разделаю!..

Секретарь опять превращается в суконный сверток.

— Если хотите, я ваш вопрос выдвину на заседании пленума Совета... оставьте мандаты и зайдите в середине недели. Вы карточку в столовую имеете? Как командированный, обратитесь в губпродком к товарищу Никитину.

Профессор берет обратно мандаты.

— Тогда разрешите мне на вольных?

— Пожалуйста, товарищ, — только предупреждаю...

Секретарь пишет пропуск: «Профессору Сафонову как сопроводителю статуи Будды до пределов Семипалатинской губернии».

Татарин Хизрет-Нагим-бей ждет его у входа.

— Получил?

Профессору нужно в губпродкоме получить карточку. Затем его Хизрет-Нагим-бей будет кормить и возьмет совсем дешево. Через месяц будет курмыш. Магометанин ли он? Солай, — какой же татарин бывает христианином, а про монголов он не слышал — они вместе с киргизами укочевали в степь. Идет ли с ним человек в шинели? Идет? Очень хорошо. Солай.

Профессор послушно шагает за татариним. Сутулая спина вся в полосах — маслянистых и глубоких, точно татарину в спину вшиты куски грязного сала. Призрачен песчаный город: его таким и представлял профессор Сафонов. Желтые пески несутся сонными струями, они необычайно горячи, и профессору приятно думать, что всего неделю назад он видел сосны в снегу и белки гор. Всю неделю неслась теплушка через сугробы. В песочных струях сонны люди, и так же, как во сне, сразу забывает профессор виденные лица. Татарин часто оборачивается, он чем-то много доволен, и каждый раз профессор видит новое лицо. Так и должно быть: у порога иной культуры, опьяненные сном, бродят иные, чужие этой культуре люди. Они сонны, неподвижны и трудно, как камень воду, усваивают мысли. Они сонны, неподвижно устремлены вперед, в пустыню. Только имея бодрость и ясный ум, ощущая напрягающиеся мускулы — от напряжения их профессор испытывает удовольствие, — можно творить. Его творчество близко пустыне, — и потому он такой ясный и простой. Он весело смотрит в лицо татарину, и тот кивает головой: «Хорошо».

Внезапно профессору хочется быть откровенным или сказать татарину приятное и веселое. Он с удовольствием ступает на кошмы, насланные в избе татарина, и, хоть тот не проводит его в чистую половину (боится заразы), ему это приятно. Он щупает бревенчатую стену и говорит: «Крепкая изба», и с участием слушает рассказ татарина о конфискации кирпичного дома.

Здесь на кошмах Хизрет-Нагим-бей как будто меньше ломает язык, он больше понятен, или так и должно быть. Все же кошмы слишком пушисты и мягки и стены необычайно крепки. Приносит травяной чай женщина, она слегка подкрашена и походит на Цин, профессор ей приветливо кланяется. Низкие, четверть аршина, столики, изогнутые (словно ветром) чайники, двери, завешенные чистой

цинковой. Золотисто-голубой свет (он пахнет молоком), и кошка, подымающая лапой цинковку, уходит куда-то сквозь стену...

Профессор достает кусок золотой проволоки — тот, что продавал крестьянам. Он чувствует, что здесь другой мир и проволока его будет понятна. Точно: татарин только слегка дотрагивается до проволоки, вешает ее на мизинце ногтя. Профессор с любовью смотрит на длинный, как щепка, острый ноготь.

— Много еще? — спрашивает Нагим-бей.

Профессор, подавая проволоку, думал купить пиццу, но он быстро говорит:

— Много.

Здесь татарин встает, выпрямляется. Под грязным его бешметом оказываются чистые плисовые шаровары и шелковая желтая рубаха. Нагим-бей проводит профессора в светлую половину. Собираются еще татары. Нагим-бей суетливо скрывается: профессор понимает — он узнает у русского, действительно ли проволока из золота. «Все великолепно», — думает профессор и пьет много чаю. Он в пустыне, здесь много пьют чаю.

Татары обступают его: русский ювелир сказал — проволока китайского золота, это же самое дорогое и древнее золото. Татары вокруг Виталия Витальевича, они с уважением смотрят на его неумело заплатанную шинель, волосы цвета лияной жабы и золотой вставной зуб. По вставному зубу они решают: «Не вор»; и Хизрет-Нагим-бей спрашивает:

— Сколько просишь?

Профессору нужно — крепкую арбу, четырех верблюдов, двух погонщиков и сколько требуется пищи. Он везет мимо озера Чулак-Перек на Сергиополь и оттуда по станциям по тракту до Чугучака стацию Будды. У него имеются мандаты и пропуск. Профессор объясняет, что такое статуя Будды.

— Бурхан... бурхан... — кивают бритые головы.

Они желают сами видеть бурхана. Профессор Сафонов ведет их на товарный двор.

Уткнувшись головой в бок Будде, спит Савоська. Подле него окурки: их несет и не может отнести ветер — так долго тянул и думал над ними Савоська.

— Четырем верблюдам не увезти, — говорят татары, и они нарочно, патужась, пытаются перевернуть стацию на

другой бок.— До Чугучака восемьсот верст, в степи весна — верблюдам идти тяжело,— никак нельзя меньше восьми верблюдов.

Они возвращаются, пьют чай и за проволоку согласны везти Будду до Сергиополя.

— Найду других,— говорит профессор.

Татары спорят: сейчас война, за Сергиополем белые, угоняют верблюдов, людей убивают, за проволоку много купишь? Наконец они соглашаются дать четырех верблюдов и везти за Сергиополь до станицы Ак-Чулийской.

Виталий Витальевич с наслаждением мнет пальцами жирный кусок и кладет его на губы.

Теплые и веселые заборы, профессор проводит по ним ладонью. Об сапоги шурша, дует песок, оттирает его ладонь от забора и сам, радостный и пушистый, лезет в руку. Профессор долго ходит по двору. Верблюды дышат широко и шумно; запахи от них тоже необъемные, степные: полынь, молодые весенние травы.

Савоську видеть тоже приятно. Он подымается, стучит прикладом в стацию.

— А если бы у тебя утащили ее? — шутит профессор.

Ног у Савоськи опять нет, весь он четырехугольный и бурый, как лист картона, и ружье словно воткнутая щепочка.

— Ута-а-ащут... Кому ее! У нас дрова вот пру-ут... это — да-а. Везешь бога-то, дяденька?

— Везу.

— И молятся таким?

— Молятся.

— Чудно!

Песчаный желторебрый город. Белые дома, как выдуваемые камни. Парень со стульями на плечах, мальчишка в туго обтянутых штанах, собаки с мелким песчаным лаем провожают Будду. Лежит он на арбе, закрытый кошмами и туго увязанный веревками. Медное, спокойное лицо его с плотно прижатыми, как у спящего зверя, ушами.

Сонноподобный песчаный город. Туманно-смуглы встречные глаза, губ нет — ровная песчаная пелена начинается от глаз.

Арба в песках идет молча, верблюды широко раскидывают пухлые ступни, погонщики молчаливы и сумрачны — Будда покидает город.

Хизрет-Нагим-бей смотрит в окно и думает о смешном человеке, везущем в Монголию кусок меди. Хизрет-Нагим-бей уговаривал его остаться в городе — за проволоку можно хорошо спать, и кошмы длинные: не скатиться, как с кровати, не проснешься. Хизрет-Нагим-бей думает о своих четырех верблюдах, данных человеку с золотым зубом: плохой будет присмотр, совсем пьяный человек.

Хизрету-Нагим-бею жалко верблюдов и арбу. Хизрет-Нагим-бей седлает лошадь...

Проста и ясна жизнь, как травы, как ветер.

Степь перед профессором Сафоновым.

— Го-о!..— кричат погонщики.

Профессор Сафонов повторяет:

— Го-о!

Верблюды думают свое. Чалая шерсть большими кусками виснет у них на холках. Арба скрипит — путь сухой и длинный, арба помогает себе криком. От своего ли, чужого ли крика — веселее в пустыне.

Профессор чувствует веселую, искрящуюся дрожь в жилах. Плечи у него словно растут, он скидывает шинель, весело смотрит на шмыгающих в норки сусликов.

— Го-о!

Бедный зверек, он скрывается в темную норку, а потом вновь выпрыгивает на свет. И профессор радуется своей простой и сентиментальной мысли. «Пустого и глупого Дава-Дорчжи напугала дорога и прельстила пища, он шмыгнул в норку. Теперь Дава-Дорчжи сидит в канцелярии и пишет исходящие... Ха-ха!» Так думает профессор.

Будда качается в арбе. Будда, прикрыв войлоком глаза, сонный, пройдет через пески, степи.

Новые, еще пахнувшие землей, травы под сапогами профессора. Он срывает пук, и ладони его тоже начинают пахнуть растущей землей.

— Го-о!..— кричат погонщики.

Верблюдам нужен ли крик? Они идут и будут идти так год, и два, и три, пока есть пески и саксаулы. Человеку нужен крик.

Профессор тоненьким голоском прикрикивает:

— Го... го... го!..

Наутро третьего дня пути из-за песчаных, поросших саксаулом холмов примчались к каравану всадники. У одного из них на длинной укрючине черная тряпка. Сыромятные поводья скользят у них из рук (они не опыты, по видимому), и науганно вопят они:

— Бьееей... бьееей!..

Погонщики, закрыв затылок руками, падают ниц. Верблюды же шагают вперед. Тогда один из всадников кричит:

— Чох!

Верблюды ложатся.

Профессор Сафонов спокоен, он всовывает для чего-то руку в карман шинели. Пока он идет от дороги к всадникам, он успевает подумать только: «Необходимо было требовать охрану». Профессор Сафонов чувствует себя слегка виноватым, замедляет шаг. Здесь всадник с черной тряпичей подъезжает к нему вплотную. О бок профессора трется лошадиная нога, и слышен запах мокрой кожи. Киргиз — у него почти русское толстоносое лицо и крепкие славные зубы — наклоняется из седла и, закидывая повод за луку, спрашивает:

— Куда едешь?

Профессор еще острее ощущает свою непонятную вину и поэтому несколько торопливо отвечает:

— В Сергиполь... вы же куда направляетесь, граждане?..

Но тут киргиз взмахивает и бьет его по голове чем-то тупым и теплым. Профессор хватается одной рукой за седло, другую же тянет к своей шее. Все кругом желтое, вяжущее, запашистое. Киргиз бьет его в плечо, гикая.

Профессор падает.

Тогда всадники, гикая, крутятся вокруг арбы, стегают лошадей и, устав гоняться друг за другом, подъезжают к Будде. Погонщики поднимаются, и все с ожиданием смотрят на холмы. Оттуда скачет еще всадник, на голове у него маленькая солдатская фуражка, она плохо держится, и его рука прыгает на голове. Это Хизрет-Нагим-бей. Он ждал их за холмом. Киргизы торопятся, рубят бечевки и скатывают Будду на песок. «Сюда», — говорит Нагим-бей, и они бьют топорами в грудь Будды. В груди Будды ламы часто прячут драгоценности, но грудь Будды пуста. Тогда один из киргизов отрубает золоченые пальцы и сует их в карман штанов. Хизрет-Нагим-бей подходит к лежащему человеку. Нагим-бею жалко его, но верблюды еще дороже.

Киргизу, ударившему палкой человека, хочется пнуть золотой зуб, но Хиэрет-Нагим-бей говорит строго:

— Киртер... пушай умирает с зубом!

Тропа эта в стороне от тракта (человек был глуп: умный понимает дороги). Киргизы медленно поворачивают верблюдов.

И после, вечером, перед смертью, профессор Сафонов отдирает от земли плечи и хватает руками: вперед, назад, направо... под пальцами вода, густая, тягучая...

Но это не вода — песок.

Песок.

...Темной, багровой, раненой медью наполнена его расколотая грудь. Сосцы его истрещены топорами. Высокий подбородок его оплеван железом. Золотые пальцы его мчатся неизвестно куда. А глаза его обращены вверх, они глядят мимо и выше несущихся песков. Но зачем и кого могут они там спросить: «Куда теперь Будде направить свой путь?»

Потому что — одно тугое, каменное, молчаливое, запахами земли наполненное небо над Буддой.

Одно...

БАРАБАНЩИКИ И ФОКУСНИК МАТЦУКАМИ

Рассказ



Услышав голос нищего, я внезапно понял, почему меня раздражила его жирная грязная рука и закрученные вверх усы. Легкий страх,— подобный тому, когда в книге прочтешь те мысли, которые взволновали тебя перед чтением и которые вслух сказать невозможно,— страх охватил меня. На лице моем нищий увидал и понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, и оттого-то оно было более заметно и более выгодно! Нищий думал приблизительно так: «Страдая над прошлым, своим или чужим — не важно, сострадаю своим мыслям, этот человек, идущий мимо закоптелой кузницы, переделанной из старого царева кабака, мимо кладбища и мимо меня, страстно желает остаться один! Он верит в свои силы, и ему кажется, что он разорвет ледяное кольцо, день и ночь лежащее у него в груди. Каждую минуту человеку кажется, что он нашел или вот-вот найдет мысль или совершит поступок, который уничтожит его холодные страдания! Если же с ним заговорить, то, как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» Я с утомленной боязнью следил за нищим. Он же следил за моими глазами: на чем я их остановлю? «Пусть он мне рассказывает об умерших,— подумал я.— Мне не нужно будет утомляться и ждать развязки истории. Развязка известна, если я стою подле могилы».

Нищий направился к холмику, украшенному двумя бурыми крестами и черной доской, по которой вился

длинный белый пероглиф. Трава подле холмика была сильно утоптана, должно быть, много любопытных посещало это место. Многие размышляли здесь над смертью. Возможно, что мне суждено выслушать областную историю мести, или гнева, или революционного подвига! А жирный нищий с рыжими закрученными усами вдруг рассказал мне о любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками — чудесных и веселых людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц».

— Ваше благородь, ваше благородь, товарищ рыцарь. Ты сначала туда вон посмотри, за овраг. Там, за оврагом, туман, а в тумане, верь моему слову, есть деревня Вяземы, а в деревне той рукодельничал по сапожному делу мужичок-старичок по фамилии Николай Осипыч. И вырастил мужичок дочь: красивую, здоровую, поповского роста, одним словом. Характер у нее только неизвестный, а кроме — от нее счастье: вот он рукодельничает, скажем, и ремесло у него не лучше, чем у других сапожников, а подойдет к ботинку Барвара Николавна, по гвоздям ногтем проведет — и сразу люди платят вдвое дороже за ботинок. Шить бы да шить, каждый день по три пары, а только кожи тогда было еще меньше, чем сейчас, и времена были широкие: от деревни Вяземы до Москвы езды полдня, лес у нас — кошка заблудиться не сможет, а получалось тогда до Москвы езды пять суток, а если на шоссе, так при каждом шаге из-за каждого куста по пять чернобандистов! Пока ходили эти бандисты толпами, без атаманов, терпеть было можно, но не увидели они в том выгоды, и тут явилось у них три властителя: барабанщики Митя да Саша и японец такой, ласковый глазами, — православный по имени... по имени своему Вол.

— Забыл, дядя. Звали его Матцуками! Матцуками этот был...

— Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, а этого я сам видел, и зову я его правильно: Вол. Так! Вот и воюют эти бандисты и промеж Советской власти, и промеж себя, и стало бандистским властителям скучно: убивают много, а ни почету, ни денег...

Сучит раз сапожник Николай Осипыч драгву особого состава, так как, вишь, подгонял он подметку под

милицейский сапог. Дочь Варвара Николавна самовар раздувает, карасину, как и сейчас, нету,— и в окне и в ограде луна да от самовара искры. Посмотрел на эту луну Николай Осипыч, а она пологая какая-то, как чугунок,— и стало сапожнику тревожно! Обернулся сапожник на дочернюю красоту, а у ней брови тоньше и черней дратвы: совсем заныла у него душа. Смотрит Николай Осипыч на сапог, а сапог страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым, а милицейский, сказывают, сам у бандистов служит. «Что же это такое,— думает Николай Осипыч,— жили-жили, крошили-крошили, а тут даже у сапога вид тревожный». И только подумал так, а за оградой уж бандистские телеги поют.

У бандистских телег тогда пенье было особое, легкое, бандисты дегтю не жалели, а мужицкие телеги были в ту пору голодно. Бежит Николай Осипыч к воротам, почет оказывать. Сидят в телеге Митя-барабанщик в розовой гимнастерке, Саша-барабанщик в голубой, а православный японец Вол — при сюртуке и галстухе, а лицо у него добрей всех русских лиц. Говорит японец Вол так ласково Николаю Осипычу:

— Ты, старая карга, моментально чтоб четверть самогона на стол!

Прежде бы в деревне самогону в долг Николаю Осипычу не поверили,— водка, она твердый расчет любит,— а тут вся деревня поняла: по тяжелому делу приехали бандистские атаманы, и сразу три четверти получил старик.

А на столе у него уже скатерть праздничная синяя, а над ней три рожки: две малиновых, а одна ласковая желтая. А под рожками стаканье сияет, а перед стаканами паганы. «Ну,— думает старичок,— вся надежда на Варвару, какой у ней при таком событии характер скажется и как ответят ей разбойники». А Варвара ходит одинаковой походкой для каждого и каждому одинаково приятные слова говорит. Упало, замерло сердце у старика, когда заговорила ласково желтая рожка, отставляя от себя стакан и переставляя к себе паган:

— Мы, старик, не для самогона приехали! Нам на любой деревне и на любой поляне бочки самогона приготовлены! Приехали мы за славой.

— Какая ж у сапожника слава, господа чернобандисты? Убивайте старика, если в нем приготовлена вам слава.

— Дочь у тебя приготовлена для славы и для счастья! Вот воевали мы, воевали, вот убивали мы, убивали, а вдруг подумали: Митька убивает оттого, что всем завидует, Саша — потому, что радостно ему быть таким сильным и храбрым и людей крошить, а мне людей жалко, люди плохо живут, зачем им страдать лишнее, а умирать все равно придется, раз родились.

— Это ты правильно,— отвечает ласковому японцу Николай Осипыч.

— Правильно, конечно. И стало нам сразу веселей от таких мыслей! А потом начали мы думать — своим характером, мол, мало утешаться: надо и жену себе такого же характера подобрать. И помирает тут один человек и говорит нам: «Жалко мне вас, идите к сапожнику Николаю Осиповичу, есть у него дочь, и найдете вы с ней славу и счастье». Вот мы и пришли.

— Правильно,— говорит им старик.— Вот перед вами ходит моя дочь: пускай кого она хочет, того и выбирает.

Скосила Варвара глаза, лицо смиренное, рот дура душой, говорит:

— Ваш выбор, мой выбор, Николай Осипыч! Вы — отец, я привыкла вам подчиняться.

Ну, тут старик напугался совсем: бандисты сидят широкоплечие: Митя неизвестно чему завидует, Саша неизвестно чему радуется, а японец Волласково и страшно на всю землю смотрит. Барабанщика Митю выберешь,— Саша убьет; Сашу выберешь,— Митя убьет; а про японца лучше не думать! Заскучал старик Николай Осипыч. Сидит, плачет, а бандисты смотрят на него с сочувствием и даже не улыбнутся, а ждут. Встал старик к дверям, а японец ему вслед:

— Ты особенно не беги, на улице наши телеги милицейский стережет. По пути и тебя ему приказано постеречь, да к тому же ты на ухо слаб, а милиционер громко кричать не любит,— вот и не услышишь ты солдатского окрику, и пальнет в тебя верный часовой.

А старик им разъясняет, что, мол, и с милицейским у него несчастье — нету в комнатах второго милицейского сапога. И тут даже бандисты подивовались раз-

меру милицейского сапога! А старику не столько милицейский сапог нужен, сколько помолиться перед смертью, и не то чтоб он очень в бога верил, но коли умирать — так умирать по обычаю, а то треснут тебя как собаку и человеческой души показать не успеешь. Стоит Николай Осипыч во дворе, луна сияет еще больше, а сама мокрая вся, в слезах,— и жалко старику и на луну смотреть и на себя. Подле крыльца сапог милицейский валяется, а за воротами сам милицейский с ружьем ходит, босиком! Гвозди в сапоге как слезы, а подметка будто шелковая, и думает старик: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог бы они меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастье, а не занимались бы устройством чужого». Думает он так и смотрит на сапог с укоризной, и вдруг зашевелился сапог и говорит ему басом:

— Ты, старик, не сердись на себя, что меня починил, я тебе за хорошую починку совет могу благодарный дать.

Стыдно старику от сапога советы слушать, но все-таки тихо спрашивает:

— Говори, если путное что можешь.

— Возьми ты, старик,— говорит ему сапог торопливо,— возьми ты дочь и запри ее на ночь в сарай.

— Да как же я запру дочь в сарай, если там свинья и кобыла стоят?

— Вот и запирай их всех вместе,— отвечает старику сапог.

Вернулся старик к бандистам и попросил у них милости подумать до утра: за которого ж из троих выдать Варвару. Бандисты от спору устали, спать им хотелось, легли они в перины, а старик повел дочь свою в хлев. Варвара больно не удивилась, полагала, надо думать, что от свалки ее бережет,— расстелила она тулуп и легла на сено подле кобылы. А кобыленка была молоденькая, поплясывает, а свинья была из свиней грязнущая — грязью брызжет, и вонь и шум в сарае. Варвара как легла, так и заснула, старик даже и посоветоваться и вместе поплакать не успел!

Будят бандисты утром старика, наганы ему под усы суют:

— Куда спровадил дочь?

Идет старик с бандистами к сараю и про себя решает так: вот распахну дверь,— который из бандистов будет ближе к девке стоять, за того и отдам. Да к тому же утро, помирать не так страшно! Открывает старик замок, тянет дверь, и выходят тут, ваше благородие, товарищ рыцарь, сразу три Варвары, одна с другой — как икона в точности списаны! На всех троих шегреневые ботинки одинаковые; на плечах тулупы с заплатой у локтей синими нитками; и даже в бровях у всех по одинаковой соломинке застряло. И напугался и обрадовался старик: бандистов действительно утешил, а самому — сплошной убыток, потому что в сарае ни кобылки, ни свиньи нету, и опять же обидно, не разберешь... которая Варвара, а которая свинья Хаврониха. А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда, забрали они трех Варвар и от радости, не говоря ни слова, уехали в дождь. Милицейский взял сапоги, и остался Николай Осипыч один. Был сначала ему большой почет в деревне: как же, три зятя, и все бандисты, а попозже, когда слава бандистская за леса да за горы укатилась и тише стала грохотать, а потом и совсем замолкла,— начали со стариком об цене за починку торговаться, в кооператив членом правления не выбрали, и самовар новый, за пятнадцать рублей купленный, потускнел,— затосковал старик Николай Осипыч и об Варваре-дочери стал все чаще и чаще думать. А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как Варварушка живет,— а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или свинья, и разозлится старик в конце своих мыслей. Разозлился он так раз крепко, слез с лавки, забрал кошель и пошел.

Времени прошло много, а на шоссе все такая же грязь и даже как будто больше: около каждой деревни — как ни остановишься, все рассказывают, что пастух Ермила или Афанасий в грязи утонул. Ну долго ли, коротко ли, подходит старик к Р.— город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный, и все страх как друг друга хоронить любят. Живет человек ничего, никто на него не смотрит, а как помер, тут и начнут: и музыку, и книжки пишут, и как в могилу несут — на каждом перекрестке плачут и на каждом перекрестке памятники обещают поставить, и каждую улицу, по которой несут, тут же в честь покойника

переименовывают. Идет тут мимо Николай Осипыч человек с портфелем, собой хмурый и тощий. Гимнастерка на нем выцветшая, а на лице что-то барабанное есть. Спрашивает его старик:

— Не вы ли Митя-барабанщик будете?

— Я,— отвечает,— Митя-барабанщик.

Спрашивает его старик:

— А не помните ли вы, не отдавал ли я за вас дочь свою Варвару?

Отвечает ему Митя слабым голосом:

— Отдавали, верно, а вон и ваша дочь на лугу веселится перед домом.

И смотрит старик — выстроен новый дом, и перед домом луг разбит с сосеночками. Окна у дома такие широкие, как будто людям некогда и на солнышко выйти посидеть. Варвара-дочь по лугу бегаёт: юбка до пупа, глаза шальные, рива подстрижена. Перед ней мяч катится, и рожа у мяча тоже шальная. Побегает-побегает Варвара, да как захочет! Вокруг нее парни, один другого плечистей и мясистей, посмотрят на нее, да как загрохочут тоже. А барабанщик Митя тощий, глаза уставил на нее и завидует: и мясу чужому, и хохоту, и самому себе, что от Варвары оторваться не может. А вокруг Мити р—ские жители ходят и смотрят на него, скоро ли хоронить его можно, и вспоминают, какие он подвиги совершил. Спрашивает барабанщик Митя:

— Как, Николай Осипыч, изменилась ли ваша дочь Варвара?

— Не моя это дочь Варвара,— отвечает старик.— Кобылка это из сарая, а пойду я дальше, в С., погубайте около нее одни.

И пошел старик верно в С.

С.— город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседание спешит, а на заседаниях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят. Если не работает: буржуй. Удивляются и заседают! А если работает — тоже удивляются и тоже заседают! А посредине города площадь, и на площади заседает нищий, грязнее всех и радостнее всех. Нищий тот сле ноги передвигает, потому что никто ему не подает,— да и кому радость такому счастливому человеку подавать: сам с собой заседает и сам на себя доносит. Об-

радовался нищий, увидав Николая Осипыча, тут же на него донос написал и кричит радостным голосом:

— Здравствуй, дорогой тещюшка, сапожник! Жена у меня хорошая, преданная, не то что мои сотоварищи. Все на места поступили. Прихожу я к ним, еле добрался и рассказываю им: вот, мол, вели Ваньку Каина на казнь его бывшие разбойнички, которые в полицейские ушли, ведут мимо рощи, а среди кустов соловей поет, и говорит им Ванька Каин: «А не уйти ли нам, разбойнички-полицейские, в лес соловья послушать», и скинули полицейские мундиры и ушли с Ванькой Каином в лес! Сотоварищи из учрежденья мне и отвечают: «Зачем же нам, мол, в лес уходить, когда у нас граммофон есть, который и исполняет соловья гораздо натуральнее». Покличьте, дорогой тещюшка, тележку, так как сам на своих ногах я передвигаться не могу.

— Отчего же ты не можешь передвигаться на ногах? — спрашивает старик. — За грехи у тебя отняты ноги, что ли?

— Какие же мои грехи, — отвечает барабанщик Саша. — А не передвигаюсь я оттого, чтоб меня буржуем не считали и заседанье насчет меня соседи не сделали. Соседям моим скучно. Картины, говорят, в кинематографе идут героические, им тоже героических подвигов хочется, а какие в С. героические подвиги: разве что посудиться да об знакомых заседание устроишь?

Торопится старик к дочери, себя не чувствует, и все-таки вдруг как-то тяжело ему стало идти, а барабанщик Саша радостно говорит:

— Ничего, шагай, это моим домом пахнет. Жена у меня опрятная, аккуратная, а вонь — это все соседи ко мне накидали, со злобы...

Смотрит старик: Варвара растолстела, грудастая, глаза заплыли, в избе вонь, грязь, к мужу подскочила, бабах его по морде.

— Когда же тебе будут подавать милостыню, не хочешь ли ты, чтоб я работала?

А барабанщик Саша смотрит весело и говорит старику:

— Редкая у тебя дочь, теплая у тебя дочь, радуюсь я человеческому мясу и теплу, благодарю тебя, сапожник.

Отвечает ему Николай Осипыч:

— Умирай, барабанщик Саша, рядом со своей свиньей, так тебе и надо, а я пойду в А.

И пошел старик верно в А.

А.— город большой, красивый, а народ там прямой по росту и гордый по голосу. Народ там любит праздники устраивать! Наводнение — они праздник устраивают. Десятое, говорят, по свету наводнение! Человек пятьдесят лет за столом сидит, бумажки подписывает,— они праздник устраивают, и речи говорят, и венки плетут: такой редкий случай. Посреди города зданья для торжеств приготовлены и сад разбит с памятниками, народу в саду том — тьма. Спрашивает старик:

— По какому случаю празднование?

— А вот,— отвечают ему,— помер японец Вол, и оказалось, что пятидесятый японец у нас помер в городе, и к гробу того японца пятисотый посетитель подошел,— вот мы и устроили общенародное гулянье. А кроме того, жена на него донесла, что бандист он и предатель. И донос тот у нас по счету миллионный!

Отвечает сапожник Николай Осипыч:

— Не могла жена донести! Жена у него — моя дочь Варвара, и спешил я к ней с большой радостью. Не спала она, как другая Варвара, как только с мужем.

Отвечает ему сосед:

— Этому я верю, хотя и был у ней случай со мной.

— И со мной! — говорит какой-то рядом.

И еще голоса раздались. Тут старик и закричал:

— Была она здоровая баба, почему ей с мужиком не поспать, зато чистая, опрятная...

Захохотали злорадно все и указали старику пальцами на Варвару и на лицо японца Вола. А было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь ласково, но жену с собой не возьму — вот в этом и заключается мой последний фокус. И была у него еще на лице ласковость такая, что жители А., взглядевшись, решили японский праздник в честь японца Вола устроить. Ищут предлога, чтобы речи предпраздничные начать говорить, и так заговорились, что про японца и забыли, а он лежит и ласково улыбается. Вот он лежит день, лежит другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем возлюбленного выглядела, и муж ей уже не нравится, и написала она на него заяв-

ление, а в доме и грязь и жир... И сказал тут старик Николай Осипыч:

— А дочь-то моя сказалась подлей свиньи и глупей кобылы! Пойду я, братцы-товарищи, в город...

И вспомнил старик, что нет уже зятьев, нет у него городов, в которые пойти можно! Жалко ему стало бандитов, забрал он японца Вола и направился к городу С., а там над Волгой крики и беспокойства.

— Умер,— кричат,— нищий Саша, не посетивший ни одного заседания, умер и не успел кару получить.

Забрал старик нищего Сашу и направился к городу Р. ...

Я поднял голову. Шоссе и кладбище были пустынно. Жирный и пьяный рассказчик давно ушел.

Где я прервал его? С какого места я сменил рассказчика? Где сейчас старик Николай Осипыч? Не сам ли он подошел ко мне, и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе почему ж нищему не спросить у меня милостыни?), Николай Осипыч покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабапщиках и фокуснике Матцуками.

ПОЕДИНОК

Подмосковная легенда



Странная эта картина висит в большом двусветном зале дома Гореловых. Я видел ее, когда огненно-желтый и сердитый закат заполнял своим странно струйстым светом комнаты дома. Ликующий, торжественный свет этот создавал в сердце чувство обилия, плодovitости, даже излишности. Вот почему то, что рассказали мне об этой картине, не удивило меня.

Дом Гореловых стоит на холме, высоком и глинистом, спускающемся к пруду. Пруд вялый, коротенький, какого-то сивушного цвета и запаха. По одну сторону холма лежит деревня, по другую расположено ровное, без васильков и ромашек, поле, устало преющее под высоким и жарким солнцем. За домом виден парк. Он очень хорош.

Некогда в доме, у хозяйки его, — вдовы, красавицы и умницы, пять-шесть недель гостил величайший русский поэт, и здесь он написал несколько своих стихотворений, шаловливых, коротеньких, острых, словно писанных осоклой... Вот эти стихи-то его и превратили старый дом в музей, остановили, словно заморозили, мебель, бросили на стены акварели и старинные портреты, развесили диаграммы, положили на столы, под толстые и непреложно историчные стекла, письма бабушек и дедушек... поэт недаром был проказник!

В узкой комнате, перед парадным залом, висит портрет офицера в гусарском мундире. Вы видите человека с чистым и ярким лицом, жилистого, с крепкой шеей,

с большими глазами, не жгучими и не колючими, а теми глазами цвета египетской яшмы — светло-зеленой в красных брызгах, которые всегда указывают на упорный и настойчивый характер. Да и все — посадка головы, плечи, спелые губы, — все говорило: этот не из зерноядных. Поглядев на портрет, вы непременно пожелаете узнать: кто это такой? Вам назовут имя Ивана Евграфовича Горелова, и вам покажется, что ответ этот требует разъяснений.

Вы пройдете в зал и невольно остановитесь перед странной картиной. Вы подумаете, что есть какая-то пленительная и грустная связь между картиной и портретом Ивана Евграфовича. Вы угадали.

Идемте в парк, сядем на дерновую скамью на берегу пруда. Вылезут вечерние облака, усталые, видимо уже помыкавшиеся по свету. Пруд будет гореть и сиять, как будто впервые полюбил, а на хворостине пастуха, гонящего колхозное стадо, вы увидите такое сияние, словно он несет часть солнца, да и стадо будто намылено светом. И тогда провожающий вас, любуясь убранством пруда, вдруг скажет:

— Не вы первый удивляетесь странному сюжету картины, тем более что художник, ее написавший, отличался всегда ясностью замысла. А тут что такое? Какой-то песок, камни, мелкий кустарник. На камне, должно быть, сидел воин, потому что возле брошены ножны меча, щит, плащ синий с серебряной каймой. На песке, по направлению к вам, отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин уперся, перед тем как выпрыгнуть... из картины.

Провожавший посмотрит на вас. Вы молчите. Вы немодете, — вечер такой, что для вас нет ничего удивительного в том, что воин ушел из картины... вы хотите только знать — почему? Провожавший поймет ваш стойкий интерес к рассказу. Он будет продолжать:

— И не вы первый находите нечто общее между картиной и портретом Ивана Евграфовича, хотя, казалось бы, что там общего: гусарский офицер и какой-то воин, существовавший полторы тысячи лет до этого гусарского офицера. Общее есть! Это общее... Но прежде — Иван Евграфович любил и был любим. Любила его Иринупка, впоследствии Ирина Матвеевна¹. К сожалению, портрета

¹ Ошибка автора. Следует читать — Григорьевна. (Прим. ред.)

Ирины Матвеевны не сохранилось. Говорят, есть акварель в Историческом музее. Бывал я в Москве, акварели не обнаружил. Была она красавица — вечно алчущий Иван Евграфович преклонялся перед нею.

Прапрапрадед мой Иван Евграфович, скажут вам, жил суетно, беспутно. Враки! Таким суетно всесокрушающим изобразили его и на портрете. А изображал его человек, который его не любил, как не любили его и многие прохвосты и взяточники. Иван Евграфович был страстный правдоискатель, и, отчаянно ища правды, он доходил до неистовств, лютых и необыкновенных, вроде того, о котором я буду рассказывать.

Как офицер, он понимал, что правда требует оружия: это не красавица, что сражается мушками, наклепанными по лицу. Вот почему был он дуэлянт, — но не «бретер», — и если уж бился, так бился столь внушительно, что лицо противника «вылакировывалось», то есть покрывалось от испуга потом, через пять минут после начала поединка... И, как все увлекающиеся люди, он часто путал средства с целью. Карточную игру он считал тоже поединком.

Встретил подлеца, графа Глобского, думает: «Момент хороший, надо сразиться и отомстить графу на зеленом поле, потому что для него разорение горше смерти, наплевать ему, если я его убью!» Дело в том, что и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови. Суворов за умную храбрость похлопал Ивана Евграфовича по плечу, на Глобского и не взглянул — тот был хоть и храбр, но глупой, бестолковой храбростью. А нужно сказать, что у Глобского имелись в Петербурге, при дворе, друзья, которым он писал. Припомнил Глобский, что говорил Иван Евграфович непочтительные слова о любимце императора Кутайсове... и вместо награды получил Иван Евграфович внезапную отставку и приказание отправиться в свое имение.

Вот при таком-то состоянии и встретился, повторю, Иван Евграфович, по дороге домой, в одном губернском городе, с графом Глобским, встретился, и мелькнула в нем коварная мысль: «Сражусь». Сразился. И — проиграл! Да и вдобавок так проиграл, что ни зерна не осталось. А проиграть не от беспутства, а от обиды гораздо тяжелее. Смертоносная злость овладела Иваном Евграфовичем. При том же он не мог теперь исполнить повеление императора Павла: отправиться в свое поместье, поскольку он

это поместье проиграл. Как быть? К друзьям приехать — испугаешь, опальный... одна надежда на невесту, на любовь, на Иринушку.

Иринушка звалась его невестой давно. Но, видимо, из-за несовершенства почты Иван Евграфович более полугода не получал от невесты писем. Он объяснял это еще и малым количеством событий ее жизни, а во-вторых, искренности ее чувств, что мешает, как известно, возможности их выразить. Подколотности ее родителя он и не подозревал, наоборот, родитель ее осуждал немецчину Павла и восхищался вдохновенностью Суворова, так и говоря:

— Он у нас малиновый звон славы россов!

Что такому человеку опальность, в которую ввержен Иван Евграфович? Беспечно посмеиваясь, велел Иван Евграфович слуге своему Трошке укладывать чемоданы и поворачивать в сторону, где жили родители Иринушки.

А беспечно посмеивался-то он напрасно! Григорий Григорьич сын Постников, отец Иринушки, к сожалению, проявил бесстыдную подколотность. Началась эта подколотность издавека. Был в нашем городе богатейший купец Кепинов, как оказалось позже, умалишенный, слабопамятный. Так вот, запутавшись в делах и желая выкрутиться, Григорий Григорьич попал в беду, да еще помог той беде советчик, некий прохвост Султановский. Как бы то ни было, Григорий Григорьич от имени купца Кепинова составил подложный акт, употребил его для своей выгоды, а Султановский и его приятели Тандырин и Калипаров ложно засвидетельствовали при свершении этого акта правоспособность купца Кепинова, который в это время лежал мертвецки пьяный и блеял по-бараньи. Неправоспособность Кепинова быстро открылась, равно и противозаконный акт, совершенный Григорием Григорьичем на старости лет... Конец! Следствие. Приговор. Канун гибели. От горя и стыда оплешивел Григорий Григорьич, ноги его стали дрожать, а в груди он чувствовал бесцельный гул.

Но вдруг в наружном виде его появилось большое изменение — и к лучшему. И в то же время образ Иринушки побледнел и осунулся. Знакомый офицер из армии Суворова сообщил Григорию Григорьичу о «некоем бесконечно огромном несчастье с Иваном Евграфовичем Гореловым», по всем намекам — опале. Григорий Григорьич, зная, что это только опала, домашним и дочери сказал, что — смерть, и подробно расписал причины дуэли, на которой

погиб-де Иван Евграфович, и даже похороны его! Гасил он жизнь Ивана Евграфовича потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакатной, а для того, в частности, выдать красавицу Иринушку за богатейшего и, главное, влиятельнейшего барина нашей губернии Максима Петровича Устинского.

Иринушка, узнав о смерти Ивана Евграфовича, горевала сильно. Но горе при красоте как весенний дождь, — все медведи и все травы из берлоги лезут, — и появился возле Иринушки в алмазной одежде, трепещущий от страсти, Максим Петрович Устинский, голова которого хоть и успела вылыситься, но сердце не теряло надежд.

Превосходно, казалось бы, все идет? Дело о бесправности купца Кепинова внезапно повернулось в другую сторону. Вышло, что сам купец Кепинов ходил и лично являл акты и «никаких злоумышленных изменений, — как признало столичное начальство, — в них не допущено». И дальше то же крупное и спокойное начальство говорило, что «действия лиц, принимавших участие в составлении актов, не заключают в себе признаков подлога, предусмотренных статьями...» и что надо «приговор и все производство по делу купца Кепинова отменить». Его и отменили.

Судебный приговор легче отменить, чем любовь. И офицеришка, женишок этот, Иван Евграфович, исчез, помер, так сказать, и родители довольны, и невеста безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь... А родители и новый жених просто не догадывались, что Иринушка — упряма и с размышлениями, она если замашет крылышками, так полетит.

Размышления ее начались с грации. Тогда, знаете, во всем должна была существовать грация: и если уж бились па рапирах, так будто балет танцевали. Естественно поэтому, что жениха своего бывшего, Ивана Евграфовича, она видела во сне скачущим, подобно козочке, по виноградникам Италии и даже по Альпам, да вдобавок делающим вот этак своим эспантоном! Приснись ей и новый жених — в те времена женихи снились обязательно, — и приснись в таком неграциозном виде: он, знаете, идет из бани зимой, шуба внакидку, лицо багрово, и к уху банный лист прилип, а лакей, позади, несет веник. Тьфу!..

И вдруг замечают, что Иринушка зачистила в церковь. А церковь была обычная, Попишка. Игнатий был тихий

пьяница, службу исполнял без особых дальних звезд и грации и больше все лежал у себя в огороде — зимой в баньке, а летом промежду грядок, «у грудей природы», как он говорил своим заунывно-семинарским голосом. Славилась церковушка началом иконостаса... именно началом. Светозарные руки его делали!

Максим Петрович Устинский при незакатном богатстве своем имел преклонение перед красотой во всех видах, в том числе ценил живопись, которую считал преобразователем человеческой породы. Желая невесту свою приблизить к сему преобразованию, он пригласил в усадьбу к Постниковым знаменитого в те времена, да и поньше, художника. Художник славен был кистью, славен был и резцом, особенно по дереву. Максим Петрович и заказил ему сразу иконостас — резной, золоченый, ласкающий душу и взор, а одновременно с тем картину «Георгий Победоносец накануне поражения дракона».

Георгия Победоносца издавна чтили у Постниковых, как и вообще на Руси, ибо был он покровителем Москвы, существовал, поражая дракона, на государственном гербе, а при царе Федоре Ивановиче монету с изображением его для ношения на шапке или рукаве выдавали особо храбрым воинам, так что Григорий Григорыч, отец Иринунки, будучи отставным воином, естественно, должен был порадоваться случаю, что будущий зять придумал такую красивую картину, тем более что умерший якобы Иван Евграфович неслышно маячил в сердце старого вояки, как тот самый дракон, который опустошал землю и пожирал девиц и пожелал пожрать девицу — дочь царя, чему воспрепятствовал Георгий, поразив дракона рокочущим мечом своим.

Искусство требует внимания, как кристалл семигранника требует воды, — и не будь этой воды, кристалл не даст преломления света, не даст игры, если не рассыплется вообще. Так случилось и с художником. В этой глуши, в этой жалкой церковушке, для которой он резал иконостас, в этом провинциальном зале с задумчиво дрожащими полами он не видел вечных лампад внимания. Он затосковал! Он все меньше и меньше принимал воды и все больше вина и все больше сваливал вино на грустный «сюжет». А что грустного в сюжете картины?

Знатный воин Георгий во времена Диоклетиановы приезжает и останавливается неподалеку от города, который

опустошает дракон, так что царь и граждане принуждены отдавать ему на съедение детей своих. Нававтра надо отдать царскую дочь змие! Георгий обещал умертвить змия, а змий осьмиглавый, ловкий, сильный... И хотя воин был очень храбр, но, естественно, задумался. Сидит он на камне в пустыне, перед городом, и думает: «А если не выйдет? А если сила и вера мои слабы? Ведь раньше, когда я не был полным христианином, я дрался одним мечом и мог его в случае нужды перебросить в другую руку. Здесь же рука будет занята крестом!» — и тому подобное в этом роде, когда солдат размышляет перед сражением и ищет слабые места у себя и у противника... Размышления естественные. Что же здесь грустного?

Мне думается, что художник, до известной степени, образ дракона видел в Максиме Петровиче, — отчего и грустил. Я не хочу сказать, что художник полюбил Иринушку и желал быть до известной степени Георгием Победоносцем, нет, — художнику было за пятьдесят, а в таком возрасте не всякий гонится за романами. Так или по-другому, но Иринушка прочла симпатию в глазах художника и часто стала приходить к нему во время работы. Художник в то время больше думал о картине, — подмастерья его резали иконостас, — и в думах он многое рассказал Иринушке о Георгии, и в частности, о том, как после поражения змия царевна на своем поясе привела его в город и как весь город перешел в христианство.

Выслушав, Иринушка сказала:

— Христианство — понятно. Но зачем ей такую пакость приводить в город? И... ах, как жалко, Николай Владимирович, что перевелись у нас Георгии! — И ей показалось, что Георгий, еще слабым контуром обозначившийся на полотне, несколько схож с Иваном Евграфовичем.

Видят домашние, что Иринушка перестала пламенно интересоваться миром, — другую ищет грацию. Домашние огорчились, торопятся со свадьбой, а тут Иринушка вдруг да объяви, что уходит в монастырь, понеже «дракон мира сего гнетет ее!» Вот тебе и на! Родители рассердились, отец даже слегка погулял кулаком по ее лицу и бокам, но и это мало помогло. Иринушка уехала в монастырь и поступила на испытание. И вот в эти-то отчаянно грустные минуты, когда экипаж с Иринушкой въезжал в монастырские ворота и монастырские собаки подняли тусклый лай,

и когда страстно ожидаемая тишина и благолепие осенили ее, и когда казначейша, рябая баба со шнуровой книгой в руке, почесывая бок, высунула голову в окно и спросила у кучера: «Чьих будете?» — вот тогда-то и прискакал в усадьбу к Постниковым, к отцу ее, к милой невесте, опальный офицер Иван Евграфович Горелов.

Прискакал, можно сказать, невинный ни в дожде, ни в засухе, а оказался причастным ко многому. Входит он в зал, где незаконченный Георгий: в лице некая дымка и нос утлый; художник собирает кисти: с отъездом Иринушки совсем опротивели ему эти места, и, не дописав картины, он решил покинуть их, сказав неопределенно, что вернется... входит, кланяется, смотрит искоса вверх, на лестницу, и все ждет выхода Иринушки, хотя за два перегона, еще на постоялом дворе, сказали ему, что боярышня-то в монастырь ушла. Он, конечно, взбесился. Как так? Письма писал любовные, с бесчисленными помарушками и скобляшками, что доказывает, как известно, матерую страсть, подтверждал любовь и давал сроки, а тут — на тебе! — перед самым приездом и в обитель. Кто виноват? Никто, oprичь родителей!

А родители стоят сверху и боятся спуститься по лестнице. Подойдут к ступеньке, а нога-то и не поднимается. Старуха прямо крестится: «Помяни царя Давида и всю кротость его», а старик расправляет грудь. Как сказать парню, что записали его в синодик и пазывали его усопшим и в дмитриеву субботу, и в фомин вторник, и в великий четверток? Ведь он может и спросить: «Значит, писем не получали? Как же такое, ведь почтмейстер мне говорил, что аккуратно вам письма пересылал?» И помилосердствовать некому будет, окажутся они великими и подлыми скрывателями любви и честности! Плохо, плохо. А как дойти было до такого зломудрствования, что живого человека, хоть и опального, но все же офицера его строгого императорского величества Павла, вписали в поминанье, в синодик? Ах, как нехорошо!

Но был же старик в войске. Понюхал он трижды табачку, чихнул, велел кучеру Егору Крохалю, что не только двухпудовиком крестился, но и бросал его на пять сажен, стать возле парадного и ждать крика. Старик взял под руку старушку, и спустились они вниз. Но разговор неожиданно даже оказался кротким и почти милым! Иван Евграфович своей степенностью, знаниями, походами и

знакомствами чрезвычайно понравился старикам, равно как и старики ему. Однако гордость не позволяла им сознаться в своем преступлении, да к тому же и медведь-жених с его тысячью душ не совсем еще отказался от невесты, а, так сказать, лежал подле жизненной межи, в овсах. Нельзя похвастаться, чтобы Иван Евграфович отличался пронизательностью. Сидит он, смотрит на стариков и думает, что старики уже не в приводе невода ходят, не ведут его, а сами сидят, подобно пойманым рыбкам, в самой мотне!

Тряхнул он головой и сказал:

— Верю, что убит я и похоронен, потому что чувствую себя ужасно! Но ведь должны мои страдания уменьшиться, раз ваши увеличились. Келья — не Максим Петрович, а все же — келья... — И, впадая в злость, Иван Евграфович спросил: — Кто же ее соблазнил в монастырь?

Родители говорят, что художника кисть роковая, — к стати сказать, художник уже сел в тарантас и уехал. Иван Евграфович видел рябое и малоигривое лицо художника, — не приревнуешь. Он желал видеть кисть его! Ему указали на картину. Картина как картина. Сидит воин, смотрит на тебя в упор, думает о чем-то своем...

— Нет, не в картине тут дело! Вот, говорят, иконостас в церкви расписной, резной, золоченый... может быть, иконостас?

— Всенепременно, всенепременно: иконостас причиной! — восклицают родители, которым бы только его сплавить, ибо, увидав его горящие очи, опять перепугались они и решили сбежать к неудавшемуся зятю Максиму Петровичу посоветоваться: как относиться к опальному офицеру? Есть он лицо неприкосновенное и государственное, или же разрешается его бить двухпудовым кулаком по шее и гнать вон?

И направился Иван Евграфович к попику Игнатию, чтобы с ним вместе пойти в церковь подивоваться на иконостас.

Идет он через парк, прямо по крапиве, и хоть он не дальновидец, все же понимает, что со стариками тут дело неладно, но из благородства и уважения к будущим родственникам своим старается подыскать им оправдание, снять с них некоторую тяжесть обвинения! И все-то он краешком где-то надеется, что зарученная девица будет при нем, и в мысль ему не придет, что родители тем

временем, пока он шагает по парку, пишут письмо к... Игуменье, чтобы Ириниушку ни в коем случае не выпускали вплоть до самого скорейшего пострига... А был уже вечер, вроде теперешнего... очень теплый и хороший!..

Да, вечер был действительно замечательный. Он словно обижался на то, что вы так невнимательно смотрели на него доселе. Облака мощно расправили крылья, будто им было невмочь хранить в себе такую красоту — лиловую, розовую, палевую. Пруд лежал бледный и бессильный, как брошенный летчиком парашют. Берега его были как бы просмоленные. Пахло от них тягуче, тоскливо. Отпускали они эти запахи медленно, с неохотой. И вам подумалось, что, наверное, Ивану Евграфовичу было сильно тяжело и грустно невыносимо, когда он в последнем отчаянии поисков шел в церковь, зная, что тщетно это желание найти истинные причины ухода своей невесты.

Приходит он к попику Игнатию. Попишка, как всегда, спит возле своей баньки в лопухах, мухи спят возле его рта, попадья цедит молоко.... Вот тут и разговорись! Однако Иван Евграфович несколькими бешеными словами пробудил попику. Тот, подавая ему ключи от церкви, сказал, зевая и вежливо закрывая свой рот листом лопуха:

— А ты, сыне, не на иконостас смотри, ты, сыне, воззрись на ту картину, на тот *его* лик, который побоялись поставить в церковь, а водрузили в зале.

Сказал и заснул.

Иван Евграфович — по неумолчной грызне мыслей — не обратил внимания на слова попа и поспешил в церковь.

В церкви было уже темновато. Трошка нес фонарь. Дошли почти до амвона. Должно быть, причт недавно служил — из церкви еще не вышел запах ладана, хотя сквозь открытые окна, через решетки, сильно несло сеном, стога которого возвышались возле парка. Иван Евграфович велел Трошке осветить иконостас. Дверь была открыта, но ничего, кроме легкого шороха на могилах кладбища, не было слышно. А кладбище большое, хотя деревушка и не славилась величиной, но так уж повелось, что умпрали и родились усердно, сколько ни казнили их бояре, голод да мор...

Стоит Иван Евграфович и размышляет, и мысли цепкие и свирепые. Трошка открыл фонарь, переменял све-

чу, утих и последний шорох, значит, и послезакатный ветерок прекратился. Равномерный свет лился из фонаря на иконостас, еще не позолоченный, а нежно-синеватый, будто весенние тучки.

Трепетно-жгучая рука вела резец. Упоительно нежны линии; пламенны, как долгожданная ласка, растительные орнаменты: виноградные листья, лилии и нарциссы; бурны провалы, где будут стоять образа... коварно сердце художника, далеко способно оно увести! И пожалел Иван Евграфович, что плохо присмотрелся к картине. И тотчас же вспомнил он слова попишки Игнатия. Захотелось ему обратно в зал, да ночь, да небось старики уже легли спать... Э, что тут старики?!

Иван Евграфович повернулся. Трошка за ним. Они вышли на паперть. Тишина безмолвным роем колких и прозрачных мыслей окружила его. Сквозь деревянную ограду видны были кресты кладбища, а за ними возвышались стога, как гигантские могильные холмы. Но не смерть жила у этих холмов, а жизнь! Возле одного стога кто-то довольно, и громко, и сладко посмеивался,— наверное, девка над парнем, и сено шипело, задеваемое то ли плечом, то ли жердью, которой укрепляют сено от ветра. Жизнь нужна Ивану Евграфовичу, жизнь, которую можно взять только борьбой, хотя бы с самим Георгием Победоносцем!..

Трошка по-прежнему с фонарем, где теперь пронзительно и ярко горела свеча, стоял возле Ивана Евграфовича. Полукафтаны со сборками по бокам, даже и оно, казалось, изображало в нем внимание: он-то знал, насколько его барин отчаянный.

— Трошка,— воскликнул Иван Евграфович,— сегодня будем биться!

— А чего ж не биться,— ответил Трошка,— биться — оно хорошо: спать не хочется потом.

— Свети к дому!

Подходят к дому.

— Барин спит?

— Где там спит,— отвечает дворня,— уже час, как уехали.

— Куда уехали?

— А разве нам, холопам, докладывают, куда они уехали; запрягли тройку самых рьяных и уехали.

— Так?

— Так, Иван Евграфович,— ответила дворянка почтительно, уважая величавость его.

— Свети в залу! — закричал Иван Евграфович и ринулся в зал.

Подошел он к полотну. При узорном и шатком свете фонаря лицо воина показалось ему довершенным,— и даже сверх того. Какой великий талант у этого рябого и скучного на вид человека! Днем лицо бесстрастно и грубо, а вечером, когда как раз соблазняют девушек, оно благоуханно и сочно. И никакой кротости!

Со всей учтивостью, на которую он был способен, Иван Евграфович приблизился вплотную к картине и проговорил:

— Ваше сиятельство! — Он не мог обратиться с более высоким титулом, потому что артикул не позволял ему вызывать августейшую особу, но с сиятельствами он дрался не раз.— Ваше сиятельство, Георгий! Вы взяли у меня непорочное существо... Вы некоторым образом обольстили его, зная, что вы безнаказанны. Но, поставив вас здесь, а не в церкви, художник придал вам светскость. Поэтому я поступок ваш считаю непозволительным!

Призрак на полотне смотрел на Ивана Евграфовича вдохновенными и вещими глазами и молчал. Иван Евграфович не отличался сложностью и витиеватостью речи, но он верил в ее волчью выразительность.

— Ваше сиятельство,— продолжал он,— вы погибли при Диоклетиановом гонении, промучившись восемь дней. Зачем же вы заставляете мучиться других? Что в этом вы находите прекрасного? Чем виновата дочь дома сего?

Несмотря на некоторые славянизмы, которыми Иван Евграфович думал тронуть призрак, полотно по-прежнему молчало. И тогда Иван Евграфович заговорил еще более резко:

— Вы, ваше сиятельство, признаны покровителем Москвы. Вы топтали татар, ляхов, литву, вы помогали нашему отечеству. Ради отечества я, ваше сиятельство, уже участвовал в трех сражениях и трижды ранен, последний раз при Нови. Ваше сиятельство! Сквозь огонь ран я вижу нового врага, который — не дай бог...— может приблизиться к защищаемой вами Москве. Я говорю о Наполеоне, ваше сиятельство, с которым я сражался! И меня, защитника Москвы, вы, ваше сиятельство, изволили кровно обидеть: увели в монастырь девушку, невесту. Если вы

действительно Егорий Храбрый, то так храбрые люди не поступают! Я недоволен вами, ваше сиятельство, прошу меня простить. Я — грешен, я, может быть, за эти слова буду в аду, но я недоволен вами, ваше сиятельство!

Призрак безмолвствовал. Ивана Евграфовича это начало уже сильно раздражать. Он наклонил лобастую упрямую голову и зарычал. Дело в том, что он хотя и служил в кавалерии, но если приходилось говорить, то речь его пестрила теми терминами, которыми так славятся моряки, понося непокорное море и малопокорные обстоятельства. Пошатываясь от возбуждения, он кричал:

— Да, сударь! Я не позволю тебе так тускло смотреть на меня. Я тебя так оскорблю, что вся твоя кротость слетит, как полива с горшка!

Он достал перчатки и поспешно натянул их на руки, с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски.

— К барьеру, сударь, к барьеру! — сказал он, взмахивая перчаткой.

И вдруг Георгий весь покрылся краской, привстал с камня и сказал:

— Впервые такого дурака встречаю. Почему так бранитесь, сударь? От десятка ваших слов я был бы уже у барьера. Где ваши секунданты? И где шпаги?

— Трошка, беги за шпагами! — сказал обрадованный Иван Евграфович. — И зови того лысого чиновника с шишкой под ухом, с которым мы в трактире познакомились. Да и того дворянина, у которого на левой руке мизинца не хватает. Он, по всему видно, человек музыкальный! Скажи, долго морить не буду, помутится вода с песком, поляжет противник вверх дном.

— Увидим, сударь, увидим! Зачем хвастать? — сказал Георгий, с удовольствием расправляя ноги и руки и разглядывая фонарь, который Трошка оставил, убегая за секундантами. — Вообще замечу вам, что вы многословны и любите преувеличивать. Скажите на милость, — я не в оправдание свое говорю, — зачем мне нужна ваша невеста? Монахиня из нее будет плохая, — все о женихе да о женихе, да и к тому же характера она сварливого.

— Кто? Иринушка — сварлива? — в крайнем негодовании воскликнул Иван Евграфович. — Сударь, за это вы мне ответите еще фунтом мяса!..

— Увидим, сударь, увидим.

Георгий Победоносец был невысокого роста, в синем нарядном плаще, стянутом тонким металлическим ремнем. Говорил он несколько простуженным голосом, и, видимо, его терзала чуть ли не невралгическая боль, а может быть, и на камне ему надоело сидеть. Он ходил мелкими шажками по ковру посредственной работы, пересекавшему зал. Ему, видимо, очень хотелось поговорить, но так как перед дуэлью противники должны молчать и даже не глядеть друг на друга, то он ходил молча по одной стороне ковра, а Иван Евграфович, тоже молча, по другой.

Трошка вернулся быстро. Он настолько привык к поединкам, что для него сходжение Георгия с картины несколько не казалось удивительным, и он даже не ссылаясь на это странное происшествие, когда будил мертвечки пьяного чиновника и дворянина с отрубленным мизинцем. Трошка сообщил, что он кричал ревом, но дворяне спят, и вообще все село спит, и секундантов достать не откуда! Тогда Иван Евграфович волей-неволей обратился к своему противнику:

— Может быть, вы, ваше сиятельство, сочтете возможным пригласить одного из своих соратников? Я же обойдусь без секунданта.

— Вы, сударь, плохо разбираетесь в обстоятельствах, благодаря которым я имею честь не только беседовать, но и драться с вами, — сказал Победоносец. — Разрешите несколько подробнее остановиться на них. Почему я здесь? Почему я откликнулся на ваши слова? Почему сошел с полотна? Это происходит редко и только тогда, когда великий художник ошибочно отказывается от образа, им почти созданного. Тогда жизнь — воплощением которой в данный момент явились вы — призывает и воплощает нас, художественный образ! Непонимание художника, отказывающегося от своего замысла, и внимание жизни, верящей в осуществление этого замысла, — таков закон, благодаря коему мы, дети полунискусства, полужизни, являемся в мир, дабы помочь людям. Согласно с Аристотелем, философ Теофраст, — не знаю, как вы, а я его, между прочим, ставлю очень высоко, — кроме нравственных добродетелей, признает еще и умственные. Тем естественнее имеющееся в его «Этике» место, что он созерцательную, теоретическую деятельность ставит на более высокую сту-

пень, чем практическую. Или возьмем Фому Аквината. Он видит следующие потенции души: «растительные» (*vegetativae*)...

Иван Евграфович не силен был в теоретических науках, но сердцем он чувствовал: здесь что-то неладно. Надо сражаться! Умствования призрака действовали на Ивана Евграфовича расслабляюще, да к тому же он явно увиливал: не желал сказать — каким путем, в случае поражения, он намерен возратить Ивану Евграфовичу невесту.

— Тогда придется делать дуэль без свидетелей, ваше сиятельство, — сказал Иван Евграфович. — Но даю слово, что никогда ни одного дуэльного правила не преступал. И не собираюсь делать то и сейчас.

— Без свидетелей я даже предпочитаю, — сказал Георгий, сбрасывая плащ — шелк дымчат и голуб, — и плащ этот пал на камень картины, где и застыл мазком живописца!

Трошка зажег огарки, достал бинты и корпию — он умел слегка лечить, а коней лечил уже совершенно — и, прислонившись к стене, стал ждать результата. За своего хозяина он не беспокоился, хотя противник, сбросивший плащ и оставшийся в коротенькой серой рубашке, казался очень ловким и сильным. «Ишь вылизанный какой монах-то, — думал Трошка, ковыряя пальцем в ухе, — с таким придется барину помаяться. Ну да мы тебе кипшки вынесем!»

Противники разошлись на позиции и встали в те грациозные позы, которые требовались временем. Затем Трошка дал знак, и они понеслись друг на друга. Георгий атаковал Ивана Евграфовича со свирепостью и силой, совсем неожиданной, так что одно время казалось, что шпага его уже изловила сердце Ивана Евграфовича. Но Иван Евграфович был силен не только в нападении, но и в обороне, исконном искусстве московитов. Обороняясь с толком, не торопясь, он быстро разглядел фехтовальную слабость противника. Георгий, видимо, давно не упражнялся и поэтому стремился взять решительностью и набегом. Он долго сидел на камне, мускулы у него слегка залились жирком, и как только Иван Евграфович стал ловчиться, вызывая в нем побольше движений да притом в разные стороны, то Георгий уже и задыхаться начал, уже и лицо его покрылось потом. Тогда-то Иван Евграфович бросил оборону и перешел в нападение! Через полчаса или не-

сколько более Георгий явно ослабел и оглянулся, ища взором картину.

«Ага! — подумал с некоторым злорадством Иван Евграфович. — Девоч отнимать — так вы умеете, а сражаться — так и на картину посматриваете? Удрать? Нет, в картину вам удрать не представится случай!» И Иван Евграфович стал спиной к картине, с тем чтобы отрезать противнику все пути к бегству. Георгий понял его маневр и, даже крикнув от ярости, напал на него. Иван Евграфович доблестно выдержал атаку, все время подставляя глаза Георгия под свет свечей, которые и светили-то теперь как-то особенно чисто. Он то отскакивал в сторону, как бы пропуская Георгия к картине, то делал такие движения, в результате которых противник кричал:

— Есть укол!

А Иван Евграфович отвечал обычной шуткой дуэлянтов:

— Есть укол, да у твоей бабушки!

После одного такого восклицания Георгия, в результате которого Иван Евграфович назвал его «криксой», то есть плаксой, как называют ребенка, который много кричит, Георгий, чувствуя, по-видимому, особенную ярость, подпрыгнув, ринулся на Ивана Евграфовича. И тогда с необычайнейшим наслаждением Иван Евграфович направил шпагу навстречу, как раз против сердца противника, и напряжил руку! Щелкнул шелк. Георгий охнул. Но шпага пронзила пустое пространство! Тем не менее, вполне уверенный в своей победе, Иван Евграфович воскликнул:

— Никому, даже самому богу, я не позволю увозить мою невесту!

И тут он услышал необыкновенно широкий и пышный голос, который, несомненно, принадлежал Георгию, но как он отличался от прежнего его голоса: рыхлого и пухлого, как пирог! Пламенный, как лобзания, и гордый, как лоб мудреца, голос этот потряс сердце Ивана Евграфовича, бурей и громом гремел он!

— Иван Евграфов, смертный! Дерзка и безумна твоя доблесть. Но чудная добродетель сделала ее непобедимой. Иван Евграфов, ты прав. Звуки боя, боя за Москву, приывают меня! Слышишь?

Послушал Иван Евграфович: ничего теперь не слышит, да и то, что слышал прежде, кажется ему невероят-

ным. Наклонил он голову, перекрестился: «Свят, свят...» На кого осмелился поднять шпагу? На Георгия Победоносца! Кого осмелился учить и кто признался, что учение правильное?! «Свят, свят!..» Посмотрел Иван Евграфович и видит, что в зале никого нет, что Трошка поправляет свечу в фонаре и, что самое главное, нет война на полотне, будто и не было никогда...

Иван Евграфович вытер шпагу. Страстное смущение чувствовал он. Что за слово сказал, уходя, Победоносец? Ведь не о невесте были слова, а о Москве? Выходит, что Георгий Победоносец загулялся где-то в стороне, загляделся, а грешный Иван Евграфович направил его на путь верный. Так ли? Имеет ли на это право Иван Евграфович? Или три раны, полученные им, дали ему право? Или триста тридцать три тысячи слез, пролитых после того, как дикой волей императора выброшен он из полка и отправлен в опалу?.. Скромнен был Иван Евграфович и от скромности совсем смутился.

Тем не менее, вполне уверенный в своей правоте и в благополучии всего дальнейшего, Иван Евграфович с полным наслаждением вернулся в трактир, нашел на сеновале лысого чиновника и дворянина, того, который имел отрубленный мизинец, растолкал их и сказал: «Дивный был поединок», — на что помещик с отрубленным мизинцем издал вздох, несколько похожий на вздох мохового болота, где, скопившись, столетние газы выйдут через окно и вздохнут так, что вековые деревья всколышутся, подобно былинкам! Чиновник же с шишкой под ухом взвизгнул, как железная кровать, когда на нее ложится малое дитя. И затем оба они заснули, не спрашивая объяснений, приятнейшим, хотя и вспугнутым сном. Заснул и Иван Евграфович. Во сне он видел цветущие вишни и больших, с воробья, монастырских мух.

Утром, совершенно уверенный в успехе, Иван Евграфович уехал в город, с тем чтобы на последние деньги купить подарки невесте. И точно: он не ошибся в своем предвидении. Дней через пять пришло письмо от родителей Ирины Матвеевны. Они сообщили, что Иринушка возвратилась из монастыря и что нельзя ли поспешить с браком, чтобы прекратить разные там разговоры? Иван Евграфович не обижался и поскакал к будущим своим родственникам. Свадьба состоялась. Пел губернский хор, свадьбу правил сам архиерей, посаженным отцом был Мак-

сим Петрович Устинский... Почему такие перемены? А перемены с того, что волею судьбы и шпагой гвардейцев убит был свирепый император Павел, и все колесо фортуны, как всегда беспечно смеющейся, повернулось обратно.

Гремел хор. Дворяне готовили поздравления, а Иван Евграфович глядел на лицо невесты и вспоминал слова Георгия: сварлива, сварлива! Да и точно, сварливой оказалась Иринушка, так что вскоре же после свадьбы сел Иван Евграфович в коляску и ускакал в Петербург, а оттуда в свой полк. Одного ему хотелось вместе со всеми — злодея побить. «И то будет!» — говорил он всем уверенно, впрочем не сильно доказывая свою уверенность, да и кто ждал от Ивана Евграфовича теоретических доказательств? Храбрый вояка, честнейший человек, сын отчества, и хорошо.

Разумеется, когда открывалась бутылка, Ивану Евграфовичу хотелось поделиться теми удивительными событиями, которые случились в его жизни. А как расскажешь? Дети и те не поверят, что вызвал он на дуэль картину, сражался с фигурой из той картины и та фигура была побеждена и ушла с предсказаниями. Молчал Иван Евграфович. От того молчания при выпивках признали его неудачным собутыльником, и был приглашаем он редко. И когда звенели стаканы и слышались песни, а Иван Евграфович оставался один, он скучал, требовал к себе Трошку и приказывал ему вспоминать, как они бились в зале, в имении, ныне называемом Гореловка, и с кем бились. Трошка, по лености ума, путал многие поединки, и потому рассказ его не блистал звездами. Иван Евграфович плевался и говорил:

— Пустой ты, Трошка! Такое нам отверзлось, а ты не чувствуешь на себе влияния.

Трошка молчал. Иван Евграфович приказывал стелить постель, закуривал трубку перед сном, а затем засыпал, и сны ему виделись ослепительные и нежные.

В 1812 году среди множества храброго российского народа Иван Евграфович пал в бою за Смоленск.

Кончилась война. Изгнали врага.

Опираясь на плечо старого слуги Трошки, грустная вдова воина, имея по одну сторону сына, по другую дочь — вылитую Иван Евграфович, — подошла к святому и скромному гробу его, что лежит на одном из смоленских клад-

бищ. Благочестиво зря сей залог любви к отечеству, предалась она воспоминаниям.

И тут-то услышала она повесть о поединке из уст Трошки. Тихо прослушала ее и затем сказала:

— Поборай по господе, и господь поборет по тебе. Горд был покойник, да простится ему грех этот, и напрасно ты, Трошка, вспомнил сей сон! Забудь его, и вы, дети, забудьте, как забыла его я.

Но дети не забыли, и тонко трепещущая их память понесла по годам легенду о том, как офицер в опале Иван Евграфов сын Горелов сражался с Георгием Победоносцем и победил Георгия, зане был прав, правдолюбив и чтил славу отечества. Все.

1940

В ГОРАХ БУХ-ТАЙРОНА



Из города Меди на строительство водохранилища в горах Бух-Тайрона ехал гастролировать укротитель тигров Святослав Аркадьевич Плонский.

В эти августовские дни 1943 года над всем Центральным Казахстаном стояла незакатная, неугасимая и нестерпимая жара. Ледники таяли. Реки разлились.

Святослав Аркадьевич — рослый, тяжелый, словно из свинца, с лицом цвета серого сафьяна, саркастическим и задумчивым, медленно покинул грузовик, чтобы, насупясь, замереть у разлившегося горного потока. Укротитель был человек образованный и начитанный; он считал себя поклонником изящной литературы восемнадцатого века. В Виннице, на Украине, немецкие фашисты сожгли его квартиру с небольшой антикварной библиотекой.

Давно, когда он еще учился своему ремеслу, тигр, играя, переломил Святославу Аркадьевичу два ребра, а попозже тигрица, тоже играя, повредила ему правый глаз. Святослав Аркадьевич после этого стал склонен к некоторым обобщениям. А высказывая свои обобщения, употреблял витиеватые образы, если не восемнадцатого века, то начала девятнадцатого, во всяком случае. Так вот и теперь глядя на разлившийся горный поток, на остатки снесенного потоком моста, он сказал:

— Торопитесь, сударь? На свидание с морем? Не скоро, не скоро, ибо я знаю, а ты нет. Перед тобой пустыня Бетпак-дала! Не считая гор, дорогой мой. Конечно, река

стремится к морю. Но море течет само по себе. И вообще свидания недолговечны.

Воды, не обращая внимания на его мудрые изречения, клубились и прибывали. Почва под ногами его тряслась. Струя воздуха играла штанами укротителя. Со стороны ледника, вдоль разлившейся речки, шел сильный и влажный ток.

«Пусть его играет штанами, как шторой в окне, — думал укротитель. — Но погано, что он играет обстоятельствами. Я ведь предчувствовал, что мост снесен, и торопил шофера... подвергал зверей тряске, раздражал их перед самым аттракционом... и — зря! Машинам по расписанию — прийти к мосту в четыре часа дня. Я их пригнал к двум — и зря! Мост снесло».

Словно уловив его мысли, из кабины высунулся шофер Дементьев с лицом бледным, горьким и длинным. Он уныло прокричал:

— Глазомерно определяя: еще б полчасика подогнать, успели б. А теперь какие приказания, товарищ командир? Обрато, в город?

Укротитель сказал:

— Человек может не обедать, но зверь любит точность. Подойдет вторая машина, и, если не переправимся, будем кормить зверей здесь.

Шофер скрылся в кабине так поспешно, будто зверей собирались кормить его телом. Укротитель снисходительно улыбнулся и подумал: «Когда шофер впервые везет зверей, ему естественно хочется поскорее избавиться от них. Хорошо еще, что настроение шофера не передается зверям, хотя, кажется, Кай-Октавиан чувствует раздражение». И он продолжал думать: «Вот резко-сухой, черствый, но, к сожалению, необыкновенно крупный и красивый экземпляр тигра! Он родился в неволе и презирует удобства цирковой жизни. Соседи по делу, старшие тигры Тиберий и Калигула, романтизируя прошлое, наболтали ему, наверное, всяческой чуши о прелестном быте в Уссурийской тайге, и этот дурак пользуется теперь всяческим поводом, чтобы выявить свои мрачные мысли!»

Впрочем, не оттого ли Кай-Октавиан так любопытен укротителю? Хочется подчинить его окончательно, выбить у него из башки романтические бредни, чтобы впредь он не скалил зубы, когда укротитель заставляет Кая-Октавиана лезть на высокую голубую тумбу,

— Ужо тебе! — сказал Плонский, сурово глядя на поток, словно на тигра.

А торжествующие и пенящиеся мутно-оранжевые валы по-прежнему волокли камыш и кустарник, словно собираясь где-то остановиться и свить гнездо.

Большой ствол арчи — древовидного можжевельника — застрял между уцелевшими сваями моста, которые были обвиты гирляндами камыша. Валы, шипя и шушукаясь, рвали сучья арчи, и можжевельник, толстый, в обхват, трепетал, как былинка. Да, надо искать брод, пока не поздно! Вода не идет на убыль.

Укротитель обернулся ко второму грузовику, который тем временем остановился наверху, перед спуском к реке. Шоферы и ассистенты укротителя сошлись, чтобы покурить и посоветоваться. Ассистент постарше, с толстой трубкой во рту, говорит, что Марья Анисимовна, супруга Плонского, предупреждала... а она всегда предупреждает с поразительной точностью! Второй ассистент — гладкий, приземистый — возражает: «Если Плонский обещал, надо выполнять обещание. Возвращаться нельзя. Да и Марья Анисимовна не предупреждала, а, наоборот, как все наши отважные женщины, высказывалась за поездку». Молоденькая девушка-шофер в сером комбинезоне глядит на него одобрительно. Она побаивается тигров, но ей лестно везти такой страшный груз...

Укротитель вынул из кармана большие серебряные часы. Он владел вещами только крупными и вескими. И вообще он все делал крупно и веско, как это делали его отец и дед, знаменитые дрессировщики и укротители. И с этой весомостью в каждом слове он приказал своим ассистентам и шоферам:

— Через три четверти часа найти брод.

— Где ж тут найдешь? — с беззастенчивой унылостью сказал шофер Дементьев. — Она разлилась, как в паводок.

— Вы лично, товарищ шофер, военный? Значит, умеете и любите исполнять приказания? Люди в горах работают день и ночь. Никаких развлечений! А тут, в условиях войны, мы привозим к ним тигров. Тигров! — подчеркнул укротитель. — Фильм — это механизм, клубок пленки; его поставить трудно, а возить легко, а тем более показывать. Тигра и поставить трудно, и возить, и показывать. Разве это товарищи, работающие в горах, не поймут?

Плонский несколько преувеличивал значение своих тигров. Но шофер, как бы то ни было, расчувствовался и проговорил:

— А разве я отказываюсь?.. Лично я хоть и ранен и уволен на поправку, какую произвожу на строительстве... Доставить? Раз приказано — доставлю! Спасибо, товарищ командир, за разъяснение.

И шофер повернул влево, вверх по потоку, искать брод. Его сопровождали ассистенты.

От обильных испарений воздух был душен и мглист. Бродоискатели быстро скрылись за холмами.

— Ну, если мне душно, так зверям и совсем.

Укротитель снял полотно с клеток.

Три тяжелые объемистые клетки с тиграми стояли на первом грузовике. Второй вез длинные железные прутья, окаймлявшие арену цирка во время представления, и, кроме того, разобранный туннель, по которому тигры бежали к арене. Поверх туннеля лежали голубые тумбы, круги для тигровых прыжков, колокол, в который звонил тигр Тиберий, а внутри туннеля — корзины с мясом для зверей и чемоданы с костюмами.

Почувствовав лучи солнца, тигры привстали. Зевая и щурясь, они поглядывали на укротителя. Они привыкли к переездам, но тряска по камням мало нравилась им. Особенно был гневен Кай-Октавиан, хотя он и старался сделать свою морду беспечно смеющейся. Фыркая и глотая слюну, глядел он на поток, глубоко вдыхая запах разлившихся мутных вод. Он впервые видел, чтобы всегда смиренная вода могла так бесноваться! Ее беснование до известной степени подтверждало рассказы о привольной тайге, слышанные от старых тигров. Глаза его потемнели, и блестящий зеленоватый огонек заиграл в них.

Укротитель резко сказал:

— Замкнуть пасть. Лечь!..

Кай-Октавиан с подчеркнутой мягкостью опустил на дощатый пол клетки. «И охота вам, Святослав Аркадьевич, кричать? Я очень спокоен и вполне вам повинуюсь», — говорил его взгляд. Укротитель же подумал: «И как врет, мерзавец».

Воды между тем поднимались и разливались. Их мутные валы уже не бурлили между сваями, уже не крутили камыш, не сотрясали ствол можжевельника. Все это или унесено, или ушло под воду. Обрушился и тот обломок

скалы, на котором двадцать минут назад стоял укротитель. И он подумал: «А что, если броду не найдут? Возвращаться? Но ведь я обещал. И они в свою очередь обещали поднять производительность. Ах, нехорошо! Почему они никого у моста не поставили дежурить? Неужели воды разлились так внезапно?..»

И укротитель вспомнил троих стахановцев из гор Бух-Тайрона, на прошлой неделе специально приезжавших в город Меди, в цирк. От имени строителей Бух-Тайрона говорил Максимов, русский, десятки лет ходивший по тайге. В горах Бух-Тайрона он работает только три года. Улыбаясь, он говорил: «Горы здесь — ничего, паря. Да сухи, комара нету. А я к комару, будто к чаю, привык». За эти три года Антон Максимов успел от чернорабочего-забойщика дойти до лучшего бригадира водохранилища, до звания лучшего стахановца строительства Бух-Тайрона! Вот как...

Укротитель с почтением слушал Антона и вспоминал своих тигров. Было что-то в повадках, в жилистых руках Максимова от царственно раскатистой жизни тайги. Его взор заставлял погружаться и углубляться в чашу лесов, размеры которых постепенно увеличиваются и вырастают на ваших глазах... По его инициативе строители приглашают тигров Плонского к себе в гости! Но стоит перевести взгляд на его двух спутников — людей Востока, на юношу и старца, — как начинаешь сомневаться: действительно ли это Максимов, выходец из сибирского леса, пригласил тигров? Вспоминаешь камыш рек, пески пустыни, а особенно белый, кубами, восточный город, утопающий в благоуханной весенней зелени. Чудесно-прекрасное лицо юноши: матовое, с длинными глазами, лицо мечтателя и воина, лицо человека, который с одним кинжалом пойдет на тигра; лицо человека, который понимает звериную силу и то, как трудно ее укрощать.

Тут укротитель опять вперил взор в Антона Григорьевича Максимова. Какая неукротимая сила!

— Теперь, видишь, нам колхозники помогают: ведут канал, — продолжал говорить Максимов. — Теперь у нас воды будет вдоволь. Ну и у колхозников посевы обеспечены. Теперь надо показать, что все у нас в порядке, — и цирк приехал. На фронте мой-то четверо сынов...

— «Тигров» подбивают?

— Бьют, — ответил Максимов и скромно, чтобы пока-

зять, что его работа ни в коем случае не идет в сравнение с работой сынов, добавил: — А мы тут смотрим, как тигров на табуретки рассаживают.

— На тумбы,— поправил укротитель и сказал: — Пройти с тиграми по горной дороге двести километров — трудновато. Но я приеду ко дню открытия канала и покажу образец своей работы. Взамен чего вы обязываетесь, товарищи, показать и свои образцы? В университете, где я учился, про меня думали, что я откажусь от профессии отца. Пророчили мне звание философа или физика. А я окончил университет, и потянуло меня к зверю...

— Вроде как бы в тайгу,— сказал Максимов.

— Вроде как бы в тайгу,— повторил укротитель. — Стал я продолжать опыты над зверями, начатые моим отцом. И не раскаиваюсь. Меня называют любимцем Москвы и Ленинграда. Хочу быть любимцем и Бух-Тайрона. Поддержите?

— Будьте покойны.

Заговорил человек Востока, седобородый старец, Тайшегулов:

— Будет большой праздник у колхозников. Канал — это много га плодородной земли, много отечеству хлеба. Пустыню укрощаем, правда?.. Ничего не страшно. В камышах возле Балхаша — красивое озеро, правда? — живет красивый зверь: тигр. И тигра, между делом, укротили! Все укрощение надо показывать! Тигра надо показывать. Ха-ха... — Он тихо рассмеялся и добавил: — Мы тебе воду укрощенную показываем, ты нам — тигра. Кто чем гордится. Каждому свое!

— Каждому свое,— согласился Плонский. — К сожалению, тигры на Балхаше вывелись. Эти — уссурийские тигры.

— Тигры — везде тигры. Они — злы.

— Природа,— уклончиво сказал Плонский, который любил зверей.

Старик понял его и сказал, улыбувшись:

— Верно. Природа требует укрощения.

Продолжение этого разговора произошло на квартире укротителя. Жена его со дня на день ждала ребенка. Ждала она терпеливо и скромно, а скромность и терпение всегда до слез трогали укротителя. Марья Анисимовна была хорошенькой белокурой женщиной, бесстрашным эквилибристом и жонглером. Когда Плонский сказал, что

горняки Бух-Тайрона участвуют во всесоюзном соревновании и он, Плонский, должен помочь им, она утешила:

— Придется мне, Святик, родить без тебя. Постараюсь справиться. Но вот меня Кай-Октавиан беспокоит.

— Пусть он тебя не беспокоит,— проговорил укротитель,— хотя добратся до сердца Кая-Октавиана трудно. Но недаром я учился в университете. Это меня к чему-нибудь да обязывает, и что-нибудь я могу...

...И вот теперь Плонский стоит возле бешеного потока, думает о жене и чувствует, что в спину ему насмешливо и загадочно смотрит горящими зрачками Кай-Октавиан. А на них со всех сторон мутно смотрят высокие горы с бледными утесами, усыпанными пучками голубовато-желтых кустарников, которые издали принимают нежнейшие и редчайшие тона... Смотрят они и думают: «Посмотрим, внемлет ли Кай-Октавиан нашему зову или твоему, Святослав Аркадьевич?..»

Наконец ассистенты и шоферы вернулись.

— Брод-то есть, а вязкий,— сказал шофер Дементьев.— С грузом где пройти? Да и вода, видишь, прибывает.

— С каким грузом? — спросил укротитель.

— С живым,— косо глядя на клетки с тиграми, сказал шофер.— Груз в клетке, упадет с платформы — потонет. Накрениться в этой струе ничего не стоит. А он, тигр, не пробка. Он клетки из воды не поднимет. В ней, в клетке, в каждой, глазомерно, не меньше тонны.

— Клетки разборные.

— Разборные. Да тигр-то не разборный. Клетку, допустим, разберу, а тигра — в портмонет? — И шофер мотнул головой в сторону гор.— Добро, уйдет туда, а если — в другую сторону? В мою?

Кай-Октавиан перевел с потока взор на шофера. Глаза его насмешливо щурились, а усы шевелились. Шофер икнул и отвернулся. «Ну, какой же ехидный зверь!» — подумал укротитель, а вслух он спросил:

— Вы партийный, Дементьев?

— Без,— ответил шофер и, указывая плечом на девушку, добавил: — В комсомоле.

Плонский обратился к девушке:

— Звери, товарищ комсомолка, принадлежат не мне, а государству. Они должны прибыть в срок в намеченное место, как и все должно у нас прибывать в срок, и в намеченное место, и в надлежащем состоянии.

Второй шофер хрупким своим голоском отозвался:

— Я поддерживаю ваше требование, товарищ укротитель. Но три клетки вброд не перевезти. Или поодиночке, или по предложению товарища Дементьева — зверя отдельно, клетки отдельно. Он ведь об этом беспокоится, а не о себе.

— Конечно, не о себе,— сказал Дементьев с гордостью.— Когда я лично о себе беспокоился? Есть мне время!

И лицо Дементьева побагровело. Он крикнул:

— Вы что, хотите тигра голым везти? Давайте осуществим.

Укротитель проговорил:

— Осуществим.— И он обратился к ассистентам: — Мы поставим тигров в положение «Б».

Подобно многим новаторам, Плонский имел не только свой метод работы, но и свою терминологию. Так, например, положением «А» называлось появление тигров на арене и выравнивание их в шеренгу; положением «Б» — усаживание тигров на тумбы; положением «В» — старик Тиберий звонил в колокол... Плонский обратился к шоферу:

— Сначала мы вторую машину, как более слабо нагруженную, отправим на тот берег разведать трассу. К моменту ее возвращения мы выведем тигров из двух клеток и перетащим эти клетки на вернувшуюся машину. Тяжесть уравниется. Тогда мы выпустим из клетки третьего тигра, Кая-Октавиана, и поставим их всех в положение «Б». К сожалению, тигры привыкли работать втроем, иначе бы мы оставили Кая-Октавиана в клетке. Таким образом, на полотне машины мы приступим к репетиции, а вы поведете машину на тот берег. Там мы подведем машину ко второй и переведем зверей в положение «К», то есть обратно в клетки. Осуществим? Ваше мнение, товарищ шофер?

Шофер Дементьев смог сказать пока одно:

— Перевозим, значит, их голых...— и некоторое время спустя глубоким шепотом, который он старался сделать беззаботным, добавил: — Не возражаю. Осуществим так осуществим.

Пошатываясь и горбясь, шофер влез в машину. Укротитель думал, что шофер так и застрянет там. Но шофер оказался более сложным человеком. Он тотчас же вылез

с ключом в руке и направился заводить мотор. Он заводил мотор, глядел, как двинулась, шурша щебнем, вторая машина через речку, видел, как ассистент с трубкой помогает девушке-шоферу выгружать машину, а приземистый и гладкий ассистент развинчивает и вынимает болты из клеток, слушал, как мурлыкают обрадованно огромные коты, покидающие свои клетки.

Конечно, Дементьев испытывал страх. Но что ж тут удивительного? Дементьев — уроженец Прибалхашья. Если он не видал тигров и не охотился на них, то, может быть, его отец и дед испытывали на себе силу этих толстых лап. И совсем нет позора в страхе, раз человек способен преодолеть страх. Шофер Дементьев, заводя туго поддающийся мотор, способен был даже объяснить укротителю, что наравне с тиграми его, шофера, беспокоит девушка-шофер:

— Она... — Трах! Трах! — Пыль здесь сильно вредит мотору, товарищ командир. — Трах, трах, трах! — Она шофер третьего класса. Я за нее страдаю. Я ее учу. Я — первого класса. Выходит, моя первая профессиональная обязанность тигра везти. А не могу же я на две машины сесть?

— Она справится. Девушка, видно, смелая.

— Смелая-то верно, смелая. А все-таки — женщина. Не женское оно дело, с тиграми ездить. Легче, Валя, легче! — закричал он в сторону второй машины, возвращавшейся с противоположного берега. — Не видишь, они без клеток, голым-голы.

Некоторые при опасности умолкают, но другие, как это было заметно по шоферу, впадают в неумолчную болтовню. Дементьев помогал перетаскивать по наклонным следам клетки на вторую машину, глядел, сильно ли осели рессоры, проверял мотор — и все время говорил и говорил:

— Уравновесились, девушка? За худо примись, а худо — за тебя, а? Уравновесили, товарищ укрощающий. Теперь машина пройдет... Трогать? За кем очередь? Надо ей вперед, второй? А за ней и я.

— Прошу вперед вторую, — размеренно-радостно говорил Плонский. — Двинули.

Он старался говорить громко и четко, как обычно говорил на арене, рассчитывая, чтоб его слышал весь цирк, а особенно тигры. Надо сказать, что тигры сейчас удручали его, и ему была понятна болтливость шофера. Невольным

движением — что случилось в другое время редко — он нащупывал револьвер у бедра. «Предпочту его убить, чем выпущу в горы», — думал он, глядя на Кая-Октавиана, который с особенным удовольствием покинул клетку и встал на тумбу в положение «Б». Чувствовалось что-то неладное в настроении тигров.

Вторая машина раскачивалась и тряслась. Дементьев, идущий по ее следу, вел свою машину легко и осторожно, точно канатоходец тачку. Толчков почти не ощущалось. «Навсегда бы мне такого шофера», — почти с умилением подумал Плонский.

Тигры сидели покорно. Даже Кай-Октавиан рассматривал арапник укротителя, а не поток. И, однако, — неладно...

Вдруг, посредине брода, машина с тиграми остановилась.

— Что, Дементьев? — крикнул Плонский.

— Мотор, — глухо отозвался Дементьев.

И он выпрыгнул из кабины. Вторая машина тоже остановилась. Показалась голова ассистента с трубкой. Дементьев, поднимая кожух мотора, сказал ассистенту:

— Не видишь, женщина — белей муки? Поставь машину на берег. А женщину уведи подальше. Подышать. Вонь от этого зверья, а не воздух для девушки. Верно, командир?

— Погуляйте, Алексей Валерьяч... цветов нарвите... — сказал укротитель. — Шофер прав.

Плонский подозревал, что мотор исправлен и что Дементьев для шофера первого класса берет на себя чересчур много обязанностей. Укротитель сказал только со всей выразительностью, на которую он был способен:

— Останавливаться крайне опасно. Звери — не мотор.

— У меня мотор — зверь, — ответил Дементьев беспечно. Он, видимо, уже освоился с обстоятельствами. — Занозистый. — И он указал на мутную воду, бурлящую у его колен. — Скоря еда толочно, замеси да в рот понеси! Какой области, товарищ укрощающий? С Украины? А я местный.

Тем временем вторая машина остановилась на противоположном берегу. Ассистент увел девушку-шофера рвать цветы.

Дементьев тотчас же обнаружил, что мотор его в исправности. Шофер направился к кабине. И тут он почувствовал, что ветер, дувший перед тем бойко и звучно с лед-

ников, внезапно прекратился. Горячий потолок приблизился к самому его темени!.. Шофер нагнулся... Мимо него пронеслось громоздкое тело... Мертвящая темнота на мгновение охватила его. Он зажмурился. Донесся голос укротителя:

— Кай-Октави-аа-п!..

«А, да это тот кот?! — подумал шофер. — А мне почудилось, снаряд». И, рассмеявшись, он открыл глаза.

В машине оставалось только два тигра.

Третий, пользуясь тем, что укротитель повернулся к шоферу, выпрыгнул на берег. Покачивалась опустевшая голубая тумба.

— Ушел? — спросил шофер.

Укротитель смотрел на берег.

— Трогать? — грустным голосом спросил шофер.

— Прошу вас, — ответил укротитель.

Итак, арена, на которой производил свою репетицию со зверями Святослав Плонский, раздвинулась. Арена теперь занимала всю глубину ущелья, широко раскинувшегося от брода. Ущелье, как бархатом, покрыто кустарниками, травами, низкорослыми и узорчатыми дубами. Бледно-желтое, залитое солнцем, напряженное ущелье уходило до полюсы трепетно-синих ледников, соприкасающихся с пронзительно ясным небом. «Широка ж ты, арена!..»

Внизу, под досками и железом машины, крутились первобытно-холодные воды, принявшие вдруг фиолетово-синий оттенок, как бы подтверждающий, что они бегут от ледников. Во всем и всюду чувствовался зов к вышине. Щебень на берегу был раскидан легкими копытами диких коз и тяжелыми копытами домашнего скота, приходившего сюда на водопой, и раскидан поспешно, словно они спешили к вершинам. Тигру ли не спешить туда?!

Хотя Кай-Октавиан вышел впервые в своей жизни на дикий берег, он не ощущал шаткости. Он шагал, плечистый, большеголовый, царственно и медленно, с твердостью ставя свои толстые, как портерная бутылка, лапы. До самозабвения ему было приятно сознавать себя свободным! Правда, его тревожили какие-то мухи, жившие возле водопоя, но разве он не знал о них по рассказам старых своих друзей по работе, там, в цирке, в цирке, уже далеко от него, как воспоминание детства? Он уходил. Он уходил пока в горы, а там будет видно! Он уходил, нюхая следы скота и с удовольствием предвкушая, как некое

существо будет дрожать и трепетать у него в лапах..
Короче говоря, он уходил на охоту!

Машина с двумя тиграми быстро выскочила на берег.

Укротитель видел, что девушка-шофер и ассистент собирают цветы, словно они ничем иным в жизни не занимались! А тигр Кай-Октавиан как раз идет к ним навстречу! Тоже — первый помощник! И укротитель сказал размеренным своим голосом второму ассистенту, оставшемуся с ним:

— Вы назначаетесь первым моим заместителем. Алексей Валерыч отныне переводится на ваше место.— Затем он обратился к шоферу, который выскочил из машины и ждал распоряжений: — Кидайте мясо в клетки. Из корзин. Больше! Свистите: «На пищу».

Шофер вложил было пальцы в рот...

— Не вам. Ассистенту. Вы — вилы! На вилы — мясо, в клетку! Кай-Октавиан должен вернуться. Должен.

Отстегнув кобуру револьвера, укротитель побежал наперез тигру.

Раздался металлический свист: «К пище, тигры!» Тиберий и Калигула, послушные зову, прыгнули в свои клетки. Кай-Октавиан было остановился. Он даже приподнял лапу, как делал всегда, когда оканчивал еду. Он ведь шел в свои горы, на охоту!..

— Повторить свист!

Ассистент опять засвистел.

Кай-Октавиан остановился во второй раз.

Плонский уже перерезал ему дорогу. Он поднял арапник и наполовину вынул револьвер. Кай-Октавиан, расставив короткие лапы, наклонил голову и глядел на укротителя совсем не домашним взором. «Кто ты такой?» — спрашивал этот взор.

— Назад! В клетку! — отрубил Плонский.

Кай-Октавиан шевельнул усом, словно отбрасывая этим движением обрубок. «О, да ты забываешься!» — говорило это движение.

Шофер Дементьев спустил ноги за дверцу кабины и, упершись локтями в колени, наблюдал за беседой между укротителем и тигром. Он не сомневался, что укротитель уговорит тигра, иначе на правах шофера первого класса он должен был идти спасать девушку. Белое лицо Дементьева выражало умиление.

— Зверь-зверь, а по экскурсии тоскует,— мягко сказал он гладкому ассистенту.— И пожрать хочется. И сомневается, что запрут.

Гладкий ассистент, стоявший возле раскрытой клетки Кая-Октавиана, проговорил:

— Вы б заперлись сами. А если он на вас, на чужого, прыгнет? Он не дышленок...

— Кабы дышленок, я б его сам взял,— спокойно ответил шофер.— Только какой ему расчет — на меня? У меня в руке ключ, а в клетке — готово мясо.— И, встав, он крикнул Плонскому: — Товарищ укрощающий! Он запах мяса плохо чует. Ветер относит. Разрешите, я ему — поближе, на таком, глазомерно, расстоянии, чтобы успеть в клетку сбросить...

Плонский не отвечал. Он вынул револьвер. Тигр фыркнул, попятился было, а затем опять стал на прежнюю позицию, в положение «А».

— Я — мужик. Я и сено могу с вил,— продолжал шофер,— могу и мясо кинуть.

Сквозь шум потока Плонский расслышал шаги по щепню. Он перевел глаза. С плаксивым выражением длинного белого лица к укротителю шел шофер Дементьев, держа на вилах кусок мяса. Плаксивое выражение было у него оттого, что он держал во рту свисток ассистента, который по-прежнему дежурил возле дверей клетки, готовый хлопнуть ее.

— Ну, так свистите же,— громко сказал укротитель.

Шофер засвистел со страстью почти милицейской.

Тигр чуть повел плечом в сторону свистка. Шофер параболой, точно меча сено на стог, бросил вилами мимо тигра в клетку большой кусок теплого и пахучего мяса, а сам повалился — для безопасности — на землю. Мясо шлепнулось на сухой и горячий пол клетки. Ассистент наклонился, готовясь хлопнуть дверью...

Тигр собрался прыгнуть...

Но для того чтобы прыгнуть, он несколько попятился. Берег подломился под ним. Он упал в воду, но не на перекате, через который проходил брод, а в глубину!

Плонский кинулся к обрыву. Под ним, среди корней, которые крутил и ломал поток, что-то барахталось и фыркало. Корни, многочисленные, дубовые, крепкие, образовывали непроходимую сеть. Густая тень обрыва лежала на корнях и на воде. Трудно было разглядеть там желтое мо-

гучее тело. Но наконец Плонский разобрался. Тигра зажали между двумя мощными корнями. Он напряг силы. Показалась его морда, мокрая, присмиревшая, полная испуга, почти ребячьего.

— О-о!.. — услышал возле себя Плонский голос шофера. Шофер, подобно псарю, порскающему по острову и ободряющему собак «оканьем», орал и на тигра!

— Шофер, трос!.. Которым машину!..

— Понятно.

Плонский схватил трос, накинул его на корень:

— Дергай.

— Через машину?

— Через.

Когда платье на теле укротителя высохло — ибо, после того как спасли тигра и он стремглав испуганно влетел в свою клетку, Плонский сам свалился в воду и ассистент с шофером не без труда вытащили его, — Плонский важно говорил, стоя возле машины со зверями и разглядывая букет, поднесенный ему девушкой-шофером:

— Красивые цветы. Но не цветы нам сегодня принимать бы, а розги. Что вы, в частности, не слышали свистка, Алексей Валерьевич?

— Я исполнял ваше приказание, — пробормотал Алексей Валерьевич, разглядывая трубку, которая дымилась теперь уже во рту гладкого ассистента — и дымилась исправно, — я собирал букет.

— Вы собирали букет, но вы потеряли место моего первого помощника. Вперед, шофер.

Речка скрылась за дубами. Плонский наклонился к своему первому помощнику и сказал то, что он не мог сказать в присутствии шоферов. Его чрезвычайно беспокоит Кай-Октавиан.

— Вы заметили — ненависть. Настоящая ненависть. Он даже не прикоснулся к мясу. Отказался от пищи. Как мы его сегодня выведем на арену?

— А надо.

— Надо, — сказал укротитель. — Мы обязаны.

Волнообразно, массивно выросли террасы и утесы, изрезанные глубокими бурными ущельями. Скоро начнется плоскогорье Бух-Тайрон, окончатся впадины, покрытые зеленью, встанет дикий камень, и в достаточном количестве. Говорят, что прежде через это плоскогорье даже птицы боялись летать, как через море, и верблюдов, из-за отсут-

ствия травы, поили соком арбузов. Зелени не бывало даже и весной, и караваны старались идти через плоскогорье напроход, без остановок. Теперь многое изменилось и особенно изменится, когда колхозники окончат канал...

«Надо. Обязаны и мы!»

Укротитель вспомнил, что, когда машины тронулись, он услышал словно бы гул в горах от взрыва. Не подняли ли перемычку?

Укротитель посмотрел на свои большие часы. Они показывали двадцать минут пятого. «Да ведь это же просто. Как я не догадался!»

— Стой!

Он выпрыгнул из машины.

— Я забыл револьвер на берегу... Выбросил, когда тянул Кая... Обождите меня...

И он пошел обратно. Ассистенты и шоферы удивленно смотрели ему вслед. Револьвер-то находился у него в кобуре.

Он вскоре вернулся и спросил шофера:

— Дементьев! Когда вы рассчитывали прибыть к переправе?

— К мосту?

— Да, к мосту.

— Так его ж снесло!

— Вот я вас и спрашиваю: когда вам было приказано вашим начальством прибыть к мосту, — снесло его или нет, все равно?

— К четырем дням.

— А вы прибыли на два часа раньше?

— Жал, товарищ укрощающий.

— Напрасно, выходит, жали, мой друг. Полчетвертого строители взорвали перемычку, остановили поток, и воды его хлынули в котловину, где предположено быть Бух-Тайронскому водохранилищу. Теперь ясно?

Все по-прежнему глядели на укротителя с недоумением.

— Боже мой! Они не понимают. Да ведь строители хотели сделать нам подарок: моста нет, но и потока нет. Я сейчас был у потока. Его нет.

Шофер свистнул.

— Конфузное дело, товарищ командир.

Плонский сказал, указывая на горы:

— Мы все заинтересованы в четкой работе зверей, тем

более что они принадлежат нашему государству. Поможем зверям. В чем заключается эта помощь? А в том, что, если люди узнают о наших переживаниях при переправе через речку, когда звери даже вырывались на свободу, зрители неизбежно взволнуются и передадут это волнение зверям. Звери очень чутки к настроению зрительного зала. Волнение может кончиться плохо. Я предлагаю: инцидента у речки не было. Переправа прошла благополучно, ровно в четыре часа дня, как и намечалось. Понятно?

Шофер Дементьев сказал:

— А два часа, которые мы нагнали?

— Нет. Переехали ровно в четыре часа. Как посуху!

— Есть как посуху! — сказал шофер Дементьев. — Понятно.

И шофер с бледным лицом и девушка в сером сдержали свое слово.

Для этого они сели в первый ряд и хлопали укротителю отчаянно, с веселыми и беззаботными лицами. Укротитель в безукоризненном фраке, с орденской ленточкой выходил на аплодисменты. Лицо его было, как всегда, спокойное, и сдержанная улыбка была на его губах.

Арена цирка приобрела свои нормальные размеры, хотя позади наскоро сколоченных скамеек виднелась корпуса строительства, красивая электростанция и озеро, образовавшееся от запруды потока. В озере уже отражались горы, и даже слышался гам птиц, пробуждающихся от аплодисментов...

После представления артистов чествовали. За столом укротитель сидел рядом с почетным стахановцем строительства — Антоном Максимовым, который говорил:

— А мы вам здорово ответили? Велели приехать к мосту в четыре дня. Думаем: снесет мост, все равно речку отведем и пустим в пустыню. У нас тут посева, брат, намечены — у-у... Ну, и для вас — повернули поток без десяти четыре... Как переехали?

— Как посуху, — ответил укротитель и взглянул на шофера Дементьева, который сидел напротив и прислушивался к разговору.

Дементьев сказал:

— Глазомерно, как посуху! — И он поднял стакан с вином за здоровье жены укротителя, которая согласно полученной сейчас телеграмме благополучно разрешилась дочкой.

И Дементьев сказал:

— Я тоже телеграмму отбил. Дружок у меня, начальник гаража, жених...— Он указал на девушку в сером и добавил: — Ее жених! Я ему отбил, что, как мною лично проверено, его невеста вполне может отвечать за шофера второго класса.

Дементьев, как видели все, был чересчур разговорчив, но все желали слушать не его, а укротителя. И поэтому стахановец Максимов завел разговор о тиграх, обращаясь к Плонскому. Он пожелал получить «исчерпывающие данные по поводу укрощения». Плонский сказал:

— Тигр — зверь. Работать с ним трудно. Но человек, как всегда в битве со зверем, должен выйти победителем. И я стремлюсь к тому — и выхожу победителем. Разумеется, при помощи других товарищей. Общими силами мы ставим тигра в положение «Б», то есть на тумбу...

Мысли его, как видите, не отличались новизной, но говорил он мерно и веско, и все слушали его внимательно. Он бы мог вдвойне и втройне увеличить эту внимательность, скажи он все то, что знал и о чем умалчивал, но о чем рвался сообщить своей жене. Кай-Октавиан больше не скалил зубов, исполнял приказания немедленно и с полным уважением глядел на руку укротителя, который, раскланиваясь с публикой не без уважения к своему дарованию, шептал, скрестив руки:

— Ужо тебе!

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА



Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим, и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам,— он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислуши-

ваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастая, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да иохранишь ли ты его, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей.

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копьё, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел

Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топки берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, чернофиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф, — сказал он. — Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время, — сдержанно сказал солдат, — сильные

и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат. — Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копьё и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью. — Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола, — ответил старик, боязливо оглядываясь. Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь, — ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой щем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

Он шел, шлепая подошвами бамшаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложке ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на облаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он. — Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатога его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой пахло дымом и оливковым маслом. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Зола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесан-

ного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.

А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей два раба, мерно раскачиваясь, месили ногами вальняную глину, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шаг. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизу белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкого и гнилого оврага. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватили солдата за плащ, за меч, за коварный мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сугулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при

любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и выпустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, испускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск его учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухачь, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидел россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держа за меч и взывая к богам и к Эолу, в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-преж-

нему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидеть врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятась в эту долину, веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидел дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкою, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоисанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр. — Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь.— И он прорычал: — Р-р-рад!
За хижинной колодец. Спустишь. Сбоку — яма. Р-р-рад!
В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидел две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахнуло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу неся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар

добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?..— спросил он хриплым басом.— Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?..— с усилием спросил хозяин.— Р-рад! В Коринф.

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затѣм руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф? И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указал на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить.— И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидел после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться! И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он

пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад! — пророкотал тот. — Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно, — ответил, широко улыбаясь, хозяин. — Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно, — ответил хозяин. — Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат. — Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня, — сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами. — Рад! Последний день.

— Слава Зевсу, — сказал привычным голосом солдат. — Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино. — Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс, — настойчиво повторил хозяин. — Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем! — проговорил, заикаясь, солдат. — Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я, — ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал,

как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты!

— Это я, Сизиф,— ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши.— Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои мысли.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,— нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, со-

бирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни: — Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу, — сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю, — ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О, боги! — воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю, — ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем, — вскричал солдат, — я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие подлинно синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из

ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотках на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними случилось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он. — Мы переправились через Геллеспонт, принесли на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, и направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.

И, распаяясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним: Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф, — я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагоприятно...

Солдат пошатнулся от злости, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа, — ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат. — И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобрести, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!.. — рычал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город.. Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилиях и кости их тунится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Поллиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами, Поллиандр обмак-

нул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр,— военачальник, стоящий рядом с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — вскричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полोल, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать... — рычал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф. — Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель... — И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе и, по привычке, сунул под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыл овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в илюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полосу света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидал, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедро, голени и ступни мои стары. Молодое поколение грехов идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда

зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатил камень.

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал невнятно, и солдат не расслышал, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять раскаленный отливочный металл. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрешье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой вершине кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сгупу окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, ах... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..



Возле кички, ближе к носу ладьи, обдуваемые теплым низовым ветром, сидели на жердях государевы сокола. Воевода Одудовский, плывущий в Астрахань, должен был отправить их далее, в дар персидскому шаху. Подле птиц постоянно дежурили ловчие, а поодаль, у борта, красовался стрелец в ярко-зеленом кафтане. Изредка стрелец выходил на кичку — настил из досок за бортом, откуда судовая команда отпускает и поднимает якорь, — и тогда стрелец видел в блеклых волнах оранжевую русалку с загнутым хвостом, нарисованную на «скулах» судна, белую резьбу по борту, квадратный и низкий парус, флюгер на мачте, длинную алую ленту под ним и вверху вырезанного из листовой меди архангела Михаила, трубящего в трубу благополучие и счастье путникам.

Трюм государевой ладьи был туго набит кипами мехов, кои надлежало обменять у персидских купцов на крупный, рассычатый рис, на сладкие да пахучие сушеные фрукты, на тонкие разноцветные шелка и на редких прирученных зверей, которых так любил царь Алексей Михайлович. Кроме тех мехов, в трюме лежали ядра и порох для астраханского войска. Лежала и обильная снедь воеводская, так как воевода плыл не один, а с женой да двумя дочерьми, которых показывал Москве в чайнии женихов. Женихов не нашлось, боярыня сердилась, боярышни капризничали, как малые детки, а веселому умному воеводе все было нипочем. Дородный, смеющийся, румяный, в белой длинной рубахе из индийского шелка и в ла-

ворово-синих атласных штанах, ходил он по судну и веселил всех.

Старался воевода развеселить и тех иноземцев, которых государь повелел доставить в Персию, ибо оттуда собираются они пробраться к себе в затейливую и ученую Флоренцию. Иноземцам — страшновато. Путь домой через Волгу, Персию или Турцию — далекий и неверный, а что поделаешь?.. Другие пути, в тот 1664 год, еще более неверны. Через Польшу? Дороги туда забиты русским войском, сама Польша горит внутренними беспорядками, русские осаждают Глухов, шутит в степях гетман Тетеря, и непонятно, к кому он хочет: то ли к московскому царю, то ли к польской республике. Через север? Куда там. В Швеции — смута.

Иноземцев плыло на судне шестеро. Старшего из них звали мессер Филипп Андзолетто, его правую руку — Мальпроста, остальные были помощники в работе да слуги. Работали иноземцы в Москве золотую кожу да мебель и, зарабатывав достаточное мехов и монеты, затосковали по дому. Особенно тосковал мессер Андзолетто.

Мессер Филипп — согбен, с красными, воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным. Мальпроста — высок и строен, потертый шарлахово-алый кафтан лежит на нем ловко, мягкие кисти его рук белы, и он ими гордится, стараясь прикоснуться до всего, что попадает на глаза. Он — удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение, — и женщины любят обольщаться им. Оттого мессер Филипп считает его хитрым и двоедушным, а держит при себе лишь потому, что — золотые руки. Филипп Андзолетто сторбился на непрестанной, бессонной работе и на ней же испортил глаза; как ему бы, казалось, не ценить того, кто так несравненно умеет делать золотую кожу и драгоценнейшую резную мебель. А как ценить, если у тебя молодая жена и сердце твое молодо?..

Август выдался строгий, сухой. Словно что-то требуя, резко и неуклонно дул с низовья встречный ветер-лобач. Судно двигалось мешкотно навстречу грузной, пепельно-серой волне. Река омельковела, было много перекатов. Мужичья лямка не помогала, и в бечеву впрягали лошадей. Лошади тянули до тех пор, пока перед носом судна не образовывались груды песка, которые мужики и разгребали лопатами. Иноземцы шли тогда к носу судна, ждать, когда оно тронется,

Они с грустью глядели на пепельно-серые копны мокрого песка, медленно тающего в воде. Путь домой казался теперь особенно долгим. И, понимая их тоску, подходил к ним воевода Одудовский.

— Поесть-попить, люди добрые, не желаете ли? — спрашивал он радушно. — Брага есть, мед? Да и я с вами выпью!

Мессер Филипп сказывался недомогающим, а Мальпроста всегда соглашался. Накрывали стол. Слуга лил брагу в кубки. Воевода поднимал кубок за здравие гостей и, указывая на государевых соколов, говорил:

— Хороша охота? Приедете в Персию, шах покажет вам этих птиц в деле. Я бы тоже показал, но приказано держать их на жерди, смирно.

— Персы — грабители и обманщики, — возражал Андзолетто. — Они нас обдерут и убьют, где там, синьор воевода, видеть нам соколиные охоты.

— А по-моему, милый учитель, — говорил Мальпроста, — синьор воевода прав. Персы чтут искусство, а равно и людей искусства. Мы сделаем красивое, обитое золоченой кожей седло для шаха, и он покажет нам свою соколиную охоту. И повелит проводить нас тихими дорогами вплоть до нашего родного моря!

На лице у мессера Филиппа появлялась такая скука, что воеводе Одудовскому делалось не по себе, и он, взяв кубок, отходил к соколам. Он слегка поднимал кубок, как бы за здравие этих прекрасных государевых птиц, и обращался оттуда к иноземцам:

— Жаль, мессер Филипп, что ты презираешь охоту. Ты бы порадовался и возликовал душою, глядя на этих кречетов. Смотри, как они атласно-белы! Они будто сами собой, во славу бога и спасителя нашего Иисуса Христа, испускают из себя свет. Эти кречеты, мессер Филипп, родятся у нас на севере, и нигде больше! Посмотри на этого, третьего с краю, в синем колпачке. Он весь цвета белого рога, и даже у нас, на Руси, он считается за редкость.

— Слава, слава государю, вырастившему такого сокола! — воскликнул Мальпроста. — Ах, имей я эту птицу, я бы гордился ею, словно архангелом!

— Тьфу! Тьфу! Надо, Мальпроста, гордиться добродетелями, а не птицей, — говорил мессер Филипп, сверкая красным своим глазом. — Чти ранг человека, а не ранг птицы.

— Выше всего я чту ранг красавицы, дарящей меня любовью, затем — ранг короля, которому я делаю мебель и который мне платит исправно, а затем — ранг птицы, подобной этому кречету! — восклицал Мальпроста.

А мессер Филипп шептал молитвы. Он не желал слушать нечестивые речи, затрагивающие его и без того затронутую тайными помыслами душу. Ибо, глядя на волны, он смущенно переводил свой красный, воспаленный взор на прибрежные пески. Но и пески, — да простит господь бог грехи наши! — но и пески лежали волнами, напоминали ему о прелестях его молодой жены. «Все бо предстанем судилищу...» — бормотал он и не находил сил окончить молитву. Его тянуло — стыдно сказать! — к Мальпроста. Хотелось узнать мысли помощника, а главным образом те, которые относились к молодой жене, к волнующим ее прелестям... «Все бо предстанем судилищу...»

Судно, содрогаясь, заскрежетало по песку. Внизу, в трюме, что-то упало. Сокола на жерди затрепетали крыльями. Выплеснулась брага из кубка воеводы... Значит, опять вышли на прямую, глубокою воду, на плес.

— Обрыв видите? — спросил воевода.

— Видим, видим, — отозвался Мальпроста.

— Обрыв кончится, начнется село князя Подзольева. Богат князь! Много медов, да и романей водится. Хлебо-солный, хоть и с придурью. Да вам небось с тоски да устатку на любую придурь весело посмотреть?

Стол убрали. Судно готовилось к причалу. Воевода пошел переодеться. Иноземцы остались одни.

Шли вдоль высокого светло-оранжевого обрыва. Обрыв весь в точках, норках. На обрыве — погост с тускло-сумрачными крестами и церковь грубой работы. Значит, верно, скоро село. Сел попадалось много, и мессер Филипп привык к ним. Не удивляло его и богатство, не удивляла и боярская придурь; видывал он и расписные хоромы князей, подражавших Коломенскому дворцу, видывал он и бедные хижинки крестьян. Что ему княжья придурь? Он хочет домой, во Флоренцию.

Разве он не заработал ту пору, когда можно жить и не покидая прекрасных берегов Арно? Во Флоренции, неподалеку от главного моста, некий Каппиччо продает гостиницу. Дом этот хорошо посещается, так как стоит в центре города. Хватит ему золотить кожи, он хочет позолотить

свое сердце! Он передаст Мальпроста мастерскую кож и мебели и, таким образом, избавится от его лисьего взгляда, который делается совсем душным, когда тот глядит на молодую жену хозяина. Мессер Филипп не допускал мысли об измене жены, но он знал, что такое годы. В его годы жениться — это все равно что призывать дьявола в полночь. Тьфу, тьфу!.. Мессер Филипп незаметно перекрестился и пообещал к тем мехам, что он вез для вклада в монастырь, прибавить еще бобровый мех для приора...

— Дорогой учитель, знаете ли вы, на какую придурь князя Подзольева намекал воевода?

— Нам уже не любопытна московская придурь, — сказал строго мессер Филипп. — Пожалуй, нам пора подумать о персидской.

— О, напрасно, мессер Филипп! Только жирный, самонадеянный воевода способен назвать любовь придурью. Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе.

Прохаживаясь по палубе, они остановились возле жердей, где сидели сокола с «опутенками» на лапах и с клобучками из мягкой кожи, закрывающими глаза, чтобы до самого «пуска» не видали они птицы. Мальпроста, любясь на кожу клобучка, что поднималась и падала возле отверстия, прорезанного для дыхания, сказал:

— Читали вы, синьор учитель, книгу «Декамерон» некоего флорентинца Боккаччо?

Мессер Филипп сухо ответил:

— Вадорная и пустая книга. Мессер Боккаччо написал ее вскоре после чумы, — да избавит нас господь от нее впреред! — после чумы, свирепствовавшей в нашем великом городе. Ему б следовало написать книгу смиренную и богоугодную, а он поступил постыдно. Весь его «Декамерон» повествует о том, как жены наутек, подобно зайцу от собак, убегают от своих обязанностей, а монахи... тьфу, тьфу!.. Однако, Мальпроста, я, как справедливый человек, отдаю ему должное. Боккаччо раскаялся и написал повесть «Корбаччо», книгу, наполненную почти аскетической ненавистью к женщине. Да будут прощены грехи его и да будет принята мирно душа его на небеса!

— Синьор учитель! Аскетические добродетели невыполнимы. Человек имеет право на любовь...

Мессер Филипп рассвирепел:

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Глупость? Это — правда, синьор учитель! Она повсюду в воздухе. И даже здесь, в этих диких лесах, рождающих кречетов, в этой жадной до денег и почестей Мосновии. И в доказательство я расскажу вам о князе Подзольеве, историю любви которого узнал случайно. Но прежде всего прошу вас, учитель, вернуться к книге достопочтенного поэта Боккаччо, к «Декамерону». Помните ли вы, мессер Филипп, новеллу о соколе?

Мессер Филипп сказал, что, чем он будет запоминать гадости, лучше пусть ему отрежут руку. Мальпроста воскликнул:

— Новелла совсем не гадка, мессер! Это возвышенный пример любви, рассказанный с таким же мастерством, с каким мы делаем наши милые кресла и золотим наши дорогие кожи. Синьор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: «Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и — съешьте его!» И, что вы думаете, синьор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И он съел своего сокола, о великий боже!.. Но, что более удивительно, дама дотоле непреклонная, полюбила кавалера.

Мессер Филипп Андзолетто сказал, что по-разному можно относиться к поступку кавалера, но нельзя отказывать ему в том, что он последователен. Книга же Боккаччо безнравственна. И, поджав губы и с усилием подняв голову, мессер Филипп посмотрел на берег реки осуждающим взглядом.

Ладья пристала к берегу. Упал с шумом парус и «гай», стая грачей поднялась с соседнего гумна. Судовая прислуга выбросила жалобно поскрипывающий трап. Вошел посланец князя, поклонился воеводе и сказал, что, прослушав обедню, князь Подзольев прибудет на судно, чтобы пригласить воеводу и гостей откусывать хлеба-соли.

А на берегу, в рваных портках из дерюги, вывернув ладони и широко расставив босые, с большими пальцами ноги, стоял огромный седой мужик, один из крепостных князя. Насупив брови, напряженно глядел он на судно, на иноземцев, на соколов государевых, на государева стрельца в зеленом кафтане. По-детски неразумно и опасно посматривал он: как бы не сглазили эти тонконогие иноземные черти, как бы не нанесли порчи? Уйти б, а уйти не хотелось. Мужик был говорлив, и казалось ему, что без его рассказов осиротеет свет...

Мессер Филипп глядел на берег, на седого великана-мужика, и грезилась ему Флоренция, мост через Арно, гостиница некоего Каппиччо. С узкого балкона ее слышны и крики ослов на мосту, видны и лица погонщиков, их хворостины, а того ясней видно сейчас плотное тело его молодой жены, видно, как она юлит юбкой туда-сюда... Ах, какая ребяческая, какая горькая тоска на сердце и как далек еще путь до Флоренции!

— Вы хотите слышать продолжение истории о соколе, мессер Филипп?

«Ах, этот Мальпроста! Ему б только любоваться на женщин и болтать о соколах. На московском сильном хлебе и дешевом мясе он располнел, стал розов и румян, окаянный Мальпроста!..» — подумал мессер Филипп.

— Какую еще историю?

— Историю удивительную, синьор учитель.— И Мальпроста продолжал: — Продолжение ее произошло триста лет спустя после того, как появилась книга «Декамерон» прославленного синьора Боккаччо. Из этого я вывожу то положение, что искусство более бессмертно, чем какой-либо дворянский род.

— Когда ты станешь дворянином, Мальпроста,— да поможет тебе в том бог! — ты будешь думать по-другому.

— Кто знает... но вернемся к князю Подзолеву, учитель. Вон его хоромы. Они велики и обширны. Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торопливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, синьор Юрий Подзолев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными имениями и громадными капиталами:

Представьте, синьор учитель, крышу, у которой нет стропил, нет тех самых бревен, которые всегда и везде служат основанием крыши.

— Бог — основание крыши нашей жизни, равно как и основание всего дома,— сказал, крестясь, мессер Филипп Андзолетто, одновременно стараясь отогнать воспоминание о крестном знамении, которое так плавно и красиво творит его молодая жена.

— Но ведь вы сами, синьор учитель, говорите, что схизматики отвернулись от истинного бога? Следовательно, князь Подзолев вдвойне не имел стропил. Но князь был удал, он настойчиво искал,— и вот он встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. Желитесь на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзольева, что он желал только этого зазорного поступка. Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее, словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзолев худел от любви, заперся в своих хорамах... И великие деньги оказались ненужными.

— У варваров,— сказал мессер Филипп,— любовь принимает грубые формы.

— О синьор учитель! — воскликнул Мальпроста.— Я рассказываю вам пример, доказывающий, что любовь одинакова и в теплом и в жарком климате, и на берегу Арно и здесь, на берегу Оки. Князь Подзолев умирал от любви. Царь московский Алексей Михайлович, вы знаете об этом, мессер Филипп, очень любопытен к жизни своих подданных, и он не замедлил узнать о затворничестве князя Подзольева, хотя и не знал причины этого затворничества. Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой — и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзольева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. Редчайшего белого кречета, синьор учитель! Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действительно приняла

молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно сказала: «Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя».

Мессер Филипп Андолетто сказал:

— Дьявол пришел к ним сбоку, Мальпроста, а они не заметили его. Помолимся за их грешные души.

На это Мальпроста ответил:

— Я хотел бы иметь жизнь этого дьявола, синьор учитель! Князь Юрий Подзолев, да будет благословенно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе, синьор учитель! А вы говорите — дьявол!..

Мессер Филипп не стал спорить, да и к тому ж над селом, хоромами и рекой понесся такой горячий, рьяный колокольный звон, что на душе мастера золотых кож полегчало. Показалась толпа. Впереди ее шел высокий сутулый князь Юрий Подзолев. Платье на нем было скромное, но дорогое: однорядка песочного цвета с золотою строкою.

Звонко, по-боевому ступая, он прошел трапом на палубу, степенно отдал поклон воеводе. Воевода был польщен быстрым приходом князя. Накрыли стол. Но перед тем, как приступить к трапезе, князь попросил показать ему царские дары, которые вез боярин Одудовский персидскому шаху.

Благодаря рассказу Мальпроста мессер Филипп особенно внимательно рассматривал князя Юрия Подзолева. Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костяные плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой — на какой-то застарелый едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев, — и странен был этот взгляд. Он и спрашивал, будто сам же отвечал на вопрос...

Иноземцы вкушали за отдельным столом. Мальпроста, отличавшийся вообще ненасытным стремлением к еде, теперь ел мало. Он во все свои выпуклые глаза смотрел на князя, словно ожидая от него чего-то необыкновенного.

Покушав, князь встал и повторил свое приглашение,

посланное утром через своего приближенного: отведать и его хлеба-соли, а буде явят милость, то посмотреть его животы-хозяйство. И к иноземцам он подошел. Слегка склонив голову, он спросил их: не пожертвуют ли иноземные гости частью своего времени, чтоб посетить его дом и трапезу? И опять странно вопрошающим показался иноземцам его взгляд. Мальпроста сказал самому себе, лояв этот взгляд: «Спрошу!» А спросить он хотел — правду ли говорят, будто князь Юрий в младости съел ради любви своего лучшего сокола?..

Пока мессер Филипп удивленно шамкал желтым своим ртом, подыскивая слова, Мальпроста, расшаркиваясь, выразил князю живейшее удовольствие и радость. Они так наслышаны о богатстве, а особенно о княжьей соколиной охоте; так жаждут ее увидеть... При этих словах князь, онять пытливо взглянув на иноземцев, отошел.

И село княжеское, и хоромы, и церковь, и службы — все поражало богатством, пышным, широким. Казалось, человек пожертвовал жизнью и честью для того, чтобы жаумить других, ошеломить, задохнуться! Смоляно-бурные, вековечные и крепкие стояли могучие избы мужиков. Из закрытых пригонов доносился сытый говор скота. Пахло молоком, хлебом; густой дремо-пунповый огонь виден был в печах; на крыльцо от печей выбегали бабы с лицами ежевичного цвета. Они низко кланялись проходящим.

Церковь снаружи была расписана цветами, а внутри — малагалась в поучительных и приятных картинах вся Вибляня. Направо, у клироса, было место князя. Здесь на стене худой и высокий старик в оранжево-красной ризе с гордым взглядом спускался в корабль. И было написано: «Иона сииде в испод корабля». Иноземцы не могли прочесть этой надписи — и потому, что их оставили на паперти, и потому, что церковнославянский язык им был непонятен. Впрочем, пречтя, едва ли б поняли смысл ее. Один лишь умный воевода Одудовский правильно разобрался в этой надписи. Он посмотрел на строгий взор Ионы, а затем сказал князю:

— А кого случится в смирение посадить, тот да сиди смирно. Ибо, если и возопил Иона в испод, в низ корабля, так тот Иона был пророк. Князь Юрий Михайлович, неужто ты этого не зналъ?.. Сидеть тебе смирно.

Князь, точно не слыша слов воеводы, перекрестился на образ неговорчивого Николы, что находился против

его места, и пожелал отслужить молебен о здравии царя. Мясистогубый поп начал, дьякон со злым сарацинским лицом подхватил песнопение, и в бронзово-серой дымке ладана исчезло надменное лицо Ионы и весь корабль его.

После молебна пошли осматривать хозяйство. Показывал князь конюшни и своего редкого чубарого коня, имеющего по белой шерсти рыжие пятна, а хвост и гриву черные. Конь храпел и бился возле стойла, словно неукротимый водопад. Глядя на коня, спросил воевода Одуловский:

— Неук? Не выезженная ни в упряжь, ни под верх? — и добавил, точно уже знал ответ князя: — Неук бьет, а обойдется, смирей коровы идет. Сиди смирно.

И опять был какой-то особый, скрытый смысл в его словах, но князь не верил этому смыслу и молчал. Он лишь, подойдя к коню, потрепал его по неудержимо длинной гриве.

Глядели игреневого, изжелта-рыжих, с белой гривой и белым хвостом; глядели чало-пегих, а затем перешли в «череду», коровье стадо, а из череды — в пчельник, в погреба, в амбары, на мельницу, шатровую, что поворачивается по ветру не воротом, а самим ветром. Добрых три часа ходили они по хозяйству, устали и проголодались. Князь заметил это и пригласил их к столу.

И хоромы у князя Подзолева были внутри расписные, до пояса в больших махрово-красных цветах, а от пояса в мелких эмалево-зеленых листочках. Мебель под цвет, под размер дома и не громоздка. Кажется — живи да радуйся! И, однако, во всем — и в селе, и в церкви, и в хоромах, и в службах — чувствовалась постоянная, неистребимая холодность; словно ворвалась сюда «фуга» — зимний ветреный холод, что продолжается иногда недели и загоняет отары в балки, ворвалась и поселилась здесь навсегда. От этого стойкого, решительного и непременного холода стынут руки и ноги, а того более стынет сердце.

Как начали, так и докушали молча. Не помогли ни жаренья, ни варенья, ни печенья, ни пироги, ни рыбы, ни птицы. Пасмурно сидел князь, пасмурно кушал и пил воевода. Хмуро сидели за отдельным столом иноземцы. И напрасно неугомонно суетились вокруг столов курчавые слуги.

Гости встали. Пора и домой. Пора судну отправляться, солнце склоняется уже к западу. Гости низко поклонились.

лись князю. Поклонился им и князь. Спасибо за хлеб-соль. Спасибо и вам, что не побрезговали.

«Значит, уходить? — подумал неугомонный и своевольный Мальпроста. — А как же — сокол? Узнаю ли правду? А как же ее узнаешь, если вовремя не уловишь?!» И решился тогда на вопрос неумичивый Мальпроста. Поклонившись еще раз, он сказал:

— Князь Юрий Михайлович! Славитесь вы и охотой соколиной. Но не показали вы ее нам. Неужели так мы и уедем, не повидавши дивной охоты?

Князь изменился в лице. Бешенство потрясло всю его длинную фигуру так, что затряслись дивно алые кисти у его кушака. Но он быстро сдержал себя и ответил:

— Ладно, если ты такой уж задорный охотник! Покажу покои для воспитания соколов... да и соколов...

Они пришли в крыло дома, в большие покои с высокими окнами, чтобы солнечные лучи входили свободно и согревали ловчих птиц. Притолоки в окнах были широкие: для помещения жердей, на которых сидит птица. В изразцовых печах — по белому фону синие птицы, — несмотря на лето, тлел огонь, чтобы сокол у огня встряхивался и вытягивался, а это показывает его полное здоровье.

— О истинный боже, — воскликнул восхищенный Мальпроста, — как чудны твои дела и как все это прекрасно!

Князь порозовел. Восклицание хотя было произнесено и на чужом языке, но для охотника все языки понятны.

На полу лежали широкие дерюжины с травой — буде вздумают сокола слететь для прохлаждения ног. Невысоко от пола, поперек покоя, были протянуты березовые жерди, тоже для соколиного баловства. Под жердями стояли широкие лохани со свежую водою, а вокруг лоханей все было осыпано речным песком и мелкими камушками.

— Дивно, дивно! — опять воскликнул Мальпроста. — По всем приметам вижу перед собой добрых, настоящих соколов.

Князь сказал:

— Добрый сокол должен быть широк в плечах и сжимался бы комком и закладывал крыло на крыло так, чтобы концы правильных перьев уподоблялись разогнутым ножницам. Сокол, развешивающий крылья и не подпирающийся, показывает вялость.

— Так, так, князь! — воскликнул Мальпроста. — Флорентинцы считают, что у сидящего доброго сокола голова между плеч должна казаться как бы вдавленною. И должны быть у него толстые «еми», лапы, и большие когти. И весь он на руке вашей должен быть тяжел, как младенец. Добрые у вас, князь, сокола, безукорные!

Со вдохом сказал князь:

— Вижу много укора моим соколам. Но вся моя жизнь в том, чтобы вывести такого сокола, какого не было ни у кого...

Вдомек и в примету, пожалуй, было его восклицание понятно лишь воеводе Одудовскому, но воевода устал от нищи, дышал тяжело, и хотелось ему спать. Зевая, шагал он позади беседовавших и рад был видеть свое судно, берег и ковер, на котором можно было вздремнуть. Устал и мессер Филипп Андзолетто, устал, и мерещилась ему в туманном видении Флоренция, берег Арно и беспокойные, волнующие прелести его молодой жены... Не устал лишь один неутомимый Мальпроста.

Вернулись на берег к ладье. На том берегу князь и ловчие били соколами птицу. Но не глядел туда князь.

Мальпроста видел с высокого берега Оки стремительные, словно затканые серебром воды таинственной русской реки; видел он, как через эти воды идут плоскодонные лодки, как надуются рубахи гребцов, как лодки до краев наполнены дичью, а там, на том берегу, возле озер и притоков, все еще продолжается соколиная охота, все еще скачут всадники, махая «вабилами», слышен стук трещоток и рокот тулумбасов, поднимающих птицу с воды, все еще сокола делают «ставки», стремительно ударяя птицу сверху. Эти сокола и эти охотники — князь, а князь и не смотрит на них, князь думает о своем, еще небывалом соколе, которого он еще вырастит!

И тогда спросил Мальпроста. — то, что он жаждал спросить, как только увидал князя Подзольева:

— Сеньор князь! Тайно и прошлое, и недоступно для человека знание будущего. Может быть, поэтому и нескромно выспрашивать человека о том, о чем он сам не желает думать. Но я молод и отважен. Я спрошу! Ибо я вернусь во Флоренцию, и там меня будут спрашивать: видел ли я князя Юрия Подзольева и правда ли, будто этот князь из-за любви к своей подруге зарезал и смучал

редчайшего сокола? И еще меня спросят: видел ли я эту несравненную подругу?...

И опять бешенство пронеслось и сотрясло все тело князя. И опять он сдержался и сказал иноземцу:

— Мне вера: говорить тебе, иноземец, правду. Того кречета государева звали Носник. Кречет тот был с севера, а на севере зовут так умельцев, которые проводят судна, лоцманов, знающих русла. Кречет, как и все сокола, чем старше, тем ленивее в ловле. Носник не знал старости. Он был твердый, постоянный и неуклонный...

Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.

— Видишь? — вскричал он. — Видишь, пристажи к берегу лодки с дичью? Видишь бабу воле лодок? Кричит, суется — нескладная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неужто я ее любил?.. Полно, ради ее ли зарезал государева кречета?! Неужли она, как саранча пожирала хлеб, пожрала меня?!

Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:

— Она, она!.. Это она, проклятая, все содела!.. Это из-за нее пожолкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника, государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета... Погибло все! Топчусь я на этом берегу воле Оки, опрокинут я, и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку...

Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.

Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и гово-

рил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов...»

Спросил князь с великой надеждой в голосе:

— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь за был о князе Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него.

Рулевой закричал:

— Отчаливай, ребята! — и повернул широкий размокший руль.

Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам высокий сутулый князь Юрий Подзольев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темно-пурпуровое солнце, говорящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.

Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.

— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. — Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке, иль и впредь думает поступать так же?

Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И скавал он:

— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.

Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.

— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял на носу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции, и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу... Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда такой далекий и неверный, о, истинный боже!..

МЕДНАЯ ЛАМПА



Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие молодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре, — и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уже молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взвешивать, ознаменовывать эти полные величия дни, этот жад-

ный шаг в жизнь! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек покажусь я им со своими девятью рублями семьдесятю пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь небывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отмеряют так много, что уже и седина ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь, в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой паре и почему-то с серебряной чайной ложечкой в руке, стоит, вцепив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены, — читаю я на его лице, — но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон, — меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им впору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейше заперты на засовы, замки, щеколды и

охраняются множеством собак. А улицы гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится; губы вялы, будто из пастилы. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговаться?

— Пожалуйте, господин, пожалуйста! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шашки, на пороги лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного стекла и с роговой трубочкой, из которой запашистой струей цедится на ваши ноги едкая жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как полено, расщепили меня на части. «Бесстрашие, бесстрашие!» — шептал я, и, обратив, так сказать, это желание в наличные, я сделал самое бесстрастное лицо, какое только мог вообразить. Оно одновременно стало и рделым, — и тут меня приняли за зеваку. Руки торговцев, было остановившиеся, снова двинули шашки по клеткам. Приказчики вернулись к дверям, к конику и опять усталились в верхний угол лавки, где играли солнечные зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем, мне легче думать о покупке. Я — свободен и могу выбрать для своей любви все, что хочу!

Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных плит. Город не избалован камнем — песок, да глина, да разве кирпич. Жара — летом, морозы и ветра — зимой зубасто и насмешливо мельчат все крупное, даже сахар и тот предпочитают здесь покупать не колотый, кусками, а песком. Поэтому каменные плиты тротуара для меня милы, как гребни Гималаев или Кордильер. Камни долго держат тепло, ступать по ним приятно — они нежат меня, благодаря им солнечный жар проникает насквозь.

Однако что же мне купить? Какой предмет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину, от окна к окну, беспрепятственно сближаясь с теми товарами, которым почему-либо суждено быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху, в упор, снизу, отхожу и немедленно забываю о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправы для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем мне они, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрызгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценою в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываюсь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флажками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекшей головой к стене, босяк. Возле ног его — медно-красный сосуд, похожий на крестьянский двухносый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Украины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подбородок, лошадино-мускулистая шея — покрыта слюной, а нос, лоб и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и иростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то, — повторяю я, — упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься, — привстав, говорит босяк. — Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А эта — коптилка, нос набок от вони своротит.

— Своротит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк. — Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закончится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладьину лампу слышал?

— Не Аладьина лампа, а лампа Аладина, счастливец такой был. Нашел лампу, открыл, а из нее Дух: кто прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота, — смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привыкшая к этой покупке! Зачем лампа у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающимся пренебрежением в голосе спрашивает босяк. — Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слюну, вплотную подходит ко мне и колочно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее совсем-то. Продаю

на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой выгоды. Отпущу ее на часок, на полчасика — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денежки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк. — Я вызвал и пожелал.

— Чего же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладына всегда при мне находилась. За какую б цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хируюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдеше в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю — китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папашой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волосатый, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю:

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру, как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей семьдесят

пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя на лицо босяка, которое делалось все более и более непроницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случалось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска, — сказал босяк, густо отхаркиваясь. — На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не заработаешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит, в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может, — сказал грустно босяк. — Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные пашни начнем встревать, от нас живой нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скурился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа, — утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием. — Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно.

Босяк показал на углубление возле ручки:

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство... — это я его так научил... — Какие, ваше вы-

сокопревосходительство, распоряженья, какая вышивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, простота, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк. — Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман», — думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались за девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы. Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я на четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Алладина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким сказочно-огромным; плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кенку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Алладина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потерять ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь за углом спрятался босяк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное местечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, мерной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышалась шаги. Догонял босяк:

— Эка дрябла памяти! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернул к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, молоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ гряды.

«Ну что ж, попробуем, — сказал я сам себе, глядя на лампу. — Прокатимся в будущее и в прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам босяка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженного водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебно блестит солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я босяка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалала его,

как орехи на огне, и оттого я посередобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было 6 и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему саквоюжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнуть и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посередине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира. Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с невозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю пронавести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде скатерти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неравменного рубля. Мои симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытаюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь?» Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе существование внешних предметов, независимо от моих, возможно даже самых фантастических, представлений. Должен признать, что я тогда еще не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире: Лампа способна доставить и поставить меня на это место, но в ее обязанности не входит указывать мне на это

место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любые сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер или в эту самую волшебную лампу Алладина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых, — что такое счастье? В восемнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не услышали б о лампе Алладина, находящейся в руках босяка, и не стерли б ее до размеров пятна, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви, — добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде, — и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором России, я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я

ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а они, кажется, не очень настаивали на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император! Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на троне. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не намельчу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь подвигам ради счастья людей. Он исходил землю, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно, почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выйди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы и драконов, и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы прославился и все начали бы говорить о нем... Да, старик был слабее меня, зато он обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чур-

ку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подальше и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пенком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды, охотничьих желаний, честолюбия и удачнейшего возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конюкрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно отбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канаусный цвет краями и начало лениво биться о песок. Оно оторвалось от проходившего мимо плота; начался, по-видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их новезут на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»? .

Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем.

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда — банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и невучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!

И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типографщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... Стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем? И мне сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь.

Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да, — как это и случалось с кое-какими архиереями, — скорбь взмахнет крылышками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как мешок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые дисканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церковь!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности.

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот, тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома» и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще на ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капает вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную материю себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Торопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижается, лжет, клеветает или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социология, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все степени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной, плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на последний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут какая, поди-вот». Кусочки глины с цветным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я. — Ты, брат, не плутуй!

Босяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и всё!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскочил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пламенной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей Михновым, семипалатинским мещанином, который был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли! Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение, и она так уверена в силе этого вдохновения, что не побоялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалкого пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре покинула Павлодар, перебравшись зачем-то в Семипалатинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михновым, мне эта встреча казалась не очень-то умно рассказанной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка, выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магазине медную лампу. На первый взгляд она мне показалась очень похожей на ту, которую давал мне Вася Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа совсем другая. По-видимому, я просто тосковал по молодости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли, что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спустя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуцкой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипалатинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил или взял силою какой-то пьянчужка, некто Вася Михнов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой. Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребенок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье свое», — добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

3 октября 1944 г.

16 ноября 1956 г.

АГАСФЕР



Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразил мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм,— сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обработавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин, — лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызывае-

мый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем художественного произведения,— если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно, в наше время всевозможных удач,— стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна»,— говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной,— может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна,— сказал я ей,— то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я — второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и

для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Не удивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызвавшее, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настроженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидел явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными, камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа почти на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полую плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне действительно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

— Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно настоятельно переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторой паузы, он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад длин-

ную голову.— Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатках и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек несмешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору, — сказал я, продолжая смеяться, — но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана, — а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае, — вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех, — ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову. — Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господина... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Виттемберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тисненными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка, роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократична. Нет бога, кроме бога любви!

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, свадеб-

ном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее... «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту испуганно прижималась ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, по мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже. — Он вздохнул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился

мне я манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позвольте продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумеет только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбическилистные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук

органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, но теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну, а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатил меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того, я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрица-

тельно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради, я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одурающих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он оказался мне пресным, мало энергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзкими и противными. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посоветовавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут.

Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папирской.

Папирса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления:

— Каяться пришли?

— Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову.

— Как? — спросила она со смехом.

— Я переделал вашу фамилию.

— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова? Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно чувствую гниепой, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах?

— Гиены-то? В камнях и песках.

— Ну, там подыхать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк.

Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:

— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно, — за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, шпрожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписалась...

— Какая же это продажа, если расписались?

— То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила.

— Оделись, по крайней мере? — спросил я, не знаю зачем.

Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — и жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучиться? Вот еще!»

И она сказала:

— Одедась неплохо.

— А ну, покажитесь, выйдите!

— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?

— Уж и манто!

— Уверяю.

— И мама с вами переехала? Племянница маленькая... как они?

— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал, — воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс, — вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет, — ответила она и с каким-то непонятым раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Лечение мне нужно, лечение... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо

вьющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне. — Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель, — клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный, — кивнул мне головой, быстро прошмыгнув в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевым:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Будите вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите, — хихикнул мой посетитель. — Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатного экземпляра «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер» и принадлежащего перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так, — сказал посетитель. — Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдальбивать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Браман, пьяница, распутник и не без пытливости, — в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак, — был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору, — разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

— Продали? Опоив и затащив в притон?

— Она пришла туда сама.

— Почему?

— Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила пемножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда

Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Брамана на пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Брамана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Троию.

Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?». Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибывали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы не логично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей,— словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вождедея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обручком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить, — сказал будто бы Иисус, — но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из рук. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иеру-

салим, он отправился странствовать, и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника? С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранно-желтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолетней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был стального, сизого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемь—десять лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высо-

кочтимый доктор Священного писания и слуга господя, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокойт господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет! Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закрученными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрывающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплесало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне неслось: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господя!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся, — как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались заостренными, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед ко-

торыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, напичканное глупыми книгамп, а на самом деле я сластолюбивый старик, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он вскочил и заметно более твердыми шагами выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменял по ступенькам.

Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Опозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает *ваши очертания*, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность, хотя бы для того, чтоб бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила гибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою гибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немного достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его

стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самохвастаний! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверон», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии, — глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистапса, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме,

разбирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он успешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга, — пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что

это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых маловероятных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасфере для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдebroгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертию — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнорзок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычным выводам пришел я, раз-

мышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *уменьшился* в росте, голова моя начала суживаться и *удлиняться*, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид!*

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной, — нисколько *не ниже* меня, — шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, нацелебнейший. А я на вас смотрю и думаю, — кажется, он? Изменился! Во мне — смятенье! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести, сколько ему угодно, вставляя любые и необходимые для него *слова*, а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило

так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавды. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клавде чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают, — есть и такие, — и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно, — какой я сыщик! — но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич.

— Ослабел.

— На улице, возможно, я бы вас не узнала.

— К лучшему.

— Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви.

— Пару дней назад вы говорили другое.

— Врала.

— И насчет лысины?

— Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро род-

ных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.

— За доброту?

— Это великое качество!

— Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

— А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?

— Откуда ему быть?

— Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь.

Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет, — сказал я. — Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь

содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплести косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад... — начала она, взбивая подушку. — Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его:

— Клавдия фоп Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и *округлившееся* — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили:

«Пыль есть пыль, и это даже не пыль от Агасфера», — и смеялся бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне мясистую — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вокруг меня и — задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как забуренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?..

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!.. — смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я. — Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за *моими* словами, за *моими* мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха... — откинувшись на спинку дивана, сказал я. — Он пришел из Московии? А что говорит — анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Крестмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать? — грозно привстав, спросил я.

— В Московии, — ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе *жалость* того, кто даст вам *жизнь* и возьмет вашу *смерть*?

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалуете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привык сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи:

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка», — подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, трясая головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал:

— Она ужасна, *ваша смерть*, фон Эйтцен?

Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она — непереносима, эта *ваша смерть*, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть*, фон Эйтцен?

Скажите мне адрес вашей смерти? Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь... — еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он. — Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись, — едко сказал я ему. — Так что же это значит: «здесь»? Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что, издеваетесь надо мной?! — крикнул я. — Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество», — твердил я.

Он, поежившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях,

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутылки? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

— В кошеле?

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того, как я заметил, что он *разного* со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала, хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить.

Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, *то же* самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетиный, мороз подрал меня по коже. И в то же время, неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела!

Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера по-прежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы.

— Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена, — без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то... — может быть, родственникам Клавы или Агасферу?.. — мою комнату и переехать в Толстопальцево?» — подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне.

— Согласна и на большее.

— А на что именно? — спросил я с трепетом.

— На все, что ты велишь.

— Нет, не на все! — закричал я громко. — Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.

— Именно всему. Это и есть любовь.

— Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.

— Я верю всему, что ты говоришь.

— Даже существованию Агасфера?

— Даже!

— Ха-ха!

— Чему ты смеешься?

— Как быстро ты дисциплинировалась.

— Тебе не нравится?

— Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал:

«Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?»
Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно, — они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?

— Смешно.

— И будет смешно, если я тебя захочу съесть?

— В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод, — ответила Клава спокойно, — и там всякое случается. Мы будем ждать?

— Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если нет — он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!

Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.

Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.

— Спал хорошо, милый?

— Великолепно.

Где уж там великолепно!

Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!

— Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет.

— Нет, придет!

Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять. А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого

богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, — и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и..

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, большую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна.

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна, — ответила она твердо.

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками *моего* интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплоскать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он *должен* отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему *должен*? А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злого испуга, *должен* отвечать мне.

— Адрес вашей смерти, — спросил я, — Толстопальцево?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцево?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было не легко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками, я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавды, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы? — крикнул я ему.

— В Толстопальцево, — ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и, — огромный, седоволосый, — поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густо-сплощенный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплещается!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший семью?»

Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумаспешный, контуженый?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заснул ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают невцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?!

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?

Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — прыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых

листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдать...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкорке.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойдя дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырьчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?!

— Дорогой, долго еще идти? — слышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеле-

ным мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете? — спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул? — крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

— Ой-ой-а-а-с-с-ф!.. — подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схеме горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вдох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалишь!

Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидел продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремила к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиной не менее как в три пальца, и суку упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся. — И я

начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старинная шутка, а затем — откуда старине знать нержавеющей сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тошней, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту, — сердито сказал я, — что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его мацера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и всё вокруг кочки, в той лиловато-пестрой болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник, — сказал я, смеясь, — и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке, — сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой,— сказала мне Клава,— его, кажись, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги,— сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала.— Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиноного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидел я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы!

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вокруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде,— прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава! — крикнул я.

Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединившего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой. — И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел последний раз? Ах да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой mine. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими

родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтоб очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем, я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми бульжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячивших фигуры. Я решил проучить мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем, — бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великоленно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

7 сентября 1944 г.
5 ноября 1956 г.

ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ



I

Отец поэта выделывал превосходные кривые ножи, как кие ковал и дед отца, и прадед. Оттого земля дома ремесленников иль-Каман от непрерывного поступления угля и сажи стала несравненного черного цвета. Однако и на эту прокопченную землю зарились богачи, раскинувшие вокруг мастерской оружейника свои сады, увеселительные беседки и влажные фонтаны.

Народ уважает тех, кто кует хорошее оружие, и отчасти из страха перед народом, а главным образом из трепета перед острыми ножами, которые умели не только выковывать, но и применять с редким искусством ремесленники иль-Каман, судьи признавали право их владения.

Споря с богачами, не разбогатеешь. Иль-Каманы любили целительный блеск цветов и сочные плоды, но как они ни рыхлили землю, как ни заботились о ней, она дарила им лишь семь жалких кустов роз. Вдобавок копать и сажать быстро превращали расцветшие розы из белых в серые, а из алых — в махрово-черные. И все же цветы эти возвышались среди ржавых кусков железа, куч плака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала.

II

Мальчик Махмуд и в ковке ножей, и особенно в отделке их проявлял изумительную ловкость и разумение. На рукоятку ножей он ввел орнамент роз, а лезвие украшал тремя полуразвернутыми лепестками. Заказчики предсказывали ему большое будущее. Быть может, ему суждено увидеть лучшие времена Багдада и он будет каким-нибудь крупным купцом, или мореходом, или организатором процветающей компании караванов? Не его ли верблюды пойдут в далекую Бухару и Китай, а корабли — в Индию и Цейлон?

И отец его, обольстившись догадками заказчиков, подумал: «Что я знаю о будущем? Они много ездили и, несомненно, видят будущее лучше меня».

И отец повел мальчика к своему другу, судье багдадского базара, кади Ахмету. Кади Ахмет считался шутником, а это, как ни странно, украшает суд, обещая победу истцу и легкое наказание ответчику. Кади Ахмет преподавал мальчику начатки грамоты и поэзии, сказав, что остального — а оно огромно! — он должен добиваться сам. Иначе какая цена его ножам, если торговец, продающий ему железо, будет продавать ему уже готовые лезвия и рукоятки?

Затем отец повел его ко второму своему другу, законопведу Джелладину, который скривился и закалился, изучая Коран, лучше и крепче самого удачного из ножей, выкованных отцом, и дедом, и прадедом.

III

Едва мальчик успел погрузить свое сердце в грохочущие и оглушительные видения пророка Магомета, за которыми Джелладин настойчиво указывал на Закон, — отец мальчика погиб, и мальчик вернулся к горну, к наковальне и к токарному станку предков. Всепожирающий, страшный «греческий огонь» поверг отца в глубины Средиземного моря, когда тот, в обществе таких же осужденных и голодных ремесленников, вздумал плыть в Италию, чтобы там выгодно продать свои изделия, а при случае подраться с теми, которые не желают покупать эти

изделия. Багдад в те дни раздирали смуты, сталь для лезвий и рог для рукояток подорожали. Детей и жену нужно кормить,— и не продавать же свой домишко богачам, посредники которых все чаще и чаще стучались в деревянные ворота, источенные временем и червями.

Заказчиков не было. Ища занятий, молодой человек выходил к набережным Тигра, куда, медленно уравнивая бортами беглый свет на переливающихся волнах, пришвартовывались морские суда, пришедшие из Красного моря и груженные товарами Индии: душистым и драгоценным деревом, лечебными травами, пряностями, шелком.

Моряки с рыжевато-бурыми от ветров щеками прыгивали на камни набережной и торопились в притоны, пить,— о, беззаконные! — пить вино и ласкать таких же беззаконных и бесстыдных женщин. Глядя на моряков, молодой человек вспоминал своего доброго и ласкового отца, и сердце его kloкотало. Он предлагал свои услуги морякам, а они говорили:

— Видишь эти товары и видишь склады, тоже полные подобных же товаров? Мы их привозим напрасно. Караваны могут, конечно, отвезти их к Средиземному морю, но какой толк?

И они подробно рассказывали о неистовом владычестве византийцев, которые овладели всем Средиземным морем и не позволяли Багдаду перевозить индийские товары в Европу. Молодой человек, рдея от злобы и желая вонзить все свои ножи в горла и утробы византийцев, говорил:

— Да, да! Мой отец погиб в море от огня византийцев. Я хочу им мстить, и хочу научиться плавать по морю, и прошу вас взять меня! Я научусь и пойду в Средиземное море во имя пророка и халифа...

— Да будет прославлено имя его! — восклицали моряки. — Но мы не знаем, пойдет ли еще в путь наш корабль. Команды наши полны, а новых кораблей не строят. Пойдем с нами и выпей с горя вина!

— Пророк запретил пить вино,— говорил молодой человек, отходя от моряков, а они, глядя ему вслед, говорили между собой, что из него выйдет добрый моряк, в свое время, конечно.

Тогда Махмуд иль-Каман,— ему в те дни шел девятнадцатый год,— начал сочинять стихи. Поэт жил в бли-

стательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи,— да будет прославлено имя его! — и стихи были о силе Багдада и о силе халифа, законного имама пророка, меча правоверных. Он прочел стихи кади Ахмету, и тот сказал:

— Стихи твои, пожалуй, еще лучше и оригинальней твоих пожей. Но если Багдаду не нужны твои ножи, то зачем ему поэзия?

IV

Поэт, светлый душой и телом, часто повторял про себя волнистые и жгучие, как пламя, слова 74-й суры Корана: «Эти одежды — твои. И ты держи их чисто! И ты избегай гнусностей. Например, не раздавай милостыни в надежде вновь собрать ее». Поэтому он все чаще и чаще составлял стихи и оглашал их перед потухшим горном, когда, после судебных занятий, кади Ахмет навещал его. Поэт говорил:

— Заботящийся о вере и мести за веру, я хочу быть лучшим поэтом! Не затем, чтоб низко льстить халифу и быть плетевидным, подобно плющу, а во славу пророка.

Кади Ахмет, подвязав торбу с кормом к голове своего гнедого и пожилого мула, садился возле узкой двери мастерской на коврик, который расстилала госпожа Бэкдыль, мать поэта. Кади выпивал из тыквенной бутылки, которую постоянно держал у пояса вместо ножа, некоторый целительный состав и говорил:

— Мне нравятся разговоры о поэзии. Но когда поэзией роют землю, словно конь передней ногой, это тревожит меня.

— А как же иначе? — восклицал поэт. — Багдад видит, что халиф стал чересчур уступчивым. Багдад хочет силы, а не уступок! И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?

— Хм... — бормотал кади, отхлебывая из тыквенной бутылки, лоснящейся в его руках. — Хм... посредник... Посредник чего перелетающая птица, ведущая свои крылья с севера на юг? Посредник тепла и света, быть может, ха-ха? Я несколько иначе думаю о поэзии, дорогой мой. Она напоминает мне женщину, утомленную ночными ласками и перед сном выбалтывающую много прелестных безделиц. Жизнь наша — ворочанье с боку на бок перед

вечным сном, и ничто так крепко не помогает уснуть, как безделицы. Признаться, я огорчен, что познакомил тебя с поэзией, Махмуд. Мне кажется, ты понял ее превратно.

— Я понял ее превратно? — восклицал своим грохочущим голосом Махмуд. — Разве она не меч и не огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!.. Мне горько думать, что не халиф, а эмиры, его вассалы, гордятся своей силой. Вы слышали, наверно, кади, что некий нечестивец — начальник одного дикого племени — мерзавец Али, выстроивший мощный замок в Алеппо, возгордился и присвоил себе прозвище Сейффад-Даулы, «меч династии»...

— Вот дурак! Ему мало хлопот с самим собою, так он придумал хлопоты над покроем платья для какой-то новой династии.

Поэт продолжал:

— Увы! Это не династия халифа ал-Муттаки-Биллахи...

— Суд требует, — сказал наставительным тоном кади, — при каждом упоминании достопочтенного имени халифа прибавлять: да будет благословенно имя его!

— ...а его, подлеца Али, собственная династия! И не позор ли для Багдада, что кое-какие арабские племена склонили перед нечестивцем Али свои бороды, а поэты воспевают его в стихах? Теперь именно, как никогда, мы, оставшиеся поэты, должны воспеть нашего халифа!..

— Да будет прославлено имя его! — сказал кади и отпил из бутылки. — Что касается меня, то я полагаю, что при таких сложных обстоятельствах полезнее было б употреблять настой мускатного ореха, полыни, хмеля, который, как видишь, употребляю я. Иначе твое чело раньше времени покроется морщинами, глубокими, как трещина в горной породе, а нрав твой станет подозрительным и выпытывающим. Если бы мне удалось увидеть халифа, я б сообщил ему немедленно рецепт моего состава...

— А я бы прочел ему свои стихи! — прокричал, задыхаясь от страсти, поэт.

V

Кади Ахмет жалел поэта и желал ему добра. Наполнив до краев свое сердце добрыми пожеланиями, кади Ахмет, видя, что поэт чересчур часто ходит к набереж-

ным Тигра, в результате чего уйдет когда-нибудь в море, а богачи, потеряв Махмуда из виду, вновь затеют тяжбу, и старуха мать и малолетний брат поэта останутся бее крова, кади уговорил законоведа Джелладина пойти к визирю и выхлопотать для Махмуда небольшой заказ на ножи.

И он получил заказ.

Вновь запылал горн, младший брат качал мехи и подкладывал угли. Махмуд шлифовал нож или вытачивал ему из рога подобающую рукоятку.

Кривыми ножами перерезают горло скоту и неверному, если он попадет в руки мусульманина. Горло в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророка и халифа,— вот почему поэт для визиря особенно тщательно выделывал ножи, а один нож, тонкий и короткий, сделал таким, что на нем как бы постоянно жила слизь, струящаяся из горла перепуганного и умирающего врага.

Когда принесли к визирю первую партию ножей, он, вспомнив, что ножи эти рекомендовал ему путник кади Ахмет, пересмотрел сам все ножи и, остановив свой взор на тонком и коротком, как бы покрытом слизью из горла ужаснувшегося врага, остался очень доволен и сказал:

— Действительно, этот Махмуд иль-Каман искусный мастер. Я возьму этот нож себе.— И, разглядывая нож, он увидел на лезвии его семь роз и три изящно выгравированных лепестка на рукоятке.— Необыкновенно искусный мастер.

Визирь призвал кади Ахмета, передал ему свою благодарность и приказ о новом заказе.

Кади сказал в ответ:

— Не удивляйтесь, о визирь, что мастер Махмуд пришлет вам благодарность стихами. Он грамотен, знаком с каллиграфией и в свободное время составляет стихи.

— Стихи? — И визирь сказал: — Халифа утомили поэты. Пишут о любви к женщине, воспевают ее рот и ноги. Как будто у нас нет коней и оружия!

— Поэт Махмуд поет лишь об оружии и мести византийцам.

— Оружие? Превосходно. Византийцы?.. Хм... Истинный правоверный ненавидит византийца, но... мы ведем

сейчас с ними некоторые переговоры об эдесской святыне... Ты слышал? Скоро я соберу законовевдов и кади. Ты будешь приглашен. Можешь взять с собой и этого поэта. Если будет свободное время, мы послушаем его. И я ему сам посоветую не писать о женщинах. Тьфу. Недавно, обсуждая повод, почему эмир Эдессы вдруг подарил мне тридцать пять своих самых любимых невольниц, — мы осмотрели их. Возможно, я отношусь к эмиру Эдессы несколько предубежденно и мне не нравится его манера вести переговоры с византийцами, но эмират у него большой, он выбирал для себя лучших женщин, и уверяю тебя, кади, я не нашел среди них хотя бы одну, которая была достойна поцелуя в лоб. И тогда Джелладин выразился о женщинах так метко, что даже ты, кади, позаиводвал бы.

Визирь расхохотался.

— Ха-ха-ха! Джелладин сказал... ха-ха! Истый воин Закона должен относиться к женщине, как садовод к ивовой корзинке для упаковки фруктов. Не все ли ему равно: старая корзинка или новая? Лишь бы довести до Базара Суеты свои фрукты. Ха-ха! Я бы добавил — коль есть вообще расчет везти фрукты.

Кади Ахмет возвел глаза к небу. Визирь, читавший в глазах кади одобрение своим словам, — ошибался. Кади Ахмет хотел бы сказать: «О верхушки Закона! О зубцы Мысли! Любили ль вы женщину?» Но даже болтливый кади умел иногда молчать перед сильными.

Кади, верхом на своем гнедом муле, плелся из дворца визиря.

Был вечер, сонный, спелый, когда все вокруг тебя кажется свежим и новым, словно видишь это впервые. И небо, размышляющее над твоими делами, и последний луч заката, и первая звезда, и слабый вздох ребенка, засыпающего в колыбельке, которую мать осторожно уносит с плоской крыши своего дома. И Багдад, и вся жизнь казались кади Ахмету большой, значительной, поддерживающей и заботящейся о нем... И он стал мурлыкать про себя песни. Он хотел бы спеть какую-нибудь любовную песню, сочиненную его молодым другом — оружейником. Искал — и не мог найти. И он опечалился в сердце своем, потому что если ты в такой вечер не найдешь песни друга, то что значит дружба твоя?

VI

Кади напрасно печалился.

Мореход с радостью пристает к материку. Но с меньшей радостью он видит и острова, направляя к ним свой корабль. Багдад и его слава для поэта — материк. Но если вам встретится на долгом и тяжелом пути поэзии небольшой остров, влекущий вас тенистыми деревьями, травой лужаек и рыхлой, влажной почвой возле родника, разве вы минуете его?

Махмуд глядел в тот вечер, так же как и кади, в средину неба и видел его повелительную и массивную глубину такой же сочной и ласкающей, какой видел ее кади. А может быть, он видел ее еще более целительной, чем кади Ахмет. Ведь кади Ахмет на своем пути мог сейчас разговаривать лишь с гнедым мулом, а поэт говорил с возлюбленной. Он стоял с нею, рука об руку, на маленькой и плоской, как лужа, крыше своего черного одноэтажного домика. Он стоял и пел новые стихи в честь этой женщины, пел их вполголоса, но звуки эти были для нее столь оглушающи и прославляющи, что она и дрожала и плакала от радости счастья.

А он, кичась нежностью и плавностью своих стихов, позволял им смягчать опаленную пожаром корабля, на котором сгорел его отец, свою воинственную душу.

И душа его сладостно и несколько испуганно ныла, точно очищенная от коры часть древесного ствола.

VII

Госпожа Бэкдыль, мать поэта, хорошо вела хозяйство его. Получив второй заказ на ножи, она попросила задаток. Одну треть она отдала сыну, чтоб он купил сталь для лезвий, а две трети взяла себе, сказав, что задолжала и что надо выплатить долги. Между тем долгов у нее не было, а, наоборот, еще от первого заказа она удержала кое-какие деньги. Ей не терпелось купить трех хороших коз, которые бы давали молоко и тонкую шерсть для прядения. Сыновья, особенно младший, нуждались в еде, а сыр и козье молоко весьма полезны. Кроме того, они сильно пообносились,

Разумеется, госпожа Бэкдыль рассчитывала, что ее сыновья когда-нибудь заработают достаточно много денег и она наведет должный порядок в доме. После потери мужа госпожа Бэкдыль часто прихварывала, пальцы ее дрожали, и, подобно блуждающему огоньку, ее дразнила надежда, что она приобретет трех невольниц, коня, двух ослов и множество овец и коз!.. Невольницы прядут, ткут, делают сыры, убирают полы и двор, подкидывают угля в горн, качают мехи. Когда они плохо работают, госпожа Бэкдыль слегка бьет их, они кричат, и все соседи, слыша крики, говорят между собой, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

Поэтому, прежде чем спуститься на площадь, где продают коней и коз, госпожа Бэкдыль, томимая надеждой на покупку рабынь, обошла ряды, крытые дырявыми циновками, сквозь которые щедро падало жаркое солнце, и где было душно и тесно, и где продавали невольников и невольниц.

Конечно, мать хотела бы купить белую невольницу с плотным телом, отлично выкормленную, от которой легко можно было бы добиться послушания. Черные невольницы много спят и едят, подвержены чесотке, и от них плохо пахнет. Белые — зато дороги, особенно сейчас, когда багдадские воины слоняются без дела, а если вздумают воевать, то, наоборот, сами попадают в невольники к византийцам!.. Были у нее, кроме рабочих, и другие соображения. Сын ее возмужал, силен, и в нем уже kloкочет желание, создающее много несчастий, если его не победить с помощью жены. Женить, женить!.. Люди болтают, что Махмуд безобразен и потому не сможет увлечь красавицу, которая бы согласилась на бегство или пустить его в гарем, оповив своего мужа.

«Безобразен! Безобразия нет, а есть трусость. Он же не труслив, а значит — красивее многих красавцев. Если же он не увлекает красавиц, то лишь потому, что работает для матери и своих стихов. Значит, я должна найти ему рабыню!»

Она не спешила. К солнцу и пыли она привыкла, базарный шум доставлял ей наслаждение. Она шла мелкими шажками, пыль тонкой мутно-желтой струей катилась между пальцами ее тощих ног, голых до щиколотки. Она размышляла вслух:

— Безобразен? Широкие, растопыренные уши, как

парус? Подсмеивайтесь!.. Этими ушами мой сын слышит в мире то, что ваш ленивый слух никогда не услышит! Толстый, короткий, как кулак, нос с огромными ноздрями? Он чувствует далеко запахи счастья! Вашему ли расслабленному носу обладать таким нюхом, дряблые псы! Узкие глаза? А зачем ему видеть все горе в мире, бездельники, не видящие ничего, хотя глаза у вас больше подноса!..

Размышляя так и прицениваясь, госпожа Бэкдыль шла по рядам, где, по одну сторону, в своем естественном безобразии, сидели и возлежали на полу многочисленные черные невольники и невольницы, а по другую — раскрашенные и завитые — на скамейках, которые подчеркивали их иноземное происхождение, сидело несколько белых женщин. Позади, стремясь оттенить их подержанную красоту, висели ковры.

Поодаль, на коврах, возлежали купцы, изредка глотая кофе. Иногда вставал какой-нибудь продавец и подходил к белым невольницам, чтобы похвалить красоту их, а где красоты невозможно было обнаружить, восхвалял их послушание и работоспособность.

Обойдя ряды, госпожа Бэкдыль оцепенело остановилась и сказала с глубоким вздохом:

— Неужели ничего нельзя поймать лучше? Чахнет, чадит Багдад, факел ислама! Разве это женщины? Разве таких женщин продавали лет десять тому назад? Кобылицы были, и племенные кобылицы притом, а не женщины!

Торговец сказал:

— Мать, ты сама была, быть может, десять лет назад кобылицей, а теперь ты сжатая полоса.

VIII

Шакал не перекричит торговца рабами, гиена не побороет его своими гнусностями. Госпожа Бэкдыль смолчала. Стоящий рядом с нею знакомый мастер морских лодок и припасов рыбной ловли сказал:

— Ваша правда, госпожа Бэкдыль. Мы разоряемся! Всех сильных невольников забирают себе вассалы, а в столицу халифа — да будет прославлено имя его! — поступает дрянь, отчего происходят язвы, вред и ущерб.

Поверите ли, вчера я купил у этого негодяя черного раба, с виду мощного и, казалось, даже щеголявшего своим здоровьем. Приказываю ему сегодня тащить лодку к реке, чтобы испробовать ее ход... он падает, у него горлом кровь! Я привожу его обратно, чтоб обменять или получить свои деньги, а торговец не хочет ни того, ни другого!

— Негодай!

И госпожа Бэкдыль добавила:

— Подумать только, господин мастер лодок! Ведь давно ли, при покойном халифе ал-Матадида, в двухсот восьмьдесят первом году хиджры привели сюда три тысячи пленных... — И она продолжала, передавая базарной прозой одно из стихотворений своего сына: — А теперь? Сын одного из этих сопляков... их за бесценок продавали вот здесь, возле этой навозной кучи, которая называет себя торговцем рабами!.. Подлец Али, прозвавший себя «мечом династии», смеется над Багдадом! Пощечина аллаху!.. И он еще осмелился при своем вопчоке дворе завести каких-то поэтов. Поэты?! Паралитик ал-Мутанаби, пьяница Абу-Фарас, гнусавый Ан-Нами. Всех их пора выставить вот сюда, в эти ряды!..

И она продолжала, указывая дрожащей рукой на белых невольниц:

— Смотрите, до чего дошло. Какую-то грязную черную девку выдают за белую, а просят за нее столько же, сколько за коня или верблюда! Купите-ка, попробуйте, Она не только не сможет усладить ваш вкус и слух, она так малосильна, что, поставь на нее клеймо вашего дома, она сдохнет от волнения!

И мать Бэкдыль радовалась, говоря это, потому что ее неудовольствие происходящим вполне соответствовало ее денежным средствам. За невольниц просили так много!

Едва она закончила свою речь, как одна из белых невольниц, высокая, худая, с повисшими грудями и впалыми голубыми глазами, вдруг склонилась набок и упала со скамьи прямо на каменный пол головою. Лицо ее, и без того равнодушное, стало не живее камня и словно бы покрылось плесенью смерти.

Торговец закричал, махая кулаками в сторону матери Бэкдыль:

— Она сглазила ее, этот дух преисподней, эта чаклая рвань!

Между тем надсмотрщик базара, он же и врач, наблюдающий за чистотой и здоровьем, кинулся к владельцу невольниц:

— Ты обманул меня, подлец! Я поверил тебе, что она здорова. А ты просто показывал мне ее в тени, а стоило выйти солнцу, как она упала! Ты заражаешь базар и других невольников.

И он повел его к кади Ахмету.

Торговец, склоняясь перед кади Ахметом, бормотал:

— Господин кади! Она была вся прелесть и блеск. Я ее кормил сладкими лепешками, мясом и давал ей даже вино, да простит мне это аллах. Она была как померанцевый цвет, но эта старуха сглазила ее, и я требую от старухи вознаграждения!

Кади Ахмет узнал мать поэта. Ему захотелось сделать добро и невольнице, и матери поэта, а кроме того, торговец был отвратителен. Пока торговец и старуха бранились, кади рассматривал невольницу. Она лежала на полу, сырая от болезненного пота и как бы вся закутанная страданиями. И все же кади Ахмет увидел в ее лице что-то свежее и ясное, а в движениях ее тела — гибкость.

Кади Ахмет сказал, обращаясь к матери поэта:

— Женщина! Ты могла сглазить, сама не зная того. И ты должна понести наказание.

И он сказал, обращаясь к торговцу рабами:

— Мужчина! Ты своими беспутными словами вызвал действие дурного глаза. И ты тоже должен понести наказание.

Подумав, кади Ахмет добавил:

— Женщина! Ты возьмешь невольницу и заплатишь за нее цену двух коз. Мужчина! Ты подчинишься этой цене. Молчите, иначе вы оба будете ввергнуты в тюрьму.

Он глотнул из тыквенной бутылки и сказал:

— Уходите. Суд окончен.

IX

Махмуд посмотрел на невольницу, худощавую, чужую, со светлыми спутанными волосами, которые катились по ее костлявой спине, словно дрова, сплавляемые по горной реке россыпью. И он посмотрел на худую

козу, которую купила мать, потому что, испуганная Законом, она отдала слишком много денег торговцу рабами и козу пришлось купить самую плохую.

Махмуд сказал:

— Зачем они? Что с тобой случилось, мать?

Она проговорила, уважая Закон и слова кади Ахмета:

— Девушка будет чистой, теплой, тяжелой, как морской прилив. Я откормлю ее. И коза тоже будет откормлена!

Как ни уважал он свою мать, но он не мог удержаться от хохота.

И, вспоминая хвастовство матери о морском приливе, он хохотал всегда, когда видел козу и невольницу вместе.

Х

Минуло три месяца, и он перестал хохотать, глядя на нее. Слова матери сбылись. Невольница стала чистой, и ее походка расстраивала его чувства и мешала ему составлять песни. Он издали чувствовал ее теплоту и ее глаза, уже не впалые,— они сияли голубым огнем, и взгляд их, нежный и приятный, останавливающийся на нем, заставлял его насвистывать и потягиваться.

А девушка с улыбкой вспоминала свой испуг, когда впервые вошла в этот черный дом, обитатели которого показались ей неграми. Но вскоре она увидела, что их зачернила работа и что если их мыть долго, то, быть может, отмоешь и добела! И она с радостью взялась за стирку. Затем оказалось, что это добрые, ласковые люди, любящие цветы, и она с радостью поливала семь кустов жалких роз, и розы цвели так, как они не цвели никогда.

Так произошло начало любви.

Любовь возрастала медленно и осторожно. Даже кади Ахмет не замечал ее. Правда, он долго не появлялся к ним, возможно сомневаясь к своей прозорливости, но однажды, чересчур много хлебнув из тыквенной бутылки и боясь в таком виде явиться домой, приехал к ним и, садясь на коврик, спросил:

— Женщина! Довольна ли ты своей покупкой?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я довольна. Даже коза и та поправилась.

И она поклонилась ему.

Кади Ахмет сказал:

— Из всех судебных процессов, проведенных мною, этот, пожалуй, был самым удачным. Дело в том, что я редко лживо толкую Закон, а тут я толковал его совершенно превратно. Не сделать ли мне из этого подходящие выводы для следующих процессов?

И он долго сидел у них, наслаждаясь своей бутылкой и своим остроумием, и в первый раз поэт слушал его с неудовольствием: не потому, что кади говорил плохо, а потому, что поэт спешил к ней.

В любви к ней поэт проявил ожидание. Он не набросился на нее, как должно хозяину рабыни. Он дал взрасти и ее и своему чувству, и когда эти чувства слились, они охватили их, словно огромный вал прилива, и он сказал матери:

— Мать, ты была права. Она — чистая, теплая, и чувство к ней у меня огромно, как прилив.

Мать радовалась его словам, хитро улыбаясь. Она знала, что когда она купит ему еще двух невольниц, его чувство ко всем трем будет огромно, как океан, а она будет хлестать рабынь по щекам, упрекая их за нерадивость, и они будут кричать, и соседи будут говорить, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

XI

Однако бывали часы, когда он грустил. Любовь, как поется в песнях, — цветок. И он нашел этот цветок! Но все же, сколь ни мил цветок, — это флора небольшой местности. Его цветок, его букет — меч, обнаженный в защиту халифа! И халиф, направляющий этот меч! И Багдад, воплями и песнями воспевающий этот меч! И над жидкой кровью неверных цветут его стихи, стихи Махмуда иль-Каман!..

Девушка, думая, что он огорчается любовью к рабыне, сказала ему:

— Я не простого рода. Я скажу тебе то, чего не говорила и в чем не признавалась другим арабам. А даже отрицала это и хворала непрерывно от этой лжи. Я не хотела, чтоб византийцы хвастались, что они продали дочь князя! Мой отец — начальник одной из дружин кня-

вя Игоря и сам княжеского рода. И братья мои, Сплавид и Гонка, — князья.

— Кто такой князь Игорь? — спросил поэт. — Багдад никогда не бился с ним и не получал от него дани.

— Князь Игорь никому не платит дани. Он со всех берет дань! Он — владелец обширной земли Русь, где лето с теплыми и короткими дождями, а зимой земля покрывается колеблющимся и зыблющимся снегом.

— Мой отец в детстве видел снег. Он выпал однажды в Багдаде. Снег держался три дня. Много людей тогда умерло от холода и испуга.

— Мы не боимся ни холода, ни испуга. Мы — Русь. Помнишь базар? Я собиралась умереть от негодования, что какая-то черная негритянка торгует меня, но добрый судья помог мне увидеть видение счастья. Я верю, что принесу тебе счастье, а свое я уже получила от тебя.

Махмуд спросил:

— Где же ваша страна, скажи? — И он поспешно добавил: — Удивительно, как плавно сердце, охваченное любовью. Твоя страна уже близка мне, и я томлюсь по ней. Я хочу знать о ней все, что ты только помнишь!

— Моя страна лежит далеко, по ту сторону шипящей, как змий, на весь мир Византии. Моя страна растирает в пыль и в песок своих врагов, и с времен князя Олега Византия платит нам дань! Три года назад Византия отказалась платить нам дань. Тогда наш князь Игорь собрал войско и с обширной реки Днепр пошел к Византии...

— А, поход варваров! — сказал поэт. — Я слышал о нем. Византийцы ведь прогнали вас?

Даждья, дочь Буйсвета, сестра Спавида и Гонки, сказала, чувствуя, что по правам своим она уже обязана предостерегать поэта:

— Ты опрометчив, Махмуд. Верить утверждениям византийцев! Их правда всегда в тумане, несмотря на то что над Константинополем всегда ясное небо. Варвары? В нашей стране — большие чудные города, наши ладьи управляют всем Черным морем, и наш меч, ослепляющий врагов, грозен всем и каждому! Варвары?! Ха-ха!.. Завистливая, струящаяся ложью Византия, стараясь унижить нас, называет нас варварами, и ты повторяешь это унижительное слово, Махмуд?

Защищаясь от ее справедливых упреков, поэт спросил — Как же случилось, что страна ваша велика, богата воинами и оружием, а ты, дочь князя, попала в плен? — Как?! Из-за слабости Багдада.
— О-о! — воскликнул он с горечью.

XII

Дав улечься буре, поднявшейся в нем от ее обжигающих слов, Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, продолжала:

— В девятьсот сорок первом году, по общепринятому византийскому летосчислению, князь Игорь, повторяю, собрав войско на множество судов, двинулся на Константинополь. Три года назад... Горе, горе, о Перун, бог Киева и славян!.. Я преклоняюсь перед твоими стихами, Махмуд, но никакой сборник твоих стихов не сможет описать страданий, перенесенных мною. Когда я придумываю мечь византийцам, любые их мучения кажутся мне только подборанием колосьев, а не полной жатвой. Мсти им, Махмуд, мсти им! Они убили твоего отца, и вот я плачу о нем теми же влачащимися долгими слезами, какими плачу о моем брате Сплавиде!

Она вытерла свои слезы, и рукав ее платья от пальцев до локтей был мокрым от слез.

— В числе других женщин, желающих увидеть славу Руси, я сопровождала войско. Еще при Олеге мой отец, витязь Буйсвет, погиб накануне того дня, когда наш князь прибил свой длинный коленчатый щит к Золотым Воротам столицы византийцев. Олег огромным молотом вбивал гвозди с такой силой, что гром стоял над Константинополем и жители прятались в погребах и ямах, опасаясь землетрясения!..

— О, красота, о, прозрачность аллаха! Твой рассказ, милая, идет стройной линией, как войско. Говори, говори!..

— Повторяю, под Константинополем коварный византиец убил моего отца, спрятавшись за дуб, когда отец подвел своего коня, чтоб напоить его из родника. Я была в дни похода Олега еще ребенком, но я помню вопли матери. И теперь, когда Игорь направился в поход, я сама хотела видеть, как он прибьет к Золотым Воротам свой щит. И я поднесла ему небольшое золотое украшение для

этого щита. Так сделали многие наши девушки, отчего щит заблестел как солнце и был тяжел, как телега, груженная зерном. Но князь наш силен, и он носит щит с легкостью...

— Он красив, ваш князь Игорь? — спросил, побледнев от ревности, поэт.

— Нет, нет! — поспешно сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Спавида и Гонки. — Он сутул. Вернее сказать, горбат! И он косит одним глазом. Он совсем некрасив, и редкая девушка влюбится в него...

— Редкая! Значит, все же влюблялись?

— Я говорю в том смысле, что не знаю такой девушки! Уважение к князю и любовь — это совершенно разные вещи, Махмуд.

Она солгала? Едва ли. В свое время, как и многие девушки Киева, она притаенно вздыхала по князю Игорю. А теперь и на самом деле он казался ей уродливым, и она искренне клеветала на него, называя его и горбатым и косым. Не будем осуждать любовь, она прекрасна, даже и при такой, правда наивной, клевете.

Слова ее звучали искренне. Поэт сказал:

— Братья тебя обожали, наверное? И ты у них единственная сестра? Но как же случилось, что они взяли тебя с собой в битву? Согласись, брать девушку в поход, да еще против таких гнусных врагов, как византийцы, по меньшей мере неразумно.

— Я убедила их, сказав, что наше хозяйство расстроилось и мне самой надо последить за их добычей. Они легкомысленны! Они склонны к игре в кости, к вину. Кроме того, им не везет в игре! Так, недавно вернувшись из похода на печенегов, братья привели шестьсот пленников, и ни одному из пленных не было больше двадцати лет...

— О, богатая добыча! — воскликнул поэт. — У нас такой витязь уже презирал бы халифа, называя себя — тьфу! — «мечом династии». Хочу повидать твоих братьев!

— И вы подружитесь! — сказала она, сжимая его руки. — Но только Спавид уже погиб, а выздоровел ли другой — не знаю...

Она помолчала.

И он спросил:

— Подозреваю, они проиграли шестьсот плененных печенегов?

Грустно улыбнувшись, она сказала:

— Да, проиграли, в пять дней. И вот, когда я им напомнила об этом проигрыше, добавив, что они проиграют и богатую византийскую добычу,— они взяли меня с собой.

Был вечер. Над высокими стенами, окружавшими дома Багдада, шелково шелестели деревья, уходя в сиреневую тьму вскачь приближающейся ночи. Весна кончалась, и этим вечером, быть может, прошел последний ее, тихо мерцающий, дождь. Во всяком случае, между вершинами деревьев и водой, шумящей у их корней, прижавшись друг к другу, расселись соловьи и пели, всячески расцвечивая свои песни.

Вслед за деревьями в сиреневую мглу скрылись и широкие разноцветные купола мечетей, и только тонкие минареты, как мечи пророка, пронзали небо. И небо, пронзенное мечами веры, истекало нежным светом, постепенно заменяясь другим, тревожным и мрачным. Это было световое кольцо вокруг луны, которое показалось раньше самого светила, и показалось оно над медресе эль-Мустинсериз.

По переулку проехал всадник. Быть может, это был кади Ахмет? Мул всадника хлябал подковой, и он, в такт этому хлябанью, бормотал какую-то песню.

— А возможно, твои братья и правы, проигрывая все в кости? Зачем нам добыча, пленные и золото? Воин и поэт не должны ли быть расточительными?

И он расточительно назвал ее луной, и небом, и красной медью своего трубящего радость сердца, и мечтой счастья!

И, захватив ее мизинец указательным пальцем своей руки, ходил с нею по крыше домика, такой же тесной, как и дворик внизу, где лежали под навесом куски металла, из которого он ковал свои кривые ножи, украшенные лепестками, и лежал сухой помет для топлива, спрессованный в кирпичи, и лежали древесные угли для горна. Там же, возле козы, укладывалась на ночлег мать поэта, госпожа Бакдыль, потому что дом она предоставила любовникам. Мать радостно вздыхала, слыша глухой говор счастья, доносящийся с крыши. Ах, если б еще двух рабынь, и как бы все было великолепно, и как бы соседи завидовали тогда иль-Каманам!..

Они не спали всю ночь, и на рассвете, ослепленный счастьем, поэт поднял голову с ложа и спросил:

— Однако, моя любовь, ты не объяснила мне, как же Багдад мог помешать князю Игорю в его мести византийцам?

— В год нашего похода,— сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Славива и Гонки,— в Багдаде и во всем халифате была смута. После смерти халифа и поэта АрГади...

— Он был плохой поэт!

— Может быть, поэтому вы не могли так долго выбрать нового халифа и резали друг другу горло?

— Я, как и ты, ненавижу смуты!

— Прекрасно. Тогда ты скоро поймешь меня. Тебе известно, что на восток от Византии, направленный против Багдада, стоял тогда с большим войском умный и опытный domestik схол Иоанн Каркуас?

— Да.

— И тебе известно также, что, когда Багдад ослабел, Иоанна и его войско византийский император увел к западу? На нас.

— Нет. Этого я не знал. Я слышал только, что Иоанн ушел.

— Иоанну добавили войска, которые готовились вторгнуться в Южную Францию. А мы уже в это время дрались с византийцами в Вифинии! О, мы их били! Я имею основания думать, что мы били их прекрасно! Они пускали от нас коней и свои тонкие ноги во всю прыть. Мы подошли к Никодимии, а по берегу Черного моря — к Гераклее и Пафлогонии. Византийцы перепугались. Они собрали все имеющиеся у них таинственные машины, извергающие воспламенительный «греческий огонь». Привели свой флот, которому в иные времена стоять бы против багдадского флота...

— О, горе! — простонал поэт.— Горе Багдаду!

— Византийцы сожгли наши ладьи. Наше войско отступало. Старшего брата Славива изрубили мечами. Младшего, раненного, уносило трое дружинников — все, что осталось от славной дружины князя Буйсвета! Защищая братьев, я взяла лук. Меня ранили в плечо. Вот сюда, смотри! Трое дружинников всего... кого же нести?

Меня? Брата? Я сказала: «Разложите костер. Зажгите. Я встану на вершину огня. А скажите в Киеве, чтобы Русь пришла сюда за моим пеплом. И чтоб посыпала этим пеплом главу византийского императора и растоптала его корону на моей могиле!»

— Хорошие, всегда вспыхивающие слова!

— Костер пылал. Я сидела на вершине его. Дружинники унесли брата, так как византийцы были близко. Но у византийцев большой бог, он вставляет иногда днище в такую бочку, которая, казалось бы, совсем развалилась. Вдруг хлынул ливень, потушил костер, и меня сняли с костра обгоревшей, но живой. Я не хотела выздоравливать. Я звала и видела дух моего отца Буйсвета и дух моего брата Сплавида!.. Тем временем Иоанн Каркуас, отправленный вновь на восточную границу, увез меня с собой. Больную, они пытали меня, чтоб узнать мое звание. Я молчала! Тогда они плюнули мне в лицо и в числе других рабов обменяли за какого-то проткнутого багдадским ножом византийского старикашку-вельможу... Я сгорала, духи отца и брата стояли рядом со мной... Ты, Махмуд, подарил мне сердце и создал мне душу. Я жива! И я сильнее, чем когда-либо, жажду мести византийцам.

Ее слова радовали его. Он сказал:

— Мы будем мстить!

XIV

Мстить! Но как?

Несколько дней подряд, не отходя от горна и станка, поэт делал ножи. Подруга его дергала веревку, которая раскачивает мехи, подающие воздух в горн. За работой поэт неустанно думал: «Если визирь заказал мне так много битвенных ножей, то, значит, ожидается сражение с неверными. Багдаду, а значит, и всему халифату известно, что византийцы подошли к стенам Эдессы и, упоенные славой, требуют выдачи эдесской святыни. Властный эмир Эдессы приутих и приехал советоваться с халифом. Не пора ль пропеть песню перед халифом?»

Поэт стучал молотом по металлу, и ему грезилось, что он стоит перед халифом и слова его стучат по сердцу повелителя, извергая искры.

Даждья спросила:

— Что такое убрूस, о котором мать принесла весть с базара?

Махмуд сказал отрывисто:

— Эдесская святыня.

— Чьей веры святыня? Мусульманской? Христианской?

— Той и другой.

— Как же — и той и другой? Вы называете себя правоверными и, однако, признаете христианскую святыню?

— Пророк Исса, или, как его называют византийцы и несториане, Иисус, освящен в Коране.

— Еще одна слабость Багдада!

— Где ты нашла слабость?

— Говорят, святыня — это полотенце, которым однажды утерся пророк Исса. На полотенце нерукотворно отпечатался лик пророка Иссы. Как же так? Ведь пророк Магомет запретил поклоняться идолам и всяческим изображениям?.. О, вы рабы собственной слабости! Вы поклоняетесь какой-то тряпке, потому что ее нарисовал византийский художник. У греков были великие художники, а у вас, арабов, никогда не было художников, и не потому ли пророк Магомет запретил рисовать портреты?

Махмуда раздражала ее болтовня, тем более что в ней заключалась правда. Но что она твердит — слабость, слабость! Нельзя же, в самом деле, ковать ножи и собираться на битву, сознавая в то же самое время себя слабым?

И он сказал:

— Молчи. Ты мешаешь работать.

— Наоборот. Я помогаю тебе работать, так как развиваю твои мысли. Нужно быть последовательным. Если ты мусульманин, зачем тебе христианская святыня?

— В халифате много христиан, и Коран...

— Коран приказывает тебе уничтожить неверных!

— Молчи! Что ты понимаешь в Коране? Ты языческой веры...

— Я языческой веры? — воскликнула она. — Моя вера одна: если любишь, люби со всем, что есть в этом человеке. А ты мне кричишь: молчи! Убей меня тогда. Коран приказывает тебе уничтожить неверных, а ты мне не веришь!

На лице ее выразился гнев и презрение. Отталкивает ее, дочь Буйсвета, сестру Сплатида и Гонки? И губы ее сжались так, словно она собиралась плюнуть ему в лицо.

Как, плевать в лицо арабу? Поэту? Нечестивая! Он отбросил молот, потому что был зол и чувствовал опасность.

Она, распахивая одежды и указывая на свою белую грудь, воскликнула:

— Бей ножом! Вот ножны для твоего ножа, неверный и неверующий.

Он отступил от нее и сказал:

— Ты глупа.

— Значит, ты меня не любишь?

Он молча ушел.

XV

— Что такое поэт? — спросил сам себя кади Ахмет, увидав входящего к нему Махмуда. — Это основа радости. Человек и его жизнь зачастую — игра судьбы. Поэт берет из этой игры наиболее веселые моменты и словами, тающими во рту, рассказывает о них другим, с тем чтобы люди были выносливы и снисходительны. Итак, мы ждем твоей песни, поэт!

— Я сам жду от вас, добрый кади, и от вас, о перст Закона Джелладин, помощи и указаний.

— Прекрасно! Будем утешаться вместе.

И кади Ахмет подбросил ему подушку, чтоб поэт мог облокотиться, и указал место на ковре, рядом с собою. Вследствие своей снисходительности к людям кади был беден. Однако он никогда не жаловался на свою бедность, а даже восхищался ею, говоря, что у бедного всегда отлично работает желудок и он оттого может без помехи наслаждаться благами жизни, вроде воздуха, солнца или цветущих деревьев. Багровый, полнокровный, рыжебородый, он возлежал на рваных, жестких подушках с таким счастливым лицом, словно подушки мягче пуховиков, а лохмотья их глаже шелка. Он курил дрянной табак и пил с удовольствием плохой, дешевый кофе, который варил себе сам не потому, что его не уважала или не любила жена, а потому, что не хотел затруднять ее. С женой, что редко бывает среди праведников, он жил дружно.

Против кади сидел законник Джелладин, согнутый, изможденный и порядком озлобленный. Его уму принадлежало изречение: «Есть Закон, есть и ты». Встретив вас, он не желал вам ни доброго утра, ни доброго вечера,— он желал вам законно провести свое время. И он пичкал людей текстами законов, как неразумная кормилица ребенка грудью, обижаясь и негодуя, что обкормленный ребенок кричит. Джелладин глядел на людей так, точно готовился бить их сейчас кнутом или подвергнуть пытке. И только когда человек не подавал признаков жизни, Джелладин смотрел на него милостиво, передав его другому судье, который, он допускал, знает Закон так же, как Джелладин.

Из всех людей, пожалуй, только один кади Ахмед находил удовольствие от встреч с Джелладином. «Наш ум как нож — остер, когда имеется хороший брусок,— говорил кади.— Кроме того, у него, бедняги, имеется лишь одно наслаждение — Закон, а его, как я знаю по опыту судьбы, очень тяжело переварить. И я надеюсь в конце концов познакомить его хоть с парочкой из тех многочисленных и разнообразных наслаждений, которые известны мне».

Чего хотел сам Джелладин от кади Ахмета? Быть может, свидетельства на суде беззаконий кади Ахмета, когда пронцательный халиф — закон законов — разглядит все проступки кади Ахмета и сменит его и отдаст самого под суд, и на этом суде будет главным судьей Джелладин? Кто знает! Как бы то ни было, Джелладин, ходячий сборник форм и образцов, ежедневно посещал кади Ахмета, ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов.

— Какой же помощи ты ждешь от меня, Махмуд? — спросил Джелладин.

Махмуд сказал:

— Я хотел бы прочесть свои стихи перед лицом халифа, да будет благословенно имя его!

— Так. Да будет благословенно!

Джелладин проговорил:

— Махмуд! Не считаешь ли ты нужным прочесть вначале свои стихи перед моим лицом? Твои стихи, я знаю, излагают закон правоверных. Кто же лучше меня толкует Закон?

Махмуд, огорченный своей первой ссорой с подругой, думал, что не сможет с должным чувством прочесть свои стихи, призывающие к битве против Византии. Оказалось, что ссора не помешала пылу чтения, а придала ему большую силу.

Джелладин, обдумывая стихи, смотрел в пол. Кади Ахмет улыбался, щекоча рыжей бородой свой нос. Он сказал:

— Мило. Очень мило. Мне представилось, что это стихи не об усмирении Византии, а о важности усмирения возлюбленной. И не лучше ли отбросить Византию и оставить возлюбленную, которой у тебя, Махмуд, еще нет, но которая придет, если ты будешь по-прежнему с таким совершенством сочинять. Что же касается халифа, то ему теперь не до стихов. Эдесса! Святыня!.. У халифа, насколько мне сейчас известно, слабый и частый пульс, и, кроме того, халиф жалуется, — да будет благословенно имя его! — что его мучают мурашки на спине и зуд в пятках. По-моему, он чересчур много кушает дынь, а дыни к весне, уже теряя свою целебность, вызывают лихорадку.

— Беззаконно так низко говорить о халифе! — торжественно провозгласил Джелладин своим воспитывающим голосом, один звук которого напоминал формат какой-то толстой книги законов. Даже в обсуждении болезни халифа должна проявляться сдержанность.

Он встал.

— Махмуд, при случае я сообщу твои стихи визирю. Я их запомнил, у меня отличная память. Тебе нужно, правда, внести кое-какие вставки, необходимые с точки зрения Закона. Зайди ко мне завтра, я тебе их сообщу. Возможно, стихи твои визирь передаст халифу. Другого пути нет. Стихи, как и тексты Закона, идут по соответствующим ступенькам.

Махмуд сказал:

— Я хотел спросить еще: что такое эдесская святыня и как могло случиться, что мусульмане и христиане чтут ее равно?

Джелладин, остановившись в дверях, сказал:

— Предание, которое скоро халиф введет в форму Закона. На эту тему я рассчитываю сказать длинную речь в совете, созываемом визирем.

— Вернее сказать, предрассудок, — проговорил кади

Ахмет.— Один из обаятельных предрассудков, которые так любит человечество. Чудо. Будучи мусульманином и кади, я допускаю чудеса. С ними легче жить. И потому чудес на земле много. Не удивляйся, Махмуд, нерукотворному убрусу, или мандилии, как называют эту картину византийцы. Я слышал, например, что в Индии на скале имеется отпечаток ступни некоего пророка Будды. Отпечаток этот цел и поныне.

Он вздохнул и продолжал, ласково глядя на Джелладина, который высказывал нетерпение:

— Чудес много, и всего чудеснее моя жена в полнолуние, хотя я и устаю на другой день. Именно сегодня мне предстоит встреча с ней. Она, когда появляется полная луна, начинает испытывать ко мне благосклонность. Надо думать, родительница зачала ее при полной луне, и жена моя, вам это известно, наверное, тщетно добивается от меня продолжения нашего рода...

Джелладин прервал его, торопясь к своим свиткам:

— Аллах вас наказывает, кади, за беззаконие, не давая вам продолжения рода!

Он скрылся, а кади продолжал:

— Скорее всего, аллах заботится о моем спокойствии. По слабости своей я отдал бы своего сына на воспитание к Джелладину, а этот ученый в преподавании слишком любит ускоренные переходы, подобные военным переходам. Дорога Закона — суха, камениста, раскалена. Не будем торопиться.

XVI

Кади Ахмет сказал:

— Возьми ступку, Махмуд, и потолки кофе, он уже прожарен. У тебя сильные руки, а мне нужно беречься к сегодняшней встрече с женой.

Глядя, как Махмуд ловко толчет кофе в каменной ступке, кади говорил:

— Вернемся к твоей просьбе, мой милый поэт. Завтра, повторяю, я буду усталым, — годы, поэт, годы! — и мне вряд ли захочется говорить об эдесской святине перед приехавшим эмиром и нашим почтенным визирем. Халиф, да будет тебе известно, не принял эдесского эмира. Почему? Халиф знает, что он делает, и пока он не

сказал нам своих дум, нам незачем о них догадываться. Завтра поэтому визирь и собирает нас, чтобы в присутствии эмира Эдессы обсудить в сильнейшей степени затруднительное положение с эдесским чудом, именуемым убрбус или, чаще всего, мандилия. Чудеса приятны, но с ними столько хлопот и усталости! Аллах, я заболтался, и ты столько успел натолочь кофе, что мне его хватит на месяц, а он выдыхается. Сыпь сюда!

Он подставил ему кожаный мешочек для кофе и, глядя, как запашистый коричневый порошок тонкой струей льется в мешок, говорил:

— Итак, я буду усталым, как луна на ущербе. От усталости скажешь глупость. Бездельники вдобавок извратят смысл слова. И пищеварение твое испорчено на неделю. А в пятьдесят лет весьма необходимо заботиться о желудке, Махмуд! Поэтому я с удовольствием передам тебе мои соображения, Махмуд. Ты соединишь их со своими, — получится убедительно, красиво. Два мешка всегда лучше, чем один.

— И я могу читать стихи?

— Стихи? Избави тебя аллах от стихов! Кто же читает стихи на государственном совещании, да еще по такому сложному делу, как эдесская святыня? Тебе нужно, чтоб на тебя обратили внимание. Визирь уже знает о твоих ножах. Теперь он узнает о твоём умении говорить, которым ты обладаешь, как я заметил давно. Ну а затем придут стихи. Джелладин прав — надо помнить о ступеньках!

Он отложил мешочек с кофе в сторону, достал кофейник и попросил Махмуда раздуть угли в жаровне:

— Я все забочусь, видишь ли, о том, чтоб у меня было поменьше усталости. Но впрочем, что такое жизнь, если в ней не будет усталости? Получится сплошная беготня! Я верю в чудеса и думаю, что, возможно, ты, Махмуд, получишь когда-нибудь командование кораблем, хотя ты совершенно не знаком с морским делом. Но, аллах, мало ли мы знали адмиралов, которые, получив командование флотом, именно в тот момент впервые вступали на корабль. И всего удивительней — они побеждали! А ты, Махмуд, хоть знаешь поэзию, что для командира корабля имеет немаловажное значение. Таким образом, я считаю, что есть вероятность рассчитывать тебе и на штурм Константинополя. Кстати, скажи, Махмуд,

что ты будешь делать в Константинополе, когда войдешь туда?

— Я сожгу его!

Кади вздохнул:

— Вот так поступают все влюбленные. Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее. Один только я постоянен, хотя, признаюсь, очень устаю в дни полнолуния. Что поделаешь! Старуха моя толста и тепла, и мне было б жаль сжигать ее. Это обстоятельство я тоже отношу к области чудес.

Кофе сварился. Кади Ахмет налил две чашечки. Они неторопливо выпили, рассуждая об эдесской святыне, а ватем кади зевнул и сказал:

— Мне нужно поспать перед вечером. Прошу тебя не обижаться и хорошо запомнить мои слова об эдесской святыне, которые я тебе советую сказать завтра. Что главное? В таких запутанных делах, как багдадские, лучше терпимости нет ничего. Джелладин, если рассуждать по совести, недопустимо омерзителен. Мое мнение — святыню надо удержать в Эдессе, она связывает и христиан и арабов вместе, иначе они поссорятся. А христиан у нас много.— И, потягиваясь, он добавил: — И это самые кляузные люди из всех, кого я видел на суде.

Он дотронулся до его щеки своей медной бородой и быстрой, резвой своей походкой подошел к ковру, поправил подушки, лег и немедленно уснул.

XVII

Когда Махмуд вернулся домой, Даждья подметала пахучим веником из полыни комнату, где он имел обыкновение отдыхать. Рваные ковры были выбиты и починены. По углам комнаты стояли в больших горшках розы. Она отбросила веник и обняла его. Руки ее пахли розами и полынью. Он сказал:

— Забудь ссору. Я был глуп.

— Я давно простила тебя. Мне казалось без тебя, что ты ушел совсем. Где ты был?

Он сказал ей о совете у визиря и о том, что кади Ахмет предложил ему говорить.

— А свои мысли ты сказал ему?

— Он меня о них не спрашивал.

— Лень! Но, насколько важно для тебя, что ты скажешь визирю, настолько же важно, чтоб визирь захотел выслушать тебя.

— Он захочет!

— Захочет, если ты и в безмолвии своем покажешь ему себя умным.

— Как же я безмолвно могу показать себя умным?

— Это называется придворным поведением. У нашего князя Игоря тоже есть свой визирь. Он часто посещал наш дом, и я беседовала с ним; наш визирь умен. Ваш, мне думается, похож на него. Слушай... Нет, вначале поговорим об эдесской святыне. Отдавать ее, по-твоему, или нет?

— Никогда!

— Твое мнение и мнение кади Ахмета сходятся?

— Да.

— Понятно, что ты не мог сказать ему своего мнения, потому что своего у тебя и не было.

— Я имею свое мнение!

— Какое же?

— Отдать святыню — невозможно!

— Ты только что говорил, что это мнение кади Ахмета, и, наверное, Джелладина, и вообще всех ученых дураков. Ты не в счет, потому что ты мало учен. А я училась в Киеве кое-чему, и, быть может, большему, чем твои ученые дураки, и их хорошо понимаю. Итак — не отдавать? Допустим — не отдавать.

Она помолчала, пристально глядя в глаза Махмуду, а затем сказала:

— Тебе известно, что на багдадской границе по-прежнему стоит domestik схол Иоанн со своими войсками?

— Да.

— И тебе, быть может, известно, что князь Игорь за три прошедших года после последнего похода на Византию сильно вооружился? И что он опять пойдет на Византию?

— Допустим.

— Допустим. Также можно допустить, что domestика схол Иоанна уведут с багдадской границы против князя Игоря, если византийцы почувствуют, что Багдад слаб?

— Да, да!..

— И теперь-то, несомненно, князь Игорь разобьет domestика схол Иоанна! И мы с тобой будем пить вино из черепа Иоанна! И я буду петь песню... Слушай.

Она вполголоса стала напевать. Слова песни были непонятны, но мотив ее говорил о торжестве возвращения домой. Она пела и одной рукой била в воздух, словно в руке ее был тяжелый молоток, в другой — щит, а перед нею высились очертания Золотых Ворот!

Не допев песни, она сказала:

— Но если domestик схол Иоанн не покинет вашей границы, нам трудно будет с тобой нанести византийцам поражение. Нам, багдадцам!

Он поцеловал ее в губы. Отшатнувшись, она сказала шутливо:

— Я же язычница! Кого ты целуешь? — И добавила: — Не кажется ли тебе, что, требуя эдесскую святыню, византийцы испытывают наши силы и поход Игоря уже начался? Значит, вам сейчас выгодно показать византийцам вашу слабость. Халиф у вас — человек превосходного ума. Выскажи ему то, что он думает, и он выслушает твои стихи.

— Что же он думает?

— Халиф думает, что сейчас полезно показать византийцам свою мнимую слабость. Халиф думает, что Багдад должен отдать византийцам эдесскую святыню, что полезно озлобить Багдад этим грабежом. Отдача святыни не рассорит, а соединит багдадских мусульман и христиан. Они понимают, что после этой святыни византийцы могут потребовать и жен их, и детей... Что ты на это скажешь, Махмуд?

Махмуд молчал. Он согласился с ее доводами. Он пробормотал, уступая:

— Но честь Багдада...

— Тебе дороже честь Багдада, чуть-чуть поколебленная, или победа над византийцами и череп domestика схол Иоанна, отделанный в виде чаши?

Помолчав, он воскликнул:

— Откуда в тебе столько ума и лукавства?

— Я — женщина, — смеясь ответила она. И добавила: — А теперь позволь я расскажу тебе, как поступить, чтоб визирь обратился к тебе с предложением речи.

В полдень кади Ахмет верхом на своем муле приближался к дворцу визиря. Мул, несмотря на свой пожилой возраст, подобно хозяину, был любопытен: он часто останавливался и осматривался. Кади не торопил мула. Люди заблуждаются, когда говорят, что куда-то опаздывают. Никогда и никуда нельзя опоздать. Горести везде найдут вас, а счастье — совершенная случайность.

Махмуд шел рядом, ведя за повод мула.

На площади перед дворцом они увидели множество съехавшихся всадников, слуг и мальчишек. Продавцы воды и сладостей выкрикивали цены. Кади сказал:

— Я истинно чувствую усталость: полнолуние в моем возрасте вредно. Мне хочется выпить, а баклажка моя пуста. К сожалению, я не вижу ни одного знакомого торговца, продающего тайком нужный мне настой. Неужели я их всех успел упрятать в тюрьму? Весьма жаль, если так.

Они подошли к воротам, чтобы через них вступить во двор и подняться по лестнице, предназначенной для бедных и скромных посетителей. По ту сторону ворот, в деревянной клетке, сидел, для примера другим, какой-то мудрец, ложно толковавший Коран. Он был от голода и болезней, и кади Ахмет сказал, направляясь к нему:

— Печально лишать визиря удовольствия слышать эти вопли, но пусть, если ему нравятся вопли, прогуляется он по окраинам Багдада. Он много сидит, а прогулки рекомендуются врачами. Кроме того, конечно, я свершаю, как судья, беззаконие, кормя этого негодяя. Но я слаб, и в подобных случаях мне мерещится клетка, которую для меня сколачивает Джелладин, и мне делается стыдно, что я не помогаю самому себе.

И он сунул в клетку мудреца кусок лепешки, которую держал за пазухой, так как знал, что за столом визиря, если даже кади и пригласят к нему, он получит лишь воду для мытья рук.

Дворец визиря примыкал своей оградой к дворцу халифа. Дворец халифа был из розового плотного камня, дворец визиря — из зеленоватого и порыхлей. Все это знаменовало собой, по замыслу архитектора, цветущую розу и листву, поддерживающую розу. Дворцы разделял обширный сад с дорожками, посыпанными ред-

костным черным песком, с лужайками, фонтанами и бассейнами. В воде плавали диковинные рыбы, а на лужайках бродили прирученные дикие животные.

Когда кади и поэт проходили мимо евнухов и невольников во дворец, то, несмотря на то что они поднимались по самой бедной лестнице, слуги с безмолвным неодобрением оглядывали их жалкие одежды. Махмуд по молодости застыдил. Кади Ахмет заметил это и сказал:

— В жизни, как и на войне, важно, чтоб хорошо прикрывалось главное укрепление. В данном случае — ум. Ты не страдай, поэт. Твои внутренние одежды блистательнее одежд любого из этих блюдолизов. Впрочем, впоследствии, одевшись сам в блистательные одежды, ты с удовольствием вспомнишь свои страдания на этой лестнице бедных. Но тогда твои внутренние одежды, к сожалению, будут бедней.

В зале совета они были усажены в пятом ряду, позади богатых торговцев и видных мастеров оружия, сухопутного и морского снаряжения. Впереди всех сидел Джелладин. Законовед, вымытый, вычищенный, глядел вперед со свирепым видом, готовый во имя Закона, подобно псу, стерегущему отару овец, броситься с воем навстречу любой опасности. Законовед не видал никого и ничего, кроме дверей, через которые должен был войти визирь. Тем не менее кади раскланялся с ним и сказал:

— Вежливость — большая обуза. Она мешает видеть мир в истинном свете. Но это, пожалуй, и лучше. Когда имеешь возможность, вроде меня, часто судить людей за пустяки, надо хоть вежливостью исправить вздор, который ты порешь.

Знакомый мастер морских лодок, услышав резкий голос кади, обернулся к нему и озабоченно спросил, почему рабы нынче столь малосильны. Вот он покупает в течение года уже четвертого раба, и все они страдают желудком и малокровием! Он разорится. Ему самому приходится сталкивать тяжелые лодки в воду, это унижает его достоинство, отпугивает покупателей!

И мастер лодок с соболезнованием осведомился у Махмуда: жива ль их белая невольница, которую он отговаривал покупать, а госпожа Бэkdыль все же купила. И ему стало неприятно, когда Махмуд живо сказал ему, что девушка здорова, отлично трудится и все ею

довольны. Тогда торговец осведомился, жидкой или твердой пищей они кормят невольницу и дают ли ей рыбу. Прошел слух, что злой волшебник Аббикон, посланный византийцами, портит в реках и море рыбу и что именно поэтому питающиеся рыбой ослабели.

Кади Ахмет сказал:

— Во-первых, Аббикон не волшебник, а лишь злой дух, присылаемый неким волшебником Бади каждые семь лет для ловли рыбы. Последний раз он был в наших водах четыре года назад, и сейчас ему здесь делать нечего. Во-вторых, рекомендую вам давать рабам в пять раз больше рыбы, чем вы даете, и тогда никакой волшебник или злой дух не ослабит их. Вообще я заметил, что люди довольно легко справляются с волшебниками или злыми духами и гораздо трудней с самими собою. Я могу вам рассказать совершенно достоверную историю о волшебнике Бади...

Но тут вошли стражи, за ними чиновник, который громко прокричал о приближении визиря и глубокоуважаемого гостя его, эмира Эдессы, почтенного Омара ал-Бараби-Сагайн.

Визирь медленно нес на тоненьких ножках свою большую желто-серую яйцевидную голову, старавшуюся изобразить уважение к гостю. Гость, попадая в шаг визирю, семеня за ним толстыми ногами, и маленькая властная головка его, круглая, с густыми черными бровями, часто вздрагивала. Эмиру казалось подозрительным, что халиф так долго не принимает его, и он боялся узнать по лицам законовевов и кади свою судьбу. Эмир приехал в Багдад, рассчитывая свалить на плечи халифа, как религиозной главы ислама, всю ответственность за передачу эдесской святыни византийцам. И эмира злило, что его принимает визирь, которого халиф всегда может сменить, утверждая, что по глупому приказанию визиря передана святыня.

XIX

Визирь сказал:

— Законоведы и судьи! Халиф — да будет благословенно имя его! — повелел мне спросить вас: отдавать или нет великую святыню Эдессы, так называемый убрус,

или мандилию пророка Иссы. Византийский император в обмен клятвенно обязуется отвести свои войска от стен Эдессы, вернуть нам три тысячи пленных, а за понесенные нами в войне убытки выплатить немедленно двенадцать тысяч серебряных монет. И, разумеется, заключить вечный мир.

Законоведы и кади задумались, стараясь угадать то, чего хотят халиф и визирь. «Великая святыня» — значит, раз великая — отдавать нельзя! С другой стороны, слова «вечный мир» визирь произнес без иронии. Значит, надо отдать. Но слово «клятвенно» он, несомненно, произнес с усмешкой. Значит, нельзя отдавать?!

Встал Джелладин, быть может единственный, кто не вдумывался в затаенный смысл слов визиря и кто пришел на совет с готовой речью. Выпрямляясь в воздухе, как пес во время прыжка, он заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, подтверждая свои слова изречениями из Корана.

Прежде всего Джелладин разъяснил собранию, что убрус, не будучи *законной* святыней, вследствие ложно толкуемого предания, является тем не менее *святыней*, поскольку ей поклонялись много веков мусульмане. Стало быть, эдесский убрус — Закон, и мы его чтим! Затем Джелладин перешел к требованиям византийского императора. Они — *незаконны!* Святыня принадлежит Эдессе, и в продолжение веков *никогда* византийский император не требовал ее, тем самым признавая законность пребывания ее в Эдессе. И честь ислама *никогда*, а сейчас тем более, не позволяла и не позволит признавать требования императора Константина осуществимыми. Нельзя желания византийцев принимать как закон, потому что, принимая их как закон, мы должны и самих византийцев принять как друзей, а 5-я сура Корана говорит: «Тот, кто примет христиан за друзей, кончит сходством с ними. И тогда аллах не будет путеводителем нечестивых!»

— Нам путеводитель аллах и Магомет, пророк его, начертавший эти слова в Коране. Коран есть Закон, и Закон *говорит*: эдесскую святыню нельзя передавать византийскому императору! — заключил торжественно Джелладин. — И эти слова, с которыми, мне думается, согласится все собрание, я прошу вас, достоуважаемый

визирь, передать могучему халифу, да будет благословенно имя его!

Визирь почтительно наклонил голову, и некоторым показалось, что он согласен со словами Джелладина.

Тогда встал другой законовед, рослый и красивый старик в зеленом парчовом одеянии. Несмотря на свой внушительный вид, он не привел иных доводов, чем те, которые высказал Джелладин, и визирь попросил его говорить короче. Затем говорил третий, размахивая свитком Закона с таким убеждением, что свиток упал на ковер и кое-кто рассмеялся.

Визирь зевнул, втягивая щеки далеко внутрь.

Лицо Махмуда не потому, что он добивался этого, а потому, что много и долго спорил о том с подружкой, невольно следовало за выражением лица визиря, и, когда визирь зевнул, Махмуд тоже зевнул и даже потянулся.

Эти повороты тела, эти изгибы лица и даже излучины одесжды Махмуда — все показывало визирю на какую-то взаимность между ним, визирем, и этим молодым человеком с широкими, как бы закоптелыми руками, почтительно склонявшимся к кади Ахмету. «Да это, пожалуй, тот оружейник и поэт!» — подумал визирь, и он еще раз поглядел в горячие, упрямые глаза молодого человека. Уловив взор визиря, кади Ахмет полузакрыв веки, словно задремав; и, внутренне улыбнувшись этой невинной хитрости, визирь, выслушавший к тому времени четвертого и пятого законоведа, которые говорили приблизительно то же, что и Джелладин, сказал:

— Говори о ты, молодой человек, сидящий рядом с кади Ахметом. Халифу будет любопытно знать, что думает багдадская молодежь об эдесской святыне. — И, желая ободрить Махмуда, визирь добавил: — Говори смело.

Визирь любил гулкие и звонкие голоса, и его голос казался ему самому чрезвычайно гулким. Поэтому визирь порадовался, когда голос Махмуда наполнил не только зал совета, но и разлился по всем лестницам.

Махмуд говорил:

— Да будет благословенно имя халифа! Неподатливым, норовистым, строптивым врагам ислама — смерть!.. Да будет то, что я выскажу, понято в истине, а что будет не понято, пусть не будет рассмотрено как намеренное умолчание, а лишь как обмолвка моя, человека

неопытного в совете и впервые представшего перед светлые очи нашего уважаемого визиря. Благодарение аллаху, смуты в халифате залечиваются. Но их целиком залечит хорошая победа над неверными. Нам не долго ждать этой победы. Однако, к сожалению, надо признать, что победу эту мы не получим под прославленными воротами Эдессы, потому что город расслаблен плохим руководством, трусостью отдельных военачальников и — я не боюсь сказать — явным предательством! Да, я вижу предательство, хотя еще, по неопытности своей, не вижу лица предателя. Зато, я уверен, это лицо видит халиф, да будет прославлено имя его!

Голос Махмуда гремел.

Визирь уже не предавался зевоте. Положив тонкие руки на острые колена, он наклонился вперед и рассматривал Махмуда. Щеки визиря надулись и были розовы, как щеки дремавшего кади Ахмета. Визирь, с легкостью принимавший настроения халифа, как гипс принимает очертания статуи, делается слепком ее, с радостью и одобрением смотрел на молодой гипс, из которого скоро отольются замыслы халифа. «Только бы он не вздумал читать стихи о войне с Византией, — мелькнуло в голове визиря. — Зачем говорить о войне, когда мы говорим о мире!»

Лица законоведов побледнели. Лишь Джелладин ничего еще не понимал, злясь на кади Ахмета. Зачем кади, обжорливый дурак, привел сюда этого молодого самоуверенного болтуна? И над участью его думал Джелладин! И ему преподал он начатки Закона?!

Визирь перевел глаза на лица законоведов. Бледные? А не подозревали ли вы или даже знали о переговорах эмира Эдессы с проходимцем Али, «мечом династии»?

XX

— Багдад нанесет поражение врагу. Ислам покроет их города кровью, а сердца позором, как штукатур покрывает здание той краской, какой хочет! И мы уничтожим всех, кто, подобно преступнику Али, осмелившемуся назвать себя «мечом династии», мешает нам в создании победы. Но нужно быть здоровым. Поражение главного врага придет некоторое время спустя после того, как мы *отдадим* эдес-

скую святыню. Святыню *нужно* отдать. Сегодня нет другого средства бороться с византийцами и получить мир и многочисленных арабских пленных, которых они обещали вернуть и вернут несомненно, так как им *тоже* необходим мир с Багдадом. Мне кажется, что на Византию идут славяне, князь Игорь... Мы же, заключив мир, получив наших пленных и византийские деньги, сможем вооружиться...

Визирь снисходительно прервал Махмуда:

— Ты слишком много говоришь о вооружении.

— Я — оружейник, — сказал Махмуд. — Я, о визирь, кую ножи.

— А, это ты куешь хорошие ножи, которые принес мне кади Ахмет? Продолжай же, кующий ножи.

Махмуд сказал:

— Утверждают, что убрус, или мандилия, — несокрушимая защита Эдессы. Но эта защита *не защитила* Эдессы, и мы вынуждены вести довольно постыдные переговоры с византийцами. Зачем же нам держать святыню, которая, будучи защитой, не защищает? Не лучше ли вернуть ее византийцам, тем самым усыпляя их настороженность. Пусть она теперь «защищает» их! Отдать не позволяет нам честь Багдада? А держать при себе святыню, отказывающуюся нас защищать, — честь? Она смеется над нами!.. Весьма полезен этот поступок будет и для греков-христиан, подданных халифа, и тех, что византийского толка, и тех, что несторианского. Они, увидав, что убрус безропотно переходит к византийцам и не защищает Эдессы, не замедлят, разочаровавшись в своей религии, перейти в истинную, в ислам. Говорят нам, что мусульмане чтут убрус. А зачем? Вовсе не нужно замыкать дом на десяток замков, достаточно иметь один, но хороший. Коран — вот замок ислама! Истый мусульманин в иных святынях не нуждается. Именно силою и правдою Корана будет взят Константинополь, и, когда он будет сожжен, на пепле его халифу поднесут золотой поднос, чтоб он выпил чашку кофе и отдохнул от трудов своих!.. Я сказал все, о достопочтенный визирь.

Махмуд поклонился визирю, эмиру, всем законооведам и кади, а затем особо поклонился своим учителям — кади Ахмету и Джелладину. Кади Ахмет сделал вид, что проснулся. Его багровое лицо и рыжая борода лоснились от удовольствия. Ему казалось, что Махмуд смело и горячо передал собранию как раз те мысли, которые хотел выска-

зять и сам кади. Кади Ахмет забыл вчерашнее свое мнение, покоренный остроумным софизмом Махмуда относительно «чести Багдада» и «чести эдесской святыни». Такая фраза стоит многих святынь!

Джелладин негодовал по-прежнему. Он встал и прокричал:

— Закон открыл глаза Махмуду. Он прав в части преследования преступников, благодаря которым наши войска потерпели поражение. И да покарает закон предателей, которые вещь накладного золота выдают за золотую. Что же касается передачи святыни византийцам, он говорит неправильно, и не слушай его, о визирь! По молодости лет он еще не знает всего Закона!..

— Что еще скажут законоведы и кади? — спросил визирь.

Законоведы и кади сказали, что Махмуд прав и что аллах осветил его разум.

— Тогда мы поблагодарим аллаха, — сказал визирь, — и пойдем каждый к своему делу.

И когда все ушли, визирь сел на коня и поехал во дворец халифа.

Два дня спустя было обнародовано решение халифа о передаче эдесской святыни византийцам. В иных обстоятельствах это решение обрадовало бы эмира Эдессы, но тут он опечалился, багдадские врачи внезапно нашли у него какую-то опасную болезнь, которую можно излечить лишь в Багдаде. И визирь приказал ему не покидать столицу.

Визирь призвал Джелладина, кади Ахмета, Махмуда и сказал им:

— Джелладин, знаток Закона! Ты поедешь передавать византийцам эдесскую святыню. Ты прост и честен, и хотя ошибся, но ты все-таки лучше всех знаешь Закон. Тебя посылает халиф.

— Халиф — Закон, и да будет благословен Закон, — сказал Джелладин. — Я всегда повинуюсь Закону.

— Мы так и думали, — проговорил визирь. — И нам кажется, ты лучше других сможешь защищать перед византийцами честь Багдада. Чтоб показать наше миролюбие, ты будешь сопровождать эдесскую святыню до Константинополя. Мы не посылаем с тобой грамот к императору, потому что не знаем, примет ли он тебя. Но если примет, передай ему нашу дружбу.

Обращаясь к кади Ахмету и Махмуду, визирь сказал:

— Поедет также кади Ахмет, он наблюдателен, любопытен и сможет увидеть в Константинополе то, что полезно перенять Багдаду. Кроме того, он весел, знает толк в кушаньях, и он усладит ваше путешествие. Начальником вашего конвоя будет оружейник Махмуд. Идите, и да будет с вами благословение халифа!

Они пошли. Визирь, подумав, сказал:

— Ты, Джелладин, останься. Ты — первый среди посланцев халифа, и мне нужно передать тебе деньги и одежду, потому что вы все честны и оттого плохо одеты, и византийцы могут подумать о вас дурно. Махмуд! У тебя византийцы сожгли отца?

— Сожгли, о визирь. И мое сердце...

— Понимаю, понимаю. Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственными соображениями. Кади Ахмет, знаком ли ты с мифологией древних и читал ли ты Аристотеля?

Кади Ахмет осторожно сказал:

— Давно когда-то и почти забыл, о визирь.

— Надеюсь, однако, ты сможешь объяснить своему ученику, что Пегас древних уже не обгоняет коня халифа.

— Так, визирь, так!

XXI

Когда они вышли из дворца, Махмуд спросил у кади:

— Кто такой Пегас? Что он говорил?

Он хотел сказать, что воинственные стихи рано или поздно будут петься. Как ни плотны и долголетни были бы слои мира, под ними всегда лежит война. А военная песня облегчает войну, ведет напрямик к врагу, и поэт представляется воинам совлекающим доспехи с врага. Кто же совлекающий доспехи не будет прославлен? Будь уверен, Махмуд, что к славе ведут окольные и не различимые во мгле времени пути. Таково мнение визиря об Аристотеле.

— А Пегас?

— Пегас — конь, которого тебе даст визирь. На нем ты въедешь в Константинополь. Это ретивый конь, но он любит, чаще всего не к месту, воинственно ржать. Бей его чаще по морде, и он не станет особенно беспокоить тебя.

И кади, не без грусти, добавил:

— У нас слишком большое различие в возрасте. Иначе я б рассказал тебе о преимуществе любовной песни перед воинственной, и, быть может, ты, вообразив, что оставляешь в Багдаде нежную возлюбленную, спел бы нам что-то очень удивительное.

Махмуд смолчал. Песня эта теснилась у него на сердце. И на самом деле, не с рыжим же кади Ахметом делиться ею?

Он пропел ее в тот вечер своей возлюбленной.

Он пел о судьбе, кривой, как его ножи. И пел о семи розах на рукоятке. Это семь дней недели, в которые он беспрерывно страдает по Ней. Пел он о трех лепестках на лезвии. Не напоминают ли они Тебе, о милая, клочковатые облака на небе, которые уходят, уходят... Как ни крива судьба, но перед нашей любовью она очистится, словно лезвие. Исчезающие туманы разлуки не напомнят ли Тебе когда-нибудь, когда мы всегда будем вместе, эти уходящие клочковатые облака? Я приду к Тебе! Я приду к Тебе, милая.

Конь его был далеко за Багдадом, когда Даждя вышла на крышу его дома и, глядя на запад, запела эту песню. Багдад спал. Но шел мимо дома оружейника один любленный. И он услышал песню, и она пронзила его сердце, и он запомнил ее, и пошел к своим друзьям, и поделился с ними своей находкой. Он исполнил песню, и друзья одобрили ее. Обнаруживший песню был скромным, он говорил, что в устах неизвестной певицы эта песня во сто крат великолепней. На другую ночь друзья пошли искать певицу. Влюбленный забыл улицу и дом. Друзья шли и в пути пели песню, надеясь, что эхо приведет их туда, где рождается этот переливчатый звук. И в поисках дома, с крыши которого неслась чудесно-тоскливая песня, они обошли весь Багдад, и когда остановились, то услышали, что весь Багдад поет эту песню, потому что весь Багдад услышал ее. Был конец весны, а любовь в конце весны особенно чутка. Кроме того, город Багдад обширен, и обширна любовь его, и многие хотели прийти к Ней, а Ее не было.

— «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе!» — пел Багдад.

Халиф проснулся на рассвете, разбуженный этой песней. Он спал хорошо, чувствовал себя бодрым, даже молодцеватым. Ему подали серебряный кувшин и таз для омовения. Радостно содрогаясь от холодной воды и слыша в кустах сада щебетанье и лепет птиц, а за оградой

эту песню, он спросил, глядя на светло-лиловое, прохладное небо и редкие облачка на востоке, схожие с цветками гвоздики:

— Я не разберу слов. Что они поют?

Ему объяснили. Он улыбнулся благосклонно и сказал:

— Дети. Ну что ж, пусть поют.

XXII

Жарким летом 944 года бесконечный лес копий князя Игоря двинулся, шурша сухой травой, по днепровским степям. Войска шли к Дунаю, оставляя позади себя широкие пыльные дороги. Тут были люди великого племени русь с широкими, тяжелыми мечами; рослые всадники племени полян с круглыми белыми щитами, на которых были охрой нарисованы змеи; приземистые, быстроногие тиверцы и белобрысы кривичи, которых никто не мог победить, когда нужно было драться внутри укреплений. Кроме того, шли нанятые князем Игорем гладколицы, с тонкими бровями печенеги.

А по Днепру спускались ладьи, и когда они вышли в Черное море, они покрыли его, как покрывают ковром пол. Впереди, сотрясая море и пугая волны, плыла огромная ладья князя Игоря. Она была украшена золоченой статуей Перуна, а по борту узором из серебряных пересекающихся линий. Рядом с Перуном стоял большой щит, сверху донизу унизанный золотыми бляшками. Время от времени князь Игорь, высокий, длиннолицый, с проседью на висках, подходил к щиту и поднимал его, словно готовясь поднять его еще выше, к цоколю арки Золотых Ворот.

И византийцы содрогнулись. Зажглись толстые свечи перед иконами, дым ладана наполнил храмы, неистовым всеобщим бдением молились монастыри, и сам трудолюбивый император Константин отложил разрисовку киноварью и золотом заглавных букв к гигантским сборникам «Житий святых», которые должны были состоять из ста томов, изложенных красивым слогом ученого мужа Симеона Метафраста. Император встал на молитву, высказав сильное желание, чтобы в Константинополь для спасения столицы возможно скорее прибыла эдесская святыня и войска domestika схол Иоанна Каркуаса,

И в Эдессе была засуха и жара, и сады эдесские, славающиеся плодами, были бедны, так что цена на оливки поднялась, и жители жаловались, поражаясь своей скудости. Они объясняли бедствие тем, что их великая святыня покидает город. И никто из жителей не вышел навстречу посланникам халифа.

Джелладин, кади Ахмет и Махмуд долго стояли на высоких стенах городской крепости.

С крутых каменных стен видны были рвы, наполненные тухлой водой, в которой плавали трупы. По берегам рвов стояли вымазанные толстым слоем глины стенобитные машины византийцев. Машины были так высоки и громадны, что, казалось, до них невозможно было дотянуться рукой. Возле машин, на земле, в прикрытиях из циновок, утомленные зноем, спали византийские солдаты, и слышен был их безмятежный храп.

К посланцам халифа, на стены, пришел в сопровождении знатных прихожан эдесский епископ Павел, низенький лысый старичок с воспаленными глазами, говоривший хриплым басом. Поодаль от них шел епископ несторианского толка со своими священниками и дьяконами. Джелладин принял их, сидя на бочке с древесной смолой.

Христиане были одеты нищенски, но разговор их изобилдовал обещаниями золота, и видно было, что они не лгут. Они выкупят арабских пленных! Они выплатят халифу те деньги, которые ему обещают византийцы, и в срок более быстрый. И это не дерзость или стремление отделаться словами, а вполне ясные предложения, которые они готовы осуществить хоть сегодня! В речах, задыхаясь от волнения, они делали частые остановки, и Махмуд дивовался на них, и ему хотелось посмотреть эту странную эдесскую святыню.

Джелладин сидел непреклонный, довольно однообразно повторяя слова о Законе и законности всех распоряжений халифа. После долгих прений Джелладин резко, от имени халифа, приказал выдать убрूस.

Епископ Павел воскликнул:

— Лучше закрыть глаза Эдессе, как покойнику, чем отдать икону!

И епископы, священники и миряне ушли не поклонившись.

Джелладин приказал подать коня. Он направился в лагерь византийцев, чтоб сообщить им решение халифа. Завтра убрус будет выдан.

Джелладин долго не возвращался. Был уже вечер, и Махмуду, начальнику конвоя, сообщили, что народ оцепил главный эдесский собор, устроил вокруг него возвышение из камней, перекрыл камнями центральные улицы города. Город теперь разделен на две части, и одна половина в руках восставших. Махмуда особенно взволновало, что мусульмане города помогают христианам оружием и таскают им камни.

Весь дрожа от волнения, Махмуд нашел кади Ахмета, который спал в прохладном месте погреба для вин. Махмуд сказал кади о восстании, которое он намерен немедленно подавить с ужасающей жестокостью. Он готовит своих воинов к атаке. Во имя халифа и Корана, он приказал им не щадить никого! Он пылал от злобы и жажды сражения, и пот лился по его темному лицу.

Кади Ахмет выпил из своей баклажки, вытер шею мокрым полотенцем и сказал:

— Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить. И лучше было б мне научить тебя спать на собрании у визиря, чем говорить блестящие речи. Впрочем, дело испортил не ты, а Джелладин. Вместо рыбы, которая переваривается желудком легко, он вздумал кормить народ дровами. Я предпочитаю, как и народ, рыбу. А также отговорки, которые похожи на рыб резвостью своего бега, легкостью в еде, и только идиот может подавиться их костью. Едем!

— Ты поедешь со мною сражаться? — спросил Махмуд.

— Нет, — кротко сказал кади. — Это ты поедешь со мной, без оружия, и будешь смотреть, как я сражаюсь словом. Помни, что я судья и привык говорить в столице, а здесь глухая провинция.

Кади приказал заседлать своего мула, взял лепешку в руку и, жуя ее, направился к главной баррикаде восставших, к эдесскому собору.

Подъехав к баррикаде, он почтительно поклонился древнему зданию собора и, вызвав предводителя восстания епископа Павла, повел перед ним речь. Вначале он с глубоким почтением отозвался о святыне. Он никак не хотел порочить ее или презирать. Отнюдь! Он также не желает круто изменять взгляды восставших, и они, пожалуй, пра-

вы, что взяли за оружие. Он приехал только затем, чтобы напомнить восставшим о главном положении, которое они упустили из виду и которое он, кади Ахмет, глубоко чтит. Они забыли о существовании чуда, то есть о сущности эдесской святыни. *Чудо!* Чудес много, и они замечались неоднократно. Во-первых, в Эдессе много церквей, и в каждой из них имеется копия убруса. Не кажется ли вам, что *копия*, — а это будет чудо, — представится византийцам оригиналом? Копия убруса из второстепенной церкви, ночью, перейдет в главную, а отсюда, завтра, к византийцам. Во-вторых, если допустить, что византийцы увезут оригинал, то опять-таки нужно помнить о чуде. Эдесская святыня свершит чудо и сама возвратится домой, обратно в Эдессу! Неужели эдессцы так уж сомневаются в себе, что не могут умолить святыню вернуться обратно? Эдессцы, доблестные, отважные, показавшие чудеса в защите своей святыни! Эдессцы, трупы которых наполняют рвы, окружающие город!.. И в-третьих, нужно принять во внимание и теперешнее положение города. Город разрезан на две части. Одна половина города будет драться с другой, стены будут обнажены, а византийцы что же, будут смотреть? Они начнут штурм, немедленно возьмут город и ограбят его так, как еще не грабил никто и никогда! И в-четвертых, есть одна замечательная, всегда победоносная вещь. Эта вещь называется — ожидание.

— Я прошу вас подумать об ожидании, — заключил кади Ахмет. — И я жду вашего ответа.

Он отъехал от баррикады в тень платана, достал свою лепешку и начал ее есть. Когда он собрал с платка, разостланного на коленях, крошки и высыпал их в свой рот, он повернулся к баррикаде. Эдессцы разбирали ее. Он хлебнул из баклажки, чмокнул языком и сказал, обращаясь к Махмуду:

— Разве я был неправ, утверждая, что здесь глухой угол и что здесь не трудно говорить? Они даже и не знают, что представляет из себя истинный оратор! Здесь я мог бы пойти далеко вперед, не опасайся я лишней заботы.

XXIV

Джелладин вернулся в сопровождении Авраамия, епископа византийского города Самосата. Авраамий по распоряжению константинопольского патриарха дол-

жеи был принять икону. Епископ, продолговатый и бледный, как гребок для мешания извести, был одет в широкие, украшенные камнями и золотом, парчовые одежды. На голове его качалась митра, нагрудный знак горел драгоценностями, а жители Эдессы кляли его и смотрели на него с ненавистью, словно он совершил растрату общественной кассы.

Воины-рабы выстроились на площади, рассматривая отделанный крапчатым мрамором собор. Епископ Авраамий, громко читая молитвы, поднялся на ступени паперти и здесь остановился. Он стоял, клал крестное знамение и о чем-то думал. Затем, повернувшись к епископу Павлу, сказал, что ему было сейчас видение. Убрус находится не в этом соборе. Здесь лишь копия убруса. Эдесцы спрятали подлинный убрус, но он найдет его. Видение укажет ему путь!

И Авраамий, сев на коня, поехал по улицам Эдессы. Он ехал, не спрашивая ни у кого дороги, хотя в городе был первый раз. И эдесский клир в глубокой горести шествовал за ним. Они подошли к храму, расположенному возле городского рынка. Авраамий опять поднялся на паперть и опять долго молчал, размышляя. И опять он сказал, что ему было видение и что в этом храме не подлинный убрус, а тоже, хотя и хорошая, но — копия. И он сказал, что видение направит его стопы дальше.

И все окружающие ужаснулись такой пронизательности. Ужаснулся вслух и Махмуд, сопровождавший шествие.

Кади Ахмет сказал:

— Несомненно, это ужасно. Но ужасно не потому, что видение, а потому, что у византийцев всюду прекрасные шпионы. Кроме того, у епископа прекрасная память, раз он, со слов шпиона, по памяти узнает дорогу. Впрочем можно допустить, что шпион его, известный лишь ему, идет впереди нас, в толпе. Кроме того, епископ ужасно хороший мим, как и все византийцы, добавим. Единственно, что они наследовали от древних эллинов,— это отличную актерскую игру. В политике и в театре их следует опасаться.

Наконец, в жалкой кладбищенской церкви епископ Авраамий обнаружил подлинный убрус. Византийцы возликовали, а жители Эдессы стали рыдать и бить себя в грудь

и в голову. В арабов полетели камни. Один угодил Джелладину в плечо, а другой рассек Махмуду лоб. Кади Ахмет, перевязывая его, сказал:

— А в меня, хвала аллаху, камень не попал. Вы заплатили пошлину за проезд через ораторский мост, принадлежащий мне, и пошлина эта не велика.

Подали балдахин из серебряной парчи с золотыми кистями. Балдахин внесли в храм, и оттуда, с песнопениями, в облаках ладана, эдесская святыня направилась к воротам города, которые были распахнуты. На стенах Эдессы стояли жители, рыдая и крича. А за стенами, на равнине, распростерлись византийские воины, и стенобитные машины были пусты, потому что все византийское войско ползло на коленях к главным воротам.

Кади Ахмет сказал Махмуду:

— Если ты хочешь знать, что такое жизнь, взглядишь внимательно в эти стены и в эту равнину. Жители Эдессы плачут и стонут от горя. Византийские войска делают то же самое от радости. Мы же не понимаем ни того, ни другого. Мало того, мы не видим, а возможно, и не увидим, из-за чего одни радуются, а другие горюют. Рассуждая здраво, мы вправе предполагать, что под балдахином вообще нет ничего.

— Что же тогда, кади, представляет из себя жизнь? Бессмыслицу?

— Грохочущий с гор поток, Махмуд, в котором не трудно утонуть, если не научиться плавать.

Джелладин, оборачиваясь к ним, воскликнул:

— Ты учишь его безнравственности и пороку!

Кади Ахмет сказал:

— Я учу его хладнокровно задумываться над жизнью, быть справедливым, а также и страстным в чувствах. Тогда он не только переплывет поток, но сам будет создавать горные потоки.

К убрису вели раненых, слепых, калек и убогих. И слышны были крики, что уже появились первые исцеленные. Жители Эдессы, умоляя икону вернуться к ним, рыдали так, что казалось, стены города колеблются.

Кади Ахмет сказал:

— Вот я недавно говорил о чудесах. Но не удивительное ли чудо, Махмуд, что мы видим все это? И я предчувствую, что мы увидим еще более чудесные вещи. Я не хотел бы присутствовать при главном чуде, хотя именно я

выдумал его: внезапный уход убруса из византийского войска и возвращение убруса в Эдессу. Мне хочется повидать Константинополь.

— Гнездо разврата и вместилище беззаконий? — спросил Джелладин.

— Определение, допустим, правильное. Константинополь — гнездо злых духов. Но разве для того, чтобы бороться со злыми духами, не нужно знать их силу и их возможности? Например, мне говорили, что у византийцев чудесное вино. Я охотно верю в это чудо и с удовольствием проверю его. Византийцы много пьют, а кто много пьет, тот, естественно, ищет лучший источник. Я не спорю, что Багдад имеет свои достоинства, но вино в нем отвратительное, и у меня всегда жжет под ложечкой, когда я пробую его, с тем чтобы узнать состав злого духа. И мне тогда делается тошно, точно уже наступило полнолуние...

Махмуд, думавший о чудесах, которые свершал убрус, спросил:

— Кади! Византийцы — неверные и нечестивые, подлежащие мукам и в этой жизни и в будущей. Как же аллах, — а чудеса, несомненно, свершает аллах, — как же он свершает их сейчас над неверными?

— Аллах свершает чудеса над неверными затем, чтобы ослабить их. Неверные в конце концов перестанут верить в свои силы, будут надеяться на чудо, и тогда верные, то есть мы, победят их. А нам, верующим, аллах свершает меньше чудес, чтоб мы не ослабли и верили в свои силы. Он открыл нам лишь Закон, что есть непрестанное чудо, и его вполне достаточно нам.

Джелладин воскликнул:

— Впервые в жизни ты высказал хорошую истину, кади!

— Но... — продолжал кади, кланяясь в сторону Джелладина со своего мула. — Но возможно, что главное чудо, по неисповедимым путям аллаха, заключается в том, что все это нам лишь мерещится. Эдесса, убрус, вот эти войска, сквозь которые мы сейчас проезжаем и которые нас не замечают, кроме византийского чиновника, указывающего нам дорогу, и даже вот это персиковое дерево, на котором, из-за необычайной жары, так мало плодов. Я поверю в достоверность всего происходящего тогда лишь, когда попробую константинопольское вино. По-моему, нет ничего реальнее вина, хотя оно иногда и опьяняет. Но что такое

опьянение? Состояние, в котором животное кажется человеком, а дурак — умным. В трезвой жизни подобное состояние случается урывками, а в пьяной — оно идет непрерывной полосой. Но что лучше: ухабы или полоса гладкой дороги? Дерево, покрытое цветами, или голые сучья зимой? Если персиковое дерево покрыто сплошь плодами, это вам кажется милым и реальным, а если я, пьяный, вижу весь мир, как персик, прекрасным, почему это вам не кажется реальностью из реальностей?

Джелладин плюнул через голову коня, и плевок его, как удар копыта, пал на землю так, что пыль встала столбом.

— Ты, кади, бродяга мыслей! — вскричал он. — И я горько раскаиваюсь, что только что похвалил тебя.

И он проехал вперед, чтоб не слышать кади Ахмета.

XXV

Джелладин отъехал, а кади Ахмет продолжал говорить в том духе, высматривая в лагере византийцев какую-нибудь харчевню, где можно было б закусить и выпить. Харчевни были закрыты. Все торговцы вышли встречать убрис. Кади Ахмет огорчился и сказал:

— Это печально. Неверные не должны быть столь ретивы в своей вере, которая есть туман и наваждение злого духа. Ведь получится таким образом, что мы до самого Константинополя будем питаться сухими лепешками и пить сырую воду, которая при жаре очень вредна. Я ожидал другого. И неужели у них другие торговцы, чем у нас?

После благодарственного молебствия в палатке византийского военачальника состоялся пир. Арабам в их палатку принесли обильную пищу, но так как византийцам было известно, что арабы не употребляют вина, то вина и не подали. Кади Ахмет отозвал стольника подальше и сказал ему:

— Дорогой! Путь до Константинополя далек. У меня старый и глупый мул, и я уже проверил, что, когда он не идет, ему полезно дать кружку вина.

Стольник удивился и сказал, что в таком случае византийцы дадут немедленно уважаемому посланцу молодого и крепкого на ноги мула.

Кади Ахмет сказал:

— Уже держась на этом муле двадцать лет, трудно слязть с него. Кроме того, сколько я потратил денег! Подумайте, в Багдаде поить мула вином! Когда я влезаю на него, у меня такое чувство, будто подо мной мешок денег. А я человек бедный, и мне жаль расставаться с такими чувствами. Лучше дать ему вина, поскольку пророк нигде не запрещал употреблять мулу вино.

Стольник приказал подать вина. Но так как византийцы не знали, сколько же употребляет мул вина, то обратились к кади. Кади сделал удивленное лицо и сказал:

— Он, старый дурак, не видит разницы между водой и вином и пьет вина столько же, сколько и воды.

И ему принесли большой мех, и кади привязал его на спину мула, позади седла. Кади прикрыл мех свисающим с плеч дорогим пепельно-серым плащом, выданным ему по приказу визиря. Когда фляжка была пуста, кади под плащом, ощупью наполнял ее и говорил, поднося ее к своей рыжей бороде:

— Это небольшое чудо, но оно приятно.

Мула же он водил сам поить, и византийцы, которым было выгодно видеть, что арабы пьянствуют, делали вид, что не замечают обмана.

Византийский военачальник прочел перед воротами Эдессы грамоту, «хрисовулл» императора Константина о вечном мире, передал арабских пленных и положенное количество серебряных монет, и византийские войска отошли от Эдессы.

Балдахин серебряной парчи с золотыми кистями двинулся к городу Самосату.

Арабские посланцы ехали в конце процессии. Между ними и византийцами наблюдалось такое расстояние, какое необходимо для того, чтобы улеглась пыль.

XXVI

Влажная и плодоносная долина Евфрата была выжжена солнцем. Ореховые деревья, оливы и виноградники пожухли и поблекли. Кони и козы, тощие и жалкие, бродили, не находя пищи. Река была так мелка, что ее перешли вброд, не замочив колен. Однако поселяне, надеющиеся на чудо дожди, которое им принесет убрус, радост-

но выбегали навстречу процессии. Их широкие наивные глаза были наполнены слезами. Они дарили мясо и рыбу несшим икону и целовали следы ног священников.

Кади Ахмет сказал:

— Они неверные, и я должен бы желать им зла. Но мое сердце болит, глядя на эти несчастные нивы, и мне хочется молиться с ними о дожде.

Ночи были душные. Жаркая тьма обнимала землю. Сон не приходил. Так как они ехали по горестным местам, где, несомненно, орудовали злые духи и волшебники, то кади Ахмет, не боявшийся действий злых сил днем и даже насмехавшийся над ними, ночью ощущал страх и потребность защиты. Он будил начальника конвоя, и они покидали палатку.

Отовсюду из тьмы шли на них шорохи, трески и какое-то сухое быстрое шуршание, похожее на шаги. Кади узнавал во тьме очертания злого духа Аббикона, уничтожавшего рыб и зверей. Мерещился ему также волшебник Бади и его похотливая любовница Гозар, которые портят людей, насылая им судороги и лому в костях. Он видел и злого духа Фозуллу, безобразного, способного одним взглядом испепелить ум человека. Кади Ахмет вздыхал, прижимался к Махмуду, а тот хватался за меч. Кади поспешно читал суры Корана. Махмуд молился рядом с ним. Махмуд не видел ни злых духов, ни волшебников. Ему виделись синие глаза Дажды, и сердце его иступленно ныло, и ему хотелось домой, и он думал, что это злые духи показывают ему возлюбленную, чтобы он не выполнил приказания халифа и бежал к ней.

— Даже вино и то не помогает мне! — шептал кади.

Но приходило утро, и духи зла исчезали, и опять булькала влага в тыквенной бутылке кади, переливаясь в его горло. Улыбаясь, он говорил:

— Благодарю тебя за помощь, Махмуд. Я слаб, но счастлив, что слабость моя усиливает мне наслаждения утра.

В городе Самосате эдесская святыня оставалась несколько дней, пока не записаны были все чудеса, свершенные ею. Скорописцы, со слов исцелившихся, заносили на пергамент подробности болезней; свидетели, священники, врачи подтверждали их своей рукой и печатями, и курьеры мчались в Константинополь, чтобы доставить императору и патриарху эти драгоценные пергаменты. За-

писано было также, что после того, как убрус удалился из долины Евфрата, над всей долиной пронеслись обильные дожди.

Узнав об этом, кади Ахмет сказал:

— Есть и омерзительные чудеса, и из них самое омерзительное то, которое творят чиновники и блюдолизы.

XXVII

Через несколько дней после ухода из Самосата они увидали горы и вступили в них. Они медленно поднимались по широкой каменистой дороге, усеянной обломками желтых скал. Скалы поросли колючими серыми кустарниками. Монахи пели непрерывно и громко, утверждая, что ранним утром на звуки этого пения из серых кустарников к процессии приближались львы, чтобы увидеть и поклониться святыне. Одетые в грубо выделанные шкуры, дикие племена выстраивались на дороге. У ног их лежало оружие, и свирепые лица выражали покорность.

— Таких людей и такое оружие любопытно посмотреть, — говорил кади, стараясь приблизиться к диким племенам. — В иных обстоятельствах вы имеете возможность увидеть их лишь мертвыми.

Однажды ночью, при свете факелов, они вошли в замок какого-то феодала. Их на мосту замка встретил епископ этой местности в кольчуге и препоясанный мечом, который он обнажил во славу своего бога и кинул на каменный настил моста, чтобы убрус пронесли над ним. Рыцари, неловко сгибая колени, склонились рядом с епископом. И в замке пировали до утра, восхваляя убрус и дальновидность императора, овладевшего этим убрусом.

Погреба, из которых носили прислужники вина, были расположены неподалеку от помещения, где возлежали арабы. Им принесли барана, изжаренного целиком, но, так как Джелладин не знал, зарезан ли баран согласно Закону, арабы отказались есть. Когда уносили барана, кади Ахмет нырнул во тьму вслед за прислужниками и вернулся нескоро. Но вернувшись, он весело размахивал руками, и от его бороды пахло вином и жареным мясом. Он сказал:

— Они будут пить до рассвета. Я начинаю верить, что по-своему они крайне набожные люди.

Кади Ахмет рано разбудил Махмуда. Кади думал о чем-то хорошем, и глаза его влажнилились, словно пропитавшись превосходными мыслями. С его лица не ускользала улыбка, и Махмуду тоже стало весело. Он вскочил:

— Пора ехать?

— Смотря куда, — сказал кади. — Если к Константинополю, то мы поедем вечером. Епископы пьяны. Их протопросвитеры пьяны. Пьяны все, и если б аллах не возбранял мне это, я бы прославил пьянство. Благодаря их пьянству мы увидим с тобой поучительное зрелище. Город!

— Разве здесь есть город? Вчера ночью мы не слышали шума города, не видели огней и не было колокольного звона. И большой город?

— Большой. Такой большой, что Багдад и Константинополь по отношению к нему что ступица к колесу.

Они прошли двор замка, где в беспорядке спала пьяная прислуга. Ворота замка были открыты, и вратари тоже спали пьяным сном. Мост был опущен. Махмуд возмущился такой беспечности, а кади сказал:

— Я же тебе говорил, что они надеются на чудо и глупеют с каждым днем.

На мосту они остановились и, садясь в седла, посмотрели на замок. Во втором этаже, в зале, где стоял балдахин с убрусом, догорали свечи, и возле свечей на коврах положив головы в направлении святыни, спали монахи. Свечи образовали, оплывая в одну сторону, большой нагар, и от них несло запахом горячей одежды.

— Превосходный замок и превосходнейшее вино! — сказал кади. И он стегнул мула, чтобы тот поскорее обогнул гору, на которой стоял замок.

Они увидели великую плоскую равнину и русло высохшей реки. Вдоль этого русла, заваленного валунами, тянулась набережная и стояли руины домов, церквей и увеселительных ристалищ.

— Развалины! — сказал Махмуд.

— Иные развалины поучительнее цветущего города, — проговорил кади, погоняя мула.

Они въехали в предместье, где некогда были маленькие домики бедняков. Вскоре перед ними начали подниматься большие белые, и красные, и синие колонны, облещенные колючими травами. Трава хрустела под нога-

ми, как некогда под ногами времени хрустели, разрушались, эти высокие мраморные дворцы и храмы.

Да, это был когда-то могучий и славный город! Так как равнина возвышенна и к тому же было раннее утро, то весь город можно разглядеть довольно ясно.

Они поднялись к акрополю.

Кади достал свою тыквенную бутылку, лепешку, предложил Махмуду позавтракать. Махмуд отказался.

— Как называется город? За какие грехи и кем он уничтожен? — спросил он.

Кади сказал:

— Никто не мог мне сказать этого.

И он продолжал:

— Люди думают, что устроить праведную жизнь так же легко, как перенести парус с одного борта лодки на другой. Но гляди, вот что осталось от их намерений.

— Это потому, что тогда не было пророка Магомета! — сказал Махмуд.

— У них был свой пророк, и они строили свой город на развалинах другого. Вспомни замок, из которого мы только что выехали. Разве владелец замка не старается выстроить возле себя новый город и разве он не уверен, что знает правила жизни лучше, чем кто-либо до него?

Махмуд строго посмотрел на кади:

— Что же делать? Не жить?

— Я говорю это именно к тому, — ответил кади, — что жизнь прекрасна и что не нужно отчаиваться. Как ни удивительно, но и старый глупый властитель, у которого умно лишь его вино, немножко прав. Он знает действительно немного больше, чем жители этого разрушенного города. Жизнь! О Махмуд! Законы жизни более просты, чем те, в которые веришь ты и похожий на тебя нерасторжимый Джелладин.

Махмуд засмеялся — таким нелепым показалось ему сравнение с Джелладином. От смеха ему захотелось есть, он попросил у кади кусок лепешки и немного отхлебнул из бутылки.

Они продолжали объезд города. Кади, вглядываясь в развалины зданий и разбитые фигуры богов, сказал, что город, несомненно, принадлежал древним эллинам, когда они поклонялись Зевсу и Аполлону.

— Джелладин утверждает, — проговорил Махмуд, — что эллины наказаны аллахом за беззаконие, так как

хотели людскими руками вылепить бога, которого никто не может изобразить. И не ходят ли и сейчас по развалинам призраки этих ужасных богов?

И он положил руку на меч.

Кади ничего не ответил, заинтересованный холмиком крупного серого песка, сквозь который просвечивало что-то ослепительно-белое и манящее. Он спрыгнул с мула, разгреб песок руками и обнажил мраморную фигуру младенца с крылышками и колчаном и луком в руке.

— Идол! — воскликнул в страхе Махмуд. — Отбрось его!

Разглядывая кроткое, улыбающееся лицо ребенка, кади Ахмет сказал:

— Быть может, Джелладин и прав. Смотри, какое человеческое выражение у этого мальчика. Они достигли удивительно многого в деле создания богов, эти эллины! Не помешай им варвары, они, пожалуй бы, создали и истинного бога. Вглядишься. Мальчик почти смеется от удовольствия, что ему еще раз удалось посмотреть на мир. Разве тебе не хочется смеяться вместе с ним?

Кади рассмеялся, ребенок улыбался, а Махмуд смотрел на них с ужасом.

— Не находишь ли ты, Махмуд, что наш халиф немного похож на этого божка? Правда, халиф, занятый серьезными делами, редко улыбается и староват, но есть у них что-то общее...

Тогда Махмуд в двойном негодовании, что кади похвалил божка неверных, а затем сравнил его с халифом, стегнул коня, подскочил к кади, выхватил божка и кинул его на близстоящую колонну. Божок разбился в мелкие куски.

У кади на глазах показались слезы, он всплеснул руками, а затем улыбнулся и сказал:

— Что разбито, то разбито. Разрушен целый гигантский город, и что в сравнении с этим какой-то жалкий божок?

И они повернули к замку.

Когда они возвратились в замок, Джелладин готовился к утреннему намазу и омовению. Во всей его фигуре видна была строгость и страх, точно вокруг он видел такое, что исправить и повести по дороге Закона совершенно невозможно.

И они встали на молитву. Махмуд молился с достоинством воина. Кади — с повелительным лицом судьи, за-

канчивающего скучный процесс. Джелладин молился так усердно и долго, что казалось, он молится о том, дабы вся земля провалилась, и никак этого вымолить не может.

К концу молитвы начали просыпаться византийцы. Послушные и дисциплинированные воины, они, согласно повелению императора, глядели на все, что делают арабы, одобрительно. Кроме того, ненавдя своих еретиков, вроде несториан или нечестивых поклонников Ария, они чужую, воинственную религию меча и зеленого знамени уважали. Особенно им нравился начальник конвоя — плечистый, в латах, посреди которых поблескивал тщательно начищенный серебряный полумесяц. Лицо Махмуда казалось им каменным и глубоко равнодушным ко всему, кроме приказаний своего невидимого командира.

XXVIII

Незадолго до прихода в монастырь Евсевиу, где убраться предстояло пробыть довольно продолжительное время, на горном перевале процессию захватила буря.

Вокруг них лежали лиловатые скалы, которые от дождя стали агатовыми. Ветер бешено носился вокруг скал, таща откуда-то снизу толстые и широкие листья, которые прилипали к лицу и закрывали глаза. И это было страшно.

Над балдахинном, взметнутые кверху, блестели неестественно ярко при свете молний золотые кисти, и видны были черные фигуры монахов, которые по-прежнему продолжали исполнять свои службы. Голоса монахов не было слышно, и их большие черные рты беззвучно раскрывались, принимая в себя, как в промасленные воронки, целые потоки дождя. Каменистая почва не впитывала влаги, и чистые прозрачные ручьи журчали возле ног коней и мулов, точно торопясь уйти из этих мрачных нелюдимых мест.

И сразу же, как только вышло солнце, скалы высохли, опять стали тускло-лиловатыми, а небо над ними переходило на самую лучшую сгущенную глазурь, которой покрываются дорожные вазы.

Кади Ахмет, стряхивая с плаща капли, сказал:

— Неоспоримое преимущество бури в том, что после нее испытываешь довольство и хочется есть.

И он обратился с просьбой о пище к византийскому чиновнику, сопровождавшему их. Кади жевал кусок мяса, густо посыпанный крупной солью, а Махмуд сказал, с грустью глядя на чистое небо:

— Мне бы хотелось идти именно в этой буре на Византию, а не в шуме этой нелепой и безбожной процессии.

— Так, сын мой, так,— одобрительно промямлил Джелладин, который никак не мог согреться после бури.

Кади Ахмет сказал со смехом:

— Ого! Он уже тебя называет сыном.

— Берегись,— сказал сердито Джелладин,— как бы я не назвал тебя отступником!

— Путешествие наше дошло едва ли до середины, а мы уже ссоримся,— сказал с грустью кади Ахмет.— Неужели к концу его, здесь, на чужбине, мы обнажим друг против друга ножи? Прости меня, Джелладин.

В конце концов Джелладин был приятный старик! Когда он не говорил о Законе, а случалось это с ним редко, он высказывал дельные мысли. Так, например, он хорошо рассказывал о науке вождения караванов в пустыне и не плохо высмеивал преподавателей Корана в медресе аль-Мустиносериэ. Кроме того, он понимал медицинское дело и оказывал врачебную помощь в случае нужды своим спутникам.

Он понял кади и мягко сказал:

— Во имя Багдада я прощаю тебя. Держи свой дальнейший путь с миром.

Из-за бури, вызвавшей обвалы и преградившей камнями дорогу, процессия задержалась на перевале. Неподалеку, в неприступных горах, жили пустынные и аскеты. Дабы не мешать их созерцательной жизни, епископ Самосата приказал не извещать пустынных о движении убруса.

С перевала видна была желтая гора и черные пятна пещер, где жили пустынные. Когда взгляделись, то увидели, что дорога к ним выстлана ровным плитняком. И стали говорить, что ангелы спустились ночью, перед приходом убруса, и выстлали эту дорогу.

Должно быть, ангелы сообщили также пустынным об убресе, потому что, как только установилась ясная погода и стража начала расчищать перевал от камней, на плоской дороге от горы показались шатающиеся тени. Шли волосатые, завернутые в травы люди, опираясь на

длинные посохи. Они поддерживали друг друга, шатаясь от непривычного хождения, хотя дорога была глаже пола дворца визиря. На отполированных плитах, как в неподвижной воде, отражались старцы, и вся процессия поклонилась им в ноги. Побезженные такой святостью, арабы слезли с коней и тоже поклонились пустынноикам.

Махмуд воскликнул:

— О Джелладин! О кади! Я ничего не понимаю.

Джелладин молчал, не находя соответствующего текста Закона, а кади пробормотал:

— Быть может, волею этих людей создается добро, удерживающее огонь, которому предстоит испепелить все грехи Византии.— И он добавил:— Что такое добро? Дружба честных людей, верящих друг другу. Дружба создает чудо жизни. И чем она чище, чем ее больше, тем лучше и возвышенней жизнь. Я предвижу время, когда дружба и правда уничтожат границы и примирят враждующие народы...

Пустынноики поклонились убрису, сотворив песнопения. С лиц их струилось ослепительное сияние, и они почти юношеским шагом повернули обратно, и казалось, что их гора приближается к ним.

Так как пустынноики были нищи и голы, то они поднесли в дар убрису несколько ветвей какого-то дивно благоухающего растения, которое цвело лишь на этой неприступной горе. Всю дорогу до Константинополя ветви испускали благоухание, пересиливающее благоухание ладана, и кади Ахмет был очень доволен, когда однажды кусочек ветви упал в пыль и никто не заметил падения, кроме кади. Кади Ахмет подобрал кусочек с пятью плотно прилегающими к стволу светло-коричневыми листочками. Он сунул кусочек в свою тыквенную бутылку и сказал:

— Моему настою не хватало именно этого запаха.— И добавил:— Я все более и более убеждаюсь, что люди очень похожи на тех жуков, которых почитают в Египте и которые необыкновенно искусно умеют скатывать в шар лищу, необходимую для их потомства. Если правда, как утверждали древние,— а их знания были очень прочны,— что земля наша похожа на шар и аллах выкатал ее из ничего, то есть из навоза, то почему же из навоза жизни не может и человек выкатать себе хорошее будущее? В конце концов что такое эта удивительная гора с пустынноиками, которую вы видели? Навоз, не больше. И, однако,

смотрите, каких результатов добились пустынноики, упорно стремящиеся к своей цели! Слюной своего восторга они растворили камни и выстлали гладкую дорогу, какой мы не видали и во дворце визиря. Причем они лишь косвенно дотрагиваются до истины. А чего ж достигнут люди, когда они будут жить не толчками, как эти тощие византийцы или как даже мы, хотя багдадцы способны делать более резкие толчки, а плавно и осмысленно? — И, глотнув из своей бутылки, он заключил: — У них будет великолепная жизнь и чудесное вино! Но, впрочем, я не пожалуюсь и на это, которое пью. Замечательная трава. Она разглаживает душу!

Джелладин сказал:

— Кади! Ты опять потворствуешь преступникам и нечестивцам.

А Махмуд проговорил:

— Если б подобное подвижничество помогло Багдаду в войне с византийцами, я бы заселил одним собою и своими песнями не только эту гору, но и окрестные!

Кади сказал:

— Ты и так на горе, хотя и не видишь ее. Но если б ты на самом деле переехал сюда, мне б было жаль тебя оставлять здесь. Твои песни вызывают во мне многие и весьма разнообразные мысли, полезные не только тебе, но и мне. Весьма гадательно, чтоб я встретил другого такого внимательного и в то же время так пренебрегающего мною слушателя.

Ночь в горах было зябко, и странно было вспомнить, что еще недавно они с таким удовольствием пили холодную воду. Зажигали костры, и монахи швыряли в пламя целые деревья. Неловко подпрыгивая, монахи старались согреться не только огнем костра, но и телодвижениями. Арабы сидели неподвижно, закутавшись в свои верблюжьи плащи, и прыжки монахов казались им молениями.

— В горах и холоде, — сказал кади, — жизнь мне с трудом представляется имеющей смысл, и я понимаю христиан, восхваляющих вино. Быть может, у них много гор и им нечем согреваться? Кроме того, вино придает содержание любому бессмысленному камню.

Дрожа от холода, Джелладин говорил:

— Содержание жизни — лишь в Законе. Я не одобряю, кади, что ты ставишь вино выше Закона.

Махмуд редко вступал на скользкий путь спора. Подо-

ждав, когда спорящие, исчерпав свои аргументы, умолкали, он оборачивал лицо к востоку и из учтивости, не желая мешать песнопениям возле балдахина, заводил свою песню. Он пел о Багдаде, о его набережных, о теплых камнях, сковывающих Тигр, об его воинах, об его искусных и неустрашимых ремесленниках и торговцах, об его несравненной красоте и оружии! В синем, мерцающем блеске светился ему Багдад, а глаза его возлюбленной были синей индиго, и слезы ее увеличивали блеск их!.. Перед самым его отъездом она сказала, что ждет ребенка. Кто он будет, этот маленький иль-Каман? Оружейник? Поэт? Торговец? Воин? Или законовед вроде забавного Джелладина? Или судья вроде милого и веселого кади Ахмета? Приходила в голову песня: «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе», но он стеснялся ее исполнить и умолкал.

Кади, выражая общее чувство, говорил:

— Порядочно!

И добавлял:

— Наискось от присутствия, где я сужу людей, есть кофейня. Твоя песня напоминает мне ее. Там готовят превосходное яблочное пирожное с каплей вина и ломтиками апельсина. По приезде в Багдад я немедленно угощу тебя, о поэт!

Затем они ложились спать.

XXIX

Убрус медленно приближался к столице.

Они шли долинами, где жара была умеренней, так как недалеко было море. Люди убирали жатву. Повислые парчовые кисти балдахина покрывались вялой бархатистой пылью, поднимаемой грубыми подошвами подбегающих отовсюду поселян. Жнецы втыкали свои серпы в снопы. Пастухи бросали стада. Богатые несли в подарок убрусу лучшие свои украшения и одежды, а бедняки — смиренную кисть винограда или меру пшеницы. Опять всех сопровождавших икону обносили холодной водой, от которой сладко дергало в деснах и испарина выступала на плечах. Подавали воду и арабам, и кади Ахмет говорил:

— Порядочно. А помните — горы?

И все улыбались.

Благоуханная свежесть садов дышала на них. Возле дороги начали поблескивать многочисленные источники, струи которых катились по желобу, заканчивающемуся головой какого-нибудь зверя, иссеченного из камня. Дорога кишела навьюченными мулами, ослами и телегами. Это торговцы и крестьяне спешили снабдить столицу фруктами и мясными припасами. Блеяли овцы, ржали кони, гоготала птица, сквозь решетку корзин поблескивала рыба. Иногда через толпу, щелкая бичом, продирался всадник в серо-зеленом плаще и высоком блестящем шишаке с гербом. Это посланец какого-нибудь командующего армией или начальника крепости спешил доставить письмо императору.

Наконец в лицо им пахнула тяжелая и сильная прохлада. Один раз, другой. Сады на холмах расступились. Напрямик, развевая их одежды, дул решительный и свежий ветер. Перед ними был Босфор.

Кади Ахмет почтительно дотронулся правой рукой до головы и до сердца и сказал:

— Прекрасен ты, о Босфор! Из-за твоей воды пролито уже столько крови, сколь ты несешь сейчас струй. Я — слаб, и некоторые упрекают меня в чрезмерном человеколюбии. И я ничего не обещаю тебе, как только всю свою кровь, лишь бы ты ежедневно позволил мне любоваться на тебя.

— Ты — поэт, кади! — воскликнул Махмуд.

— Я — человек, — скромно ответил кади.

И Махмуд, вспомнив восклицание Дажды: «Я — женщина», увидал глаза ее в синих волнах Босфора. Не эти ли глаза привели его сюда? И он сказал:

— Слава человеку.

— Да будет благословенно имя его, — благоговейно ответил кади.

Среди зелени и плодов мерцали белые виллы богачей. Пахло незнакомыми цветами. Процессию встречали золоченые колесницы, коней еле сдерживали искусные и сильные наездники. Кони перестукивали копытами о ровную дорогу. Корабли, влекомые бечевой, веслами или парусом, приставали к берегам, и корабельщики кидались на землю, чтоб поклониться убрису.

Парчовый балдахин ушел от арабов далеко. Несметные толпы народа отделяли их от него. А арабы взгляды

вались в черное облако дыма ладана, которое теперь стлалось над местом, где шел убрус. Передавали, что корабль императора приближается.

На раскрашенном затейливо судне, похожем формой на дельфина, арабов перевезли через Босфор. Когда они переходили по мосткам на судно, кади Ахмет посмотрел вниз.

— Увы, — сказал он. — Уже не вино, а часть моря будет отделять нас теперь от Багдада.

Затем они увидали зубцы стен и квадратные и круглые башни, стерегущие Константинополь. И сердца их сжались. Стены казались им темницей. Они спросили у чиновника, сопровождавшего их по-прежнему, когда они увидят императора и когда передадут ему дружбу и привет халифа. Чиновник снисходительно ответил, что император, несомненно, их примет, но когда? Кто знает!

Арабов вели по улицам. Улицы были пустынные. Все население столицы ушло встречать убрус. Чиновник показывал им на дворцы — два высоких квадрата по бокам, а в середине, по фасаду, множество тонких, украшенных резьбой колонн. В церквах звенели неистово колокола. Иногда проходил мул, нагруженный свечами, или спешил монах, почему-то опоздавший на встречу. И словно от звона колоколов колыхалось на рейде множество кораблей. Арабам хотелось спать, и они зевали.

Их поселили в широком и пустом доме, в предместье святой Маммы.

Они уже засыпали, когда кади Ахмет поднял свою рыжую бороду и сказал:

— Встанем пораньше и пойдем исполнять приказание визиря.

— Какое? — спросил поспешно Джелладин.

— Ты забыл? Визирь приказал высмотреть все, что полезно перенять Багдаду! Здесь, я вижу, обширное и поучительное поле для наблюдений.

Джелладин сказал:

— Неужели визирь считает возможным чему-нибудь научиться у византийцев? Я бы хотел лишь узнать одно: вели ли они особые переговоры с эмиром Эдессы?

Так, невзначай, кади Ахмет узнал о тайном поручении визиря.

Когда Махмуд проснулся, Джелладин стоял на молитве, а кади Ахмет уже куда-то скрылся.

Арабов хорошо кормили, поили сладкими напитками, кони их находились в отличных стойлах, у ворот сидел дежурный чиновник, — и все. Джелладин спросил у чиновника, скоро ли их поведут к императору. Чиновник посмотрел на них с некоторым удивлением и сказал:

— К императору попасть трудно. Он сейчас молится.

— По поводу чего он молится? — спросил Джелладин.

— По поводу того, по поводу чего следует молиться, — ответил чиновник, и разговор окончился. Джелладин успокоился: что иное мог ответить ему сын беззакония?

День был жаркий и длинный, и чувствовалось, что таких дней будет много. Махмуд гулял по саду возле дома, глядел на фонтан. Ему не хотелось ни есть, ни пить, и даже не хотелось составлять стихи. Он видел, что тоска охватывает его, и он не знал, как с нею справиться.

К вечеру вернулся кади Ахмет. Он был багров и весь покрыт пылью города, от огненно-рыжей бороды до синих, вышитых цветной шерстью сапог, перевозносил византийскую кухню, точно он целый день ел. На нем был новый розовый с голубым шелковый пояс, и тыквенная бутылка его была полна так, что пробка не входила туда. Он описывал цветных женщин: каштановых, черных, как аспидный камень, желтых, как только что раскрывшаяся водяная кувшинка, белых, как борода Джелладина...

Джелладин, видимо соскучившийся по кади, ласково плюнул в сторону.

— Пойдем вместе, и ты убедишься, ученый муж!

— Не желаю и выходить, — сказал Джелладин. — Все вокруг, как вообще у нечестивых, похоже одно на другое, и я не вижу разницы между первым моим шагом по византийской земле и вот этими, по их столице. Мне думается, что мы топчемся на одном и том же месте, хотя я уже носил подметки сапог. Мне жаль подметок: я не взял запасных, а византийцы — плохие кожевники, и подметки у них стоят дорого.

Он снял сапог и глядел на него с грустью. Визирь отпустил ему много денег, но он был скуп и жаден и не желал тратить эти деньги в Византии. Кроме того, он грустил и оттого, что византийцы наслаждаются и совсем не

думают о текстах Корана. Кади говорил, как мастерски здешние повара жарят в масле тонкие ломтики мяса, предварительно вымоченного в настое разных целебных трав... Джелладин прервал лакомку:

— Пустяки!

И он начал вдруг вспоминать молодость, глядя на прислугу, которая повела поить коней. В его молодости не было ни жалости, ни забав, и казалось, что все его радости заключались лишь в том, чтобы хорошо вы зубрить уроки и лучше всех сдать экзамены. И больше всего он радовался, что вместо тонкой книги ему выдавали толстую, а после толстой — необъятно огромную. Ему было шестнадцать лет, когда ученейший муж Зади иль-Азари, составитель сорока учебников, хотел поймать его на ошибке в толковании 36-й суры. Но Джелладин не сдавался, настаивал, и ученейший муж должен был сказать наконец, что Джелладин прав. И думалось, что Джелладину никогда не светило солнце, не улыбались женщины, он никогда не садился на коня, и невольно хотелось спросить: ну, почему у тебя шестеро детей и почему они живут с тобой, а не убежали хотя бы в пустыню? Рассказ его был неистово длинен и скучен, но когда он окончил его, кади Ахмет, обшаривавший себя, точно его кусали блохи, сказал оживленно:

— Подожди, у меня, кажется... впрочем, ты прав — пустяки!.. Вернемся к твоим рассказам. Ты говорил печальное, Джелладин, ибо любая казуистика, даже казуистика любви, печальна. И все же я слушал тебя с удовольствием! Пусть твои науки сомнительны, ценность твоих занятий — невелика, но ты пытался мыслить, а это очень хорошо! Печальнее, если грядущие поколения думали бы о нас, что мы только резали друг друга, рыча от наслаждения и злобы, подобно диким зверям, когда их кормят сырым мясом. Мы все же думали! Мы даже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше. Разумеется, мир этот еще темен для нас, и светильник наш, при помощи которого мы двигаемся вперед во тьме, еле-еле теплится. Но тем не менее и мы думали о благе потомков! И когда, быть может через тысячу лет, до наших потомков, дойдут стихи Махмуда, — а они, я уверен, дойдут, — мне бы хотелось: пусть потомки поймут — мы не потому жаждали уничтожения Константинополя, предания его огню и позору, что он богат, славен и мы завидуем

ему, а потому, что здесь много зла, пиратов, работорговцев и мучителей истины, мошенников! У меня, например, как я сейчас обнаружил, выкрали кошелек.

Махмуд захохотал.

— Я знаю, над чем ты хохочешь, Махмуд. Тебе кажутся нелепыми мои сопоставления? То хвалил византийскую кухню, вино, женщин, а вдруг обнаружил кражу кошелька и принялся обличать! Я вижу зло, но я редко говорю о нем, так как верю, что зло испаряется от правды, как вода от лица огня. Сейчас же мне хочется высказать пожелание, чтоб потомки наши видели — мы хоть немножко, но лучше византийцев. Мы—арабы. Византийцы называют себя наследниками древних эллинов, но кто сохранил Аристотеля, Платона? Мы. Кто сохранил эллинскую простоту жизни, наивность, прямоту? Мы. Арабы. Я люблю людей, хотя моя профессия по странной игре судьбы создает мертвецов и заключенных. Но вот сегодня, за один день шатаний по Константинополю, я видел здесь жестокосердия, деспотизма и ханжества больше, чем за прожитые в Багдаде пятьдесят лет. И зло Багдада кажется мне трещоткой сторожа по сравнению с оглушающим прибором константинопольского зла, и я искренне разделяю твое мнение, Махмуд, что Византию следует уничтожить. И с завтрашнего дня я пойду в город с твердым намерением — не пить ничего, кроме воды, не глядеть на женщин и отворачиваться от лакомств, питаюсь моей сухой лепешкой. Последний раз.

Он сделал из своей тыквенной бутылки большой глоток.

— ...я пью этот настой. Отныне баклажка будет полна только влагой родника. Я подробно разгляжу и опишу гнездо византийского зла: их вооружение, их способы торговли, их систему укреплений — и, быть может, доберусь до тайны «греческого огня», которым они жгут суда своих противников. Будет записана оснастка кораблей, количество боевых припасов, все солдаты! Я запишу каждую их стрелу и ощупаю вот этими пальцами, которые — глупые! — стремятся щупать только женщин и держать вино, — ощупаю каждую тетиву и дерево их луков!

— Иду с тобой! — воскликнул Махмуд.

— Да, да, идем вместе. Ты больше меня понимаешь в вооружении. О мошенники! Вам будет горько вспомнить о моем приезде сюда!..

И он отхлебнул из бутылки.

— Аллах да осветит ваш путь,— сказал Джелладин.— Конь растряс меня, и я чувствую слабость. Но через день или два я оправлюсь и пойду с вами. Аллах видит праведных и помогает им. Мы свершим великое.

— Да, да, аллах! — сказал кади.— Аллах, несомненно, велик... но так же несомненно и то, что через тысячу лет потомок наш улыбнется, читая учение пророка, находя его наивным. Однако мне думается, что в этом наивном учении потомок найдет крупинки истины и добра, из которых, через тысячу лет, могла быть вылита огромная золотая гремящая чаша жизни, полная вином творчества...

И он добавил, печально глядя в пустое дно бутылки:

— ...в то время, как я пил обыкновенное и довольно дешевое вино!

— Что? — сказал грозно Джелладин.— Потомки улыбнутся? Учению пророка? Учение пророка — вечно. И лучше нам не плодить детей, чем думать, что дети детей наших будут улыбаться над тем, над чем мы плачем от восторга!

— Я хочу сказать только, о неподвижная звезда Закона, что, несомненно, придут другие пророки, которые еще более ясно и отчетливо укажут пути добра, истины и честности, пути освобождения людей от зла...

— Вздор! Если не вечно учение пророка, то, значит, не вечен и аллах? Ты это хотел сказать, кади?

Кади испуганно пролепетал:

— Я и не думал говорить такое...

— Пьяный глупец. Иди спать. Я прощаю тебе твою болтовню потому лишь, что у тебя пробудились высокие стремления.

— Возблагодарим аллаха,— сказал кади, поспешно укладываясь на ложе сна,— да будут наши молитвы к нему многочисленны, как зерна проса, и красивы, как крутой раскат куска атласной материи.

— Да будет так,— проговорил Джелладин, благочестиво проводя правой рукой по своей длинной седой бороде.

XXXI

Махмуд поверил, что кади Ахмет и на самом деле намерен изучить до дна весь Константинополь. Махмуд встал с восходом солнца. Кади спал долго. Затем он совершил сложное и несвойственное ему омовение и молил-

ся так, будто ему впредь и не придется совсем молиться. Затем он думал и выбирал чистый пергамент для записей и, сказав, что лучше не брать пергамента, чтоб не наводить византийцев на лишние мысли, поднялся. Но пошел он не на улицу, а к фонтану. Он наполнил водой свою бутылку, прополоскал ее, понюхал.

— До омерзения пахнет вином,— сказал он и принялся вновь ее полоскать.

Наконец бутылка показалась ему чистой, и он прицепил ее к поясу.

— Удивительно,— проговорил он,— бутылка стала очень тяжелой.

И он отлил из нее.

Затем он разглядывал своего мула, а мул его. Он думал: ехать ли ему верхом или направиться пешком? Верхом — почтнее для посланца халифа, пешком — незаметнее. С одной стороны, надо соблюдать достоинство, с другой — незаметность действий. Затем он начал рассуждать: пойдет с ними чиновник, сидящий у ворот, или нет, и нужно ли говорить чиновнику, куда они уходят? Затем он начал жаловаться на жару, потому что солнце уже стояло высоко и старому его сердцу будет трудно переносить пекло, когда все неверные сидят в тенистых кофейнях.

Махмуд молчал.

Кади Ахмет сказал:

— Мне нравится твое открытое лицо и твоя чистосердечность, Махмуд. Ты говоришь смело, свободно. А мне, если нужно купить сыру на одну монету, приходится покупать на три.

Наконец они вышли за ворота. Кади Ахмет сказал, глядя на чиновника:

— Если он примет нас за дураков и пьяниц, это хорошо. Но мы не будем пить, и он примет нас за соглядатаев, а законы для соглядатаев в Византии очень свирепы. Лучше всего, пожалуй, взять его с собой. Ведь не столь важно то, что ты видишь, сколь важно — насколько осмысленно ты видишь! Возьмем его? Тогда нас никто не заподозрит в соглядатайстве.

— Он спит.

— Спит? Счастливец. Спать в такую жару очень приятно. Я его разбужу и хоть этим немного отомщу мошенникам, укравшим у меня кошелек. И я его замучаю, вода ва собой!

Пот капал с его рыжей бороды. Махмуд, жалея его, все же твердил:

— Нужно идти. Пойдем.

Наконец кади сказал:

— Пойдем! Но как? Пешком — невыносимая жара...

— Тогда поезжай на муле.

— Назовут, повторяю, соглядатаем.

— Пойдем пешком, медленно.

— А честь Багдада? Что мы — слуги, ходить пешком?

Махмуд схватил его за рукав и повел.

Кади вскричал:

— Ты берешь на себя всю вину, ведя меня!

— Да, беру.

— Но я гублю тебя! Такого поэта!

— Вся вина на мне, учитель.

— Учитель? Если учитель, и старше тебя, я должен тебя образумливать!

Так дошли они до рейда. Увидав вблизи множество морских судов, приплывших сюда из Вавилона, Шинара, Египта, Ханаана, купцов из Индии, Персии, Венгрии, страны печенегов и хазар, воинов Ломбардии и Испании; увидав бочки с медом и вином, кипы льна, полотна, шелковых тканей и нежнейших сирийских материй, длинные слитки пахучего и желтого воска; увидав менял, монеты всех стран Европы и Азии, склады золотой и серебряной парчи и восточных пряностей, — кади Ахмет всплеснул руками, как ребенок, и радостно вскричал:

— Аллах! Ты освежил мое сердце красотой мира. Я тебе очень признателен, Махмуд, что ты привел меня сюда. Бегущая жизнь ускользает, и как приятно отведать ее бег.

Он, по привычке, достал бутылку, глотнул. Лицо его изобразило отвращение.

— Какая гадость! Кто мне сюда налил воды? Испытывая такой восторг, разве можно пить воду? Зайдем на минутку в эту кофейню.

— Мы увидели корабли, а теперь должны встать с ними бок о бок. Солнце на полдне, и нам много дела. Кофейни посещают после труда. Нужно посмотреть, как и где расставлены матросы и командиры. Из какого дерева построены корабли.

— Зачем? — спросил кади.

— Чтобы запомнить, записать и передать все визирю.

— Разве мы корабельщики, чтобы знать и понять корабли? Разве мы первые арабы, приехавшие в Константинополь? В молодости визирь и сам бывал здесь, однако мы не читали его записей. Для того чтобы понять корабли и их силу, нужно пойти в мастерские порта...

— Хорошо, мы пойдем в мастерские.

— Сегодня?

— Сейчас.

Они осмотрели правительственные верфи. Кади Ахмет, пыхтя и страдая жаждой, шел за Махмудом между обрезками досок, остовами кораблей, по опилкам. Пахло смолой, всюду валялись куски пеньки, раскрытые бочки со смолой, и никто не обращал на них никакого внимания, так что казалось, возьми они все, что здесь лежит, некому будет и слова сказать. Между тем в работе виден был большой порядок, и по всему чувствовалось, что работают владыки морей.

— Ты уразумел что-нибудь? — спросил кади.

Махмуд ответил откровенно:

— Очень мало. Я вижу лишь силу.

— Вернее сказать, ум. Ум зла. Но мы увидели этот ум и вне мастерских. Нам же нужно понять лад их работы, а здесь это трудно. Не пойти ли нам в другие мастерские?

— Куда?

— Например, в монетный двор. Монета — весьма важная составная часть государства, и визирь будет признателен нам, если мы откроем ему способ изготовлять множество дешевых монет.

И они направились в монетный двор. Осмотрев его, кади сказал:

— Теперь мы можем сказать, как легко изготовлять монеты. Но мы не сможем сказать, откуда брать золото для монет. О монетном дворе лучше умолчать. Пойдем в гинекей, изготовляющие весьма высокие сорта пурпурных и шелковых тканей. Халиф так любит пурпур, а визирь — шелк!

— Пойдем.

Кади посмотрел на солнце:

— Ого, близок закат, а мы еще не ели.

— Успеем, успеем, — торопил его Махмуд.

— Ты успеешь, потому что ты молод, а я уже могу опоздать. Смотри, какая уютная и прохладная харчевня, как пахнет вкусно мясом и как приветливо лицо продав-

ца! Я не встречал в Византии таких милых лиц! С ним будет любопытно побеседовать.

— Позже, позже.

Из гинекей они вышли грустные и усталые.

Махмуд сказал:

— Мои знания ничтожны, и я не могу охватить знаний византийцев. Зачем я сюда приехал?

— Мы меряем пространство и время, чтобы учиться, — сказал кади. — Мы научимся.

А в глазах Махмуда мелькали поставленные один на другой бочки, скрепленные обручами из ивы и наполненные дубильным орешком; ящики с камедью, растительным клеем для проклейки тканей; холмы каменной соли; потрескивали станки, сновали мастера, поправляя челноки; звучал голос надсмотрщика мастерской, почему-то хваставшего, что дом покрыт штукатуркой из смеси извести, песка и цемента, который доставляется сюда из Пелопоннеса Таврического. Где находится Пелопоннес Таврический? Махмуд не знал даже этого.

Сквозь улицы и крепостные ворота виден был Босфор, два корабля, скрепленные цепями, грузчики, перетаскивавшие товары на пристань, и много ласточек, скользящих над недвижной серо-зеленой водой. Здесь же, над головой, назойливо жужжа, кружился крупный шершень. Откуда он? И что мы знаем в этом огромном мире?

Между площадью Августион и Тавром, на улице Меса, они увидели множество мастерских, где изготовлялись на продажу драгоценные и редкие товары: вышитые золотом, малиновые, или цвета морской воды, или цвета черного янтара, или желтые ткани; женские уборы из дорогих камней; изделия из бронзы и серебра; византийские эмали и мозаичные иконы; тонкие сосуды из стекла. Продавалась слоновая кость дивной резьбы; прозрачные и блестящие платья из Фив и Пелопоннеса.

Они стояли долго, рассматривая все это, и один торговец, глядя на них, спросил другого:

— Зачем они смотрят?

А другой ответил:

— Они смотрят и ужасаются золоту. Золотом, которым мы обладаем, мы поведем против наших врагов силы всей Европы и Азии. И мы разобьем наших врагов, как глиняный горшок. И они будут подобны глиняному горшку, который уже не починить, потому что он из глины.

Махмуд, услыша эти слова, сказал печально кади Ахмету:

— Пойдем в кофейню.

И ни он, ни кади Ахмет, ни один торговец и не другой еще не знали, что князь Игорь переправился через Дунай и что если раньше отступали отдельные части византийского войска, то теперь оно стремительно бежало все.

XXXII

Махмуд, отхлебывая кофе, молча смотрел на узор ковра, себе под ноги. Кади наполнил свою тыквенную бутылку вином, нашел его приятным и теперь наслаждался, заткнув за пояс полы своего кафтана, беседой с женой владельца кофейни. Владельцу кофейни, бывшему переплетчику книг, он говорил, что в Багдаде книги гляncуют не яичным желтком, а на смеси бычьей крови с перцем, жене — что у нее такие глаза, которые способны лишить сна любого из смертных, и что теперь в бессонные ночи он будет приходить в их кофейню. Женщина хихикала, кади касался ее плечом. Муж смотрел на это спокойно и деловито.

Поболтав, кади молодцеватой походкой, браво выставив грудь, вернулся к Махмуду. Махмуд сказал:

— Византия знает больше, чем мы...

— В наслаждениях? Да.

— В науке войны и торговли! — сказал Махмуд. — А нам надобно знать больше. С чего начинать? Как поглотить науку Византии?

— Ты ошибаешься, Махмуд, — сказал кади. — Нас послали смотреть, а не поглощать науку Византии. У них языческая наука! Если бы народы учились друг у друга, им бы некогда было драться. Разве мы с тобой можем узнать самое главное?

— Что здесь самое главное?

Кади прошептал ему на ухо:

— «Греческий огонь». Тайна его — для нас с тобой непереварима.

Он икнул и сказал:

— Мясо оказалось тоже непереваримым. Оно пережарено! Хозяин! — крикнул он. — Дай мне крепчайшего вина. Мясо ты пережарил, и я обязан запить его.

Хозяин принес высокую глиняную кружку с вином, кади отхлебнул и улыбнулся:

— Порядочно.— И он сказал Махмуду:— Если б визирь дал нам очень много денег, руководителя поумнее Джелладина и тысячу писцов, мы б и тогда чувствовали себя бедняками и нуждающимися. Вчера я ходил по мастерским, где скорописцам диктуют книги. Какие здесь прекрасные каллиграфы, Махмуд! Я пересмотрел много книг. Император Константин, собрав вокруг себя много ученых и поэтов, составил громадные собрания книг по военной тактике, сельскому хозяйству, медицине, придворному церемониалу. Есть пятьдесят три книги, рассказывающих историю Земли от начала до наших дней! Я выбрал одно довольно дорогое сочинение, принадлежащее перу самого императора. Оно называется «О фемах» и разбирает вопросы географического характера, говорит о составе империи, о ее краях, людях...

— Визирю такая книга понравится. Ты купил ее?

— Если бы я ее купил, визирь, развернув книгу, бил бы ею меня по голове до тех пор, пока не истребал бы и книгу, и мою голову. Ты не найдешь там сведений о Византии новейшего времени! Книгу написал сам император, а однако, о хитрец, он сообщает в ней сведения, относящиеся еще ко времени императора Юстиниана. Нового в ней только название да указание деления провинций, что мы знаем и без книги. Когда я выходил из квартала переписчиков, у меня выкрали кошелек.

— Что же делать? — спросил в отчаянии Махмуд.

— А делать то, что делает Джелладин: не обращать на византийцев никакого внимания. Народы как подогреваемая жидкость,— они закипают тогда, когда будет достаточно тепла, и вдесь-то обжигают все, что нужно обжечь. У тебя есть способность к стихам. Пиши. Это тоже подогревает народы. Арабы уважают стихи,— после оружия.

— Никто не знает моих стихов!

— Узнают.

— Когда?

— Когда нужно.

— А пить вино, ласкать женщин, которых не любишь, балагурить где попало,— тоже подогревает народ?

— Радость — это втулка, которой держится колесо.

— Прости, кади, но мне твои мысли кажутся безнравственными.

— Отлично. Ты иначе и сказать не можешь. И быть может, придет время, когда ты проклянешь меня, а если будет твоя власть, то и повесишь или посадишь в клетку возле ворот визиря, которому ты будешь первым другом. Все зависит от того, скоро ли придет новая война. И, однако, я прав. И ты — тоже прав. И если в Багдаде будут долго существовать такие люди, как ты и я, Багдад победит византийцев. И всегда, при всех горестях, я с удовольствием буду вспоминать твою дружбу.

Он допил кружку и сказал:

— Зачем огорчаться незнанием? Учись, и знание придет. Византия для нас с тобой сейчас как то странное лицо, которое мы сопровождали сюда до Константинополя и которое не могли увидеть, так как парчовый балдахин был слишком плотно закрыт для нас. Ни буря, ни жара, ни ветры не распахнули его, а между тем я знаю его.

— Откуда?

— Мне вспомнился рассказ какого-то перса об этом пророке Иссе. Не знаю, насколько достоверен рассказ, но мне приятно было его слышать. Шел пророк Исса среди цветущих полей. На пути его лежал разлагающийся труп пса. Ученики содрогнулись. Но пророк Исса сказал им: «Зачем содрогаетесь и отшатываетесь? Вглядитесь в зубы пса. Он скалил их, защищая своего друга, и теперь они остались прекрасными, как жемчуга, даже на этом гниющем трупе».

Махмуд сказал:

— Меня грызет тоска.

— Да, здесь мы с тобой сейчас как зерна, выпавшие из мешка. Быть может, нас склюют птицы, а быть может, мы и прорастем. Кто знает? — И он, улыбаясь, сказал: — Все-таки жалко, что ты так резко и быстро отшатывасься от любви, точно это падаль. Я бы мог познакомить тебя с одной прорицательницей, в области любви, разумеется. Но ты бежишь женщин, а это в твоём возрасте просто опасно! А почему бежишь?

— Я люблю, — внезапно для самого себя выговорил Махмуд.

Кади Ахмет даже покачулся:

— Неужели я так много выпил?

— Я люблю, — повторил Махмуд.

— Почему же ты так долго не сознавался? Или ты любишь женщину чрезвычайно высокого положения? Дочь визиря, быть может? У него три дочери, и они красавицы. Которая из них? И где ты ее видел?

— Она не дочь визиря.

— Аллах! Тогда она дочь халифа?

— Она не дочь халифа.

— Но она умна?

— Да. Ее наущением составлена моя речь перед визирем.

— Ого! Кто же она? Я не слышал в Багдаде о таких умных женщинах. Быть может, иноземка?

— Да.

— Жена какого-нибудь проезжего князя? Торговца из Индии? Наемного витязя? Строителя дворцов? Морского пирата?

— Она рабыня.

— Чья?

— Моя бывшая рабыня, а теперь жена. Я жду от нее ребенка.

— Та, которую купила госпожа Бэдыль?

— Да.

— Та, которая упала на рынке головой вниз? Та, владец которой был судим мною?

— Да.

Кади крикнул хозяину кофейни

— Еще кружку вина!

И, не дожидаясь кружки, он хлебнул из тыквенной своей бутылки, а затем сказал, весело блестя глазами:

— Махмуд! Ты женился на ней благодаря моей сообразительности и тому, что я понимаю толк в женщинах, даже когда они лежат у меня в присутствии, словно грязная ветошь. И верь моей проницательности, Махмуд. Ты будешь с нею счастлив, и доживешь до глубокой старости, и будешь обладать богатством и почетом и, вдобавок, веселостью, которой владею я. Кружку тебе, Махмуд.

— Я не пью.

— За ее здоровье. Опустит губы в вино. Его губы сладки, как губы возлюбленной.

Махмуд прикоснулся губами к вину.

Кади Ахмет сказал:

— Я до сих пор не знаю, откуда она. Кажется, из Египта?

— Она из страны Русь.

— Вот как! Стало быть, она проезжала через Константинополь? Не училась ли она здесь?

— Нет, она училась у себя, в стране Русь.

— Вот видишь! И заставила визиря выслушать тебя, и приготовила тебе речь. Значит, не только в одном Константинополе царит ум и наука? Есть где-то и еще? Есть наука и в Багдаде, Махмуд. Надо лишь ее увидеть. И ты увидишь. Жена поможет тебе. Так ты говоришь, она из страны Русь? А ведь в Константинополе есть торговцы со всей Европы. А значит, есть торговцы и из страны Русь? Найдем их! Узнаем о здоровье ее родных... об ее стране. Ого! Смеешься? Видишь, и в Константинополе можно найти радость! Я рад за тебя, Махмуд, я очень рад за тебя. Любовь редка, береги ее. Выпьем? Пей, пей, теперь и аллах нам разрешает!..

XXXIII

Джелладин задумчиво чертил прутиком на песке ровные линии. Резкая светло-лиловая тень навеса оканчивалась как раз на его тонких желтых руках и, казалось трепеща Закона, не осмеливалась двигаться дальше. Против него, прямо на горячем, словно плавящемся от солнца песке, сидел византийский чиновник в высоком войлочном черном колпаке, под которым лицо его казалось зеленым, похожим на неспелую дыню.

Византиец и Джелладин молчали, и видно было, что молчание доставляет им удовольствие, и византиец с таким умилением глядел на ровные линии, проводимые Джелладином, словно чувствовал сквозь них какую-то дивную мелодию, над которой можно рыдать.

— Мир вам,— сказал Джелладин, не поднимая головы.

— Мир и тебе,— ответил кади, понимая, что между Джелладином и византийским чиновником произошло что-то важное.

Чиновник поднялся и, важно пожелав посланцам халифа спокойной ночи, ушел.

Джелладин, сровняв прутиком линии на песке, сказал:

— Корыстолюбивы. Все продажно. Много золота — много наемников. Привези ты больше золота, наймешь их вместе с их наемниками.

— Да, да! — подхватил кади. — Город большой, но мелочной. Ты уговаривался с чиновником о приеме нас императором?

— Нет, о другом, — неопределенно ответил Джелладин. — Он дорожится.

— Что — деньги? — молодцевато воскликнул кади. — Они хрупки, как трава осенью.

— Деньги принадлежат Закону.

— Да, да! Но я не люблю борьбу деньгами. Легко поскользнуться, как на мокрой апельсиновой корке.

И кади продолжал:

— Есть три вида борьбы. Или Исава, боровшийся с богом, или Прометей — с Зевсом. Второй вид — борьба с наводнением или с саранчой, когда полезно призывать доброго духа Шерлаха. К этому же виду борьбы относится борьба на поле брани. И отчасти борьба деньгами. И, наконец, третий вид — борьба для забавы, из которой я больше всего предпочитаю борьбу на поясах. Видел ли ты эту борьбу, Джелладин?

— Видел. Мне было пятнадцать лет, и мои товарищи по школе боролись во дворе медресе. Я в тот день превосходно ответил учителю и позволил себе посмотреть на борьбу. Я был доволен собой.

— И борьбой, наверное?

— Не помню.

Кади вздохнул, с сожалением и страхом глядя на Джелладина, и продолжал:

— Первый вид борьбы, вроде борьбы Исава или Прометея, прельщает меня, но я слаб, боюсь, что не выдержу, и все откладываю борьбу. Второй вид борьбы доставляет мне меньше удовольствия. Привыкши размышлять над свершающимся, я опасаясь, что, пока я выбираю лучшие способы борьбы, наводнение снесет мой дом, саранча сожрет мои поля, вражеский воин проломит мне голову, а что касается денег, то разорюсь я обязательно. Поэтому я наслаждаюсь невинной борьбой и весь дрожу от страсти, когда два борца таскают друг друга по земле. Пояса скрипят, от борцов идет пар и пот, и земля вокруг них влажная!.. Махмуд, я слышал, ты умеешь бороться на поясах?

— Работа у наковальни закалила меня. Но бороться мне приходилось редко: я все время работал или составлял стихи.

— Побеждал ли кто-нибудь тебя?

— Никто.

— Видишь, Джелладин! — воскликнул кади. — Его никто не побеждал в Багдаде. Неужели ты допускаешь мысль, что его победят в Константинополе?

— А если мы победим византийцев? — сказал Джелладин. — Они обидятся. Я узнал, что византийские войска недавно разбиты на Дунае русским князем Игорем. Византийцы просят у русских мира.

— Вот как!

— Византийцев сейчас лучше не раздражать.

— Я согласен с тобой, Джелладин. Тогда Махмуд будет бороться не с византийским борцом, а с кем-нибудь из гостей.

— Например?

— В предместье Маммы, неподалеку от нас, живут русские купцы. Русские ходят свободно. Мы сейчас шли мимо их подворья, они веселились, пели песни, и Махмуд услышал что-то знакомое... Джелладин, подумай! Византийцы узнают, что мы побороли русского богатыря. Доносят императору. Император пожелал нас увидеть. Ты говоришь императору все, что тебе приказал визирь...

— Мысль недурна.

— Вот видишь!

Кади Ахмет привык на суде читать мысли по лицам. Мысли Джелладина совсем не сложны. И кади решил поткровенничать:

— А у нас есть частная заинтересованность в этой борьбе. У Махмуда подруга — русская, из дружины князя Игоря. Она хочет узнать, что делается в стране Русь.

— Это мог бы узнать и я, — пробормотал Джелладин.

«Через кого?» — хотел было спросить кади, но удержался. Понятно и без вопроса. Джелладин пообещал византийскому чиновнику золото, которое вложено в пояс Джелладина визирем. Чиновник выдал ему голову эмира Эдессы, указал на человека в Эдессе, ведшего тайные переговоры с византийцами...

Кади Ахмет поспешно сказал:

— Так и должно быть. Русские купцы придут сюда, и ты порасспросишь их, о толкователь Закона! Подругу Махмуда зовут Даждья, она дочь князя Буйсвета... какие трудные имена!

Джелладин сказал:

— Мне не нужно имен. Зачем я буду вмешиваться в частные дела? Поручил ли вам это визирь?

— Нет.

— И спрашивал ли ты у него разрешения на упоминание имен?

— Зачем я буду лезть к визирю со всяческой мелочью?

— Ты же сам назвал этот город мелочным. Здесь всякая мелочь приобретает вид Закона.

— Но это просто любовь! Она хочет знать — что и как на родине?

Джелладин сказал:

— Любовь? Я не представляю себе, что такое любовь. И вам не советую. Визирь ничего не говорил мне о любви.

— Но он ничего не говорил и о борьбе на поясах!

— Борьбу на поясах я разрешаю. Но любовь... любовь, по-моему, глупость и вред.

— Сам пророк Магомет любил! — воскликнул Махмуд.

— Молчи, дурак, — сказал Джелладин. — Что ты знаешь о пророке? Поучись столько, сколько я, и тогда рассуждай!

Махмуд раздражал Джелладина. Он раздражал его своим громким голосом, важными движениями и тем, что никогда не советовался с ним, как и где расположить на отдых конвой и какой соблюдать церемониал при встрече с византийцами. Поэт? Трезвонит и трещит. Песни о Багдаде иногда трогательны. Но все, что говорится о родине на чужбине, — трогательно. Кроме того, Джелладин не мог простить Махмуду его внезапного появления и речи перед лицом визиря. И теперь — победы Махмуд в состязании, дойдет его победа к императору, а значит, — дойдет и до халифа. Возможны награды от халифа... Но награды возможны и Джелладину, разрешившему борьбу с русским богатырем?

И Джелладин еще строже добавил:

— Смотри, не вздумай свалиться в борьбу.

— Не свалюсь, — ответил, смеясь во весь рот, Махмуд. — Скорее ты свалишься от злости.

И, не слушая брани Джелладина, пошел мыть, со скуки, своего коня. Конь, подаренный ему визирем, был вороной, молодой, трепетно-неугомонный, и по совету кади Махмуд дал ему имя Пегас, хотя и не знал толком, что значит это слово.

Накануне, перед приходом русских, Махмуд спал плохо. То мерещился ему Багдад, его домик, крыша и синие глаза Дажды. Ей скоро рожать. Как-то пройдут роды? Махмуд пытался представить личико своего ребенка — и не мог. Ему все виделся почему-то ребенок лет пяти, круглый, черноволосый, но с синими глазами — в мать... То вдруг с удивительной отчетливостью представлялись ему картины путешествия с убрисом, и особенно — горы. Горы под скользящей среди туч луной — синим-сини. Дует ветер, и пламя огромных восковых свеч отклоняется, и видны расходящиеся пятна света, падающие то на камень, то на голову монаха, то на длинный посох, с которым идут священники. Золотые кисти балдахина очень чисты и кажутся слитками золота, ветер их двигает осторожно, точно пробуя их тяжесть...

Под вечер пришли русские купцы. В саду, возле фонтана, нашли площадку и стали ожидать кади Ахмета, который ушел еще с утра наполнить свою баклажку и не возвращался.

Русские были рослые, красивые люди, а богатырь Славко был на голову выше всех, и казалось, глядя на него, что и нет выше его людей в Константинополе, хотя по столице ходит очень много сильных и рослых людей. Махмуд был значительно ниже, но плечист и крепок на ногу, что в борьбе немаловажно. Махмуд глядел на русского богатыря, слегка побаиваясь, а того больше желая помериться с ним силой.

Хотелось и поговорить с русскими. Но византийский чиновник сказался не знающим славянского языка, хотя в Византии обитало очень много славян: они заселяли и Фракию, и Македонию, и Фессалию, и Эпир, и жили в Аттике и Пелопоннесе, даже возле самых ворот Афин, в Элевзине, были славянские поселения. Джелладин, ссылаясь на занятость, обещал выйти только к самой борьбе. Конвойные, опасавшиеся влияния злых духов, которые невидимо стоят за плечами язычников, держались в стороне. Махмуд остался возле русских один.

Русские принесли с собой дубовый бочонок с медом и угощались. Борцу меда не давали, чтобы тот не ослабел перед состязанием. Опасения эти подбодрили Махмуда. Понемногу он осмелел, подошел к русским поближе, стуча

себя в грудь ладонью, сказал одному седоусому и, как ему думалось, самому почтенному и понятливому:

— Даждья!

Он знал, кроме того, и еще несколько слов, слышанных от Даждья, но все они относились к любви, и он боялся показаться старику легкомысленным. Он повторил:

— Даждья. Князь Буйсвет!

Старик сначала смотрел на него строго, но затем заулыбался и, показывая на восток, спросил:

— Даждья — в Багдаде?

— Да, да. Багдад — Даждья!..

Старик начал было выспрашивать его, но тут прибежал кади Ахмет, исцарапанный, помятый. Новая одежда его была вся в лохмотьях. Он оттащил Махмуда в сторону и спросил:

— Ты что у них спрашивал?

— Говорил о Даждье...

— Так я и знал! Зачем торопиться, зачем? Что, ты не мог подождать меня?.. А в рассуждениях Джелладина есть доля правды. Это очень печально, но его надо опасаться, Махмуд.

— Я ей обещал!

— Мало ли что мы обещаем женщине! — И он сказал, оглядывая себя: — Я знал, что одежды снимаются. Но я не подозревал, что они делятся на столько частей! Я начал уже было думать сегодня, что между мной и голым чело-вөком трудно найти различие...

— Тебя били, кади? Кто?

— Ах, Махмуд, женщины так неосмотрительны и так легкомысленно назначают свидания! Бить? Меня хотели бить, но я подставлял византийцам другую часть тела, противоположную той, которую они хотели бить! И, таким образом, они были опозорены и обмануты. О, я их отучил драться!.. Женщина, правда, была недурна, вино — превосходно, и я выпил его столько, что не смог заплатить! Кто они? Этот вопрос был бы отвлекающим в сторону, если б я сейчас не догадался, что меня били справедливо.

Он поднял многозначительно палец вверх и тихо сказал:

— Она живет возле храма святого Ильи, и когда при-езжие не отвлекают ее от основной работы, она шьет. Она — швея!

— И что же?

— А то, что благодаря ей я сделал величайшее открытие, за которое визирь будет мне несказанно признателен. Он был прав, этот визирь, советуя мне наблюдать! Все сделано, Махмуд, мы можем возвращаться спокойно. Она зашивала мне изорванные в драке штаны и полу кафтана... Я взглянул... О Махмуд! Я захлебываюсь от счастья! Я открыл...

— Тайну «греческого огня»?

— Больше! Гораздо больше! Пусть поднимет тебя в твоём состязании мое открытие, оно очень велико. Я не открою пока тебе этой тайны, но помни, Махмуд, что Багдад отныне победил!

Появился Джелладин.

— Начинайте борьбу, — сказал он.

Борцы схватились.

Теснили друг друга к краям площадки, обсаженной самшитом, позади которого высились кипарисы. Выкидывали на середину. Волочили, быстро и легко дыша, через всю площадку. Взяли землю, обнажив корни деревьев, и сразу же, ногами изучив расположение корней, стали на них опираться, а затем и вырывать. Русский приподнял, оторвав от земли, араба. Араб пальцами ног ухватился цепко за корень. Русский рванул, и корни потащили за собой кусты самшита. Русский отбросил ногой кусты в сторону, но ему для этого надо было косить глаза, а в это время араб уже оторвал его от земли, дернул в воздух... Толпа охнула:

— Перун!

— Аллах!

Русский изловчился, и опять он на ногах. Опять таскают, таскают, крутят, вертят. Упали оба на кипарис, и высокое дерево зашаталось, покренилось.

Толпа, тяжело содрогаясь, яростно дышит! Даже вивантийский чиновник, потеряв самообладание, сорвав с головы черный колпак, мнет его в руках и кричит:

— Русь, Русь, хорошо! — И через мгновение: — Араб, араб, хорошо!

В самый разгар неступленной схватки, когда зрители, дрожа от волнения, жадно ловили и расценивали каждое движение борцов, когда опустел не только дом, но и весь квартал, а деревья сада и окрестные крыши были усеяны любопытными, и мальчишки визжали так, что их слышал весь Константинополь, сквозь толпу пробрался розовый

живчик юноша. Живчик что-то быстро прошептал на ухо седоусому почтенному русскому.

Русский старик громко крикнул.

И тогда русский богатырь вдруг снял свои руки с пояса араба.

Махмуд глядел на него недоуменно. Разве нарушено какое-нибудь правило? Или кончился срок? Ведь борьба назначена без срока?

А русский, пошатываясь от злости, но послушный, шел ва своим стариком.

— Куда он? — спросил Махмуд, шагая за русскими.

Византийский чиновник преградил ему путь и сказал:

— Сенатор и друг императора господин Аполлос, уважаемый и почитаемый, пригласил к себе немедленно русских купцов.

Чиновник направился к своей скамеечке возле ворот, а кади Ахмет сказал:

— Говорят, князь Игорь потребовал немедленной выдачи своих задержанных византийцами купцов, грозя в ином случае прервать переговоры. Жаль! Борьба была славная.

Джелладин повернулся к Махмуду и злобным, свистящим шепотом прошипел:

— Бороться б тебе смелей и лучше, русский лежал бы на траве, а нас бы уже пригласили к императору. О, сын шакала и гиены!

— Я!..

Махмуд схватился за меч. Джелладин побежал в дом, проклиная самоуправца, а кади Ахмет сказал:

— Никогда не нужно обнажать оружие против Закона, даже когда Закон злится.— И вздохнул: — Но мне все-таки печально, что ты не зарубил его. Он становится отвратительным. Еще твое счастье, что он не знает и не узнает, о чем ты говорил с русскими купцами,

— Они вернутся?

— Кто?

— Русские. Я хочу бороться.

— Где хочешь ты, там не хотят византийцы. Я думаю, что русские не вернутся.

— Но поняли ль меня русские?

— А зачем? Печальней, что ты не узнал, как живут родственники Дажды в стране Русь. По-видимому, мы скоро вернемся в Багдад, и хорошо бы облегчить твоей жене роды, привезя ей восточку с родины. Не знаю, ка-

ково тебе, а я уже тоскую по своей старухе. Да, мы скоро вернемся, Махмуд.

Но вернулись они не скоро.

Три месяца ждали они встречи с императором. На четвертый им сказали, что император отсутствует, а их примет друг императора, сенатор господин Аполлос. Господин Аполлос говорил с ними ласково, однако подарки его были жалки. В заключение приема он пожелал посланцам халифа счастливого пути и сообщил, что вслед за ними к халифу едет особое посольство, которое везет письмо императора, дары и пожелания вечной дружбы между Византией и Багдадом.

И они направились в обратный путь.

В тот день, когда они покидали Константинополь, император Константин в своем загородном серо-зеленом, цвета морской волны дворце, составив текст письма к багдадскому халифу, передавал особые пожелания, которые посланец Византии, сенатор Аполлос, должен был высказать халифу после аудиенции. Император был гневен. Впереди византийских пленников, которых нужно было потребовать у багдадцев, приходилось называть имя киевской принцессы Даждя, попавшей в Багдад благодаря оплошности domestика схол Иоанна Каркуаса. Так требует князь Игорь! Откуда он знает, что Даждя в Багдаде? И почему domestик схол Иоанн не знает, что Даждя была у него? Domestik схол по-прежнему уверен, что среди нескольких русских женщин, которых он обменял багдадцам на коней, не было никакой принцессы. Ему не верили. Он был уже в немилости. Считалось, что в тайных сношениях с эмиром Эдессы он вел себя глупо, что он дорого заплатил за эдесскую святыню, которая так и не принесла победы.

— И откуда русские могли узнать, что Даждя в Багдаде? — повторил свой сердитый вопрос император.

Никто не мог ответить ему.

Разве только Махмуд.

Но не к Махмуду был обращен гневный вопрос императора. Император гневался на русских, гневался на Багдад и опять на русских, с которыми ему пришлось подписать вечный мир — «дондеже солнце сияет, и весь мир стоит, — в нынешние веки и в будущие». Он страшился этих врагов, одному из которых он должен был платить теперь дань, которую платил некогда князю Олегу. И он не знал, как их облукать, и как задарить, и как устроить!

Махмуд далеко разглядел Даждю. Она опять стояла на крыше его дома! И он громко рассмеялся. Он скакал один, конвой был распуцен, и он жалел, что не мог поделиться своей радостью ни с конвоем, ни с кади, который утверждал, что уже близко полнолуние и ему пора домой. Она скользнула рукой по лицу, словно все еще не веря, что видит и его самого, и его вороного коня... Какое милое движение и как он хорошо помнит его! И он опять рассмеялся.

Было утро.

И утро было на его душе.

Стройная и массивная, — уже мать, — с тонкими и длинными волосами цвета спелой соломы, будто наполненными солнцем, со свежим и нежным лицом, которое освещалось плавным светом синих глаз под ровными и словно лощеными бровями, Даждя легко пробежала через весь дом босая и, подбежав к нему, — он еще не успел спрыгнуть с коня, — схватила его шею руками. Воображение всегда представляло ему ее красавицей, но оно слабо показывало ее, как слабо показывает свет свечи окружающие предметы. Это было — солнце!

И он смутился, ошеломленный этой красотой, распространяющей вокруг себя такую благосклонность, такую ласку! Мать Бэкдыль и его брат выбежали и смотрели то на него, то на нее, безмолвно повторяя: «А, она расцвела! Ты доволен?»

— Я доволен! — сказал он. — Где же мой ребенок?

— Дочка, — ответила госпожа Бэкдыль. — Но хорошая дочка. Будут внучата — воины. Будет много внучат!

Госпожа Бэкдыль по-прежнему была полна тайными мыслями. Да, когда-нибудь две рабыни будут стоять позади, ожидая приказания матери Бэкдыль и старшей жены Дажды. Правда, Махмуд и Даждя, — по ее словам, — собираются уехать погостить в какую-то далекую, холодную страну Русь. Ну что ж! Их будет сопровождать, будем надеяться, не скудный эскорт, а пристойное для важного лица украшение из трех закутанных в покрывала жен, которые, поблескивая глазами, будут любоваться, как господин их едет впереди каравана!..

— Будет много внучат, — повторила мать Бэкдыль, идя впереди сына.

Он глядел в колыбельку. Они были одни. Мать и брат ушли готовить завтрак. Ребенок спал, сжав розовые губы. Махмуд наклонился и поцеловал дочку прямо в губы. Дажда прошептала:

— Тише, разбудишь! У нее такой чуткий сон.

И она обняла его опять, прошептав:

— Ты хотел сына?

— Я доволен и дочерью.

— Но все же ты хотел сына.

— Надеюсь, будет и сын,— сказал он, тихо смеясь.

— Не сын, а ты прибьешь щит к Золотым Воротам.

Ты видел Ворота?

— У византийцев много ворот,— сказал он.— Они их любят строить. Золотые Ворота не крупнее других.

— Но на них был щит Олега.

— Да, был щит.

Она почувствовала в голосе его усталость.

— Что случилось?

Он рассказал ей о Джелладине, о своей ссоре с ним и о ссорах, которые повторялись часто во время дороги. Старик окончательно возненавидел его.

— Пустяки,— сказала она.— Ты ведь не собираешься быть придворным или законоведом? Ты — поэт. Ты — воин. А он?

И она начала выпрашивать о Константинополе:

— Видел ли ты князя Игоря?

— Он не был в Константинополе.

— А его послы?

— Я их видал издали.— И он рассказал о своей незаконченной борьбе с русским богатырем, рассказал и о седоусом старике.

— Знаю, знаю, Славко. Он очень сильный. Пожалуй, тебе б...— Она взглянула в его глаза, прочла там недовольство и быстро сказала: — Нет, ты победил бы его! Но скажи мне, почему они не прибили щит к Воротам?

— Я не знаю.

Она воскликнула:

— Византийцы опять обманули русских! Щит, а не дань! Щит!.. О Перун! Опять ты обманут хитрым византийским богом. А ты еще...— обратилась она к нему, сверкая глазами,— ...ты еще вез к ним святыню! Ты должен был ночью подкрасться к ней и изрубить ее. Пророк за-

прещает вам покровительствовать идолам, а ты покровительствовал.

И, впав в отчаяние, она наговорила много дерзких слов самой себе. Она была виновата в том, что эдесская святыня благополучно прибыла в Константинополь! А она так долго ждала мести. Ее мысли казались ей пророческими. Она видела поверженную Византию, окруженную с одной стороны войсками халифа, с другой — Русью. И в мечтах ее Византия виделась как упавшее дерево. Она лежит, уставив в небо растопыренные ветви своих башен, рвов, укреплений, которыми теперь ни поддержать дерево империи в равновесии, ни охранить.

— И ничего этого нет!

Византия стоит по-прежнему, растопырив мощные ветви своих укреплений, замков, рвов и башен, стоит, тихо посмеиваясь, как человек, делающий свое дело. Не поехать Даждье в свою страну с возлюбленным! Нужно забыть белые, песчаные берега Днепра, теплые ивы, тесно прижавшиеся друг к другу. Хороши здесь деревья в садах Багдада, но они стоят каждое отдельно, и нет здесь густых сплошных лесов, как у нас!..

Мсть, мсть, мсть! Упорно и настойчиво держала она мечту о мести, воспитывала, лелеяла в себе. Мсть просачивалась сквозь нее всю.

А теперь? Византийские послы едут с льстивыми грамотами. И обманут! И будет мир. И византийцы перебьют поодиночке русских и арабов.

— Едут послы. Халиф будет принимать их. И ты будешь говорить им приветственное слово?

Он расхохотался:

— Ты слишком много и высоко обо мне думаешь. Кто позовет меня во дворец к халифу? И почему халиф скажет: говори, Махмуд! Ха-ха! Джелладин наговорит теперь про меня так много злого, что не видать мне ни халифа, ни визиря. Жена моя! Пожив в Константинополе, я понял, что такое двор. Наши мечты с тобой, оказывается, не так-то легко исполнить...

— Какие мечты?

— О щите.

— Вот как!

— И как я жалел, что не могу наслаждаться мгновениями, подобно кади Ахмету.

— А он наслаждался и с женщинами?

Махмуд покраснел:

— Я совсем не об этом!

— Да, да! Вас только отпусти,— сказала она, смеясь и целуя его в шею.— Вот поедешь во дворец, прославишься, забудешь, развращенный Константинополем, меня. И тогда мне будет плохо, совсем плохо.

И глухим голосом она сказала:

— Тогда я умру.

И тотчас же быстро сказала, стараясь рассмеяться:

— Прости, прости! Я поглупела, но только от радости, только от радости!

XXXVI

Халиф ожидал визиря.

Грузный, крупный старик со свисающими на короткий воротник рубашки из верблюжьей шерсти складками толстой шеи, поджав под себя ноги и часто вытирая платком выпяченные серые губы, сидел в беседке сада на земле. Перед ним стоял низкий столик, грубый глиняный кувшин с водою и деревянное блюдо с финиками. Халиф, подобно Омару, великому наследнику пророка, любил простоту в обыденной жизни и сильные выражения.

— Куда пропало это блеклое животное? — бормотал он.

Сквозь кусты полурастувившихся роз видна была черная дорожка сада, высокая стена, выкрашенная синим, и кусок яркого серо-зеленого неба. Опять приближалась весна, и опять за стеной кто-то проезжавший мимо напевал: «Я приду к Тебе».

«Дети! Пусть поют», — думал халиф. Но все же песня раздражала и мешала думать. А дум было много, и хотелось поделиться ими с визирем. Злили козни вассалов, мешавших единению халифата, и злил эмир Эдессы, вот уже полгода твердивший, несмотря на все пытки темницы, что он не вел тайных переговоров с византийцами. Неизвестно, обнаружили ль мудрецы и мастера вооружения секрет «греческого огня». Вот уже два года заперлись они в замке под Багдадом, на берегу Тигра, что-то жгут, плавят, пробуют, посылают гонцов во все края страны, ищут жидкую серу... И непонятно, с какими мыслями и зачем едут в Багдад византийские послы. Хотелось думать хорошее: вот возьмут да и пропустят в Европу суда халифата с ин-

дийскими товарами, а из Европы к Багдаду разрешат ездить с итальянскими и другими товарами, с медью, железом, оловом, свинцом...

— «Я приду к Тебе...» — пел удаляющийся голос.

— Да иди же скорей, глупец! — сказал громко халиф.

Приближающийся визирь, подумав, что слова относятся к нему, прибавил шагу и засеменил, кланяясь и касаясь руками земли.

— О владыка! Меч ислама! Гроза...

— Перестань, — прервал его халиф. — Далеко ли византийцы?

— Еще ночь, и они будут в Багдаде, — сказал визирь деловито. — Прикажешь задержать?

— Зачем?

— Повелитель, быть может, хочет осмотреть все пышные и неслыханные украшения дворца, сада и улиц столицы. Повелителю, быть может, угодно высказать свои желания? Мы привезли пятьсот десять диких зверей, войска; вдоль улиц будет выстроено сорок три тысячи воинов, не считая евнухов и невольников. На Тигре будут стоять морские суда...

— Ну и пусть торчат!

Халиф посмотрел на визиря тусклым взглядом давно выцветших глаз и, медленно вытирая рот платком, спросил:

— Скажи лучше, узнал ты, зачем едут сюда византийские послы?

— Согласно приказу повелителя, в Константинополь были посланы люди, способные к малому узнаванию. Повелитель не хотел раздражать византийцев пытливостью...

— Но все же они, посланные, ведь не совсем уж дураки? Как ты думаешь, пропустят нас византийцы в Европу? Игорь побил Византию, заставил платить дань, как при Олеге. Византийцы ослабели. Они должны искать дружбы с нами. А что за дружба, если они преградили нам путь в Европу? Пусть откроют путь, или — война!

— Война, — наклонив голову, грустно сказал визирь.

— Но разве они едут с войной? Или они предполагают словами, точно волшебники, заворожить меня? Мы тоже умеем говорить и думать.

— О повелитель, и еще с какой силой!

По лицу визиря было видно, что он не знал, с чем едут византийцы.

Халиф сказал недовольно:

— А «греческий огонь»? Если война, мы должны сжечь много вражеских судов. Пока, я вижу, вы жжете их на словах и плавите мои деньги.

— Повелитель...

— Быстрой!

— Мудрецы открыли секрет огня, повелитель!

— Покажи.

— У них беда: мало основного состава. Дознано, что византийцы привозят основной состав «греческого огня» с гор Кавказа, где Зевсом был прикован Прометей. Там и поныне живут дикие племена, поклоняющиеся огню. Поэтому мудрецы повсюду в нашей стране ищут основной состав и утверждают...

— Нашли? — грозно прохрипел халиф.

Визирь ответил поспешно:

— Нашли, нашли, повелитель! Не минует и месяца, как три бочки «греческого огня» будут доставлены в Багдад.

Халиф испытующе посмотрел на визиря:

— «Я приду к Тебе»?

— Нет, нет, это не пустая песня, о повелитель, а истина. Клянусь моей недостойной головой...

— Запомню.

И, помолчав, халиф спросил:

— Кстати, о голове. Эмир Эдессы...

— Сознался!

— О! Почему?

— Джелладин привез доказательства. Мы схватили передатчиков эмира, и они выдали его.

— Отрезать всем головы.

— Сегодня же...

— Не сегодня, а завтра, когда византийские послы будут возвращаться из моего дворца. Пусть они посмотрят, как падает голова их слуги. Им это полезно.

— Еще бы, о повелитель!

— Джелладин? Кто бы мог подумать! Научился у византийцев? Обо что трешься, тем и пахнешь, а, ха-ха?! Я награжу Джелладина. И тех двух... как их?

— Кади Ахмет и оружейник Махмуд иль-Каман, повелитель.

— Да. Позови их всех на прием византийских послов. Собери также всех выдающихся ораторов, законовевов и поэтов, которые в присутствии послов в своих речах и сти-

хотворениях превознесли бы славу и силу ислама, мое царствование и величие моего дворца. Слова — так слова!

И он задумался.

Была ранняя весна, и сквозь трепетные тучки падал мерцающий блеск на влажные, готовые распусться, почки розовых кустов. В саду было тихо, и казалось, что даже нетерпеливая весна и та задумалась вместе с халифом.

«С чем же едут византийские послы?» — думал халиф, и о том же думал визирь.

XXXVII

Послы несли через весь Багдад послание византийского императора халифу.

Из особого уважения к халифу послы шли пешком.

Впереди послов шел Аполлос, сенатор и друг императора. Это был желтолицый, худой мужчина лет сорока в длинной серебристо-палевой одежде без складок. Глаза его, огромные, агатовые, казалось, испускали скользкий и жгущий блеск, и, когда он пренебрежительно оглядывал толпы народа, запрудившие улицы, всем видна была его ненависть, и все начинали дрожать от ярости. У него была привычка, тоже всех сердившая: сказав три-четыре слова, Аполлос умолкал так важно, точно ожидал, что ему будут восклицать — слава!

Перед дворцом задолго выстроились войска, и шумный народ говорил, что войска выстроено сто пятьдесят тысяч.

Послы вступили в ряды войск. И войска, все сто пятьдесят тысяч копий поднялись на воздух и опустились на землю с такой силой, что гром был подобен землетрясению. Так говорил народ.

И послы увидали тысячу тонких и светлых минаретов Багдада. И со всех минаретов пять тысяч муэдзинов запели хвалу пророку и наместнику его халифу, и народ говорил, что пение их было подобно второму землетрясению.

Но лица послов были неподвижны, и ни один волос на их голове не шелохнулся.

И они увидали зеленый дворец. На площади, перед дворцом, семь тысяч евнухов в шелковых разноцветных одеждах и изукрашенных поясах — четыре тысячи белых и три тысячи черных евнухов — безмолвно склонились, и поклон их, как говорил народ, был такой ровный, точно поклонились семь тысяч братьев.

Послы вошли в сад дворца. На лужайках они увидели стада диких животных. Львы и олени, прирученные искусными охотниками, направились к послам. Сто львов издали рычание, а двести оленей вознесли вверх свои широкие рога и протрубили.

И это, как говорил народ, было подобно третьему землетрясению.

Но лица послов были по-прежнему неподвижны.

Их вели мимо позолоченных клеток. Множество птиц с позолоченными перьями и клювами пели.

И тогда старший посол Аполлос, сенатор и друг императора, сказал:

— Вот это очень красиво,— и добавил: — Великолепный дворец у халифа.

И он улыбнулся. И тогда улыбнулись все послы.

Визирь сказал:

— Господин посол! Вы видите не дворец халифа, а только мою жалкую хижину. Дворец халифа за этим садом, вон там, где за деревьями колышутся ковры.

И они пошли дальше.

Темно-пурпурный дворец халифа сверху донизу был закрыт коврами. Ковры были и голубые, и розовые, и синие, и белые, ковры всех цветов и всех провинций халифата. Народ говорил, что там висело двадцать две тысячи великолепных ковров, а три тысячи занавесей из парчи и индийского шелка, стоящие тридцать тысяч динаров, украшали все внутренние стены и двери здания.

Халиф ал-Муттаки-Биллахи сидел на троне из слоновой кости. На нем был надет простой плащ бедуина, тот, который, говорят, носил великий Омар. С правой и левой стороны трона висели и сверкали на солнце по девять длинных тяжелых нитей драгоценных камней. Позади и впереди халифа стояли евнухи, а вожди племен и родственники поодаль нитей с драгоценными камнями. А еще дальше стояли, содрогаясь от восторга и славы, законоведы, кади и поэты.

И там же стояли Джелладин, кади Ахмет и Махмуд.

Византийский сенатор и друг императора Аполлос поцеловал землю и сказал, что он принес могучему халифу послание императора.

— Читай,— проговорил халиф.

Сенатор Аполлос снял шелковую желтую материю с серебряного ящика с золотой крышкой, на которой было

сделано из разноцветного стекла изображение императора Константина. Сенатор раскрыл ящик и достал послание. Послание было начертано на пергаменте небесно-голубого цвета золотом, греческими буквами, и к нему прикреплена золотая печать в четыре мискаля весом, на одной стороне которой был барельеф Христа, а на другой — императора.

Посол огласил первую строку по-гречески, тотчас же переведа ее на арабский язык:

— Константин Седьмой, верующий в мессию, император, владычествующий над греками.

Он помолчал, поводя огромными глазами и точно ожидая восхвалений.

— Халифу ал-Муттаки-Биллахи, могучему повелителю арабов в Багдаде.— И опять помолчал.— Да продлит господь бог жизнь могучего халифа!

Огромные глаза его остановились на жирном лице халифа, и он продолжал:

— Слава богу!.. Всесовершенному, великому!.. Милосердному к своим рабам... Тому, кто собирает народы... Кто разъединяет... и примиряет их... спорящих во вражде... до тех пор... пока они... не соединятся воедино...

Сенатор Аполлос читал и читал голубой пергамент. Послание плескалось в руках посла, насыщая сердце халифа такими словами, которые мог найти лишь человек, необычайно долго лазивший по лестнице мыслей. Слова ласкали, нежили, лечили, лили масло и елей на душу, макали уста слушателей в мед и наслаждения. Они уверяли халифа в дружбе, расположении, вечном мире.

«И все?» — думал халиф, как и послы храня недвижимое лицо.

Затем сенатор Аполлос взял другой драгоценный ящик и достал оттуда желтый пергамент, по которому было написано по-арабски серебряными буквами перечисление даров, которые посылает император Константин своему брату халифу. Тут был и золотой поднос для кушаний, и дорогие одежды, и золотая посуда, и мускус, и амбра. Под конец посол подал халифу три небольших золотых стакана. Халиф скосил глаза, принимая их. На дне стаканов он увидел стада крошечных хрустальных зверей: львов, оленей, жирафов и рысей, расположенных в том же порядке, в каком звери эти встретили послов в саду визиря.

— Редкого умения у вас ювелиры,— сказал халиф, а про себя подумал: «А еще более редкие соглядатаи! И не-

ужели тем, что вы знаете расположение зверей в саду моего визиря, вы думаете сказать мне, что знаете все происходящее в моей стране? Глупцы».

Но лицо его по-прежнему было неподвижно, и посол не мог угадать, понял халиф намек византийцев или не понял. И, приняв дары, халиф сказал:

— Велик аллах и пророк его! Я напился дружбы брата моего Константина и наполнен любовью к нему, как виноградная лоза солнцем. Я не могу надеяться, что найду слова, которые бы передали наружу лежащее внутри моего сердца. И я призвал лучшего своего законоведа Джелладина Жете-и-Тогос, чтобы он, ловитель мыслей, подмел своими и моими словами пол у ног моего друга, императора! Слова наши немногочисленны счетом, но совершенны и справедливы, и я трепещу от радости, что почтенный Джелладин выскажет их!

Рокот одобрения пронесся среди родственников, вождей племен, законодателей, кади и поэтов. И все обернулись к Джелладину.

Джелладин, шатаясь от волнения, в широкой и длинной одежде, пробрался через толпу и приблизился к трону. И все качали головой, одобряя его вид. Как он талантлив! Как он умен! И как быстро он идет в гору! Говорят, благодаря ему сегодня обезглавят эмира Эдессы?

— Халиф, да будет прославлено имя его!.. — начал Джелладин, и голос его поднялся так высоко, что казалось, поздоровался в небе с самим пророком.

Мороз прошел по коже присутствующих. Какое великолепное начало, как умеет начинать!.. Каково-то продолжит?

Но продолжить Джелладину не пришлось. Архангел запечатал уста его. Джелладин покачнулся и упал.

Он лежал в глубоком обмороке у ног халифа, а халиф с неподвижным лицом проговорил:

— Так велика любовь наша к брату нашему Константину, что сердце одного, даже лучшего законоведа Багдада, не в состоянии высказать ее. Джелладин — великий законоучитель. Он река законоучителей...

Халиф обвел взором своих тусклых глаз всю толпу придворных. Взор его остановился на кади Ахмете, рыжая борода которого горела возле Махмуда. Халиф сказал:

— Брату моему императору Константину отвечала река. Но и река остановлена плотиной восторга. Она оста-

новилась, увидав море. Ты море мудрости, кади Ахмет, продолжай речь!

Кади Ахмет вышел:

— Халиф, да будет прославлено имя его! — начал он.

И он остановился.

— Да будет прославлено имя его! — повторил он, уцепившись обеими руками за свою бороду. — Халиф...

И у него, от величия и великолепия обстановки, от неожиданности и от радости, что свалился Джелладин, прервалась нить мысли, и знаменитый оратор остановился, тщетно стараясь вспомнить то, что надлежало сказать в подобном случае.

И тогда выступил вперед Махмуд иль-Каман.

Визирь наклонился к халифу и тихо сказал:

— Это тот искусный ремесленник и поэт, о повелитель, который воспламеняюще говорил у меня о Византии и эмире Эдессы, назвав его предателем.

Халиф так же тихо пробормотал:

— Двое онемевших от восторга — недурно. Но если онемееет третий — получится, что у меня все подданные идиоты, обалдевшие при виде двора.

Халиф предпочитал сильные выражения.

XXXVIII

И халиф сказал, обращаясь к Махмуду:

— Эй ты, соблазнительный урод! Сунь нам, сын тины, свойственные тебе соображения!

И он откинулся на спинку трона, довольный своим словом. Он находил, что с подданными иногда полезно обращаться так же, как с конем, закусившим удила.

Махмуд, весь дрожа, чувствуя себя расточительным, но в то же время разумным и ровным, твердо подошел к трону халифа и встал на то место, где только что стоял Джелладин. Сладчайшим, звонким голосом, глядя прямо в мутные глаза халифа и в его выпяченные серые губы, Махмуд говорил о славе Багдада, о красоте его, о его спокойствии, о согласии, о смелых его воинах, о резвых его конях и о той славе, которая упадет на тех, кто дружит с Багдадом. Он говорил слова скромные и скупые, но ставил их в такие сочетания, могучие и высокие, что они казались скалами.

«Недурно, совсем недурно,— бормотал про себя халиф.— Но не мешало б и припугнуть византийцев. Слишком многое они себе позволяют! Золотой стакан, а внутри звери? Мои звери? Пусть бы он сказал, что оружие наше на врага — готово!.. Неужели не скажет, сын тины?»

Махмуд не сказал.

Он воспел Багдад, но ему и в голову не пришло, что пора припугнуть византийцев. Ему казалось, что он научился придворному обращению в Константинополе, и он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала. Сердце приказывало ему надсмеяться над византийцами. Жена ему советовала то же самое. Она говорила, что, если халиф и аллах дадут ему слово, это слово должно быть смелым! Душа его ненавидела византийцев, но он глядел в глаза халифу, слушал его слова, полные дружбы и любви к Византии, и ему казалось, что если он умолчит о Византии, прославляя лишь один Багдад, то и это будет смело!

Но как бы то ни было, он сказал блестящую речь, заключив ее великолепным стихотворением, в котором, еще более возвышенно, повторил свои мысли о Багдаде.

Халиф по окончании речи сказал, обращаясь к визирю:

— Он говорит темновато, но он не усыпляет, этот перл овчарни! Наградить его, уместно случаю.

Махмуду поднесли одежды, плоскую золотую чашу, до краев полную монетами.

И халиф сказал:

— Кстати вспоминаю, тождественное происшествие случилось со мной во времена моей молодости, при покойном халифе аль-Мутанаби.

И он передал собравшимся короткий рассказ о происшествии в пустыне, когда он шел в поход против одного взбунтовавшегося турецкого племени. И византийские послы, и арабские сановники слушали его, вытянув вперед головы, изображая на лице охотное и живейшее внимание. Когда они заговорили громко, прославляя халифа как выдающегося поэта и рассказчика, халиф улыбнулся и пригласил их на пир.

— Будем кутить, как молодожены,— сказал он, любя крепкие выражения.

Махмуд, получив подарки, спросил визиря:

— Могу ли я, о визирь, просить — отправить эти подарки матери, чтоб она насладилась, так как для меня достаточно лицезреть халифа?

И визирь одобрил его, и пять евнухов отнесли подарки к госпоже Бэкдыль, крича в толпу:

— Дорогу, дорогу! Подарки от халифа — да будет прославлено имя его! — знаменитому оратору и поэту Махмуду иль-Каман. Дорогу, дорогу!

Слова эти издали услышала мать Бэкдыль. Она приняла подарки еще в начале улицы, на которой стоял ее дом, и, взяв три небольших горсти монет, потому что руки ее высохли и сжались на работе, пошла на базар. Был еще день, пир только начался, а госпожа Бэкдыль уже купила двух невольниц и пять коз, ибо она давно ждала это добро, и в простоте сердца думала, что и все ждут этого же добра.

Госпожа Бэкдыль купила девушку по имени Чооны. Она была родом из Афганистана, где высокие горы и где нужно обладать большой выносливостью, чтобы ходить по этим горам. Торговец уступил ее по сходной цене, так как мать Бэкдыль сказала ему о славе сына, да и весь базар уже знал об этой славе и о подарках халифа. Кроме того, старуха торговалась яростно и выпустила столько слов, сколько торговец не слышал за всю свою жизнь. Рабыня была широкобедренна, точно раковина, разговорчива и сыпала слова, словно рис из мешка. Она умела ткать, и по ее бедрам мать Бэкдыль заключила, что часы с нею будут приятны и просты, ибо она плодоносна.

Мать Бэкдыль купила также рабыню именем Гахара. Она была родом из Греции, с архипелага. Ее привезли с трудом, она была еще совсем не укрощена и не понимала Багдада и его прелестей. Сильная, рослая, она при наслаждениях, видно, наливается кровью, как петуший гребень, и ты испытываешь радость, словно трубящий рог! И эту рабыню мать Бэкдыль приобрела дешево и радовалась своей покупке.

Мать привела рабынь в дом и сказала Даждье:

— Вот тебе няня для ребенка, и вот тебе другая для помощи. Они будут подчиняться тебе.

Даждья, побледнев, спросила:

— Но будут ли они подчиняться мне во всем, что я потребую?

— Да. Так указано пророком, — сказала мать Бэкдыль. — Ты будешь старшая.

— Старшая среди жен?

— Да, старшая среди жен.

Даждья сказала:

— А если я прикажу им покинуть мой дом?

— Ты поступишь, милая, глупо и против Закона.

— А если этого пожелает мой муж?

— Твой муж не может пожелать этого. Он — правоверный, — сказала гордо мать Бэكدыль. — Как ему идти против велений пророка, который приказал всем оружием умножать род правоверных, а эти женщины — наиболее доступное и приятное оружие!

Тогда Даждья сказала:

— Мать! Была ли я тебе послушна?

— Ты всегда была мне послушна, милая, иначе зачем же мне покупать тебе это облегчение?

— Мать! Ты думаешь, эти девки для меня облегчение?

— Разумеется. Они будут облегчать твою работу. В конце концов опасаясь, что мой сын чересчур страстен и он утомляет тебя.

— Мать! Помогни мне! Отпусти этих женщин.

— Нет, я не могу их отпустить.

— Тогда их отпустит Махмуд!

Даждья ушла в темную мастерскую, села возле горна и стала глядеть на ворота глазами более сухими, чем пыль на этих поникших мехах. Она чувствовала себя пустой, пыльной, одинокой и старой. Ребенок просил груди, она накормила его, но сердце ее не смягчилось. Ей хотелось домой, но она чувствовала, что дом ее, и Днепр ее, и Киев ее так далеки!..

Однако они были близки.

Халиф пригласил к своему столу сенатора Аполлоса, предложил ему чашу душистого вина и сказал:

— Я вот думаю во время всего пира и никак не могу придумать, что бы такое поднести в подарок другу моему, императору Константину? Что он любит?

Сенатор ответил:

— Император доволен всем... у него... все есть...

Халиф с наивным лицом ребенка сказал:

— Да, да! Я и забыл. Ему во всем помогает эдесская святыня! Я слышал, она очень помогла ему в борьбе с русским князем Игорем?

— Посланная тобой, о халиф... эдесская святыня... свершила множество чудес... — медленно ответил сенатор. — Что больше всего... любит император?.. Он любит справедливость.

— Мы все любим справедливость,— сказал халиф.— Но какого цвета он любит справедливость?

— Например... он любит освобождать... пленных...

— Я вернул всех византийских пленных. Осталось несколько полудохлых стариков, я прикажу их собрать.

— О халиф! Византийцы слышали, что в Багдаде находится пленная русская княжна Даждья, дочь Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки.

— О, гуро! — воскликнул насмешливо халиф.— Эдесская святыня заметно изменила византийские нравы. Насколько мне известно, византийцы презирают женщину, считая ее скопищем зла, сосудом язв. Это мы, арабы, относимся к женщине с уважением, если она не рабыня, разумеется. Что случилось?

Уязвленный Аполлос сидел неподвижно. Еле шевеля губами, он ответил:

— Императору было видение.

— Я и говорю: эдесская святыня!

И, считая, что он достаточно отплатил за ядовитый намек в виде трех золотых чаш с хрустальными фигурками зверей внутри, халиф наполнил послу чашу и, вытерев платком губы, замолчал. Он ждал, что скажет посол. Посол тоже молчал. Тогда халиф сказал:

— Княжна Даждья будет сегодня же у тебя.

И он уставил в лицо посла тусклый взгляд своих глаз. Он ждал, что посол передаст сейчас самое главное — разрешение Багдаду торговать с Европой. Какие условия? Все равно. Можно найти еще десяток святынь, подобных эдесской, но лишь бы торговать. Войны редко бывают выгодны для государства. Но еще более невыгодно подчиняться насилию.

И халиф решил высказать свою мысль.

— Подарки друга моего, императора Константина,— сказал он,— весьма прекрасны. Но, к сожалению, не хватает одного.

Посол молчал.

— Нам бы хотелось,— продолжал с раздражением халиф,— чтобы Средиземное море, лужа в великих владениях друга моего, было очищено от пиратов, мешающих нашим кораблям ходить в Европу. Мы просим друга нашего императора поднести нам этот подарок.

— Я передам императору... желание халифа, о могучий правитель!

«И все?» — спросил глазами халиф.

Лицо посла было, как всегда, неподвижно, лишь огромные его глаза подернулись влагой волнения: он ощущал грозу, но не мог остановить ее. «И все», — ответили глаза посла.

Халиф встал.

Все поднялись.

— Продолжайте, продолжайте пир, — ласково сказал халиф. — Я хотя и молодожен, но все же стар, а вы молоды.

Все время пира Махмуд ждал, когда подойдет надлежущая пора и он прочтет то, что ему чрезвычайно хотелось теперь прочесть: о предстоящей битве с византийцами. Поэтому, чтоб не мешать дыханию, он едва касался пища. Сидящий рядом кади Ахмет, бормоча, что это, быть может, единственный случай, когда можно поесть вволю придворных блюд, не понеся за это наказания, ибо придворный хлеб горек, набросился на еду. Пища действовала усыпляюще на обремененные длинной церемонией желудки. Кто-то дремал, а кто-то в полудремоте напевал.

Халиф шел через пирующих с непроницаемым лицом. Взор его на мгновение остановился на Махмуде и, словно процедив его, прошел дальше. Он забыл о поэте. Но вот халиф услышал полудремотное бормотание песни. Кто-то пел: «Я приду к Тебе!» Халиф, чуть скривив серые выпяченные губы, тихо, чтобы не беспокоить остальных, сказал с омерзением визирю:

— Отправить его на базарную площадь и дать пятьдесят палок. И пусть он под палками поет: «Я приду к Тебе!» Наказать также и того, кто составил эту песню. Мне нужны другие песни.

XXXIX

— Дорогу несравненному поэту Махмуду иль-Наман! — кричали его поклонники, и все на улице расступались.

И Махмуд проезжал по улице на своем вороном коне в ало-синем индийском одеянии с расшитым золотом широким поясом. Он представлял себе, что будет, когда его любовь увидит это одеяние и эту свиту и услышит эти крики. Он спрыгивал мысленно с коня, целовал ее, — и все же он не торопился ехать, дабы не показать, что он

ослеплен славой, а разумен и спокоен, ибо счастье людей зависит от аллаха.

Сопровождаемый толпой поклонников и уличных ротозеев, он въехал в услужливо распахнутые новыми друзьями ворота и придержал коня, дабы еще раз услышать возгласы:

— Слава несравненному поэту! Урагану слова — слава!

И он сказал, почтительно поклонившись матери:

— Сыта ли ты, о мать? Получила ли ты подарки?

— Я получила подарки, — ответила мать, — и я сыта.

Но хорошо ли накормили тебя во дворце, иначе я прикажу изготовить для тебя обед. Тебя накормят рабыни, — произнесла она с гордостью.

— Какие рабыни?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я купила двух рабынь. Пойди посмотри их.

И она указала на двух рабынь, которые вышли на шум, также на топот копыт коня своего нового повелителя. Спускался уже вечер, и мать взяла масляную лампу, чтобы получше осветить их лица. Одна рабыня была яркого, не золотистого, а светло-алого цвета зари, так она рдела перед новым господином. Он узнал сразу родину второй женщины.

— Да, она с архипелага, — подтвердила мать.

И чтобы доставить удовольствие заботливой матери, он благосклонно поглядел на другую женщину. От волнения она была желто-оранжева, как лимон.

— Я таких не видывал, — сказал он с удивлением.

Мать объяснила:

— Она из Афганистана, есть такая гористая варварская страна. Ну что же, ты одобряешь мою покупку?

— Она хороша, — ответил он.

И он услышал неистово срывающийся голос из мастерской:

— Ты говоришь — хороша, Махмуд?

— Горлица!..

— Горлица смерти, Махмуд!

Удивительные люди эти женщины! Что он мог сказать матери? Не мог же он сказать любимой и уважаемой матери, что ее покупка и не нужна и плоха! Во-первых, покупка хороша, а во-вторых, рабыни будут помогать матери. Мать должна отдохнуть, он часто отвлекал Даждю от хозяйственных дел, читая ей стихи, и старухе приходилось

чистить дом и ухаживать за козами. А теперь появился еще конь, да и мало ли что еще появится... А ребенок? Как можно забыть о ребенке?!

Он вбежал в мастерскую и хотел обнять подругу. Она отклонилась от него резким и быстрым движением:

— Она купила двух женщин! Женщин!..

Возбужденный славой, он не вдумался в ее слова о женщинах и сказал:

— Тщеславие старухи простительно.

— Для тебя!..

Он шлепнул ладонью по ее плавному плечу и, смеясь, сказал:

— Для меня вечное блаженство с одной.— И он прочел ей стихи, которые сочинил дорогой:

Мой нежный друг! Неужели ты забыл недавнюю любовь?

Неужели ты можешь спокойно и беззаботно спать?

Не я ли восклицаю тебе: проснись!

Проснись, моя прелестная роза, мой благоуханный цвет.

Проснись. Заря встает! Я пришел к Тебе!

— Убей их! — сказала она, приблизив к нему то самое наполненное страстью лицо и отуманенные глаза, которых ждал он.— Убей!

— Убить? Зачем?

— Зарежь их! — воскликнула она.— Они тебе куплены на любовь. Но ты их любить не должен.

И со снисходительностью мужчины, который не совсем понимает женщину, и почти наслаждаясь ее ревностью, он проговорил:

— За рабынь заплачены деньги. Надо их, раз ты желаешь того, продать.

Она сказала:

— Но они тебе куплены на любовь, а если куплены на любовь, честь не позволяет теперь продавать их! Так в моей стране не поступают. Их нужно уничтожить!

— Законы Багдада — иные.

И он оглянулся на Багдад, освещенный последними ярко-красными, самого густого цвета розы, лучами солнца. Мать Бэждыль держала коня, который тяжело дышал, словно понимая смятенное состояние духа своего хозяина. Рабыня из Афганистана взяла у матери повод уздечки.

Он подошел вплотную к Дажде. Губы ее прыгали, обнажая два ряда мокрых и белых зубов. Он поцеловал ее, но

поцелуй не был целительным. Она, оторвав от него губы и откинув стан, положила ему руки на плечи и сказала:

— Разве Закон твоей страны не принадлежит мне? А мой — тебе? Ты меня любишь? И ты умертвишь их?

— Я не понимаю, зачем мне умерщвлять их?

— Я — княжна. И неужели ты будешь спорить из-за каких-то рабынь ради любви княжны? Я — княжна страны Русь! А одна из этих — византийка, а другая — просто падаль.

— Это будет избиением беззащитных!

— Жертву моей стране, по ее Закону, ты считаешь избиением?

— У вас искаженное понятие о Законе! И мне понятно, что ваша княгиня Ольга переменяла Закон. Уж лучше византийский, чем такое искажение...

— У меня искаженное понятие о Законе? — проговорила она с ужасом. — Моя любовь — искаженное понятие?

Руки ее скользнули, чуть коснувшись его лица, и она, быстро пройдя дворик, скрылась в доме. Послышалось качание колыбельки, заплакал было ребенок, а затем утих. Должно быть, она кормила его.

Он стоял, прислонившись к притолоке, ошеломленно раскрыв широкий рот. И вдруг он почувствовал во рту едкий и соленый вкус. Он провел ладонью по лицу. Это были слезы. Что произошло? Он, такой сговорчивый с ней, и она, такая сговорчивая с ним? Не оттого ли, что она кормит ребенка?.. Но он?..

— Мать, — сказал он тихо. — Что с нею? Что за странная пылкость. Она требует — зарежь двух невольниц!

— Я слышала, — ответила мать, — могут быть и глупые законы, но это самый глупый. Не надо ее поощрять.

— Она поссорилась с этими двумя?

— Бросив на них только один взгляд? — И мать добавила: — Мало ли что скажет влюбленная! Такие проворные и сытые рабыни, — и вдруг зарезать? Я их так долго выбирала, — и зарезать? Закон?! Много стоит страна с такими глупыми законами! Она сама выдумала этот злобный Закон! Нет, сын, нельзя поощрять ее к таким разорительным поступкам.

Он вошел в дом.

Хотел было подойти к дверям, за которыми подруга качала, по-видимому, ребенка, — но не смог.

Поднявшись на крышу, он сделал вдоль нее несколько

шагов, пересек ее раза три, а затем, склонившись через парапет, еще теплый от солнца, которое уже скрылось, крикнул вниз матери:

— Мать! Поди убеди ее, что моя любовь неизменна. У меня не находится приличных такому случаю слов! Я ее люблю! — повторил он громко, во весь свой гремящий голос. — А ей мало!..

Снизу, от дверей, донесся голос Дажды:

— Любовь должна быть деятельной. Докажи! Убей их. Я хочу поцеловать нож, покрытый их кровью! Вот он, последний из ножей, над которым мы работали вместе. На нем орнамент из роз и три лепестка на лезвии. Видишь? Возьми этот нож и убей!

— Никогда.

— Никогда?

— Иди сюда, Дажды, — позвал он тихо.

Ему ответил стон.

— Мать! Почему она молчит?

На крышу вбежала мать. Привыкшая подниматься по лестнице, она на этот раз запыхалась.

— Я нашла ее лежащей ничком! — крикнула мать. — Я так плотно ее кормила! Я так радовалась этой покупке!

XL

Попировали славно! Кади Ахмет, отягощенный вином, хорошим поведением своего ученика и плохим — Джелладина, сел на мула, чтобы ехать домой и рассказать там подробно о пире. К нему подошел евнух и сказал, что визирь повелел кади немедленно явиться к нему.

— Не находит ли визирь, что несколько поздно вато нам видеться? — спросил кади.

Евнух ответил, что визирь не находит этого, и кади повиновался.

Путь от дворца халифа до дворца визиря — короткий. Однако кади, услаждая и свой путь, и путь евнуха, успел поделиться с ним своими воспоминаниями о константинопольских банях и массаже. А какое сладкое миндальное тесто и как оно приятно после бани!.. А женщины, тело которых белей и слаще миндального теста!.. Багдад, конечно, лучше, но когда у вас жена и полнолуние... Кстати, сегодня будет, кажется, полная луна?..

Визирь сказал кади:

— Мы с тобой не успели потолковать о Константинополе. Я был очень занят, прости, а теперь вот освободился вечер и я призвал тебя. Ты не устал?

Кади, улыбаясь, ответил, что разве он может устать на пиру, но вот не устал ли ты, о визирь?

Визирь сказал, что не устал, к тому же беседа будет коротка. Он приказал подать кофе, а затем спросил:

— Что же ты нашел полезного для нас в Константинополе?

Кади, захлебываясь от восторга, сказал:

— О визирь! Я открыл великую тайну.

— Вот как?

— Я узнал поразительную вещь, и совершенно случайно!

— Тем более поразительно. Горю нетерпением узнать ее.

— И ты узнаешь, о визирь! Слушай. Мне понадобилось починить одежду. Смотрю — шьют с чудовищной быстротой. Почему? А потому, что у нас — кожаные наперстки, а византийцы делают их железными. Железными, о визирь! Железными! Вот что нужно сообщить всем, и мы будем все одеты, обуты, и не будет тогда нищих, босых, оборванных. И ради интересов государства...

— А не лучше ли тебе поискусней судить интересы бавара и не думать о государстве? — зловеще спросил визирь.

Кади побледнел и замолчал.

— Мне думается, — сказал визирь, — вы немногому научились, сопровождая эдесскую святыню.

И, помолчав, он спросил:

— Кто составил песню «Я приду к Тебе»? Песню о ноже, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие — тремя полураспустившимися лепестками?

— Такие ножи делал оружейник Махмуд.

— А такие песни кто делал? Я знаю о ножах, а я спрашиваю тебя о песнях. Молчишь?

— Но, всемилостивейший, он не пишет таких песен!

— Какие же песни он пишет?

— Я предлагал тебе, всемилостивейший, выслушать его.

— Он сегодня мог их прочесть и не прочел. Почему? Быть может, ему не хотелось тревожить византийцев?

Быть может, это византийцы покупали у него кривые ножи и платили чистым золотом, вес за вес?

«О Джелладин! — подумал кади.— Узнаю твой язык».

Визирь продолжал:

— Не скажешь ли ты мне, откуда стало известно византийцам, что русская княжна Даждья находится в Багдаде? Халиф, да будет прославлено имя его, очень интересуется этим. Мы ведь могли перепродать княжну в Вавилон или Индию, а византийцы упорно утверждают, что она в Багдаде! И почему они ее требуют? Не требуют ли ее, в свою очередь, у византийцев — русские? Ты не находишь?

— Возможно, о всемилостивейший, — пролепетал кади, вытирая мокрый лоб.

— Я тоже нахожу, что возможно. Но откуда русские могли узнать, что княжна именно в Багдаде?

— Ума не приложу, всемилостивейший!

— А не находишь ли ты, кади, что начальник вашего конвоя Махмуд побеседовал на эту тему с русскими купцами?

— Он виделся с ними один раз, всемилостивейший. Он боролся с их богатырем, и он не понимает их языка!

— Ты уверен в этом, кади?

— Я знаю это, о всемилостивейший!

И кади подумал: «Звезда Закона, Джелладин, узнаю твои шаги! Ты был здесь».

Вошел плечистый, с громадным черным зевом, человек. Кади вначале подумал, что несут кофе. Плечистый нес мешок. Поклонившись визирю и не обращая внимания на кади, плечистый, скривив свой черный зев, опустил мешок на ковер у ног визиря. В мешке что-то перекатывалось, точно камень по сухому песку.

— Раскрой,— сказал визирь.

Плечистый человек раскрыл мешок. Визирь наклонился и, с интересом пошарив рукой в мешке, достал оттуда голову эмира Эдессы. С головы сыпалась окрашенная розовым соль. Визирь вглядывался, видимо надеясь увидеть страх в лице кади. Но губы кади были сжаты и глаза не опускали век.

Визирь спросил:

— Не находишь ли ты, кади, что отрубленная голова всегда кажется короткой? А у этого эмира была длинная голова и еще более длинный язык.

И кади подумал еще: «О Джелладин, о проклятый язык проклятого Закона! Будь же и ты проклят».

И кади сказал:

— Я всегда в восхищении от твоего остроумия, о визирь!

Визирь продолжал, указывая на плечистого, с ртом длинным и грязным, как канава:

— Я дал ему свой любимый нож с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии. Нож этот он употребляет вместо моей печати, исполняя мои приказания, которые есть приказания халифа.

Он взял пергамент и, глядя в него, сказал:

— Итак, разыскивается в Багдаде русская княжна Даждя, дочь князя Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки. Ты знаешь, кому и когда продаются рабыни, ты ведь базарный судья. Ты помнишь также, что мы неоднократно издавали приказы — обращаться с рабами милостиво. Но наши приказы не исполняются. Возможно, что не исполнен приказ и в отношении рабыни Дажды. Быть может, ее нет в живых, кто знает? Или, вернее сказать, знает один Махмуд, ха-ха-ха! В таком случае, — я говорю о неисполнении нашего приказа, — человек, не исполнивший его, будет строго наказан. Его голову мы вынуждены будем положить в этот мешок с солью и выдать мешок и голову византийцам. Что поделаешь. Таковы законы дружбы. Халиф обещал выдать принцессу. Труп ее выроешь и также передашь византийцам.

И визирь толкнул ногой мешок с солью, из которого была только что вынута голова эмира Эдессы.

— Голову эмира положи в новый мешок, — сказал визирь, — а с этим мешком поедешь вслед за кади Ахметом, куда он укажет. Так повелел халиф...

Кади низко поклонился и сказал торопливо:

— Да будет прославлено имя его! — Затем он добавил: — Мне не нужен мешок, о визирь. А того менее нужен человек с ножом. Даждя жива и через час, не позже, будет у тебя.

— Все-таки человека с ножом возьми. Вдруг окажется, что женщина привыкла, не захочет уйти или ее не будут отдавать?

— Она будет здесь, о визирь! Человек, у которого она находится, хотя и любит ее, но халифа любит больше.

— Кади, ты плохо выбираешь слова. Любовь к рабыне ты осмеливаешься сравнивать с любовью к халифу!

— О, прости меня, визирь! Ум мой ослабел от забот.

— Вот поэтому я и думаю, что человек с ножом будет полезен тебе. Идите. Комнатный воздух ранней весной несколько расслабляет меня, я пойду отдохнуть, кади.

XLI

Влезая на своего гнедого мула, кади Ахмет пробормотал то, что висело у него на языке во время всего разговора с визирем, но что, разумеется, он не осмелился бы сказать визирю никогда, разве лишь увидав голову его в соловом мешке:

— У нас так торопливо снимают головы, точно нет других твердых предметов для мощения багдадских улиц.

И кади испуганно оглянулся. Плечистый человек сопровождал его на коне в почтительном отдалении.

Кади размышлял и не торопил своего мула. Да и что он скажет другу своему Махмуду? Одно лишь — что плохо помогла эдесская святыня и византийцам и арабам, и если произошло чудо, то плохое! Возлюбленную придется отдать. Жаль. Она превосходно сложена и высокого рода. Ну что ж. Поэты быстро забывают своих возлюбленных, это ведь не стихи. Кстати, о стихах. Это происшествие даст ему повод написать хорошее стихотворение, а быть может, и поэму.

— В конце концов Багдад имеет свои преимущества, — бормотал кади, утешая себя. — Для меня, во всяком случае. Я судья и сужу дураков, и это умирительно, даже и тогда, когда меня четвертуют за то, что я их судил плохо. Затем, я вернулся из опасного пути в Константинополь, где пил хорошее вино, и, кажется, отделался довольно легко. В Багдаде я и величествен, и немножко смешон. В Константинополе я был только величественным. И, наконец, — я забыл? — здесь моя жена, которая мешает мне быть и окончательно величественным, и окончательно смешным. Что мне еще нужно?

И он вздохнул. Ему хотелось, чтоб Махмуд был счастлив. Но только один аллах, если это вообще возможно, знает, куда и к какому счастью их направить. А что он может сделать, он, слабый кади?

Путь его лежал через базар. Базар шумел. Кади проехал уже половину базара и увидел вдали кофейню, в которой хотел угостить Махмуда яблочным пирожным. Ему стало тяжело, и он повернул мула.

— Самый короткий путь, — сказал он, — не всегда самый удачный.

И он поехал окольной дорогой, которая проходила мимо тайного кабака. Он оставил плечистого сторожить своего мула и долго пил вино, наслаждаясь, что палач сидит без вина и что его черная пасть суха.

Затем он сказал содержателю притона:

— Я пивал и лучшее вино, а это ты разбавляешь водой, и, собственно, тебя б надо судить, но я устал от правосудия Багдада.

Но все же он вылил остатки вина в свою тыквенную бочку.

И кади опять направился к базару.

Светила полная луна, и лавки были, за исключением отдельных кофеен, закрыты. Шныряли зубастые собаки. Он вспомнил свой рассказ о пророке Иссе и о красоте дохлой собаки, когда-то рассказанный им Махмуду, и кади снова загрустил. Вино не помогало. Вот он, друг Махмуда, собака, которой бы охранять его покой, едет, чтобы оторвать друга от теплого стана возлюбленной, от ее ослепительной груди, похожей на две луны в облаках, тела которой тот касается сейчас всем лицом, как мул кади касается земли всеми копытами. О ты, судья! Что ты везешь? Кого ты судишь? Ты гибелью, как плитами, хочешь выстлать полы жизни твоего друга.

Такие размышления были чересчур отяготительны. Душа его болела. Он счел благовременным стегнуть своего мула. Мул, однако, не спешил и не прибавил шагу. И кади Ахмет позавидовал своему мулу.

— Страдания животных многочисленны, — сказал кади Ахмет, — но неоспоримое преимущество их в том, что животные не знают грязного коварства Закона и среди них не бывает Джелладинов.

Наконец он подъехал к домику Махмуда и постучал в ворота своего друга тыквенной бутылкой, отполированной до блеска долгим употреблением.

Обнимая мертвую Даждю, Махмуд стоял перед ней на коленях. Лицо ее было повернуто к луне, действительно льющей свой свет и медленно подвигающейся по грузному

весеннему небу. Он целовал горло жены, желая остановить поцелуями кровь, которая текла теперь так же медленно, как луна, и лицо его, и молодая курчавая борода его были темны от крови.

— Мать,— сказал он,— стучится друг. Отвори. Так он всегда стучал в Константинополе, когда мы привезли туда эдесскую святыню.

Мать Бэкдыль, желая утешить его, кричала первые попавшиеся слова. Она кричала, что любовь тем и хороша, что быстро проходит. И она кричала, что остался ребенок, и кто теперь будет кормить его. И она кричала, что вот стоят возле две сильные и вполне доступные девушки и не помогают горю. И она подскочила к рабыням:

— Что же вы молчите? Когда не нужно, вы многословны? Что вы растянули рты?

И так как те действительно растянули рты в улыбке, ибо они слышали, что старшая жена требовала их смерти, и они испугались, то мать Бэкдыль с громкой и подходящей к случаю бранью ударила их по широким и твердым щекам.

И тогда соседи, прислушивающиеся к воплю, сказали, что у матери Махмуда иль-Каман, госпожи Бэкдыль, крутой характер.

Махмуд же повторил:

— Мать, открой. Мне нужен друг, и он стучится.

Въехал на своем гнедом муле кади Ахмет.

Он сказал:

— Где твоя горлица?

— Вот моя горлица,— ответил Махмуд и возопил: — Она впустила себе в гортань мой кривой нож!

И он опять упал перед ней на колени и схватил ее мизинец своим указательным пальцем, так, как делал когда-то, в начале их любви. Мизинец был холоден и тверд, как гвоздь, и словно холодный гвоздь вошел в его сердце.

Кади спросил, так как не знал, что спросить иное:

— Это — Даждья, дочь Буйсвета?

— Это была Даждья,— ответил, не поднимая головы, Махмуд.

И опять, не зная, что сказать, сказал кади:

— Это умерло твое счастье, Махмуд.

— Да, ты прав, друг,— ответил Махмуд.

И так как он видел тень за спиною кади и думал, что это Джелладин, Махмуд поднял голову. Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синне-

вато поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд увидел кривой нож, и он, знающий свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь волен дарить ножи кому хочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом.

И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Спешу.

XLII

Так жил и умер поэт.

Он жил и умер в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, да будет прославлено имя его!

Он умер, но он и жил.

Когда началась великая война с византийцами, его воинственные песни воскресли и, словно сверкающий меч, встали над Багдадом и ринулись в самую гущу боя! И говорят, что мертвая голова поэта, которая, вместе с трупом Дажды, увезена была нечестивыми византийцами в Константинополь, встала над бегущими в страхе врагами, и голову эту держал в руках призрак синеглазой, светловолосой Дажды. И смеялась, торжествуя, голова, и смеялся прижимавший ее к своей груди призрак!

Таков конец романа о поэте Махмуде, об его друзьях и врагах и об эдесской святыне. Не будем судить ни его, ни друзей, ни подруги, ни визиря, ни халифа. С тех времен прошло тысяча лет, и имена их давно забыты. Забыты и песни Махмуда иль-Камаи, и только иногда молодой араб, укрываясь от жгучего ветра пустыни за холмом, в своем рваном коричневом шатре, споеет песню о возлюбленной, которую он еще не знает, и в песне этой упомянет о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками. Араб поет, но кем и когда написана песня, он не знает. Да и нужно ли ему знать?

Рижское взморье
11 сентября 1946 года

КОММЕНТАРИИ



При жизни Вс. Иванова его произведения выходили отдельными изданиями 175 раз. Дважды выпускались в Гослитиздате собрания сочинений: в 7-ми томах, 1928—1931 гг.; в 8-ми томах, 1958—1960 гг. Неоднократно издавались двухтомники: Вс. Иванов, Сочинения, Мосполиграф, М. 1924; Избранные произведения, Гослитиздат, М. 1937—1938; Избранные произведения, Гослитиздат, М. 1954.

Из однотомников самые значительные: Вс. Иванов, Избранные сочинения, 1920—1930 гг. Гослитиздат, 1931; Вс. Иванов, Избранное, ГИХЛ, М. 1948; Вс. Иванов, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963. В 1964 г. в издательстве «Искусство» вышел наиболее полный сборник пьес — Вс. Иванов, Пьесы.

Настоящий двухтомник включает наиболее значимые произведения Вс. Иванова, созданные им в течение всей жизни.

Часть из них («Сизиф, сын Эола», «Агасфер», «Эдесская святыня», «Вулкан») — публикуются посмертно. Распределяются произведения следующим образом:

Том первый составляют произведения так называемого «фантастического» цикла и примыкающие к ним. Открывается том первой частью автобиографического романа «Похождения факира» — «Факир подходит к цирку», затем следуют фантастические повести и рассказы 20—50-х годов и роман «Эдесская святыня».

Во второй том входят ранние произведения Вс. Иванова «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», рассказы 20—30-х годов из циклов «Седьмой берег» и «Тайное тайных»; завершает том роман «Вулкан».

Жанровое определение произведений дается лишь в тех случаях, когда оно сделано самим автором. Произведения датируются, при отсутствии авторской даты сведения о первой публикации приводятся в комментариях.

Тексты произведений тщательно сверены. Большинство из них дается по последним прижизненным изданиям, некоторые, по ре-

нению комиссии по литературному наследству, — в более ранних редакциях. Это касается тех произведений, которые были подвергнуты кардинальной редакторской стилиевой правке, искажающей авторскую манеру. Каждый раз ранние редакции оговариваются в комментариях к соответствующему произведению.

Произведения, не публиковавшиеся при жизни автора, печатаются по автографам, хранящимся в архиве писателя.

Во избежание повторений принимаются следующие условные обозначения: Вс. Иванов, Собр. соч., ГИЗ, М.—Л. 1927—1931 — Собр. соч. в семи томах; Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, Гослитиздат, М. 1958—1960 — Собр. соч. в восьми томах.

ФАКИР ПОДХОДИТ К ЦИРКУ

Первая часть романа «Похождения факира». Полностью роман впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1934, №№ 4—10; 1935, №№ 1—6.

Части романа имели следующие названия: 1-я — «Факир подходит к цирку»; 2-я — «Факир обходит цирк»; 3-я — «Факир входит в цирк».

Замысел романа относится к 1932—1933 гг. Автор писал в своих воспоминаниях о Горьком (в январе 1933 г. он гостил у него на Капри): «В те дни я обдумывал книгу, которая позже приняла название «Похождения факира», я вспомнил юность, казахские степи, приуральские леса, сибирские городки, жизнь грубую, тяжелую, но в то же время отличающуюся сложностью и запутанностью драматических положений...» (Вс. Иванов, Избранные произведения, т. 1, Гослитиздат, М. 1954, стр. 436.)

Иванов предполагал, что роман будет состоять из пяти частей и охватывать период с 1895 по 1918 г.

Однако написаны были лишь три части романа, действие доведено до 1914 г.

«Похождения факира» — «роман лишь слегка автобиографический, наиболее автобиографичен он лишь в своей первой части» (Собр. соч. в восьми томах, т. 1, стр. 115).

Первая часть романа была горячо встречена Горьким. Критика также оценивала ее как большую удачу автора. Однако вторая и особенно третья части не удалась. Как вспоминает Вс. Иванов, Горький говорил ему: «Вторая и третья части «Факира» слабо сделаны... Их следует переписать, чтобы они были так же просты и ясны, как первая часть» (Вс. Иванов, Избранные произведения, т. 1, Гослитиздат, М. 1954, стр. 395).

Готовя восьмитомное собрание сочинений, Вс. Иванов радикально переработал весь роман (см. Собр. соч. в восьми томах, т. 6).

Изучив редакции романа «Похождения факира», комиссия по литературному наследию Вс. Иванова пришла к выводу, что безусловную художественную ценность представляет первая часть романа — «Факир подходит к цирку» — в редакции 1934 г. В этой редакции первая часть романа является вполне законченным, самостоятельным произведением. Поэтому в двухтомнике «Факир подходит к цирку» и печатается в этой редакции.

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов, Похождения факира (части 1 и 2), «Советский писатель», 1935.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

Впервые — в альманахе «Наши дни», кн. 3, 1923.

О работе над повестью автор писал Горькому в январе 1923 г.: «Пришел я к убеждению, что все, что я раньше написал,— ерунда. Не так работать надо. И новым методом написал «Возвращение Будды» («Новый мир», 1965, № 11, стр. 236).

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 2.

БАРАБАНЩИКИ И ФОКУСНИК МАТЦУКАМИ

Впервые — в газете «Заря Востока», Тифлис, 1929, 10 февраля, в журнале «Красная новь», 1929, № 2.

Печатается по тексту журнала.

ПОЕДИНОК

Впервые — в журнале «Красная новь», 1940, № 1.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

В ГОРАХ БУХ-ТАЙРОНА

Впервые — в журнале «Звезда», 1945, № 2 (под названием «Тигр на тумбе»). Под названием «В горах Бух-Тайрона» впервые — в книге: Вс. Иванов, Повести, рассказы, воспоминания, «Советский писатель», М. 1952.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

Впервые — в журнале «Наш современник», 1964, № 12.

Печатается по автографу; машинопись с правкой автора.

СОКОЛ

Впервые — в журнале «Звезда», 1946, № 2—3, с подзаголовком из книги «Фантастические рассказы».

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 4.

МЕДНАЯ ЛАМПА

Впервые — в сборнике «Рассказы», «Советский писатель», М. 1963.

Рассказ написан в октябре 1944 г., переработан в 1956 г. Первоначально назывался «Лампа Алладина».

К замыслу этого произведения относятся слова из записок Вс. Иванова о цикле «Фантастические рассказы»: «Человеком владеет безудержное любопытство — особенно в молодости. И оно заключается не только в том, чтобы увидеть что-то необыкновенное, но главным образом испытать. Испытать, как я могу страдать или как могу быть счастливым, испытать, как другие могут быть счастливы или несчастливы... Любопытно испытать отвагу, героический поступок, узнать тайну, любопытно узнать и смерть. Торжество загадки — торжество любопытства: что будет?..» («Дружба народов», 1966, № 10, стр. 248.)

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

АГАСФЕР

Впервые — в газете «Звезда Прииртышья», 1965, №№ 179, 181, 183, 185, 187, в сокращении.

Полный текст печатается по автографу: машинопись с правкой автора.

ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

Впервые — Вс. Иванов, Эдесская святыня. Роман, «Советский писатель», М. 1965.

Печатается по автографу: машинопись с правкой автора.

СОДЕРЖАНИЕ



<i>Е. Краснощечекова. Всеволод Иванов</i>	3
Факир подходит к цирку	37
Возвращение Будды	164
Барабанщики и фокусник Матцуками	230
Поединок	240
В горах Бух-Тайрона	259
Сизиф, сын Эола	276
Сокол	294
Медная лампа	310
Агасфер	329
Эдесская святыня	375
Комментарии	483

Всеволод Вячеславович Иванов

**Избранные произведения
в двух томах**

Том первый

Редактор Т. Аверьянова

Художественный редактор

Ю. Васильев

Технический редактор

М. Фридкина

Корректор Г. Асланянц

Сдано в набор 25/VIII 1967 г. Подпи-
сано к печати 5/XI 1968 г. А 05207.
Бумага типогр. № 1. 84×108^{1/2}. 15,3
печ. л. 25,6 усл. печ. л. 25,799+1 вкл. =
25,849 уч.-изд. л. Тираж 50 000.
Заказ 225. Цена 1 руб. 03 коп.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц ордена Трудо-
вого Красного Знамени Первой Образ-
цовой типографии имени А. А. Жда-
нова в Тульской типографии Глав-
полиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, г. Тула,
проспект им. В. И. Ленина, 109.

